

ф а з и л ь
и с к а н д е р

с о б р а н и е



с а н д р о и з ч е г е м а 3



собрание

фазиль

ИСКАНДЕР

сандро из чегема 3



МОСКВА

2003

ББК 84.7-4
И86

*Издательство выражает благодарность
Александру Леонидовичу Мамуту
за поддержку в издании книги*

Макет, оформление, иллюстрации
Валерий Калныньш

ISBN 5-94117-073-4
ISBN 5-94117-072-6(3)

© Ф. А. Искандер, 2003
© В. Я. Калныньш, 2003
© Издательский дом «Время», 2003



путь из варяг в греки

созвездие козлотура

детство чика

сандро из чегема 1

сандро из чегема 2

сандро из чегема 3

софичка

человек и его окрестности

kozy и шекспир

паром

22. бармен адгур

— Сейчас, Зиночка, мозги мне пудрить не надо! Ты знаешь — заказ-маказ я не люблю. Принеси все самое лучшее, что у вас есть, чтобы я с хорошими людьми поужинал, немножко выпил и от души провел время. Теперь иди!

Я что хотел сказать? Вот это, кто выдумал, что у меня два сердца, если где-нибудь его найду, клянусь мамой, в живом виде скушаю. Кому-то интересно распространять эти слухи. Но я рано или поздно дойду до этого человека, потому что догадываюсь кто. Среди наших ребят тоже немало ишаков попадается.

— Как это так, — они говорят, — ты мог выжить, если в тебя попало шесть пуль и тем более одна прошла через сердце? Оказывается, у тебя, Адгурчик, два сердца, зачем ты это от своих ребят скрывал?

— Слушайте, — говорю, — у меня одно сердце, и оно разорвется от горя, если вы так будете говорить. Неужели вы, мои друзья, местные ребята, столько раз от меня принимали хлеб-соль и я от вас столько раз принимал хлеб-соль, и вы можете поверить в это дефективное чудо?

Во-первых, я выдержал шесть пуль, потому что наш род вообще отличается жизненностью. Во-вторых, пуля, которая прошла через сердце, прошла во время сжатия сердца и фактически его не тронула. Современная медицинская наука установила, что раз в сто лет такое бывает. Пуля, которая про-

ходит через сердце, раз в сто лет проходит в момент сжатия, понимаете, сжатия, и человек остается живым. Это все равно, что на рублевую облигацию выиграть машину «Волга».

Но разве всем объяснишь. Люди приходят в бар, и некоторые по глупости спрашивают:

— Это правда, Адгурчик, что у тебя два сердца?

И мне бывает больно оправдываться за то, что я не умер. Клянусь мамой, если специально не пошел на маяк, где расположена наша бойня. Там работает наш знаменитый мясник Мисроп. Забойщик. Старику под восемьдесят лет, но нам, молодым, десять очей вперед даст, потому что каждое утро пьет стакан свежешубойной крови.

И вот я ему все рассказываю, как родному отцу. И Мисроп мне говорит:

— Я слышал про твое геройство, Адгурчик. Но от такого человека, как твой отец, учти, я другого сына не ожидал. И твою мать я знаю хорошо. Наша эшерская женщина, в прекрасном доме выросла, прекрасная хозяйка, и братья ее все еще там живут как богатые богатыри.

И теперь я тебе, как старый мясник, откровенно скажу, что за всю свою жизнь я не видел не только парного сердца, но парной селезенки не видел. И только в тысяча девятьсот тридцать шестом году мне попался черный бык с двумя желудками.

— Дорогой Мисроп, — говорю, — черный бык с двумя желудками в тысяча девятьсот тридцать шестом году какое отношение имеет к моему горю? Черный бык с двумя желудка-

ми в тысяча девятьсот тридцать шестом году означает другое — будет тридцать седьмой год, и Сталин всех сожрет.

— Я это сразу понял, — говорит Мисроп, — и гаданье по бычьей лопатке то же самое показало. Но тогда ничего не мог сказать — время было такое. Так что, дорогой Адгурчик, насчет четвероногих отвечаю всем имуществом своим, у мясника, сам понимаешь, кое-какое имущество есть. Но насчет людей я ничего не знаю, потому что я старый мясник, имею дело с животными. А насчет людей тебе может сказать хороший доктор или кто-нибудь от бериевских палачей, которые сегодня гуляют по бульвару как тихие пенсионеры. Одного—двух я тебе сам могу показать, но они, конечно, никогда не признаются, что делали с живыми людьми.

Вы, дорогие друзья, можете подумать, почему я, политически развитый бармен, часто вспоминаю бериевских палачей, когда это сейчас официально не рекомендуется? Потому, что эти аферисты принесли столько горя нашей цветущей Абхазии, что мы, патриоты, еще тысячи лет не забудем об этом.

В тридцать седьмом году мой дядя работал председателем сельсовета в селе Адзюбжа. Однажды приезжает туда человек из органов и говорит: собрать колхозников на доклад. И вот мой дядя вместе с председателем колхоза собирают людей. Человек двести собрали. Слава Богу, многие не пришли. И вот этот человек делает доклад о международном положении, а потом в конце говорит:

— Колхозная политика была неправильная. Вы должны выступить против нее, а мы вас поддержим оружием.

Вы чувствуете, какую провокацию бросает? Но крестьяне к этому времени, слава Богу, битые, кое-что понимают. Молчат. «Да» не говорят и «нет» не говорят. Расходятся. И что же? В течение двух ночей всех, кто был на собрании, вместе с председателем колхоза и сельсовета забрали. Что им пришили? Попытка вооруженного восстания против колхозного строя.

А моему дяде, потому что он ничего не подписал во время допроса, глаз выбили. Но он о себе не думал. Он, бедный, мучился, потому что своими руками тянул колхозников на собрание. Но разве он знал, что так будет? И что интересно — тех крестьян, которые с прибором положили на колхозное собрание, не тронули. Взяли только тех, которые пришли на собрание. Всем дали по червонцу, и почти никто из них не вернулся из Сибири. Но мой дядя вернулся. Я же говорил, что вообще наш род отличается жизненностью. А кто ответит за выбитый глаз дяди?

Но вот, дай Бог ему здоровья, приходит Двадцатый съезд. А дядя жил тогда с нами. Помогал нам как родной отец, потому что папа умер через два года после войны. И когда наступил Двадцатый съезд, к нам из Чегема приезжает мой двоюродный брат, работающий там учителем средней школы.

— Дядя, — говорит, — наше время пришло. Теперь ты мне покажи следователя, который выбил тебе глаз, потому что даже в Библии сказано: око за око.

— Нет, — говорит, — сынок, не покажу. Ты слишком горячий, ты на одном глазе не остановишься. Но я плачу не за

свой глаз, а за тех крестьян, которых своими руками тащил на собрание.

— Дядя, — сердчает мой двоюродный брат, — ты ни в чем не виновен, история виновата, но мы, твои племянники, должны отомстить за тебя.

Но дядя так ему ничего не сказал, и он уехал. Я тогда совсем мальчик был. Но вот приходит Двадцать второй съезд, дай Бог ему здоровья, а я в это время в армии. И я пишу дяде из армии.

— Дядя, — пишу, — опять наше время пришло. Как советский десантник, как отличник боевой службы жду встречи с твоим следователем.

Но дядя так мне его и не показал. И вскоре он умер, потому что день и ночь думал о крестьянах, которые, замерзая в Сибири, может быть, говорили между собой:

— Что мы ему такого плохого сделали, что он нас тащил на это собрание?

Разве я это когда-нибудь забуду? Вот так они очистили все наши долинные села. И теперь нам говорят:

— Хватит вспоминать про бериевщину! Сколько можно? А я говорю:

— Еще тысячу лет будем вспоминать и не хватит!

Но я теперь возвращаюсь к своему личному горю. Правда, мясник Мисроп меня поддержал, но этого мало. Люди продолжают приходить в бар и мучают вопросами за второе сердце. И я уже решил поехать в Москву, нанять хорошего профессора и получить у него справку, что человек вообще два

сердца не может иметь. Тем более некоторые приходят в бар и, пользуясь шуткой, мацают, извините за выражение, как пи-дара, чтобы послушать второе сердце. Я хотел получить такую справку, снять с нее копию у нотариуса и прилепить в баре к стенке:

— Читай сам, если грамотный!

И тут как нарочно ко мне в бар приходит один пожилой человек с женой и пьет коньячок, запивая турецким кофе. Ничего так пьет, симпатично. Я смотрю на него, а у меня глаз охотничий, и думаю: физиономия клиента тянет на профессора.

— Извините меня, — обращаюсь я к нему, — вы случайно не профессор или у вас только видимость?

— Да, — говорит, — я профессор.

Жена тоже улыбается и кивает.

— Извините меня, — говорю, — но по какой отрасли?

— Я, — говорит, — доктор медицинских наук.

— И профессор, — говорю, — медицинских наук?

— Да, — говорит, — а что?

И тут я ему рассказываю про свое горе и прошу ответить на вопрос:

— Бывает у человека два сердца или нет?

— До сих пор, — говорит, — я никогда не встречал в медицинской литературе, но в жизни все может быть.

— Как, — удивляюсь я, — вы доктор медицинских наук, вы профессор этих же наук, неужели вы точно не знаете, может быть у человека два сердца или нет?

— В жизни, — говорит, — все может быть.

— Вот от этого он и пьет, — добавляет жена.

И так я опять остаюсь со своим горем. Теперь я расскажу все, как было, потому что вы друзья дяди Сандро, а это для меня все. Тем более вам это могут здесь рассказать в искаженном виде, как будто у меня два сердца.

Клянусь мамой, клянусь моими двумя детьми, если хоть одно слово неправда. В том же баре я тогда работал. В тот день горевестник сообщил, что в Чегеме умерла моя двоюродная бабушка, то есть моей материной матери сестра, так считается по нашим обычаям.

Ей как раз исполнилось девяносто лет, и она умерла. И мне было ее очень жалко, потому что она была такая добрая старушка и я в детстве часто жил у них дома.

Вообще у меня такой организм — когда умирает старый человек, мне его больше жалко, чем молодого. Молодых тоже жалко, но не так. Такой у меня организм. Я так думаю: когда человек долго живет, он уже привыкает к жизни, и вдруг приходится умирать. А молодой еще не так привыкает к жизни и ему легче умирать. Поэтому молодые чаще бывают с душком — рискуют.

Когда я служил в десантных войсках, у меня друг был один. Виктор звали. Русак. Мы с ним жили как братья. Такой здоровый парень был, что ему прозвище дали — Водолаз. Вот это был парень! Что такое бздунеус — вообще не понимал! В самой ужасной ситуации он говорил свое любимое слово: «Нормалевич!» — и любое хулиганье в воздухе таяло.

Бедный Виктор, царство ему небесное, погиб. Стропы запутались, и парашют не раскрылся. Я прыгнул раньше. Только голову подымаю, вижу, летит как камень. Клянусь мамой, клянусь моими двумя детьми, если он не крикнул в последний раз:

— Нормалевич, Адгур! — и врезался в землю. Я тогда чуть от горя с ума не сошел. И тогда меня замполит вызвал и сказал:

— Дорогой Адгур, есть правительственное задание. Отбираем добровольцев на Кубу. Поедешь?

— Конечно, — говорю, — поеду. Что мне здесь делать, когда у меня лучший друг погиб.

Тогда был как раз карибский кризис. Мы пробыли на Кубе около двух месяцев. Ничего там такого особого не увидел, тем более нас никуда не пускали. Только океан, как я заметил, имеет преимущество цвета над нашим морем, но люди нищие. Все же я там немножко развеялся от своего горя. И теперь чуть что я говорю себе: «Нормалевич!» И любой мандраж проходит. Сейчас давайте выпьем, дорогие друзья, за упокой его души, моего Виктора... Вот так...

Так вот, значит, в Чегеме умерла бабушка. Я сдаю вырубку директору и говорю ему за полчаса до закрытия бара, что я сегодня уйду пораньше в связи с нашим домашним горем.

— Пожалуйста, — говорит, — Адгурчик, иди, но я с тобой должен поговорить по одному делу. Давай минуты две посидим, выпьем, а потом пойдешь.

Сейчас какое настроение пить, когда в Чегеме бабушка лежит мертвая, и мы завтра рано утром всей семьей туда собираемся поехать.

Но что поделаешь? Во-первых, директор. Во-вторых, человек намного старше меня. Он разливает коньяк, но я не пью. Просто для приличия две-три капли проглотил. Слушаю, что он говорит. А он какую-то ерунду говорит. Вспоминает дело трехлетней давности, которое я уладил. А он так говорит, как будто я его родственника обидел. Но, во-первых, я это дело давно закрыл, а во-вторых, почему ты три года молчал, а сейчас вспомнил про своего родственника?

В конце концов еле отделался от него, извинился и встал.

— Ну ладно, — говорит, — иди, раз у вас такое горе, а я потихоньку закрою бар и тоже уйду домой.

И вот, как сейчас помню, иду из бара приблизительно так в десять или пятнадцать минут двенадцатого. Как обычно. Прошел три квартала и прохожу мимо парка по темной улице. Вот этого горсовета, извините за выражение, маму тоже имел. Почему фонари не могут поставить? Всю жизнь одно и то же слышу: «Новый ГЭС пустили, новый ГЭС пустили», а в городе электричества все меньше и меньше.

А-а-а! Вот эти иностранцы, которые сели за тот стол, — немцы из ГДР. Они всегда заказывают только шампанское. Наше шампанское уважают. Больше ничего не уважают. За одной бутылкой могут весь вечер просидеть.

В прошлом году у меня шухерная встреча была с двумя немцами из ГДР. Молодые. Муж и жена. Они проходили ми-

мо нашего дома и вдруг увидели во дворе медвежью шкуру, которую моя жена повесила на солнце. Этого медведя я три года назад убил над Сухумгэсом. И вот жена этого немца, они по-русски немножко говорили, вошла во двор и стала спрашивать:

— Чья это шкура?

И соседи привели их в нашу квартиру. Вижу, этой молодой немочке шкура моего медведя очень понравилась.

— Пожалуйста, — говорю, — по нашим обычаям, я ее вам дарю.

Они обрадовались, а муж стал снимать золотые часы, чтобы мне подарить, но я, конечно, отказался.

— Наоборот, — говорю, — раз вы пришли в мой дом, я вас должен угостить.

Жена накрывает на стол. Я вынимаю из холодильника три бутылки шампанского, и мы садимся. А между прочим, жена, когда узнала, что я подарил эту шкуру, обрадовалась, хотя виду не показала. Она мне уже дырку в голове сделала через эту шкуру.

— Зачем нам, — говорит, — эта шкура. Она пыль собирает, и я не успеваю ее чистить... Лучше купим палас...

Моя жена, как цыганка, палас любит. Но я от души подарил им свою шкуру. Между прочим, моя жена «пыль» не может сказать. Она говорит «пыль», потому что из Эндурского района, а там никто правильно по-русски не может говорить. А между прочим, у нас в районе даже женщины правильно по-русски говорят.

И вот мы сидим пьем шампанское, закусываем, разговариваем. Они очень быстро накирялись. И эта молоденькая немочка, видно, я ей тоже понравился, вдруг встает, садится ко мне на колени и начинает меня целовать. Оказывается, у них это принято, а я не знал. Муж ее спокойно смотрит, а моя жена обалдела. С одной стороны, гости — ничего не может сказать. С другой стороны, ее мужа целует чужеземная женщина. И вот моя жена смотрит, смотрит и ничего не может сказать. А я от смеха умираю, потому что эта немочка меня целует, а моя жена смотрит, как египетская мумие.

— Что смотришь, — говорю, — ты тоже его целуй!

Одним словом, хорошо провели время, но они захмелели и, главное, еще выпить хотят, но я не могу поставить на стол новые бутылки. Боюсь, совсем опьянеют. Хоть и ГДР, но все же иностранцы. А я же знаю — КГБ не дремлет.

В конце концов я эту шкуру хорошо упаковал, и они начали уходить. И эта немочка все время спрашивает, что бы нам прислать из Германии. А жена мне тихо по-абхазски подсказывает:

— Попроси, — говорит, — люстру «Дрезден». Мода.

— Цыц, — говорю, — ничего не надо!

Выхожу с ними на улицу, ловлю такси до гостиницы «Тбилиси», где они жили, и аккуратненько довожу их до номера.

Но я отошел от своего рассказа, глядя на этих гэдээровцев. О! Я же говорил, что они только шампанское уважают! Вот

и принесла им официантка одну бутылку. Теперь будут весь вечер сидеть над ней.

И вот, значит, я иду из бара по темной улице мимо парка. Приблизительно так в пятнадцать—двадцать минут двенадцатого, не больше. Вдруг меня догоняет какая-то машина, останавливается, и кто-то кричит из нее:

— Адгур, садись в машину!

Я оглядываюсь — белая «Волга», но не могу понять чья. Думаю: наверное, наши ребята едут кутить куда-то и меня с собой хотят взять. Подхожу сказать, что у нас в семье горе и я кутить не хочу и это даже неприлично, если кто-нибудь узнает. Вижу — совсем незнакомые люди. Вах! Сразу понял — дело пахнет керосином. Но меня тоже на дирхор не возьмешь.

— Садись, — говорит один из них и открывает заднюю дверцу.

— Зачем, — говорю, — я сяду в машину, когда я вас не знаю и знать не хочу.

И быстро отхожу вперед, чтобы посмотреть номер. Смотрю — вах! — машина без номера. Дело, думаю, плохо, но мандража не чувствую, за поясом, что скрывать, мой генеральский парабеллум. Быстро захожу на тротуар, потому что там кусты олеандров прикрытие дают.

Слышу — опять догоняют. Останавливаются. Трое выскакивают на тротуар и неожиданно все трое стреляют в меня. Семь—восемь выстрелов дают с десяти шагов, и две пули на вылет проходят через грудь.

Думают, уложили. Но я на ногах и быстро иду дальше, потому что улица темная, а их трое. Нет, думаю, здесь бой принимать невыгодно, за углом железная телефонная будка. Думаю, там продержусь и милиция близко, прибегут на выстрелы.

Когда я не упал от их выстрелов, они растерялись и дали мне уйти почти до угла. Но тут они пришли в себя.

— Стой! Стой! — кричат и, покамест я за угол завернул, еще один залп дают, и еще две пули пробивают меня. И что интересно — все пули навывлет.

Ну, думаю, суки, подождите, посмотрите, как стреляет советский десантник. Забегаю за угол, подхожу к телефонной будке и вытаскиваю свой парабеллум. Как только увидели, что я достаю свою пушку, все трое легли на тротуар. Я высываюсь из-за будки и хочу стрелять. Но чтобы ваши враги в вас так стреляли, как я могу стрелять. Оказывается, правую руку мне перебили — не могу поднять пистолет. Клянусь мамой, от обиды чуть не заплакал.

Вот они, аферисты, негодяи, всадившие в меня четыре пули, сейчас лежат передо мной на тротуаре, а я не могу свой генеральский парабеллум поднять. Что делать? Все же три раза стреляю в асфальт, чтобы взять их на Бога, и теперь даю драпака. А что делать? Чувствую, что еще одну пулю, может, выдержу, а дальше не знаю.

Увидев, что я побежал, они за мной. Решили, что у меня патроны кончились. Бегу. Они за мной. Но скорость у меня, конечно, не та. Все же четыре пули. Дают еще один залп,

и еще одна пуля пробивает меня. И что интересно — эта тоже навyleт.

Слава Богу, думаю, милиция рядом. Подбегаю, а там уже человек десять милиционеров выскочили и слушают выстрелы как любители легкой музыки. Вместо того чтобы бежать на выстрелы, как положено настоящей советской милиции.

Подбегаю, а они у меня вырывают парабеллум и связывают руки наручниками.

— Что вы мне наручники надеваете, — кричу, — я никуда не убегу. Там за углом белая «Волга» без номера, и из нее вышли трое аферистов, чтобы убить меня.

Только я это сказал, вижу, один из этих троих высовывается из-за угла.

— Вот он! Вот он! Держите его! — кричу.

А они окружили меня, а туда ни один человек не идет. И вдруг вижу — он сам выходит из-за угла и нахально приближается. Я ничего не понимаю и сгоряча кричу:

— Он звал меня в машину! Он больше всех стрелял! Держите его!

А меня они еще плотнее окружают, а я уже горячусь и сам не знаю, что кричу. А этот подходит к нам, вынимает из кармана пистолет, как убийца Кеннеди, и, протянувшись через милиционеров, упирается пистолетом мне в подмышку и стреляет, издевательски говоря:

— Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!

И что интересно — именно эта пуля застряла внутри меня, а все остальные навyleт. А моего убийцу никто не хватает.

И тут я начинаю кое-что кумекать. У-у-у, думаю, да тут все куплены!

Извините на минутку. Зиночка, видишь, вон там за угловым столиком, где пятеро сидят? Пошли им пять бутылок шампанского, я вижу, они опохмеляются. Не говори, кто послал, пусть сами догадываются. Немножко загуляли, но ничего... Наши, местные ребята...

Значит, на чем я остановился? Да. Я понял, все купленные. Другой бы на моем месте сразу понял. Но я только сейчас понял. Доверчивый!

И вот вводят меня к дежурному лейтенанту. Слава Богу, вижу, знакомый парень, сто раз ко мне заходил и хлеб-соль от меня принимал. Ну, думаю, этот поможет, если они его еще не купили. Но рядом с ним стоит какой-то майор, который сразу же мне не понравился. Я лейтенанту все рассказываю и вижу, что он мнетя в мою пользу. Но этот майор ему мешает.

— Ты врешь! — кричит майор. — Ты устроил вооруженное нападение на работников милиции, и ты за это ответишь!

И хоть у меня руки в наручниках, я разрываю рубашку, открываю грудь, а там все в крови.

— Интересно, — говорю, — получается, майор. Я устроил нападение и ни в кого не попал, а в меня вогнали шесть пуль.

А майор нервничает, потому что лейтенант мнетя в мою пользу и тем более видит мою невинную кровь.

— Нечего, — кричит, — здесь представление устраивать!

И с ходу бьет меня ладонью по лицу. Тут, клянусь мамой, я все на свете забыл, и, хотя правая рука у меня не действовала, видно, я левой поднял обе руки и от души наручниками в лобяру врезал этому бериевскому майору. Он упал, и тут я потерял сознание. Как они в это время меня не убили — не знаю. Вернее, знаю — были уверены, что сам умру. А может, лейтенант помешал — ничего не могу сказать. Прихожу в себя — чувствую, в машине куда-то везут, а наручники сняли.

— Куда везете? — спрашиваю.

— Спокойно, — говорит какой-то парень в белом халате, — это «скорая помощь», мы тебя везем в больницу.

Но после белой «Волги» с этими аферистами разве я могу поверить белому халату? И тут я себе говорю: «Нормалевич, Адгур, тут все куплены, больше сознание терять нельзя».

В самом деле привозят в больницу. Врачи крутятся, вертятся возле меня, а кто куплен, кто не куплен — ничего не знаю. Но, как настоящий десантник в тылу врага, уже выработал тактику: делать вид, что не реагирую, а сам все слышу, все вижу сквозь прищуренные глаза, изучаю обстановку. Одним словом, рентген-менген, возят меня на коляске туда-сюда, вверх-вниз. Одни врачи удивляются, что я все еще жив, другие говорят: «К утру умрет», а третьи говорят: «Может, выживет...»

А я думаю: «Нормалевич, главное, не терять сознание...» И тут врачи начали обсуждать, почему я не умер. И я впервые услышал термин — сжатие.

— Видно, во время сжатия сердца прошла, — решили они.

Положили меня на операционный стол, и тут я делаю вид, что пришел в себя.

— Товарищ хирург, — говорю, — извините, но под общим наркозом я не позволю делать операцию.

— А-а-а, — говорит, — пришел в сознание. Я вообще не собираюсь делать наркоз, потому что пуля близко под кожей.

— Тогда, — говорю, — давайте.

Одним словом, пулю вытащили, сделали перевязку и отправляют в палату. Опять делаю вид, что потерял сознание, если купленные врачи надеются, что я умру, пусть надеются.

Привозят меня и кладут в отдельную палатку. Ага, думаю, почему это меня как министра кладут в отдельную палатку? Значит, думаю, что-то хотят сделать, когда я усну. Без свидетелей. Продолжаю притворяться.

Через пять минут входит молоденькая сестричка и хочет мне сунуть градусник под мышку. Приходится открыть глаза.

— Девушка, — говорю ей тихо, — мне уже туда сунули пистолет. Может, хватит?

— Ах, извините, — говорит девушка, — я ошиблась подмышкой.

— Ничего, — говорю, — девушка, только сначала поставьте этот градусник себе.

— Зачем? — говорит и смотрит на меня как будто чистыми глазами. Но я тоже не виноват, потому что не могу понять: куплена она или не куплена?

— Потому что, — говорю, — милая девушка, если этот градусник взорвется у меня под мышкой, мои родственники тоже люди, и ваша молодая жизнь попадет под сокращение.

— Что вы, что вы, — говорит девушка, — я этот градусник хорошо знаю, я его вынула из своего ящика.

— Могли подсунуть, — говорю.

— Хорошо, — говорит, — я его поставлю себе.

— Поставьте, — говорю, — но учтите, если подорветесь, я не отвечаю.

И она ставит себе градусник, и мы потихоньку продолжаем разговаривать.

— Бедненький, бедненький, — говорит девушка, — что они с вами сделали, что вы стали такой подозрительный.

— Еще бы, — говорю, — девушка... Если к тебе подъезжает белая «Волга» без номера и оттуда выскакивают три человека и стреляют в тебя как в перепелку, а ты бежишь от них в руки милиции, и когда ты в руках милиции, к тебе подходит убийца, сует под мышку пистолет и, сказав издевательские слова: «Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!» — стреляет в тебя, а милиция его не хватает, потому что он работник милиции, поневоле станешь подозрительным.

Так мы поговорили минут пятнадцать. Я нарочно не спешу, потому что думаю, если у них все плохо работает, взрывное устройство тоже может опоздать. Но уже понимаю, что девушка не куплена. Наверное, они решили: подумаешь, медсестра, зачем ее покупать!

Девушка меряет мне температуру и очень удивляется: тридцать шесть и шесть. Но я так и знал. И я ей говорю:

— Я вижу, вы чистая, честная девушка. Объясните мне, почему меня как министра положили в отдельной палате? Я хочу скромно лежать в общей палате.

— Ой, — говорит девушка, — у нас все палаты переполнены, люди даже в коридорах лежат.

— Тем более, — говорю, — за что мне такая честь? Я простой бармен, а не какой-нибудь там инструктор горкома или инспектор горторга.

— В этой палате, — отвечает мне девушка, — лежал один человек, но он два часа тому назад умер, и сюда никого не успели перевести.

Ага, думаю, девушка, сама того не зная, выдает тайну фирмы.

— А что, — говорю, — девушка, в этой маленькой палатке все умирают?

— Нет, — отвечает девушка, — изредка.

Изредка! Но изредка мне тоже не нравится.

— Знаете что, девушка, — говорю, — попросите дежурного врача, чтобы меня перевели в общую палату.

— Хорошо, — говорит девушка, — я попрошу, но навряд ли он разрешит. Сейчас три часа ночи — больных нельзя беспокоить.

Но я ее очень прошу и при этом даю ей свой домашний адрес записать, чтобы утром забежала к жене и все рассказала. Тем более если что-нибудь со мной случится.

— Ничего, — говорит девушка, — с вами не случится. У вас даже удивительный организм, чтобы после таких ран выдерживать нормальную температуру. Когда вас привезли, многие врачи считали, что вы умрете.

— Некоторые купленные в белых халатах все еще этого ждут, — говорю, — но с вашей помощью, сестричка, они этого не дождутся.

Она выходит, а я думаю: если дежурного врача уже купили, он, конечно, не разрешит перевести меня в общую палату. Зачем им свидетели?

Но все же гора с плеч упала, потому что я больше всего волнуюсь за похороны бабушки. Если дома не узнают, что со мной, на похороны никто не поедет. А если моя мать, жена, сестры, дети на похороны не поедут — это будет позор по нашим обычаям. Бабушку, конечно, похоронят и без нас, но это будет позор перед родственниками и односельчанами.

Девушка приходит и говорит, что не разрешил. Я так и знал. Ладно, думаю, теперь надо делать вид, что ничего не подозреваю.

— Хорошо, — говорю, — милая девушка. Только утром не забудьте забежать ко мне домой.

— Вы об этом не беспокойтесь, — говорит она, — я обязательно забегу. Я близко от вас живу.

— Тогда я засну, — говорю, — так и передайте: уснул.

— Спокойной ночи, — говорит девушка и уходит.

Какой спокойной ночи — сейчас главное не заснуть. И что же? Через полчаса слышу, дверь приоткрывается и входит

в палату человек в белом. Тихо-тихо подходит к моей кровати и смотрит, смотрит, смотрит. Я замер и жду, а правая нога под одеялом — на изготовку. Чуть что — прием каратэ, и человек — инвалид первой группы. Все-таки десантник — кое-чему обучили.

Но вот, вижу, отходит от меня и возле окна садится на стул. Видно, решил — пусть как следует уснет, а потом укол или порошок — не знаю, как у них сейчас там принято. Вижу, через полчаса он опять повернулся ко мне и смотрит, смотрит, смотрит, а я совсем замер. И вдруг встает и прямо идет на меня. Нервы мои не выдержали, и я делаю вид, что внезапно проснулся.

— Стой! Кто идет? — кричу.

— Тише, тише, — говорит, — больных разбудите. Мне показалось, что вы перестали дышать.

— Нет, — говорю, — пока живой и с одним человеком справиться могу.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивает.

— Почему-то очень спать хочется, — говорю.

— Спите, спите, — говорит, — это всегда бывает при большой потере крови.

С этими словами он куда-то уходит. Видно, кому-то докладывает: пока, мол, ничего сделать не могу, пациент контролирует обстановку.

Не знаю, что ему там сказали, но он снова приходит и снова смотрит на меня, но я замер — как будто сплю. Он снова садится на свой стул, кладет голову на подоконник и фантази-

рует храп. Ну, думаю, такие номера мы не кушаем. Я держу себя в руках, а он храпит, чтобы я бдительность потерял. И так до самого утра.

Рано утром вдруг под окном больницы слышу голос жены. Я вскакиваю с постели, а этот убийца в белом халате тоже вскакивает и наперерез.

— Сейчас же ложитесь! — кричит.

Я ударом левой отбрасываю его в угол, распахиваю окно и кричу:

— Я жив-здоров! Езжайте на похороны бабушки! От моего имени тоже поплачьте над гробом! Другьям моим передайте, где я лежу! Подробности после похорон!

Жена плачет.

— Мы, — говорит, — всю ночь тебя ищем, все морги, все милиции обзвонили.

— Нашли, — говорю, — куда звонить. Езжайте, только друзьяй предупредите!

А этот, в белом халате, уже очухался и тащит меня от окна. Но я теперь не сопротивляюсь. Сам ложусь.

— Как вам не стыдно, — говорит, — вы меня ударили, а я всю ночь здесь над вами глаз не смыкаю.

— Извините, — говорю, — но я в первый раз слышу, чтобы человек храпел с открытыми глазами.

Часа через два приходят друзья. Приносят цветы, качапурри, курицы, как будто дело в кушанье. Мои друзья, наши, местные ребята, быстро нашли общий язык и с главврачом, и с лечащим врачом. Теперь уже уверен — никто не тронет.

Еще два дня лежу, чувствую себя прекрасно, и что интересно — температура все время тридцать шесть и шесть. Приезжает жена, рассказывает, что бабушку похоронили с почестом, все как положено по нашим обычаям.

Через день приходит один из моих близких друзей и говорит:

— Адгур, я все узнал. Тебе шьют вооруженное нападение на работников милиции — хотят тебе вышку дать. Но ты не мандраж — друзья от Мухуса до Москвы на ноги поставлены. Первым делом надо выиграть время, чтобы ты как можно дольше лежал в больнице. Отсюда тебя не возьмут. И хватит всем трепаться про свою нормальную температуру. С сегодняшнего дня у тебя тяжелые осложнения. Лечащего я уже купил. На сорок пять дней оставляют тебя в больнице. А там посмотрим. В Москве уже наняли тебе крепкого адвоката. Местного нельзя, потому что все куплены.

Вскоре приезжает московский адвокат, приходит с моим другом в больницу, и я ему все как было рассказываю.

— Не бойся, — говорит, — Адгур, я еще не таких китов гарпунил, как ваша милиция. Но и ты за ношение оружия получишь полтора года.

— А это нельзя, — говорю, — провести как национальный обычай?

— Нет, — говорит, — нельзя. Я всегда заранее говорю, что могу сделать, потому мне и платят такой большой гонорар.

— Что ты торгуешься, — говорит мой товарищ, — тебе вышка грозит, а полтора года что такое?

— Тем более, — говорит адвокат, — фактически просидишь год, если будешь себя хорошо вести. И это на нас работает, что ты был на Кубе во время карибского кризиса как отличник боевой подготовки.

И вот приходит время. Я выхожу из больницы. Через неделю должен быть мой суд. И вдруг приходит мой товарищ, связанный с Верховным судом. У меня там тоже своя разведка.

— Адгур, — говорит, — дело плохо. Они хотят завтра в два часа дня провести внезапный суд и дать тебе местного адвоката.

— Как, местного адвоката? — говорю. — Я дам отвод такому суду!

— Нет, — говорит товарищ, — они как раз этого ждут. Если ты даешь отвод, тебя возьмут под стражу как особо опасного преступника. Чтобы отсечь тебя от друзей. Поэтому отвод давать нельзя, а надо срочно за эту ночь вызвать твоего адвоката из Москвы. Но позвони сначала в Аэрофлот, кажется, вечерние рейсы самолетов из Москвы отменили.

— Они что, — говорю, — уже Аэрофлот тоже купили?

— Точно не знаю, — говорит, — может, купили, а может, рейсы отменили, потому что не сезон, пассажиров мало.

В самом деле, звоню в наш Аэрофлот: вечерние рейсы отменены. Ладно, думаю, попробуем через Адлер. Звоню в Адлер и спрашиваю насчет вечерних рейсов.

— Пожалуйста, — говорят, — сколько хотите.

Звоню своему адвокату в Москву. Но телефон заказываю не я. Товарищ заказывает, а я уже потом беру трубку. На телефонной станции тоже все куплено.

— Вы, — говорит мой адвокат, — правильное решение приняли. Срочно вылетаю, встречайте в Адлере.

Одним словом, здесь мы их обштопали. Когда мой судья на следующий день узнал, что мой адвокат на месте — чуть-чуть челюсть не потерял. А в это время мое дело уже передали местному адвокату, и он его читает. Мне ребята доложили. Я прихожу в адвокатуру и вижу — этот чмур сидит в очках и читает мое дело, как писарь из довоенной картины «Дарико».

— Брысь! — говорю. — Чтобы твоего духу не было! Виднейший московский адвокат, окончивший три института, два месяца занимается моим делом, а ты со своим купленным дипломом хочешь за одно утро изучить!

Одним словом, вместе с друзьями ждем суда, который на два часа назначен. А в это время мой адвокат почему-то крутится по городу, а в чем дело, не говорит. Его один из друзей обслуживает на машине. То в Верховный суд едет, то в прокуратуру едет, то в горком едет. Чувствую — что-то делается, а что — понять не могу. Неужели, думаю, эти аферисты и моего адвоката подкупают? И вот перед самым судом он подходит ко мне и говорит:

— Адгур, я тебя, как обещал, спасу. Но их обвинить мы не можем, потому что слишком могучие силы заинтересованы в этом. Тайная дипломатия. Придется перестроить защиту.

Ты не знаешь людей, которые в тебя стреляли. И так судья против тебя настроен, но я ему сломаю хребет.

Значит, человеку, который на глазах у милиционеров в упор выстрелил в меня, при этом издевательски говоря: «Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!» — как будто я не человек, а движущаяся мишень кабана, значит, ему ничего не будет?! Я психанул, но ребята меня кое-как успокоили и довели до суда. Что делать? Взял себя в руки и говорю все, как научил адвокат.

Суд идет, уже видно, что вышку мне не дадут, но этот сволочь-судья хочет дать мне лет восемь под предлогом хулиганской перестрелки в пьяном виде.

А народные заседатели кто? Мужчина и женщина. Мужчина, по-моему, глухой из артели «Напрасный труд». А женщина — передовица швейной фабрики, по-русски двух слов сказать не может. Сколько я судов ни видел в нашем городе, всегда кто-нибудь из заседателей — со швейной фабрики. Почему им так швейная фабрика нравится, не пойму. Там воруют так же, как и везде.

Заседателей у нас вообще за людей не считают. Их даже никто не покупает, потому что они, что судья скажет, то и подпишут.

Одна надежда на моего адвоката. Ну он им дал чесу! Во-первых, он высмеял следствие, как бесчестное и безграмотное. Таких аферистов, как наши следователи, Техас не знает. Оказывается, следователь мой генеральский парабеллум вообще изъял из дела. Какому-то начальнику

подарил. Мой генеральский парабеллум заменили каким-то дряхлым, вшивым вальтером. Перед людьми, которые меня не знают, стыдно было. Такой вальтер у нас хороший деревенский сторож в руки не возьмет. При этом выставили шесть гильз, якобы найденные на месте перестрелки. Техас, по сравнению с нашими следователями, новоафонский монастырь до его закрытия.

Значит, уже скрыть нельзя, что в меня шесть раз попали. Делают так, как будто я шесть раз стрелял и в меня шесть раз стреляли. Мой защитник это тоже высмеял.

— Это что, — говорит, — перестрелка или дуэль Пушкин — Дантес?!

Он сказал, что я вообще в преступников не стрелял, а стрелял в воздух, чтобы позвать милицию.

— Посмотрите на этого парня, — сказал он, — в недалеком прошлом десантник, отличник боевой подготовки, добровольцем уехавший на Кубу во время карибского кризиса... Неужели он ни разу из шести выстрелов не мог попасть в этих разбушевавшихся хулиганов, чьи личности, вероятно, будут устанвлены в дальнейшем более объективным следствием?

Значит, намек дает на наш первый вариант защиты.

— Выходит, — говорит, — по словам уважаемого судьи, наши десантники не умеют стрелять? Это клевета на нашу замечательную армию, призванную защищать мирный труд!

Тут его прокурор останавливает и говорит, что в словах судьи нету клеветы на нашу армию, но есть кавказский акцент, который московский товарищ принял за клевету.

Но мой адвокат с места ему отвечает:

— Есть клевета, и я прошу занести это в протокол!

Одним словом, он их раздраконил. Как он говорил, так и вышло. Мне дали полтора, и я из них просидел год.

И вот привозят меня в драндскую тюрьму, и там я вижу надзирателя, который оказался дядей моего хорошего товарища.

— Я слышал, — говорит, — Адгурчик, про твое дело. Знаю — ты не виноват. Но что я могу сделать, я маленький человек.

— Спасибо, — говорю, — дядя Тенгиз, мне ничего не надо.

Но в моем положении доброе слово душу греет.

— Одно, — говорит, — могу сделать: сколько хочешь внеочередные передачи.

И он вводит меня в камеру и сам уходит. И вдруг я вижу, такой здоровый парень смотрит на меня с нар и кричит:

— Привет, Урюк! Я тебя давно ожидал, Урюк!

Я смотрю — личность незнакомая.

— Ты, — говорю, — дружок, обознался. Меня зовут Адгур.

И я так прохожу мимо него и сажусь на свое место.

— Нет, — кричит, — ты Урюк! Как дела на воле, Урюк?

Я ничего не могу понять: оскорбить он меня хочет или обознался? И тут человек, который рядом сидел на нарах, наклоняется ко мне и тихо говорит:

— Не обращай внимания — он псих. Он всех называет по-своему.

— Если псих, — говорю, — почему он здесь, а не в сумасшедшем доме?

— Он, — говорит, — и псих и уголовник сразу. Не обращай внимания, он всем нам дал клички.

А я тогда не знал, что такое урюк.

— А что такое урюк? — говорю.

— Это, — говорит, — сушеный абрикос. В Средней Азии делают.

Теперь я думаю, где сушеный абрикос, где я? Если б я худой был, тогда другое дело. Видно, в самом деле псих. Черт с ним, думаю, если я шесть пуль выдержал, Урюк тоже выдержу.

И вот так мы живем в камере дней десять. А там еще сидел один такой молодой парень, с виду худенький, как оказалось, бывший работник железнодорожной милиции.

У него было такое дело. Он поймал двух проводников, которые везли около тонны мандаринов в город Горький. И он конфисковал эти мандарины, чтобы составить акт на проводников и отправить его в Батуми по месту их работы. Но он еще совсем молодой работник, а проводники битые, ничего не боятся.

— Ладно, — говорят, — мандарины ты конфисковал, но акт не надо писать. Мы оставляем две тысячи рублей у такого-то человека. Возьмешь и разделишь со своим начальником.

— Нет, — говорит, — мне ничего не надо, я буду составлять акт.

Они думают — он просто ломается, а он молодой, честный. Составил акт и послал по месту работы.

Проходит время, и вдруг приезжают эти проводники, оба пьяные в доску, и устраивают ему скандал.

— Ты негодяй, — говорят, — ты взял деньги, а дело не сделал! Мы на тебя в суд подадим.

И в самом деле подали. Оказывается, что получилось. Они тогда после него зашли к начальнику и ему тоже все сказали, и он обещал. И начальник его на следующий день вызвал и спросил насчет акта, а этот парень сказал, что акт составил и уже послал по месту работы. И начальник промолчал. И на этом заглохло. Оказывается, начальник что решил. Он решил связаться с их начальником по месту работы, они все друг друга поддерживают, и сказать ему, чтобы он этот акт порвал. А деньги, которые оставили проводники, забрать себе. Может, с тем начальником собирался делиться, может, нет, не знаю.

И он, ничего не говоря, забрал эти деньги. Но тот начальник или от этого ничего не получил или решил еще заработать. Он показал акт проводникам и, скорее всего, потребовал от них деньги. И они, скорее всего, ему дали. И от этого они психанули.

Потому что они решили — в Мухусе дело не выгорело и приехали за своими деньгами и узнали, что деньги уже взяты. И начальник им сказал, что этот парень самовольно послал акт. И потому они психанули и подали в суд.

Начальник, конечно, уладил бы это дело — но в это время Шеварднадзе проводил кампанию против взяток. И от этого все судьи и прокуроры перебздели, потому что боялись за свои старые грехи и всем совали большие сроки, чтобы показать свою честность.

И начальника забрали, и этого парня забрали, и обоим дали по восемь лет. И начальник, дурак, думая, что ему меньше срока дадут, или от стыда, сказал, что поделился с ним деньгами. Но разве судьи и прокуроры, люди с высшим образованием, не могли понять, что психологически даже невозможно, чтобы человек и деньги взял и акту дал ход? До того они перебздели за свои старые грехи.

И вот этот несчастный, вроде меня, сидит со мной в камере, хотя и бывший милиционер. И этот псих к нему цепляется за то, что он бывший милиционер. Он его называл — Сапог.

И мне жалко этого парня, он через свою честность пострадал, и дома молодая жена с годовалым ребенком. А этот уголовник к нему цепляется, но я терплю, хотя нервы не выдерживают. И я понял, что шестью пулями меня убить не смогли, но нервы испортили.

И вдруг однажды утром, я даже не заметил, с чего началось, псих схватил за горло этого несчастного парня, и я думал, как обычно тряхнет и пустит. Но вижу — не отпускает. А тот уже начинает синеть, как баклажан.

— Что ты делаешь, — кричу и пытаюсь его оторвать, — ты задушишь человека!

А он здоровый — не отрывается. Тем более — раздухарился. И я ему несколько раз так кричал и пытался оторвать, но он всосался в него как клещ. Вижу — задушит парня на глазах. Нервы мои взорвались! Врезаю от души прямо в челюсть.

Он упал. Я сел на нары — чувствую, нервы никуда не годятся. А этот как упал, так и лежит. И я начал беспокоить-

ся: вдруг убил? Представляете, как мой судья обрадуется, если этот умрет. Нет, думаю, не может быть — глубокий нокаут.

Правильно, минут через пятнадцать он поднял голову и молча, на четвереньках дополз до своих нар, заполз туда и лежит, к стенке повернулся. Не шевелится.

И так весь день пролежал — обед не тронул, ужин не тронул. К стенке повернутый лежит, не шевелится, правда, дышит. Опять беспокоюсь, может, думаю, падая, сотрясение черепа получил?

И мне тот самый человек, который сказал, что он псих, опять наклоняется и тихо говорит:

— Надо в санчасть сообщить.

— Нет, — говорю, — подождем, может очухается.

В санчасть сообщать опасно. Потому что, если он там все расскажет и если об этом узнают мои враги, они пообещают ему свободу, лишь бы он меня убил. Конечно, свободу не дадут, но он псих, поверит.

И я уже этого начинаю бояться. И еще я боюсь, что он притворяется оглушенным, а ночью встанет и чем-нибудь долбанет. И теперь я всю ночь должен не спать, как тогда в больнице. Что за судьба, думаю. И так до утра лежу и не сплю. Иногда голову подымаю, смотрю — как повернулся к стенке, так и лежит.

Утром, только я сел на нары, вижу, он встает и медленно идет ко мне. Сейчас не знаю, что буду делать. В открытой драке я, конечно, его не боюсь. Но мне скандал не нужен. Не дай

Бог, мои враги узнают. Подходит ко мне, наклоняет свою большую голову котяры и говорит:

— Ты, Урюк, слишком сильно меня ударил.

— Слушай, — говорю, — ты же чуть не задушил парня. Я же тебя спас от вышки.

— Ты, Урюк, чокнутый (это он мне говорит!), тебя мусора чуть не угробили, а ты их защищаешь.

— Слушай, — говорю, — мы же не судьи. Надо же отличать купленных аферистов от честных людей. Он за свою честность восемь лет получил, а ты его душишь.

Он стоит так, наклонив голову котяры, и думает. Потом говорит:

— Все же, Урюк, ты меня слишком сильно ударил.

— Ну прости, браток, — говорю, — нервы... Погорячился...

И так мы примирились. Вообще они уважают силу, больше ничего не уважают. Стал тише себя вести. А в тот день он лежал, повернувшись к стене не от удара, от обиды.

И вот меня уже отправляют в лагерь, и я снова вижу с этим надзирателем дядей Тенгизом. Он прощается со мной, и я ему говорю:

— Дядя Тенгиз, тут в камере этот парень из милиции, несчастный, вроде меня. Боюсь, убьет его этот уголовник, переведи его куда-нибудь.

— Хорошо, — говорит, — Адгурчик, выброси из головы, я его сегодня же переведу... Это наша ошибка, что мы его туда посадили...

И так я попадаю в лагерь. Да, потом, когда меня выпустили, я нашел семью этого парня и они мне показали ответ из Прокуратуры СССР на их жалобу. Там была резолюция одного из помощников генерального прокурора. Я ее на всю жизнь запомнил. Вот она: «В связи с кампанией по борьбе с злоупотреблениями в Грузии пересмотр дела считаю нецелесообразным». Вот так, дорогие мои, у нас еще делается!

Человек ни за что пострадал. А по закону ему могли дать год или два, и то условно. За недоносительство. Он должен был как работник милиции сказать куда надо, что такие-то люди через такого-то человека пытаются дать взятку. Но он не сказал по неопытности. А теперь кому же жаловаться, Господу Богу?

И вот, значит, я в лагере. И жена мне написала, что на моем месте работает какой-то человек. И тут я понял, чьих рук мое дело. Этот человек несколько раз заходил к моему директору, и они о чем-то шушукались. Но я не поинтересовался. Я вообще не имею привычку лезть в чужие дела. Теперь я все понял.

Тогда сгоряча я не обратил внимания, что мой директор ни разу не посетил меня в больнице и на суде не был. У нас это не принято! И я вспомнил, что хотел уйти с работы на полчаса раньше, а он меня не пустил, подняв дело трехлетней давности. А как он мог меня отпустить, когда уже договорился с этими. Может, они еще номера снимают со своей белой «Волги», а я уже домой пошел?!

Теперь я все понял, но терплю. Зуб имею только на двоих. На директора, который продал мою жизнь за мое место, и на

того, который последний выстрелил, издевательски крича: «Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!»

Одну минуту, друзья. Зиночка, вон тот стол, третий от конца. Что пьют, отсюда не вижу. Потихоньку подойди и посмотри. Если коньяк — бутылку армянского, если вино — четыре бутылки. Той же марки. А то некоторые, когда вот так посылаешь, несут вино, которое никто не покупает. Но ты не такая, я знаю. И не надо жалеть мои деньги! Не надо! Для друзей живем, для гостей живем, больше я не знаю, для чего жить.

Но когда я в баре работаю, капли не пью и даром спичку не дам. Такая у меня привычка. Строгий! Но когда гуляю — гуляю!

Есть у нас такие, которые мебель меняют каждые три года. Китайцы тоже кое в чем правы: зажирили! Однажды один мой сосед говорит:

— Зайди, Адгурчик, посмотри, какая у меня обстановка!

Захожу. В самой большой комнате справа книжные полки до потолка, слева книжные полки. Слева все книги красные, справа все книги зеленые.

— Это что, — говорю, — кремлевский кабинет Ленина?

— Нет, — говорит, — это зала. Сейчас мода.

— Слушай, — говорю, — зачем тебе столько книг, когда ты такой малограмотный, что повестку из военкомата не можешь отличить от повестки в суд.

Обиделся. Правду не любят. Жена моя тоже десять лет причитает: давай менять мебель, давай менять мебель!

— Цыц! — говорю. — Трехкомнатная секция есть? Есть. Дети сыты, аккуратненько в школу ходят? Ходят. Если сегодня пять человек придет в дом, не выходя, есть чем накормить, напоить? Есть. У тебя под кроватью пять-шесть пар туфель, как утки, стоят? Стоят. А моя мама во время войны, когда отец родину защищал, имела единственные туфли. И когда отдала их в починку, в галошах пошла на работу, чтобы моих сестер кормить. Разве я это когда-нибудь забуду? А теперь подумай своими куриными мозгами, кто моя мать и кто ты?

Нет, я не против нового, где надо. И у нас все есть. Газовая плита, ванная, то-сё, что нужно для современной жизненности. А что нужно для показухи, я ненавижу. Не надо! Не надо мне! Отцовская мебель как стояла, пускай стоит! Где висел при отце персидский ковер, пускай висит! Где портреты родственников висели, пускай висят! Кушать не просят! А показухи мне не надо!

Один тут дурак, не буду имя называть, купил жене шубу за четыре тысячи. мех толще, чем моя нога. спрашивается, зачем в нашем солнечном крае такая шуба? В марте месяце, чтобы людям показаться, пошла в этой шубе на похороны. Солнечный удар, и свалилась как свинья. спрашивается, чем теперь хозяевам заниматься — этой кекелкой или своим покойником? Не надо! Китайцы тоже кое в чем правы: за жирели!

Эти показушники меня опять отвлекли. И вот, значит, выхожу из тюрьмы, неделю гуляю с друзьями, потом сажусь

с товарищем в такси и подъезжаю к бару. Прошу товарища зайти в бар и позвать директора.

И вот директор нехотя подходит к машине. В глаза не смотрит.

— Поздравляю, — говорит, — слава Богу, вышел.

— Спасибо, — говорю, — но у меня к тебе дело.

— Какое дело?

— Вот ждет такси, — говорю, — поедем на Чернявскую гору, я тебе там все расскажу.

Ломается как кекелка.

— Сам знаешь, — говорю, — на что я способен, если не поедешь.

Приехали мы на Чернявскую гору, я отвел его в кустики мимозы и все сказал. Он, конечно, отрицает, но что интересно — в глаза не смотрит.

— Я тебя трогать не буду, — говорю, — потому что мать жалко, сестер жалко, детей жалко. По этой причине ты вместе с человеком, которому за мою кровь продал мое место, тихо-тихо напишете заявление об уходе с работы в связи с нервами. А я бескровно, в отличие от некоторых, продам твое место, как ты продал мое. Вот мои условия, если хочешь жить.

Одним словом, с директором расправился как мужчина. Выбросил его из бара вместе с его шестеркой. А на его место по рекомендации моих друзей взяли хорошего, солидного партийного человека.

И вот я снова работаю на своем месте. Ребята приходят, целуют, поздравляют меня. Говорят — без меня в этот бар даже ходить отвыкли.

Все хорошо, но как быть с тем, который организовал за мной охоту, который вот сюда под мышку выстрелил, издевательски говоря: «Да замолчишь ты когда-нибудь или нет!»

Душа у меня горит, а что делать? Город маленький, и три-четыре раза в году сталкиваемся на улице. Он, как только меня увидит, переходит на другую сторону. Он делает вид, что не узнает, и я через стыд вынужден делать такой же вид. Но сколько можно терпеть? А мне родных жалко, потому что не могу убить его и уйти в лес, как наши предки. И я горю меж двух огней, но до конца не сгораю.

А время идет и этому аферисту чины кладет на плечи. Был старший лейтенант, а теперь майор. И я уверен, что слух о том, что у меня два сердца, он пустил. Чтобы перед кем-то оправдать себя за неудачное покушение. Но мне не надо это дефективное чудо! У меня нормальное сердце болит.

Потому что мой дядя с неотомщенным глазом лежит в земле и плачет за погубленных крестьян, потому что мой дорогой Виктор свою цветущую молодость, как нераскрытый парашют, унес в могилу, а мой враг ходит по земле и чины получает.

Потому я так, в свободное от работы время, люблю посидеть с хорошими людьми, поговорить от души, забыть свое горе, послать две-три бутылочки своим ребятам, выпить за друзей.

Потому что в этом мире, где все куплено еще до нашего рождения, я ничего такого особого не видел, чтобы добро-

вольцем второй раз пришел сюда. Но я видел одно прекрасное в этом зачуханном мире — это мужское товарищество, и за это мы выпьем. Потому что человеку же-ла-тель-но, чтобы в жизни было одно такое маленькое вещество, которое никто не может ни купить, ни продать! И за это вещество мы выпьем!

23. о, марат!

Лучшим идиллическим временем наших взаимоотношений с Маратом я считаю тот ранний период, когда он работал фотографом на прибрежном бульваре напротив театра. Там красовался небольшой стенд с образцами его продукции, а сам он сидел на парапете, ограждающем берег, или похаживал поблизости, издали окидывая орлиным взором или тем, что должно было означать орлиный взор, встречных женщин или женщин, остановившихся у стенда, чтобы погладить на его работы.

Нередко он кидал орлиный взор и вслед удаляющимся женщинам, и я всегда удивлялся их телепатической тупости, потому что не почувствовать его взгляд и не обернуться мне казалось невозможным, настолько этот взгляд был выразительным.

В те времена я ему нравился как хороший слушатель его любовных приключений. Этим приключениям не было ни конца ни края, а моему терпению слушателя не было границ.

Многие к его рассказам относились иронически, я же проявлял только внимание и удивление, и этого было достаточно, чтобы он мне доверял свои многочисленные сердечные тайны.

Впрочем, будем точны, свои сердечные тайны он доверял всем, но не все соглашались способствовать условиям их свободного излияния. Я же этим условиям способствовал, думаю, больше других.

Марат было человеком маленького роста, крепкого сложения, с густыми сросшимися бровями, которыми он владел, как лошадь своим хвостом. То есть он их то грозно сдвигал, то удивленно приподымал обе или саркастически одну из них, что, по-видимому, производило на женщин немалое впечатление в совокупности с остальными чертами лица, среди которых надо отметить, разумеется, сделать это надо достаточно деликатно, довольно крупный с горбинкой нос. Кроме всего, общее выражение романтической энергии, свойственное его лицу, способствовало в моих глазах правдоподобию его рассказов.

Иногда, чаще всего возвращаясь с рыбалки, я проходил мимо его владений и, если он в это время не был занят клиентами, я останавливался, мы садились на скамейку или на парапет, и он мне рассказывал очередную историю.

Рассказывая, он не спускал глаз с женщин, проходивших по бульвару, одновременно прихватывая и тех, что проходили по прибрежной улице. Иногда, чтобы лучше разглядеть последних, ему приходилось нагибать голову или слегка от-

топыриваться в сторону, чтобы найти проем в зарослях олеандра, сквозь которые он смотрел на улицу.

Если, когда я проходил, он был занят клиентами, то, глядя в мою сторону, он вопросительно приподымал голову, что означало: нет ли у меня времени подождать, пока он отщелкает этих людей?

Иногда, увидев меня и будучи занят клиентами, он иронически отмахивался рукой, дескать, новых впечатлений масса, но сейчас не время и не место о них говорить.

Сами рассказы его сопровождалась схематическим изображением некоторых деталей любовной близости. Этот показ многообразных позиций любви меня нередко смущал, тем более что он отводил мне роль манекена партнерши. Я чаще всего отстранялся от этих его попыток, стараясь ввести его рассказ в русло чистой словесности, в которой он и так достигал немалой выразительности.

В его рассказах поражало даже само многообразие мест свиданий: парки, ночные пляжи, окрестные рощи, каюты теплоходов, фотолаборатории, номера турецкой бани, далеко в море в камере машины, глубоко в земле в лабиринте сталактитовых пещер и, наконец, высоко над землей в кабине портального крана, где у него было несколько головокружительных встреч с крановщицей.

Рассказы об успешных свиданиях всегда кончались одной и той же сакраментальной фразой:

— Ну что тебе сказать... Она была так довольна, так довольна...

Иногда, подчеркивая, что ему удалось ускользнуть от угроз насильственной женитьбы, он так оканчивал свой рассказ:

— Ну что тебе сказать... Паспорт остался чистым...

Иногда он ошарашивал меня неожиданным вопросом. Так, однажды он у меня спросил:

— Ты когда-нибудь пил гранатовый сок из груди любимой?

— Что, что? — опешил я.

— Гранатовый сок из груди любимой, — повторил он и для наглядности, слегка откинувшись, выпятил собственную грудь, словно пытаясь напомнить мне общепринятую позу поения возлюбленного гранатовым соком.

— Нет, конечно, — отвечал я ему, голосом показывая, что не только не знаком с таким способом удовлетворения жажды, но и сомневаюсь в самой его технологической возможности. Поняв это без слов, он без слов объяснил мне, как это делается.

— Очень просто, — сказал он и, продолжая топырить грудь, свел возле нее свои ладони, словно закрыл створки плотины. — Кто не пил гранатовый сок из груди любимой, — назидательно заметил он, — тот не знает, что такое настоящий кайф... Это даже лучше, чем тянуть коньяк из пупка любимой...

— Перестань трепаться, — сказал я ему на это, — много ли туда вместится коньяка?

— Дело не в количестве... пьяница, — перебил он меня, — дело в кайфе...

Иногда он приносил в редакцию «Красных субтропиков», где я работал, свои снимки. Они изображали живописные уголки нашего края, эстрадных певиц или сцены гастрольных спектаклей.

Порой, когда я рассматривал его фотографию живописного уголка нашего края, он показывал на какую-нибудь точку на этом снимке и говорил:

— Вот здесь мы сначала с ней сидели... А потом спустились вот сюда, в рощицу... Ну что тебе сказать... Она была так довольна, так довольна...

Снимки, которые он приносил, как правило, сопровождались более или менее расширенными подписями, которые тоже, как правило, приходилось начисто переписывать. Но я это делал ради его рассказов и наших дружеских отношений. Вернее, как только я начинал повёрчивать, он вытаскивал одну из своих бесконечных историй, и я поневоле превращался в слушателя.

Подписи к снимкам, которые он давал мне, были не только неумелы, но и поражали своей чудовищной неряшливостью. Иногда они были начаты карандашом, во всяком случае, кусочком грифеля, а закончены чернилами. Иногда наоборот. Почерк был такой, что казалось, он составляет эти подписи в машине, мчащейся со скоростью сто километров в час.

Снимки, надо сказать, были выполнены всегда на самом высоком уровне, и если многие из них не проходили в газету, то только потому, что, снимая служительниц театраль-

ных подмостков, он довольно часто находил такой ракурс, словно отшелкивал их, предварительно спрыгнув в оркестровую яму.

Кстати, насчет снимков. Однажды Марат после поездки в Москву кроме рассказов о своих победах над доверчивыми москвичками привез оригинальное фото. В вагоне метро он случайно наткнулся и тут же заснял такую картину: с одной стороны вагона сидят пассажиры и все до одного читают книги и журналы, а с другой стороны, напротив них, все пассажиры дремлют или спят.

Это был действительно редкий снимок и выполнен очень четко, даже чувствовался подземный ветер метро. Во всяком случае, было видно, как одна девушка, читающая книгу (конечно, она оказалась на переднем плане), очень милым жестом, не глядя, рукой приглаживает растрепанные волосы.

В редакции снимок всем очень понравился, и его уже хотели давать в номер, как вдруг на летучке один из наших сотрудников сказал, что снимок могут неправильно понять. Его могут понять так, как будто у нас в стране половина людей спит, а вторая бодрствует и учится. Несмотря на абсурдность такого истолкования этой юмористической оценки, наш редактор Автандил Автандилович решил фотоснимок попридержать.

— Да, — сказал он, поглядывая на него, — получается, что половина населения у нас неграмотна, а другая половина грамотна, что не соответствует положению вещей... но момент схвачен интересный...

Марат несколько раз спрашивал насчет своего снимка, но ему каждый раз обещали, что он будет использован в свое время, но время это никак не приходило. Кстати, Автандил Автандилович повесил эту забавную фотографию у себя в кабинете.

В конце концов однажды на летучке один из наших сотрудников предложил разрезать снимок на две части и напечатать их рядом с такой подписью: «У нас в метро и у них». Идея эта Автандилу Автандиловичу очень понравилась, и он уже благосклонно кивнул головой, но тут выступил все тот же скептик, который, кстати, в отличие от нас, был в Париже. Он сказал, что конструкция вагонов парижского метро сильно отличается от нашей и нас могут уличить в обмане. И хотя кто-то пытался спасти положение, сказав, что метро есть не только в Париже, но и в других капиталистических странах, Автандил Автандилович согласился с замечанием скептика, и публикация снимка была опять отложена на неопределенное время.

Уже по судьбе этого снимка можно было догадаться, что рок заносит над Маратом свою неумолимую руку, но тогда никто так далеко не смотрел, да и сам Марат был мало озабочен судьбой своего фото.

Однажды вечером, когда мы с Маратом прогуливались по набережной, кстати, он всегда был модно одет, он издали кивнул мне на одну из старушек, торговавшую недалеко от порта семечками.

— Внимательно взглядишь в нее, — сказал он.

Когда мы поравнялись, я посмотрел на старушку и ничего особенного не заметил. Правда, лицо ее мне показалось довольно благообразным.

— Ну как? — спросил Марат.

— Старушенция как старушенция, — говорю.

— Пятнадцать лет назад, — сказал он, — она еще была дамой в соку. Из-за нее один таксист другого пырнул ножом. А у меня, тогда еще зеленого юнца, был с ней роман. Да, она работала официанткой в ресторане аэровокзала. После каждого свидания я находил у себя в кармане сотнягу, старыми конечно. И вот однажды прихожу в ресторан, и она мне говорит:

— Сегодня у нас последнее свидание.

— Почему? — говорю.

— Выхожу замуж за летуна, — говорит.

— А как же я? — говорю.

— Ну, ты еще молоденький, — говорит, — у тебя будет много таких... Давай я тебе принесу бифштекс, а то на шашлык сегодня идет несвежее мясо...

— Ладно, принеси, — говорю, а сам горю от обиды.

Съел я этот бифштекс и ушел. У нас было излюбленное местечко в старом парке. Я пришел в этот парк, нашел заросли крапивы, осторожно вырвал один стебель, обернул его газетой, чтобы не жегся, и сунул его в кусты самшита возле места нашего свидания.

Прибегает запыхавшись. Миловались, целовались, прощались, а потом я как достал этот стебель крапивы да как стал лупцевать ее поперек голого зада.

— Вот тебе твой летун! Вот тебе твой летун!

— Но ведь ты не собирался на ней жениться? — перебил я его.

— Нет, конечно... Но молодой был, горячий...

Я хотел у него спросить, нащупал ли он в тот вечер у себя в кармане сотнягу, и если нащупал, то как с нею распорядился. Но все-таки не спросил. Да и что спрашивать. Марат он такой и есть, и надо его или отвергать или принимать таким, какой он есть.

Мы дошли до конца набережной и пошли обратно. Когда мы проходили мимо этой старушеницы, я украдкой посмотрел на Марата, а потом на нее.

Марат, проходя мимо нее, как-то важно приосанился, подобрался, как бы сурово предупреждая ее попытку восстановить знакомство. Старушеница на нас даже не посмотрела.

Странное чувство испытал я, глядя на нее и вспоминая рассказ Марата. Резались шоферы такси, бежала, запыхавшись, на свидание к юному любовнику, была бита крапивой, а вот теперь такая мирная старушка, продает семечки. Куда делся ее летун, Бог его знает. Да, странное чувство я тогда испытал, словно заглянул в жестокий и бездонный колодец жизни и увидел на дне его свое собственное постаревшее лицо. Марат шел рядом со мной как ни в чем не бывало.

— Ты бессмертен, Марат, — сказал я ему.

— Не надо мне мозги лечить, — ответил Марат. И, властно озираясь, добавил: — Лучше пойдем по кофе выпьем.

Точно так же однажды на базаре он издали кивнул мне на одну дородную матрону, которая стояла за прилавком, грудью прикасаясь к целому стогу зелени: петрушки, кинзы, укропа, цицмата, тархуна, зеленого лука.

— Забавное приключение было у меня с ней лет десять назад, — сказал он, когда мы прошли ряд, где она торговала. — ...Возвращался я с охоты и проходил через деревню Атара-армянская. И тут меня застигла гроза такая, что за три шага ничего не видно. Я вбежал в первый попавшийся двор и вхожу на веранду дома. Дождь пополам с градом лупит такой, что хоть кричи — ничего не услышишь. Все-таки слышу, какой-то стон доносится из дому.

Дай, думаю, посмотрю, что там такое, и открываю дверь. Смотрю, лежит женщина в постели и зубами стучит. Говорю, так, мол, и так, с охоты возвращался, застала гроза, разрешите переждать.

Стонет, ничего не отвечает, а только черными глазищами смотрит на меня. Только глазища и торчат из-под одеяла. Да еще слышу — зубами стучит.

— Что с вами? — говорю и как-то странно мне делается: град стучит о крышу, женщина лежит под одеялом, а кругом никого.

— Лихорадка, — говорит, — возьми с той постели одеяло и накрой меня...

Приказывает прямо... Я беру с другой постели одеяло и набрасываю на нее. А она лежит, глазищами сверкает и, слышу, продолжает стучать зубами. А мне так странно, кру-

гом гроза, а здесь одна женщина в доме лежит под одеялом и зыркает своими глазищами.

— Ну как, — говорю, — согрелись?

— Нет, — говорит и стучит зубами, — в другой комнате на кровати одеяло, принеси и накрой меня...

Я уже сам начинаю дрожать. Вхожу в другую комнату, стягиваю одеяло с постели, беру и накрываю ее.

А она все глазами зыркает и продолжает стучать зубами. А мне так странно — чужое село, чужой дом и женщина одна в доме лежит под одеялом, глазища так и зыркают, а кругом гроза и ни живой души. Думаю, может, ведьма какая. А сам дрожу не знаю отчего, волнуюсь.

— Ну как, — говорю, — согрелись?

— Нет, — отвечает мне резко и стучит зубами, — в той комнате на вешалке пальто висит, принеси и укрой меня...

Вхожу в другую комнату. В самом деле на вешалке висит пальто. Снимаю его дрожащими руками, несу и накрываю ее. А кругом гроза, крыша трещит, а в доме женщина стучит зубами и зыркает из-под одеяла.

— Ну как, — говорю, а у самого голос осекается, — согрелись наконец?

— Нет, — говорит, — принеси еще чего-нибудь.

А сама глазищами так и зыркает из-под всего, что я набросал на нее. А кругом гроза, крыша гремит, а в доме я и эта женщина. Страшно.

— Хозяйка, — говорю, а у самого голос вибрирует, — больше вроде нечего нести...

— Ну тогда, — грозно так произносит, — сам ложись сверху!

А у самой глазищи так и зыркают, а зубы так стучат, что сквозь грозу слышно. Не женщина, а ведьма. Другой на моем месте от мандража растерялся бы. Но я, хоть и мандражу, вперед иду. На всякий случай прислоняю ружье к изголовью кровати и, была не была, ныряю в постель. Одним словом, что говорить, солдат свое дело знает. Через полчаса она откидывает все, что на нее навалено:

— Жа-а-а-рка... Принеси мне из кухни воды...

Я иду в кухню, нахожу воду и, черпанув кружкой, приношу. Пьет. Смотрю, опять своими глазищами на меня уставилась и хоть зубами не стучит, а все равно начинаю волноваться.

— Хозяюшка, напилась? — спрашиваю у нее.

— Нет, — говорит и дает мне кружку, — там на кухне в кувшине айран — принеси мне!

Ну нет, думаю, надо рвать когти, пока мужики меня не застукали в этом доме. Беру кружку, потихоньку прихватываю ружье и как будто на кухню, а сам даю драпака. Слава Богу, гроза кончилась, градины на земле так и сверкают, а я радуюсь жизни и иду.

Вот как иногда бывает. Лежит под одеялом, зыркает глазами, а зубы так и стучат. Попробуй пойми, чего ей надо. Я-то быстро ее раскусил, но другой на моем месте чикался бы, укрывая ее чем попало или подавая напиток, а тут бы подоспевшие мужики прихлопнули его на месте. Шутка ли — кругом

чужое село, град стучит о крышу, а тут женщина зыркает из-под одеяла, а у самой зуб на зуб не попадает...

* * *

Пока рок не занес над человеком свою карающую руку, человек может выйти невредимым из самых опасных приключений.

Вот несколько случаев из жизни Марата, подтверждающих эту древнюю аксиому. Первый случай произошел по воле самого Марата.

После окончания школы Марат поехал в Москву с твердой уверенностью, что он поступит в институт кинематографии на операторский факультет. Он уже тогда увлекался фотографированием, а для поступления на этот факультет надо было представить образцы своих снимков.

Марат был уверен, что его примут хотя бы для того, чтобы его снимки остались в институте. Настолько он был уверен в успехе своих фотографий. Но, увы, он не прошел по конкурсу, и ему с оскорбительным равнодушием вернули снимки вместе с документами.

Что было делать? Набранных баллов хватало для поступления в какой-то совершенно не интересовавший Марата, кажется, мясо-молочный, институт. По инерции Марат туда поступил, но сильно страдал не только от профиля института, но и от самого его названия. Девушки улыбались, когда он называл свой институт, и легко преры-

вали очередной сеанс романтического гипноза, которым он обволакивал их сознание.

Через два года учебы в этом институте Марату пришла в голову простая и гениальная мысль. Он решил обратиться к товарищу Берии как к земляку (Берия в самом деле был наш земляк) и попросить перевести Марата из мясомолочного института в институт кинематографии. Марат правильно рассчитал, что у Берии на это хватит сил и авторитета.

Как человек действия, Марат не стал долго мусолить свою мечту. Он был уверен в успехе своего мероприятия, если, конечно, ему удастся увидиться с Берией. Встречу с всесильным министром он приурочил к очередному сбору земляков в ресторане «Арагви». Чтобы не выглядеть в глазах Берии полным эгоистом, он решил не только попросить перевести его в институт кинематографии, но и пригласить его на дружеский ужин земляков.

Марату не раз показывали на особняк Берии возле Садового кольца. Туда он и ринулся. Ему повезло. Еще за полквартала он заметил, что Лаврентий Павлович прогуливается возле своего особняка, а два полковника с обеих сторон тротуара ограждают маршрут его прогулки.

Марат бесстрашно устремился к месту прогулки Берии.

— Вам что? — спросил полковник, останавливая Марата, когда тот подошел к охраняемому тротуару.

— У меня просьба к товарищу Берии, — сказал Марат и сам себя поправил: — Вернее, две просьбы как к земляку...

— Какие просьбы? — спросил полковник. Марат видел, что Берия приближается к ним, но ждать было неудобно.

— Я земляк Лаврентия Павловича, — сказал Марат, — учусь в мясо-молочном институте и хотел бы попросить, чтобы меня перевели в институт кинематографии.

Кстати, снимки, которые он представлял в институт, лежали у него в кармане наготове. А вдруг товарищ Берия заинтересуется...

— Товарищ Берия такими пустяками не занимается, — отвечал полковник холодно, но не враждебно.

К этому времени к ним подошел Лаврентий Павлович.

— В чем дело? — спросил он.

Теперь Марату стало неудобно за свою первую просьбу и он, не повторяя ее, приступил ко второй.

— Лаврентий Павлович, — сказал Марат, — мы, ваши земляки, закавказские студенты, хотим вас пригласить на дружеский ужин в «Арагви», который состоится завтра в восемь часов вечера.

Лаврентий Павлович и полковник переглянулись.

— Хорошо, — сказал Лаврентий Павлович, — я приеду, если охрана мне разрешит.

Окрыленный встречей и простотой обращения, Марат ушел в общежитие. Он решил, что завтра во время встречи в «Арагви» он найдет минутку и попросит Берию относительно перевода в институт кинематографии.

К сожалению, охрана не разрешила Берии приехать на следующий день в ресторан «Арагви», и Марату при-

шлось, оставив мясо-молочный институт, уехать к себе в Мухус.

Второй раз обращаться к Берии со своей просьбой он не решился, тем более все, кому он рассказывал об этой встрече, говорили, что он должен благодарить Бога, что встреча эта так благополучно для него кончилась.

...Марат уже работал на прибрежном бульваре, когда в один прекрасный день заметил очаровательную молодую женщину, прогуливающуюся по набережной.

Марат был поражен, что никто из местных пижонов ее еще не подцепил или не пытается подцепить. Выбрав удобное мгновение, когда молодая женщина приблизилась к стенду, он, издали показав на него рукой, пригласил ее фотографироваться.

Она улыбнулась и, к его великому удивлению, подошла. Марат попросил попозировать ему и сделал с нее несколько снимков. Судя по всему, он произвел на нее впечатление, и она сказала, что придет за снимками, но чтобы он, если увидит ее с другими людьми, не обращал на нее внимания и не пытался с ней заговорить.

В следующие два дня Марат видел ее в обществе, как он говорил, двух высоких голубоглазых блондинов и честно никак не показывал, что он знаком с этой женщиной. Потом она неожиданно пришла сама, и Марат вручил ей снимки, которые ей очень понравились.

Он сделал с нее еще несколько снимков и стал просить ее попозировать ему на пляже. Она сказала, что это совер-

шенно невозможно, потому что здесь у нее высокий покровитель и он ничего не должен знать об этих даже невинных встречах.

Марат сказал, что не боится высокого покровителя, лишь бы он, Марат, ей понравился. Она сказала, что Марат очень храбрый человек, но она не хочет им рисковать.

— Мадам, — сказал Марат, стараясь чаще показывать ей свой энергичный профиль, — в любви я Наполеон!

— О! — сказала очаровательная незнакомка и многозначительно улыбнулась.

Через несколько дней Марат уговорил ее покататься с ним на лодке. Она с большим трудом согласилась, но сказала, чтобы он один садился в лодку на причале, а потом в условленном месте подошел к берегу и забрал ее. Марат так и сделал.

Далеко в море она ожила и под нежно-могучим натиском Марата позволила ему гораздо больше, чем он ожидал. Но главное было впереди. Она сказала, что высокий покровитель вскоре должен уехать в Сочи, и тогда у Марата будет с ней достаточно долгое свидание. Она дала ему адрес, взяв с него слово, что он без ее знака не попытается с ней встретиться. Она сказала, что покровитель редко ее посещает, но окружил ее шпионами, которые ничего не должны знать об их встречах.

Марат, сам человек романтический, считал ее слова некоторым преувеличением. Он верил в существование высокого покровителя и думал, что это один из местных подпольных миллионеров. Марат знал, что это достаточно опасные люди,

и, при всех преувеличениях, считал, что осторожность здесь не излишня.

Наконец наступил долгожданный день. Освободившись на несколько минут от своих высоких голубоглазых блондинов, молодая женщина подбежала к месту работы Марата и шепнула ему, чтобы он приходил к ней домой в десять часов вечера.

Весь день Марат не находил себе места. Ему казалось, что все городские часы остановились, чтобы он корчился в адских муках. Он сходил в ботанический сад и через знакомого агронома, работавшего там, достал великолепный букет из красных, пурпурных, желтых и белых роз, которые он отнес домой и поставил в ведро с водой.

На одной из старинных улиц в верхней части города в тот вечер Марат нашел особнячок, где жила эта женщина. Просунув руку сквозь железные прутья, он открыл засов, вошел в маленький дворик и поднялся по лестнице, перила которой тонули в зарослях глициний. Еще одно усилие, и он с открытой веранды стучит в дверь.

Ему отворяет дверь его очаровательная незнакомка, и он вручает ей букет, в который она сейчас же окунает свою хорошенькую головку. Марат видит за ее спиной со вкусом накрытый стол с ужином на двоих, он чувствует необычайной силы любовный порыв и начинает обнимать и целовать свою таинственную незнакомку.

Она едва его уговорила взять себя в руки, напомнив, что впереди у них целая ночь. Марат кое-как успокоился, букет

был разделен на две части, одна из которых украшала стол для ужина, а другая была поставлена в другой комнате возле кровати, достаточно просторной для самых изысканных любовных фантазий.

Дружеский ужин с «хванчкарой» был в разгаре, когда вдруг лицо его прекрасной незнакомки побледнело, и она проговорила:

— Тише! Кажется, машина остановилась...

Тут они оба услышали скрип железной калитки.

— В ту комнату, и не выходи оттуда, — шепнула ему хозяйка и решительно вытолкнула его в спальню. Марат слышал, как кто-то постучал в дверь.

— Кто там? — спросила молодая хозяйка.

Ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа.

— Передайте ему, что я больна, — сказала молодая женщина.

Опять ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа. Ему страшно было интересно — что это за люди. Он подозревал, что в дверь стучится человек одного из подпольных миллионеров, но от кого именно — он не знал.

— Нет, доктора не надо, — отвечала хозяйка и, как бы слегка стесняясь, добавила, — это обыкновенная болезнь, которая бывает у каждой женщины.

Марат больше не слушал. Он увидел дверь в другую комнату и, открыв ее, вошел туда. Оттуда он увидел еще одну дверь, открыл ее и вышел в конец веранды, которая имела здесь еще одну лестницу, ведущую в зеленый дворик.

Марат спустился вниз и стал под верандой, пол которой сейчас нависал над ним. Вдруг он услышал мужские шаги, топающие по веранде. Шаги остановились. Потом снова пошли. Снова остановились. Марат догадался, что человек останавливается, чтобы заглянуть в окна спальни, которая была освещена. Марат с волнением подумал, что его легко могли обнаружить, останься он в спальне, куда его толкнула молодая хозяйка.

Любопытство так и жгло Марата, и он под верандой обогнул дом и выглянул из-за зарослей глицинии, буйно разросшейся возле главного входа.

Марат увидел легковую машину ЗИС и в жидковатом свете уличного фонаря разглядел энергичный, гораздо более энергичный, чем у него, профиль человека в пенсне, сидящего на переднем сиденье машины. Не узнать его Марат не мог, даже если бы не виделся с ним два года тому назад.

В это время над головой Марата раздались шаги человека, разговаривавшего с хозяйкой. Он спустился по лестнице, открыл калитку и, не забыв ее запереть на задвижку, подошел к машине, на миг заслонив Берию, стал, по-видимому, что-то ему рассказывать. Через минуту он сел в машину, и она тихо скользнула мимо дома.

Через заднюю лестницу, едва живой от сковавшего его страха, Марат поднялся в дом. Вся эта история ему очень сильно не понравилась. Когда он вошел в комнату, где они ужинали с прекрасной незнакомкой, та бросилась ему на грудь и, давась от беззвучного хохота, пыталась что-то ему

сказать, но Марат не понимал причины ее смеха и не разделял ее веселого настроения.

— Когда он пошел вдоль веранды, — наконец сказала она, — я решила, что все пропало... А потом захожу в ту комнату — тебя нет. Захожу в другую — тебя нет... Я уже решила, что он испепелил тебя своим взглядом, а тут являешься ты с кислой физиономией.

Но Марат был слишком напуган случившимся. Соперничать с местными подпольными миллионерами он еще кое-как мог себе позволить, но соперничать с самим Берией — это было страшно. Попытка продолжить ужин ни к чему не привела, но, что еще хуже, попытка приступить к любовным утехам кончилась еще более плачевно. Какая-то вялая меланхолия омертвила тело Марата. Профиль первого чекиста страны так и стоял перед его глазами.

Он пытался вернуть себе то настроение, с каким целовал ее в лодке, но у него ничего не получалось. Энергичный профиль человека в пенсне так и всплывал перед его глазами. Прекрасная незнакомка приготовила турецкий кофе, говоря, что обязательно приведет его в норму, но Марат, и выпив две чашки кофе, никак не приходил в себя. Блуждающая рассеянная улыбка не сходила с его лица, и его вялые искусственные порывы ни к чему не приводили.

— А еще говорил, что в любви Наполеон, — наконец упрекнула его прекрасная незнакомка.

— Мадам, — тихо ответил ей Марат, улыбаясь блуждающей улыбкой, — у всякого Наполеона есть свой Ватерлоу...

Поздно ночью, покинув дом любовницы Берии (бывшей незнакомки), Марат не стал выходить в калитку, а перелез через забор в самом глухом уголке сада и оказался на другой улице.

Марат сильно надвинул кепи на глаза и завернул на улицу, с которой он входил в калитку. Не глядя по сторонам, он прошел мимо ее дома в сторону центра города. Насколько мог заметить его косящий взгляд, на той стороне улицы стоял какой-то подозрительный человек, смахивающий на ее дневных провожатых. «Хорошо, что я не вышел из калитки», — подумал Марат, благодаря Бога за собственную осторожность.

Через два дня незнакомка снова прогуливалась по набережной со своими высокими голубоглазыми блондинами. Потом она гуляла одна и, проходя мимо места работы Марата, бросила в его сторону взгляд, но, как сказал поэт, они не узнали друг друга.

Этот случай, по словам Марата, еще долго мешал ему в любви. В самые решительные часы чувственного восторга перед его глазами всплывал профиль человека в пенсне, и Марат впадал в вялую меланхолию, хотя иногда почему-то не впадал.

Он заметил такую закономерность. Чем более комфортабельным было место свидания, тем сильнее мешало ему видение страшного профиля человека в пенсне. И наоборот, чем проще, грубее и неудобнее для любви была окружающая обстановка, тем свободней и независимей от профиля он чувствовал себя.

У меня брезжит смутная догадка, что его головокружительные свидания с крановщицей ночью в кабине порталного крана, или дневные свидания в глубине сталактитовой пещеры, или другие не менее рискованные встречи с возлюбленными, не объясняются ли они, может быть, неосознанной попыткой вытеснить видение проклятого профиля? Сам Марат мне этого никогда не говорил, и я не пытался у него об этом спрашивать. Правда, у меня есть косвенное подтверждение этой догадки. И что особенно ценно — сам Марат подтвердил ее. Он сказал, что видение зловещего профиля почти совсем перестало его посещать после его романа со знаменитой укротительницей удавов, приезжавшей к нам вместе с цирком шапито.

Это произошло через два года после его неудачного и вместе с тем счастливого (остался жив) свидания с любовницей Бери.

Роман этот, выражаясь современным языком, возник на фрейдистской почве, хотя мы можем воспользоваться и древнерусской поговоркой, ничуть не уступающей Фрейд, а именно: клин клином вышибают.

Я думаю, сам того не подозревая, Марат потянулся к укротительнице, чтобы зримым видом живого удава вытеснить из сознания профиль метафизического удава. Так мне кажется, хотя сам Марат этого мне никогда не говорил.

Он сказал, что, когда увидел, как юную полуголую женщину под знаменитую в то время мелодию Дюка Эллинг-

тона «Караван» опоясывает своими смертельными витками удав, он почувствовал к ней неостановимое влечение.

Со свойственной ему энергией и прямоотой он решил покорить эту женщину. На следующий день он пришел в цирк с букетом роз, которые, по-видимому, для него старательно выращивали работники ботанического сада. После окончания номера, когда весь цвет мухусчан рукоплескал отважной женщине, он выскочил на арену и, храбро пройдя мимо корзины, куда был водворен удав, подошел к укротительнице и вручил ей букет.

В тот же вечер, провожая ее в гостиницу, он втаскивал в машину и вытаскивал из нее тяжелый чемодан с удавом. По словам Марата, прекрасная Зейнаб, так звали укротительницу, быстро ответила любовью на его любовь. Потом уже, после близости, она сама ему объяснила, что мужчины, увлекавшиеся ею и знавшие о ее работе, все-таки не выдерживали и давали задний ход, узнав, что она живет с удавом в одном гостиничном номере.

Обычно удав располагался в углу комнаты, где была поставлена на пол и круглосуточно горела настольная лампа с сильной лампочкой. Это давало удаву дополнительное тепло, хотя в номере, по словам Марата, и без того всегда было душновато.

Иногда Зейнаб покрывала своего удава большой персидской шалью, и если он приподымал под нею голову, то становился похожим на злобную старуху из восточных сказок.

Во время любовной близости Марат, по его словам, старался смотреть в сторону удава, который, лежа возле настольной лампы, приподняв голову, тоже нередко смотрел в его сторону.

В первое время Марат из естественной бдительности следил за удавом, не зная, как тот будет реагировать на его, Марата, отношения с хозяйкой Султана. Так звали удава.

И только потом он заметил, что когда он глядит на удава, видение профиля страшного палача не возникает. Это открытие каждый раз так радовало Марата, что он каждый раз находил в себе силы для дополнительных любовных неистовств.

Марат был рад восстановлению своих былых сил, рад был славе, которая распространялась среди мухусчан, и дни его были счастливы. Во всяком случае, в первое время.

Но постепенно жизнь его осложнилась. Дней через десять Марат почувствовал, что удав его ненавидит. Если Марат проходил слишком близко от места, где возлегал Султан, он слышал злобное шипение. Даже когда Марат подымал чемодан с удавом, он изнутри слышал злобное шипение, показывающее, что Султан чувствует, кто держит чемодан. Несколько раз удав, шипя, дергался головой в его сторону, словно хотел его укусить.

Напрасно бедняжка Зейнаб пыталась их примирить. Они ненавидели друг друга и даже ревновали ее друг к другу. Марат, разумеется, не называл этого слова (надо полагать, что удав тоже), но, когда Марат видел, что утро начинается

с того, что Зейнаб протирает вымоченным в теплой воде полотенцем длинное тело удава, он чувствовал глухое раздражение.

Заходя в номер, где находился удав, по словам Марата, никогда нельзя было знать, где его застанешь. То он обвивал торшер и, положив голову возле лампы, дремал, то он забирался на вешалку, и стоило щелкнуть выключателем, как можно было увидеть возле своей головы его брезгливо вытянутую морду. То он забирался на диван, то на их кровать, что было особенно противно, иногда он оказывался в шкафу с бельем, иногда обвивался вокруг трюмо и, свесив голову, неподвижно следил за изображением своего двойника. Иногда он залезал в ванну, иногда в раковину умывальника и тогда, разумеется, Марату подойти и вымыть руки было невозможно.

Каждые два-три дня Зейнаб мыла удава в теплой ванной. Однажды она попросила Марата наполнить ванну водой, и Марат, по его словам, случайно напустил туда слишком горячую воду. Когда Зейнаб вывалила своего удава в ванну, тот одним прыжком взвился и выпрыгнул из нее.

Именно после этого удав, по наблюдениям Марата, его возненавидел, хотя как он узнал, что ванну наполнял именно Марат, до сих пор для него остается тайной. Чувствуя, что удав его ненавидит, Марат на всякий случай принес из дому кинжал, подарок его знаменитых чегемских родственников. Он повесил его над диваном, якобы для украшения номера. Другая, гораздо более скромная мера по собственной защите

заклучалась в том, что Марат, ложась спать с Зейнаб, теперь всегда устраивался у стенки.

Кстати, я как-то спросил у Марата, чем Зейнаб кормила своего удава, и если кроликами, то где она их брала.

— Насчет кроликов не знаю, — отвечал Марат, — но пару раз, когда я заходил днем, она выметала из комнаты какие-то перья... Так что скорее всего она его кормила живыми курицами.

В первое время мухусчане, радуясь успехам Марата, спрашивали у него:

— Марат, это правда, что ты живешь с укротительницей удава?

— А что тут такого, — отвечал Марат, — конечно, правда.

— Как только ты не боишься, Марат?! — восторженно удивлялись мухусчане.

— А чего бояться, — пожимал плечами Марат, — он в своем углу спит, мы в своем.

Но так длилось недолго и долго длиться не могло, ибо черная зависть сгущается за спиной незаурядного человека и пытается оболгать его. Вскоре среди мухусчан поползли слухи, что возлюбленная Марата изменяет ему со своим удавом. Говорили, ссылаясь на достоверные источники, что бывший муж Зейнаб, который и научил ее работать с удавом, был задушен последним на почве ревности.

Другие договаривались до того, что, в сущности, Зейнаб по-настоящему живет с удавом, а Марата держит при себе просто так, для блезира.

Слухи дошли до Марата, Марат был поражен глупостью и бессмысленностью этих слухов. Он только разводил руками и презрительно подымал брови. Он надеялся, что люди сами поймут нелепость этих слухов и сами от них отмахнутся. Но слухи упорно держались.

— Кому-то это интересно было, — говаривал Марат с многозначительным намеком, кивая головой куда-то вверх и в сторону.

У Марата появился, выражаясь псевдонаучным языком, оправдательный комплекс. Теперь, встречаясь с ребятами на набережной и в кофейнях, он заводил разговор о своей жизни с Зейнаб, обращая внимание слушателей на роскошь и многообразие их любовных утех и одновременно мимоходом сообщая о жалком прозябании удава в углу комнаты под настольной лампой.

— Да-а? — говаривали некоторые, выслушав его рассказ с недоверчивой миной. — А нам рассказывали совсем по-другому.

Негодяи! Кому ж лучше Марата было знать, кто с кем живет! Но таков закон черни, людям хочется, чтобы другие люди, способные возвыситься над общим уровнем, обязательно для равновесия имели бы унижающие их пороки.

В конце концов Марат почувствовал, что он часто испытывает порывы злости не только к удаву, но и к ни в чем не повинной Зейнаб.

Что касается удава, то его Марат возненавидел вдвойне. Однажды в кофейне до его слуха случайно долетел обрывок

разговора об этом фантастическом любовном треугольнике, в котором якобы очутился Марат. Причем на этот раз рассказчик сплетни роль Марата свел до позорного минимума.

— Кто-то же должен был ей таскать чемодан с удавом, а тут Марат и подвернулся, — заключил рассказчик свой гнусный рассказ.

В тот день Марат крепко выпил и пришел в гостиницу. Зейнаб в номере не оказалось, но у него был свой ключ, и он вошел. Увидев Марата, да еще без Зейнаб, удав злобно зашипел в его сторону. Марат этого больше не мог вынести.

— Кто на кого должен шипеть! — воскликнул Марат и, сняв туфель, запустил его в удава. Туфель попал прямо в середину огромного лоснящегося мотка. Удав дернулся головой в сторону Марата и зашипел еще злобней. Тогда Марат снял второй туфель и кинул его в эту мерзкую лоснящуюся кучу. Удав еще более решительно дернулся головой и зашипел.

Марат сел на диван и, облокотившись рукой о стол, горестно задумался над своей нелегкой судьбой. То, что было предметом его гордости, становилось предметом его позора. Просидев так некоторое время, он опустил голову на стол и заснул.

Проснулся он от какой-то невероятной тяжести, которая давила ему на грудь. Он открыл глаза и с ужасом убедился, что удав обвился вокруг него и душит его. Марат попытался одной рукой (другая была прижата к туловищу) сдернуть с себя чудовищные витки удава, но сделать это было невозможно. Он почувствовал рукой, как дышат и переливаются внутри удава его невероятные мышцы.

Чувствуя, что еще мгновение и он потеряет сознание от сдавливающей силы удава, Марат вспомнил о своем кинжале и попытался до него дотянуться. Но дотянуться оказалось невозможным, надо было для этого встать на диван. К счастью, правая рука Марата была свободной. Марат с трудом перевалялся на диван и, став на колени, уже теряя силы, выпрямился, но все равно не смог дотянуться до кинжала.

Марат собрал всю свою волю. Удав, как бы пульсируя своими мышцами, то страшно сдавливал его, то чуть-чуть отпускал, и Марат, пользуясь этими мгновениями, успевал вдохнуть воздух. Все-таки ему удалось встать трясущимися ногами на зыбкую поверхность дивана и достать свободной рукой до кинжала. Проклятье! Новое препятствие встало на его пути: кинжал никак не выходил из ножен. Необходима была вторая рука. Тогда Марат несколько раз изо всех сил потрянул кинжал, держа его за рукоятку, и наконец ножны со свистом соскочили и обнажили лезвие. Собрав последние силы, Марат сунул кинжал в звонко треснувшее, напряженное тело удава. Мгновенно объятая чудовища ослабели, а Марат резал и кромсал уже дрябло повисшие, опадающие кольца.

Бедняга Зейнаб, придя с базара, застала картину ужасного конца ее Султана. Она молча опустилась на колени и, поглаживая мертвое, искромсанное тело удава, проплакала до самого вечера.

Она плакала, повторяя:

— Бедный Султан, где мой кусок хлеба? Бедный Султан, где мой кусок хлеба?

По словам Марата, он чуть с ума на сошел от этих ее однообразных причитаний. Марат надел свои туфли, погасил ненужную настольную лампу, которая все еще светила в опустевшем углу, и стал утешать Зейнаб.

Он отдал ей весь запас своих денег, примерно на полгода скромной жизни, пока она освоится с новым удавом, если будет продолжать заниматься этим делом позже. Марат окончательно утешил ее, смастерив из оставшихся кусков шкуры удава несколько прелестных сумочек. Не помню, говорил ли я, что у Марата были золотые руки. Кроме всего этого, Марат помог бедняжке Зейнаб оформить фиктивную справку о том, что удав умер от простуды.

Интересно, что подлые завистники Марата сам этот его античный подвиг попытались объяснить в духе своей старой сплетни о связи Зейнаб с удавом.

Они говорили, что Марат, якобы неожиданно прийдя в номер, застал Зейнаб, возлежащей на диване в объятиях удава. Увидев такое, Марат якобы вскочил на диван и, выхватив свой кинжал из ножен, стал полосовать разнеженного, совершенно неподготовленного к борьбе удава.

* * *

Одно время, длилось это года два, Марат перестал работать на прибрежном бульваре, а устроился в научно-исследовательский институт, где получил фотолабораторию и даже был засекачен. Я уж не знаю, что он там за снимки делал, ка-

жется, что-то связанное с плазмой или с чем-то еще, не менее загадочным.

Но факт остается фактом, его оттуда выперли. Вернее, он сам все сделал, чтобы его оттуда выперли. Судя по его словам, он там соблазнил одну женщину, которой показывал серию фотографий, переснятых из одного заграничного журнала.

Эти снимки, изображающие голых женщин, он выдал за плоды собственноручного труда. То есть он ей довольно прозрачно намекнул, что все эти женщины сами ему позировали и она, если захочет, найдет среди них достойное место. По его словам, это ее сломило.

Хотя многие мужчины в наш век стали болтливее женщин, женщины в целом все еще остаются достаточно болтливыми существами. Одним словом, эта женщина проболталась какой-то из своих подруг о коллекции Марата, та проболталась еще кому-то, и через некоторое время кто-то донес начальству, что Марат, вместо того чтобы фотографировать, скажем, внутриатомные процессы, черт знает чем занимается у себя в фотолаборатории.

Внезапная профсоюзная ревизия обнаружила эти снимки, и разразился грандиозный скандал. Перед самым общеинститутским собранием, где решался его персональный вопрос, Марат зашел ко мне в редакцию и показал журнал:

— Вот смотри...

— Ну, конечно, — сказал я ему, перелистывая журнал, — ты им его покажи и дело с концом.

— В том-то и дело, что не могу, — отвечал он.

— Почему?

— Какими глазами после этого я на нее посмотрю?

— Она сама виновата, — говорю, — нечего было твои секреты выбалтывать.

— Нет, — отвечал он, подумав, — черт с ними, пусть выгоняют...

И он действительно ни слова не сказал про журнал, он только утверждал, что снимки были сделаны не в институтской лаборатории. В конце концов дело было передано в суд, но он и тут не признался, что фотографии были пересняты из иностранного журнала, хотя над ним висело довольно грозное обвинение.

Институт добивался от суда признания фотографий порнографическими, и в этом случае Марат мог получить срок. Но суд не признал их таковыми, хотя усомнился в их художественной ценности, на которую напирал Марат.

По словам Марата, пачка его фотографий, покамест ходила по рукам, начиная от институтского профкома и кончая судом, сильно уменьшилась. Он был уверен, что все, вплоть до народных заседателей, поживились за счет его снимков.

Я думаю, что во всей этой истории рыцарские соображения, по которым Марат не открывал источник своей фотоколлекции, сильно преувеличены. Эти соображения, безусловно, имели место, но они сильно преувеличены. Я думаю, во всей этой истории он сознательно шел на скандал, чтобы еще больше раздуть свою славу.

Правда, тут еще один момент имел место. А именно — этот злосчастный журнал был привезен из заграничной командировки одним из сотрудников института, и Марат, по его словам, отчасти боясь, что кто-нибудь узнает, каким образом ему в руки попал этот журнал, скрывал происхождение знаменитых фотографий. Все это, видно, так, но все-таки главным было соображение престижа покорителя сердец.

Тем более, что именно в это время среди мухусчан кто-то стал распространять зловредные слухи о том, что знаменитый роман Марата с лилипуткой Люсей Кинжаловой — плод его болезненной фантазии.

Тут я должен решительно вступить за Марата. Я сам неоднократно видел его в обществе Люси Кинжаловой. Он прогуливался с ней по набережной, бывал в ресторанах, а однажды причалил к лодочной пристани, и в лодке была Люся.

Грозно сомкнув брови и подняв Люсю на руки, он с видом Стеньки Разина, кидающего в Волгу персидскую княжну, взмахнул своей драгоценной ношей, при этом у драгоценной ноши юбка отвеялась от ног, обнажив лягастые бедра перекормленного ребенка. Затем он благополучно ссадил ее на пристань и улыбкой подчеркнул шутливость своего жеста, абсурдность самого предположения, что вот так ни с того ни с сего он может бросить за борт ни в чем не повинную женщину.

Единственным козырем в руках людей, отрицавших роман Марата с Люсей, было правильное наблюдение, что Ма-

рат перестал с ней встречаться задолго до того, как ансамбль лилипутов, в который входила Люся, уехал в другой город.

Что верно, то верно. Тем не менее роман был, он был коротким, но бурным. Впервые Марат с нею познакомился в ресторане. Около дюжины лилипутов сидели за двумя сдвинутыми столиками и ужинали, попивая вино и болтая ногами.

Марат послал им две бутылки вина, издали выпил за их здоровье, лилипуты выпили за его здоровье, а потом, посоветовавшись между собой, прислали ему через официантку бутылку вина. Марат снова издали выпил за их здоровье, они тоже издали выпили за его здоровье, после чего Марат, подзвав свою официантку, послал им еще две бутылки вина и несколько плиток шоколада, по числу женщин.

Тут лилипуты, склонившись к столу, долго совещались и наконец, подзвав официантку, через нее пригласили Марата к своему столу. Они решили, что так он им дешевле обойдется, но здорово просчитались. Марат подсел к ним и за разговором дал знать, что кроме своей прямой профессии он еще числится внештатным корреспондентом местной газеты «Красные субтропики» и ряда других столичных газет. (Ряд других газет, вероятно, до сих пор не подозревает о существовании своего внештатного корреспондента в Мухусе.)

Именно во время этого застолья Марат обратил внимание на Люсю Кинжалову, совершенно не подозревая, что рядом с ней сидит ее жених. Возможно, что он вообще не подозревал, что лилипуты могут иметь своих женихов и невест. Во

всяком случае, он стал оказывать Люсе знаки внимания, и она охотно, и даже чересчур охотно, стала принимать их, не считаясь со своим женихом, который, оказывается, в это время сильно страдал.

Узнав, что Марат имеет отношение к прессе, лилипуты пришли в сильное возбуждение и, посоветовавшись между собой, пожаловались ему на своего администратора, который, оказывается, очень плохо с ними обращался. Оказывается, администратор, чтобы сэкономить командировочные деньги, холостых лилипутов загонял по пять человек в одиночный номер. Он заставлял их укладываться поперек кровати, что было и неудобно и унижительно, тем более что женатые лилипуты получали полноценные номера. Администратор таким образом экономил командировочные деньги, доставал фиктивные гостиничные счета, а разницу в деньгах клал к себе в карман.

Марат был в высшей степени возмущен таким бесчеловечным обращением с лилипутами, и они в тот же вечер пригласили его в гостиницу, чтобы он сам во всем убедился на месте.

В гостинице Марат предложил, не осложняя вопрос участием прессы, просто-напросто набить морду администратору. К счастью для администратора, а может, и для Марата (я имею в виду последствия), того не оказалось в номере.

Марат зашел вместе с лилипутами в один из номеров, и они еще долго там застольничали и разговаривали о жизни. Многие лилипуты сильно опьянели, и Марат их разносил по

номерам, а Люся, вопреки страданиям жениха, показывала, кого куда нести.

В конце концов Марат собственноручно уложил пятерку лилипутов в их номер и со всей очевидностью убедился в обоснованности их жалоб. Кстати, оказывается, в эту пятерку входил и жених Люси Кинжаловой, о чем Марат не знал.

А между тем жених не стал лежать в постели, как предполагала Люся, но, откинув одеяло, слез с нее и попытался повеситься на перилах гостиничного балкона. К счастью, его вовремя заметили и, задыхающегося, вытащили из петли.

Но к этому времени, по словам Марата, Люся Кинжалова по уши в него втрескалась. По словам Марата, можно было понять, что у них, у лилипутов, инкубационный период влюбленности вообще гораздо короче. Марат обещал сделать с нее несколько снимков, и она на следующий день подошла к месту его работы на бульваре.

Так они стали встречаться, и жених смирился с Маратом. Опять же, рассказывая об этом, Марат придавал своим словам такой оттенок, что у лилипутов период любовных страданий тоже укороченный.

Не успел Марат насладиться новизной необычного любовного приключения, как из деревни Чегем к нему в дом приехала делегация родственников и выразила резкий протест по поводу якобы будущей женитьбы Марата на карлице, как они говорили.

Отец Марата, погибший во время войны, был по происхождению русским, но мать его была абхазкой и родом из

Чегема. Родственники Марата по материнской линии, оказывается, все время держали его в поле своего зрения, и, как только поведение его, как им казалось, начинало порочить их славный род, они каким-то образом оказывались рядом и с неслыханным упрямством заставляли его следовать представлениям о приличии, выработанным их славным древним родом.

Они прямо объявили ему, что, если он сам не прекратит встречи с этой карлицей, они, выражаясь их языком, силой выволокут ее из-под него. Особенность абхазского языка состоит в том, что это действие, выраженное по-русски четырьмя словами, по-абхазски передается одним словом и потому выразительность его в переводе несколько тускнеет.

Одним словом, они дали ему знать, что никогда не согласятся на то, чтобы он ввел в дом своей матери карлицу неизвестного племени. Кстати, они обещали ему полноценную абхазскую невесту, если он связался с карлицей из соображений собственного маленького роста. Марат был маленького роста, но разумеется, не настолько, чтобы такого рода соображения приходили ему в голову.

— Бедный Марат, — изредка говорили они, подчеркивая, что вырос он без отца. Но чаще всего эти слова имели совершенно противоположный смысл.

— Бедный Марат, — говорили они, имея в виду, что он и не подозревает, какие беды обрушатся на его голову, если он будет упорствовать в своих заблуждениях.

Когда родственники вмешались в его роман с Люсей, Марат сначала пытался им объяснить, что он не собирается ее вводить в дом. Тогда тем более, отвечали они ему, незачем позорить их род, появляясь с карлицей в людных местах.

Марат попытался послать их к черту, но из этого ничего не вышло. Родственники уехали в деревню, прикрепив к месту работы Марата двух дубиноподобных молодых людей, которые дежурили там. Глядя на этих верзил, поочередно патрулирующих на приморской улице, Марат не на шутку разнервничался.

Конечно, с Люсей Кинжаловой он продолжал встречаться, но это было сопряжено с немалыми трудностями, и нервы Марата стали пошаливать. Надо знать упрямство его чегемских родственников, а с другой стороны, самолюбивость Марата. Марат терялся в догадках, стараясь узнать степень полномочий этих двух деревенских верзил. То ли они должны просто препятствовать их встречам, то ли, увидев Марата с Люсей, они должны молча сунуть ее в мешок, увезти куда-нибудь в горы и выпустить ее там, как кошку, от которой хотят избавиться.

Именно находясь в состоянии этих мрачных раздумий, он во время одного из вечерних застолий с лилипутами задал, в сущности, невинный, но показавшийся всем бестактным вопрос.

— Слушайте, — спросил Марат, — а лилипуты голосуют?

Многие до сих пор не могут понять, с чего вдруг Марату пришла в голову эта мысль. Лично я думаю, что он в раздумь-

ях о собственном бесправном положении, вызванном исключительной патриархальностью его деревенских родственников, случайно, не подумав о последствиях, перескочил на окружающих его лилипутов.

Лилипуты сильно обиделись на его вопрос и стали громко удивляться невежеству Марата, потому что, по их словам, всякий нормальный человек знает, что лилипуты такие же полноценные граждане страны, как и все остальные.

— Ты лучше посмотри на свой нос, — оказывается, сказала ему Люся.

— А что мой нос? — тревожно спросил Марат.

— Очень он у тебя большой, — отвечала Люся, — вот ты его и суешь, куда тебя не просят.

— С точки зрения лилипутской, нос у меня, может, и большой, — отвечал Марат, сдерживая гнев, — но с точки зрения интеллигентных женщин Москвы и Ленинграда, у меня, к твоему сведению, римский нос.

Надо сказать, что Марат был весьма нетерпим ко всякого рода критике по отношению к его внешности. Сам он мог подшутить и над своим носом и над своим небольшим ростом. Так, относительно женщины, не в меру привязавшейся к нему, он говорил: «Она решила, что я высокий голубоглазый блондин»... Такого рода шуточки и намеки он вполне допускал, но только когда они исходили от него самого.

Одним словом, застолье начинало сильно портиться, и лилипуты, учитывая, что всех угощал Марат, стали его уговаривать, чтобы он не обижался на Люсю. В конце концов сама

Люся Кинжалова признала грубость своего замечания и в доказательство полной сдачи своих позиций поцеловала Марата в нос. И хотя лилипутам удалось спасти застолье, раздражение Марата не проходило, и он, время от времени вспоминая замечание Люси, бормотал: «Ха, мой нос, видите ли, слишком большой...»

После этого вечера отношения Марата с Люсей, может быть, не сразу, но достаточно быстро охладели. Во всяком случае, дубиноподобные верзилы, командированные из деревни, через неделю сняли патруль и уехали к себе в Чегем.

Между прочим, через год снова явилась в Мухус делегация чегемских родственников, исполненная мягкой, но неотразимой настойчивости. Дело в том, что Марат в это время завел себе парик, чтобы прикрыть сравнительно небольшую лысину на голове. Он давно и болезненно переживал начало своего облысения, и тем не менее парик в условиях Мухуса достаточно смелое нововведение. Но Марат всегда отличался смелостью и независимостью взглядов.

Парик так удачно сидел на голове Марата, что люди, не очень близко его знавшие, даже не понимали, что на голове Марата собственный несколько истощенный волосяной покров прикрыт париком. Тем не менее могу поклясться, что парик этот украшал его голову не более двадцати — двадцати пяти дней.

Чегемские родственники предложили ему не позорить их перед другими (по-видимому, злорадствующими) родами своей волосяной шапкой, а скромно пользоваться своими во-

лосами. Они указали ему, что лысина не позорит мужчину, что она позорит только женщину. Великий Ленин, напомнили они ему, никогда не стыдился своей огромной лысины. Неужто, по-твоему, вразумляли они его, если б дело обстояло иначе, для него не могли бы найти подходящей волосяной шапки?

Несколько дней Марат боролся за независимость покрова своей головы, потом не выдержал и сдался, не дожидаясь, пока родственники его выставят дежурить какого-нибудь верзилу с граблями в руках, чтобы тот стаскивал с него парик.

Сейчас я передам слово Марату, чтобы он нам рассказал один довольно забавный случай из своей жизни. Случай этот, кроме того, что сам по себе забавен, как я надеюсь, интересен еще тем, что в нем довольно явно чувствуется вмешательство роковых сил в жизнь Марата, и только слепота наша, погруженность в суету повседневности не дала нам вовремя разглядеть их.

— Ну и в историйку я недавно влип, доложу тебе, — начал он в тот раз, отщелкав своих клиентов и садясь рядом со мной на прибрежном парапете. Я возвращался с рыбалки, и он, прежде чем продолжать, иронически оглядел мой кукан с небогатым уловом. Потом продолжал: — Отдыхал тут один мой приятель, кэп из Мурманска. Он каждый год здесь отдыхает. Приезжает на месяц, бабули, денег, значит, куры не клюют, ну я ему помогаю развлекаться и сам про себя не забываю. Одним словом, хороший парень, я тебя с ним познакомлю, когда он снова придет.

Вот он мне однажды говорит:

— Слушай, — говорит, — поехали за город в один хороший дом. Пасху будем справлять. Там должно быть несколько очаровательных женщин. Я буду со своей приятельницей, а ты пускайся в открытое море приключений.

— Ладно, — говорю, — попытка не пытка, дома дети не плачут.

— В крайнем случае, — говорит, — будет хороший стол с поросенком, да и сама хозяйка — дай Бог женщина.

Берем мы в гастрономе торт, несколько коньяков, ловим такси и подъезжаем к ботаническому. Я достаю там хороший букет розочек, и едем. В Синопе он останавливает такси и входит в дом, где жила его приятельница. Я, значит, сижу в такси и жду. Смотрю — вошел один, выходят четверо. Он со своей приятельницей и еще какой-то мужчина с женщиной. Я как только ее увидел, сразу стойку делаю: красуля — ни пером описать, ни языком рассказать.

Ну, думаю, конечно, она с этим хахалем, разве такая красулячка нам когда-нибудь перепадет! Только я это подумал, смотрю, мужчина куда-то умотал, а эти втроем идут к нашей машине! Я от радости чуть головой крышу не вышиб! Открываю дверцу, пропускаю красулячку, а она мне во весь рот улыбается. Я сажусь, рядом со мной кэп, а приятельницу его вперед усаживаем. Чувствую, в воздухе пахнет жареным. Я этот запах всегда за версту слышу и никогда не теряюсь.

Анекдоты сами из меня сыпятся один за другим. Красулячка от хохота закатывается, приятельница кэпа тоже мне

в рот смотрит. Одним словом — фурор. Я окончательно сме-
лею и потихоньку, вроде случайно забывшись, кладу руку на
коленку красульки. Она потихоньку убирает мою руку, зна-
чит, все в порядке, клеится. Потому что не сердится, а просто
так, для приличия убирает.

Ну я пуляю еще несколько анекдотов, она умирает от сме-
ха, я снова незаметно кладу руку на ее коленку, она снова не-
заметно убирает. Значит, клеится, потому что не сердится,
а, наоборот, продолжает смеяться.

Между прочим, случайно оглядываюсь, у меня в машине
такая привычка, и вижу: одна и та же «Волга» за нами идет.

— Слушайте, — говорю, — нас кто-то преследует...

Тут красулька оборачивается и еще больше смеется. При-
ятельница кэпа тоже смеется, и сам кэп хохочет.

— В чем дело? — говорю.

— Это же ее муж, — отвечает кэп, — разве ты не видел его?

— Какой муж, — говорю, — откуда муж?

И тут кэп мне все объясняет. Оказывается, человек, кото-
рого я принял за ее хахалю, на самом деле ее муж был. Оказы-
вается, он не отвалил, как я думал, а пошел к своей машине,
которая немного в стороне стояла. Оказывается, красулька
просто выразила желание ехать со мной в одной машине, по-
тому что подружка ее, приятельница кэпа, успела ей расска-
зать про мою веселость.

Но тут-то я как раз и потерял свою веселость. Видно, ког-
да я узнал про мужа, моя физия так скисла, что красулька
еще больше стала смеяться и пальчиком на меня показывать.

Я в самом деле здорово приуныл, потому что мысленно уже привык к ней, а теперь приходится перестраиваться.

Тут красулочка сама потрогала меня за коленку бархатной лапкой и подмигнула: мол, не унывай, все еще впереди. Во всяком случае, я ее так понял. Ну у меня, вроде, отлегло.

Ладно, думаю, хоть я и не любитель разбивать там всякие чужие жизни, но, если красулочка сама хочет, тогда почему же, тогда можно и поужинать.

Подъезжаем к особнячку, а он у самого моря стоит. Кэп расплачивается с таксистом, вытаскивает из машины коньяки и торт, и мы подходим к калитке. Муж красулучки тоже выходит из своей машины. Кэп нас знакомит. Я выбираю минутку, пока звонят в калитку, отвожу его в сторону и прошу:

— Объясни ситуацию.

— Муж тебе не помеха, — отвечает кэп, — но тут есть одна тонкость... потом сам поймешь.

Он немножко замял разговор, потому что из-за калитки раздался голос хозяйки. Мы входим во двор, меня знакомят с хозяйкой. Я смотрю на нее: меня пот прошибает — хоть стой, хоть падай. Такая яростная блондинка, в черном спортивном костюме и в резиновых сапогах. Одним словом, что тебе сказать? Под шерстью спортивного костюма чувствует-ся женщина с большой буквы, которая живет сама и другим жить дает.

Минут на десять она меня так оглушила, что я совсем забыл про красулучку. При этом хозяйка с удовольствием нюхает мои розы и говорит: мол, ваши снимки, ваши снимки,

я их видела в Салоне в прошлом году. В самом деле, в прошлогодней выставке я принимал участие, и у меня там несколько потрясных снимков было.

Входим в дом. Ну дом, я тебе скажу — закачаешься. Ковры и книги, книги и ковры. Никак не могу понять, зачем одной женщине столько книг. Правда, она раньше была замужем за профессором, но потом они разошлись. Да что профессор, она сама научный работник. Но я об этом тогда не думал. Я думал — посмотрим, что еще за кадры будут! Главное, всей шкурой чувствую — в воздухе пахнет жареным, я этот запах за километр узнаю.

Входим в залу. Стол стоит такой, что трогать ничего не хочется — красота. Бутылки с экспортной водярой как алмазы сверкают. Нам даже стало стыдно за наши жалкие приношения. Нет, розочки мои стол здорово украсили, но коньяки и торт хозяйка как сунула куда-то там в угол комнаты, так они там до утра и простояли.

Но главное не это. В зале еще две женщины и один мужчина. Обе женщины одна другой лучше, обе мировой стандарт и обе в моем вкусе. Одна фиксатая, другая грустненькая.

Ну ничего, думаю, за таким столом долго не погрустишь, сестричка!

А между прочим, как только я увидел мужчину, я сразу вспомнил слова кэпа насчет тонкости. Вот она, эта тонкость, думаю, вот ее настоящий хахаль. А он в это время любезничает с мужем красулечки. Ах ты, сукин сын, думаю, сам с мужем любезничаешь, а сам с красулечкой шашни заводишь.

Ну, думаю, там видно будет, кто кого. В застолье, сам знаешь, я любому сто очей вперед дам. В крайнем случае, думаю, с красульчонкой не получится, так здесь еще три прекрасных женщины, не считая приятельницы кэпа.

Покамест мы болтаем о том о сем, хозяйка успела переодеться и вся такая смачная снова приходит к столу, и мы рассаживаемся.

Начали выбирать тамаду. Ну кэп, конечно, назвал меня. Я для приличия сначала поломался, а потом беру стол в свои руки. Я веду стол, слежу, чтобы все выпивали и пытаюсь идти на сближение с кем-нибудь из дамочек. Но вижу — что-то все время осечку дает. Удары мимо проходят. Нет, на остроты мои отвечают дружным смехом, чокаются со мной, стараясь друг друга опередить, веселятся, но дальше — ни-ни.

Правда, за той, что грустная сидела, я не пытался приударять, думаю, пусть немножко растеплится, но остальные, чувствую, культурно так, без хамства, дают от ворот поворот.

Между прочим, помогая хозяйке, я несколько раз выходил с ней на кухню, а потом мы раз даже в подвал спустились, там у нее грибы в банках стояли. В этом самом подвальчике, думаю, была ни была, брякаюсь на пол и, обхватив ее ноги, говорю:

— Мадам, уже падают листья...

— Знаю, — говорит она так ласково, — мы еще увидимся...

Но сегодня я хозяйка и прошу вас поухаживать за кем-нибудь из моих подруг...

При этом она так легко-легко пальцами провела по моей голове, что я чуть с ума не сошел от радости. Но что делать — приходится подчиняться.

— Я ваш раб, — говорю, — мадам... Будет сделано, как вы говорите...

Отряхиваю, значит, брюки, и мы снова поднимаемся наверх. Ну раз она так говорит, от хозяйки я отваливаю и снова пытаюсь выйти на связь с одной из ее подруг. Но вижу, ничего не получается. Время идет, красулю оставил этому серому волку, а он почему-то только с ее мужем ля-ля-ля, а на нее ноль внимания.

Что же это такое, думаю. Где слыхано, чтобы Марат в застолье один оказался. Дом полон женщин, а ухаживать не за кем. Ну, выбрал я удобный момент и отзываю кэпа.

— Что такое, — говорю, — никак не могу выйти на связь?

— Да, — соглашается кэп, — тут большая тонкость есть.

— Что за тонкость, — говорю, — этот тип — хахаль красулечки?

— В том-то и дело, — говорит, — что нет...

— Так в чем дело, — говорю, — значит, мужа любит?

— Да нет, — говорит, — совсем не в этом дело.

— Тогда в чем?

— Видишь, как этот мужик любезничает с мужем этой красули?

— Ну?

— Так вот, — говорит, — у них любовь.

— Как, — не верю я своим ушам, — в прямом смысле?

— Да, — говорит, — в самом прямом.

Я сначала удивился, а потом обрадовался. Я забыл сказать, что одна из этих дамочек, а именно фиксатая, была женой второго мужчины. Но я сам не сразу узнал об этом, до того они в разные стороны глядели.

— Если так, — говорю, — выходит, что жена этого типа и красуля свободны?

— В том-то и дело, — говорит, — что не совсем...

— Как, — говорю, — они верны своим мужьям, зная про такое?

— Да не в этом дело, — говорит, — они сами влюблены.

Тут у меня голова пошла кругом.

— Да в кого, — говорю, — они влюблены, в тебя, что ли?

— Нет, — говорит, — гораздо хуже.

— Так в кого же?!

— Они, — говорит, — только, ради Бога, не выдавай меня, влюблены в хозяйку дома.

Я с ума схожу.

— Как так, — говорю, — в прямом смысле?

— В самом прямом, — отвечает.

— Ну а хозяйка, — говорю, — что?

— В том-то и трагедия, что хозяйка их не любит.

— Какая же это трагедия, — говорю, — молодец! Настоящая баба!

— Нет, — говорит, — трагедия, потому что они в нее влюблены, а она их не любит.

Я с ума схожу. Но что делать? Сажусь на свое место, потому что гамада должен стол вести. Но куда вести? И главное —

кого вести? Ничего не понимаю. Ну налил я себе полбокала водяры, чтобы очухаться немного от этой симфонии. Немножко прихожу в себя и соображаю. Значит, думаю так: что мы имеем на сегодняшний день? Красуля отпадает, эта женщина отпадает, остаются грустная мадам и хозяйка дома.

Но хозяйка не позволила за собой ухаживать, а, наоборот, предложила ухаживать за одной из своих подруг. Но две подруги из трех отпадают по независимой от меня причине, значит, остается грустящая мадам. Не так много, но и не так мало, если умело взяться... Я постепенно перекантовываюсь на нее, а когда начинаются танцы-шманцы, приглашаю ее. Хорошая женщина, но почему-то грустит все время. Во время танца слегка ее так прижимаю, чтобы она меня хоть немного почувствовала, но вижу, чувствовать меня не хочет. Как только начинаю зажимать, твердеет, как доска.

— Отчего вы такая грустная, мадам? — говорю.

— Ах, — говорит, — не спрашивайте! У меня такое горе было, такое горе...

— Какое горе, мадам, — говорю я ей, — помогать в горе — это моя вторая профессия.

— Нет, — говорит, — никто не может мне помочь... У меня любимый муж умер...

— Когда, — говорю, — это несчастье вас постигло?

— В прошлом году, — говорит.

— Мадам, — говорю, — в наше время приятно видеть женщину, которая так убивается по своему покойному мужу. Таких женщин, во всяком случае в ближайшем окружении,

нет... Но вы еще молоды, еще красивы, не надо замыкаться в горе... Чуть-чуть расслабьтесь, и вам легче будет...

— Если б вы знали, — говорит, — какой это был человек!

И, оживляясь, начинает рассказывать про своего мужа. Оказывается, он был самый справедливый прокурор, самый честный человек и самый хороший семьянин.

Наверно, так оно и было. Но зачем мне все это рассказывать? У меня совсем другие мысли в голове. Я сам мужчина, слава Богу, с достоинствами, у меня свое самолюбие есть. Нет, думаю, надо попробовать снова перекантоваться на хозяйку, здесь номер не проходит. А между прочим, как только она заговорила про своего мужа, лицо ее оживилось, глазки заиграли, так что даже со стороны все заметили.

— Ваш друг — просто чудо, — говорит хозяйка кэпу и как-то странно смотрит на меня, — наконец ему удалось развлечь мою милую соседку...

Эта женщина, оказывается, жила рядом с нашей хозяйкой. И хозяйка, танцуя с кэпом, заметила, что моя партнерша здорово оживилась. Но то, что она оживилась, вспоминая своего умершего мужа, этого она не знала.

А я думаю: чего это она на меня так странно посмотрела. Может, клеится? Снова садимся, снова беру в руки застолье. Кушаем, пьем, шутим, и вижу, хозяйка на меня как-то странно поглядывает и, когда я начинаю шутить, первая смеется. А прокурорша опять погрустнела. Видно, некому рассказывать про своего прокурора. Ну, думаю, на меня тоже больше не рассчитывай.

Снова танцы-шманцы. Я беру хозяйку. Муж красули берет фиксатую, этот тип берет красулю, хотя видно, что им обоим до смерти хочется танцевать друг с другом.

Я, значит, танцую с хозяйкой, а она льнет ко мне, ну как тебе сказать, просто обтекает меня как теплый душ. Все, думаю, отступить дальше некуда, стою насмерть, как Мамаев курган.

— Ну как вам понравилась моя соседка? — спрашивает меня хозяйка.

— Да что ж, — говорю, — женщина хорошая, но все время про мужа рассказывает. Конечно, верность памяти мужа — хорошее дело, но тогда зачем приходит развлекаться в компанию.

— Это я ее уговорила, — отвечает хозяйка и снова прижимается ко мне, а я уже от страсти полумертвый, вроде того прокурора.

— Я ваш раб, — шепчу хозяйке, — вот моя жизнь, делайте со мной, что хотите.

— Если б я могла выбирать, — говорит она и смотрит мне в глаза, — я никого, кроме вас, не выбрала бы...

— Но почему? — взревел я шепотом. — Вы свободная женщина, а если кто проходу вам не дает, предоставьте это мне, и он забудет не только ваш прекрасный облик, но и собственное имя.

— Ах, — говорит она, — если б дело было в нем!

— Тогда в ком? — спрашиваю.

— Дело во мне, — вздыхает она, — я, к несчастью, влюблена...

— В кого, мадам, — говорю я, — назовите этого счастливица...

— Я вам, — говорит, — назову, потому что вы мне нравитесь, но вы мне помогите...

Ты же знаешь — я рыцарь, то есть человек, способный делать хорошее, даже когда это ему невыгодно.

— Все, что в моих силах, — говорю.

— Я влюблена в прокуроршу, — шепчет она мне и глазами показывает на нее.

Я закачался, как боксер после хорошего крюка. Господи, думаю, есть здесь хоть одна натуралка?!

— Как, и вы тоже, мадам? — спрашиваю, еле-еле ворочая языком.

— Уже два месяца, — говорит, — я по ней сохну. С тех пор, как она выбралась жить сюда.

Ага, кумекаю я про себя, она влюбилась в прокуроршу, а этим дала отставку.

— А что прокурорша? — спрашиваю.

— Она невинная, — говорит, — она ничего не понимает... Все про своего прокурора рассказывает.

— Так чем же я вам могу помочь, мадам? — спрашиваю.

— Говорите ей обо мне что-нибудь хорошее. Я еще вам тоже когда-нибудь пригожусь...

— Постараюсь, — говорю, — но вы сами понимаете, как мне трудно уступить вас да еще ей.

Снова садимся к столу, и я снова обязан его вести как тамада. Но куда вести, кого вести — все чокнутые. Одна прокурорша еще кое-как держится, и ту я вынужден уступить хо-

зайке. Но ты же знаешь меня, раз я дал слово — железно держу его. Подымаю тост. Даже не знаю, откуда слова берутся. Тост, конечно, за хозяйку, за ее гостеприимный дом, за ее сердце, сказал я, вобравшее в себя ум всех этих книг и нежность всех этих ковров. Без дураков, здорово сказал, хотя про себя думаю: на хрен мне все эти книги и эти ковры, раз мое дело горит.

Снова заводят радиолу, и я опять танцую с прокуроршей. Осторожно выясняю, что она думает про хозяйку дома.

— Это такая чудная женщина, — говорит, — с тех пор как я переехала сюда, она окружила меня таким вниманием... Она так смягчает мне горе по покойному мужу...

— Мадам, — говорю я ей, — вам повезло... Эта женщина единственный человек, который может вам заменить вашего покойного прокурора.

— Да, — говорит, — я ей бесконечно благодарна за ее заботу обо мне, потому что потерять такого мужа, которого потеряла я, — это потерять все... Вы даже не представляете, до чего он был честным... Директор гастронома, против которого он вел дело, однажды приносит ему чемоданчик денег. Но он, конечно, отказался. Тогда директор гастронома показывает на свой чемоданчик и говорит: «С этим чемоданчиком я найду себе подходящего прокурора, вот ты себе попробуй найти такого щедрого обвиняемого». И что же, через некоторое время дело передали другому прокурору, а директору гастронома дали другой гастроном, еще лучший. А я в это время сдаю курортникам одну из двух наших комнат, чтобы свести кон-

цы с концами. Видали вы такого дурака? Так вот таким был мой покойный муж...

Я понял, что прошибить эту прокуроршу невозможно. Одним словом, вечер этот кончился для меня, как пустой номер, кислородский воздух. Прокурорша ушла к себе домой, а все остальные остались ночевать у хозяйки. Как они там разместились, ничего не знаю и знать не хочу. Хозяйка принесла мне спальный мешок и говорит:

— Если это вас может утешить, я люблю в нем спать.

Что делать? Разделся, залез в этот спальный мешок, понюхал его с горя, но он почему-то козлятиной пахнул, и я, высунав из него голову, уснул.

На следующее утро мы гуляли по берегу с ружьем. В доме нашлось и ружье. Я думаю, в этом доме все можно найти, кроме нормальной бабы. Между прочим, кэп подстрелил утку, которая упала в море. Я тут, не долго думая, раздеваюсь и в одних трусах — в море. Ну и сам знаешь, в раздетом виде я смотрюсь как Бог со своей грудной клеткой и бицепсами. Женщины с ума сходят, вода ледяная, а я плыву за уткой, беру ее для смеха в зубы и возвращаюсь на берег.

— Если б не моя любовь, — шепчет мне хозяйка, подавая мохнатое полотенце. Покамест я плыл, она успела добежать до дому и принести полотенце. Что говорить, женщина была мировая, и я ей понравился. Недавно встречаю ее в Мухусе.

— Ну как, — говорю, — сумела увлечь прокуроршу?

— Нет, — вздохнула она, — не удалось... Я с горя замуж вышла...

Другой мужик, зная, что я с этой прокуроршей никогда не встречусь, обязательно сказал бы: конечно, удалось... мы с ней так время провели. А эта честно ответила, но мне с ней не повезло. Сначала мы с ней слишком рано встретились, она была влюблена в прокуроршу, а потом слишком поздно, она с горя выскочила замуж.

А про кэпа, который туда меня привел, что я хочу сказать? Во-первых, никакой он не кэп, я узнал это от одного человека с их пароходства. Никакой он не кэп, а старпом. Подумаешь, два раза ходил на Кубу. А я тебе так скажу, если ты с товарищем идешь в дом, ты ему сначала ситуацию расскажи, а он сам потом решит, ходить ему в этот дом или нет. А я ему еще как бобик утку из воды тащил. Такому кэпу не то что корабль — шлюпку нельзя доверить — угробит. Как пить дать угробит.

* * *

Осенью того же года по Мухусу пробежал слух, что Марат женился. Я его давно не видел, потому что после ухода из научно-исследовательского института он стал работать не на бульваре, там его место занял другой человек, а на краю города возле базара.

Учитывая все его рассказы, я жаждал увидеть женщину, которую он сам добровольно ввел в дом и при этом не вызвал никаких нареканий со стороны чегемских родственников.

Однажды вечером, когда я сидел на скамейке прибрежного бульвара, передо мной возник Марат со своей женой. Кажется, они сошли с прогулочного катера.

— Прошу любить и жаловать, мой маленький оруженосец! — сказал Марат и представил свою жену.

Я опешил, но, ничем не выдавая своих чувств, протянул ей руку и представился. Это была приземистая тумбочка с головой совенка. Покамест Марат плел свой романтический, а в сущности, милый вздор относительно того, что несокрушимая твердыня, то есть его холостяцкие убеждения, пала перед неотразимыми чарами этого неземного существа, я украдкой рассматривал ее. Да, это была тумба с головой совенка, и я жалел, что чегемские родственники на этот раз проморгали Марата.

Я заметил, что пока Марат все это выбалтывал, воодушевленный собственным красноречием, эта тумба с головой совенка наливалась ненавистью к Марату. Это была знакомая мешанская ненависть ко всякого рода чудачествам, отклонениям от нормы, преувеличениям.

Конечно, сказать, что я это заметил и принял к сведению, было бы неточно. Я в самом деле это заметил, но тогда подумал, что, может быть, это мне показалось. И только последующие события подтвердили, что я не ошибался.

— А как твои чегемские родственники? — спросил я тогда у Марата, имея в виду его женитьбу.

— Я у них никогда ни о чем не спрашивал и спрашивать не собираюсь, — самолюбиво ответил Марат.

Помнится, в конце этой встречи Марат сказал, что не успеет его возлюбленная разрешиться законным наследником, как к ее ногам будет брошена медвежья шкура, истинно мужской подарок молодой жене.

Марат давно увлекался охотой и мечтал убить медведя или воспитать медвежонка. Почему-то у него две эти мечты легко уживались, но ни одна из них пока не могла осуществиться.

Однажды он и меня увлек своим охотничьим азартом. Он сказал, что знает способ и место раздобыть медвежью шкуру. Он присобачил к стволам наших ружей электрические фонарики, чтобы, если во время ночной засады появится медведь, мы могли бы сначала ослепить его светом наших фонариков, а потом убить.

Мы приехали в одну горную деревушку, где у него оказался знакомый крестьянин, кажется, один из представителей его славного рода по материнской линии. И вот, поужинав у этого крестьянина и немного попив чачи, мы отправились на кукурузное поле, которое, по словам хозяина, время от времени посещал медведь.

Никаких признаков, что наши с медведем посещения кукурузного поля совпадут, не было, и я преспокойно вместе с Маратом отправился ночью подстергать медведя. Мы дошли до края поля, упирающегося в лес, и Марат, притронувшись пальцем к губам, указал мне на необходимость полного молчания, а сам стал, низко нагнувшись, искать медвежьи следы.

После долгих поисков он опять же, прикрыв пальцем рот и указав мне этим, чтоб я от волнения не издал какого-нибудь восклицания, показал мне на нечто, что должно было означать наличие этих следов. Несколько раз осветив фонариком кусок вспаханного грунта, он показывал мне на что-то, что я обязан был принять за медвежьи следы. И хотя я ничего не видел, кроме куска вспаханного поля, я не мог ему возразить, потому что при малейшей моей попытке издать звук, он страшно озирался и прикладывал палец к губам.

Наконец он знаками показал мне, что один из нас, а именно он, залезет на дерево, а другой из нас, а именно я, должен дожидаться медведя внизу. Мне это распределение ролей сильно не понравилось, но я не стал возражать, потому что мне все-таки казалось слишком невероятным, что медведь придет именно в эту ночь.

Марат залез на молодой бук, я сел у его подножия, прислонившись спиной к стволу. Сначала все было тихо, но потом наверху раздался какой-то шум и треск ветвей. Я уже не знал, что и подумать, и шепотом спросил у него, не напала ли на него рысь.

Он мне объяснил, что сова пыталась спикировать на его белую шапочку, но теперь все будет хорошо, потому что он снял шапку и спрятал ее в карман. Теперь-то я понимаю, что это было чудовищным предзнаменованием его женитьбы, но тогда об этом никто и помыслить не мог.

Снова установилась космическая тишина ночи, которую время от времени нарушал плач шакалов и лай далеких дере-

венских собак. Я сидел, прислонившись к стволу, прислушиваясь к тревожным шорохам леса, и все думал, как он со мной несправедливо поступил, оставив меня внизу, а сам взобравшись на дерево. Я, конечно, почти не верил в возможность появления медведя, но он ведь был в этом уверен и распорядился моей жизнью как менее полноценной.

Почему-то всегда бывает обидно, когда твоей жизнью распоряжаются как менее полноценной. Тут я вспомнил, что у меня хранится фляга с коньяком. Мы ее привезли из города, чтобы во время ночного бдения бороться при помощи этой бодрящей жидкости с прохладой и дремотой. Я снял флягу с ремня и сделал несколько хороших глотков.

Коньяк прогнал дремоту, и я с новой силой почувствовал, до чего некрасиво поступил со мной Марат, укрывшись в кроне молодого бука и оставив меня внизу один на один с голодным медведем. Ведь засаду мы устроили с таким расчетом, чтобы перехватить медведя, когда он захочет влезть на кукурузное поле. Если бы засада была устроена в таком месте, где медведь, уже нажравшись кукурузы, более благодушно настроенный покидает кукурузное поле, было бы гораздо спокойней. Но на это уже поздно было рассчитывать.

Я несколько раз вскидывал ружье и зажигал фонарь, чтобы на всякий случай прорепетировать последовательность предстоящей операции. Я почему-то боялся, что, услышав подозрительный шум, я сначала спущу курок, а потом включу фонарик.

Несколько раз бодро вскидывая ружье и включая фонарик, я старался привыкать к этой последовательности, как вдруг вспомнил, что курок моего ружья стоит на предохранителе, и если я впопыхах забуду об этом, то, сколько бы я ни нажимал спусковой крючок, выстрела не произойдет. Я отчетливо представил себе такую картину: медведь, слегка ослепленный светом моего фонаря, некоторое время крутит головой, а потом, встав на дыбы, идет на меня, а я как дурак жму на спусковой крючок и не могу понять, почему мое ружье не стреляет.

Сначала спустить предохранитель, потом зажечь фонарь, а потом уже нажимать на курок, зубрил я про себя эту как будто бы простую последовательность действий, но в условиях этой дикой ночи можно было все перепутать.

Кстати, свет от фонарика оказался настолько слабым, что он не то что медведя, а и летучую мышь навряд ли мог ослепить. Стараясь быть готовым в любое мгновение зажечь фонарь, то есть спустить предохранитель, я для бодрости и ясности головы несколько раз прикладывался к фляжке.

Я около десяти раз проделал все эти операции, понимаете, кроме выстрела, и, довольный собой, уже оставил было винтовку, как вдруг почувствовал, что забыл, в каком положении должна находиться пластинка предохранителя, когда она предохраняет ружье от случайного выстрела. Я никак не мог припомнить, в каком положении она предохраняет от выстрела, эта проклятая пластинка: когда она сдвинута вниз или когда оттянута вверх.

Сначала я старался припомнить, как было до того, как я стал тренироваться. Но я ничего не мог припомнить. Тогда я решил логически или даже филологически дойти до истины. Говорят, рассуждал я про себя, спустить курок. Не означает ли это, что и предохранитель надо спустить, то есть сдвинуть пластинку вперед? Но с другой стороны, не означает ли спустить курок — это оттянуть мешающий курку предохранитель и, значит, сдвинуть пластинку на себя?

Я чувствовал, что мне не хватает какого-то одного шага, одного усилия ума, чтобы решить эту кошмарную логическую задачу, и я несколько раз, чтобы прояснить свой мозг, прикладывался к фляжке и вдруг обнаружил, что она пуста.

Я решил больше не заниматься этой растреклятой логической задачей, осторожно отставил от себя ружье на такое расстояние, что я ни ногой, ни рукой не смогу его задеть, даже если усну под сенью молодого бука.

Обезопасив себя таким образом, я несколько успокоился. Я решил, что, если медведь и в самом деле появится, я все сделаю, как отрепетировал, и если не послышится выстрел, надо сдвинуть пластинку предохранителя в другое положение.

Тут я вспомнил про коньяк, и мне стало стыдно, что я один, без Марата, выпил весь коньяк. Но потом, после зрелых раздумий, я решил, что я правильно сделал. Делиться коньяком с человеком, который собирает всю ночь провести на дереве, прежде всего опасно для его собственной жизни.

Именно это я ему высказал, когда он рано утром спустился с дерева и попросил сделать пару глотков. Марат на меня

сильно обиделся и, не говоря ни слова, ушел под сень грецкого ореха искать орехи. Через некоторое время, вскинув голову на дерево, он закричал: «Белка!» — и выстрелил.

Белка висела несколько мгновений на кончике качающейся ветки. Марат промазал. Я вскинул ружье, зачем-то включил фонарь, хотя было совсем светло, и выстрелил. Тут я только вспомнил про предохранитель, значит, все-таки мое ружье не стояло на предохранителе. «Ай да молодец!» — подумал я про себя.

Шумя листьями, белка полетела с дерева. Я подбежал и поднял ее легкое, теплое еще тело. Марат даже не взглянул в мою сторону. Нагнувшись, он искал под деревом грецкие орехи, уже начинавшие вылущиваться из кожуры и падать с дерева.

Вот такое охотничье приключение было у нас с Маратом, если не считать встречу с геологами на обратном пути. Мы остановились на несколько часов в их лагере, и Марат попытался ухаживать за пожилой геологиней, которая сначала никак не могла понять, что от нее хочет Марат, а потом, поняв, выгнала его из своей палатки, куда он забрался во время всеобщего послеобеденного сна. Позже Марат свой неуспех у геологини объяснял тем, что был в плохой форме после бессонной ночи и действовал чересчур прямолинейно.

Но я отвлекся. Марат женился и решил бросить медвежью шкуру к ногам молодой жены в качестве награды за рождение славного наследника рода.

Чтобы действовать наверняка, он начал с того, что поехал на Урал покупать чистокровную сибирскую лайку. Он привез эту лайку и носился с ней, как хороший отец с первенцем. Жена его с первых же дней возненавидела это благородное животное. Насколько я знаю, лайка ей отвечала тем же.

Сведения о его семейной жизни этого периода очень скудны. Одно ясно, что в его доме не было большого благополучия. Тем не менее его жена родила дочку, и они так или иначе продолжали жить вместе.

Несколько позже, когда Марат неожиданно стал писать стихи и песни, у него появилось довольно известное в местных кругах стихотворение «Я ждал наследника». Стихотворение это можно рассматривать как грустный упрек в адрес судьбы, который, кстати говоря, легко переадресовать и на его жену.

Дочку свою он, конечно, любил, и я несколько раз видел его на бульваре, прогуливающего ее, всю разодетую в полупрозрачный нейлон, и каждый раз эта сцена (гордо возвышающийся Марат и маленькая толстенькая девочка с телом, розовеющим сквозь нейлон) пародийно напоминала лучшие времена Марата, когда он по набережной прогуливался с Люсей Кинжаловой.

Кстати, сколько я ему ни говорил бросить эти пустые занятия, я имею в виду стихи, или, в крайнем случае, хотя бы бегло познакомиться с историей поэзии, или, в самом крайнем случае, хотя бы прочитать самых известных современных

поэтов, Марат отмахивался от моих советов и продолжал писать с упорством, генетический код которого, безусловно, заложен в нем материнской линией.

И вот что всего удивительней для человека, который ни разу в жизни не раскрыл ни одного стихотворного сборника, — он добился немалых успехов. Он стал печататься в нашей местной газете, а две его песни вышли и на всесоюзную арену, во всяком случае, их несколько раз передавали по радио. Никак не умаляя заслуг Марата, я все-таки должен отметить, что успех его песен — безусловное следствие очень низкого профессионального уровня этого жанра.

Тут я приступаю к самому щекотливому месту своего рассказа. Видно, писание стихов после приобретения сибирской лайки окончательно добило его жену. Во всяком случае, целомудрие ее пошатнулось. Во время одного из охотничьих походов Марата жена его изменила ему с монтером, приходившим починять электричество. Может, она это сделала, пользуясь отсутствием лайки, может, она и ненавидела лайку как потенциального свидетеля ее вероломных замыслов. Теперь это трудно установить.

Оказывается, этот пьяница монтер сам же первый и рассказал о своей победе над женой Марата. Между прочим, несмотря на то, что рассказывал он это в среде таких же полупьяных-пьяниц, они упрекнули его за то, что он посмел обесчестить нашего Марата.

— Да она сама первая, — говорят, оправдывался электрик, — да она мне даже стремянку не дала сложить...

Почему-то именно это последнее обстоятельство больше всего поразило воображение мухусчан.

— Даже стремянку не дала сложить, — говорили они, как о бесстыжем признаке окончательной порчи нравов. Получалось, что стремянка, во всяком случае в развернутом виде, как бы приравняется к живому существу, и грехопадение в присутствии раздвинутой стремянки превращается в акт особого цинизма.

Между прочим, она продолжала встречаться с этим электриком уже вне связи с починкой электричества и, само собой разумеется, безо всякой стремянки.

Примерно через полгода она ушла от Марата к этому монтеру, чем несколько сгладила свой грех, но никак не сгладила боль и обиду Марата. Лично мне он показывал тот самый кинжал, которым он когда-то искромсал удава, а теперь собирался зарезать ее и его. Мне стоило многих слов заставить его отказаться от этой страшной и, главное, никчемной мести. Разумеется, я был не один из тех, которые уговаривали его не делать этого, хотя бы ради его собственной матери и его собственного ребенка.

Так как Марат достаточно широко извещал о своем намерении, я ждал, что чегемские родственники не замедлят явиться и каким-то образом укротят его гневную мечту, но они почему-то притихли и в город не приезжали. Можно догадываться, что по их таинственному кодексу морали в намерении Марата не было ничего плохого. Точно так же они не препятствовали Марату, когда он сблизился с укротительни-

цей удава. Не только в убийстве удава, но и в самой связи с укротительницей они, по-видимому, ничего плохого не видели, кроме молодечества, или, выражаясь их языком, проявления мужинства.

После ухода жены нервы у Марата стали сильно пошаливать. Всякие ночные звуки не давали ему спать и выводили из себя. Собственный будильник он на ночь заворачивал в одеяло и уносил в ванную. Жужжание мухи или писк комара превращали ночь в адское испытание.

А тут еще как назло была весна, и в пруду недалеко от дома Марата всю ночь квакали лягушки. Они настолько ему мешали жить, что он каждый день стал охотиться на них с мелкокалиберной винтовкой, решив известить всех лягушек этого пруда.

С неделю он стрелял лягушек, но потом этот, можно сказать, сизифов труд был прерван делегацией чегемских родственников, которые подошли прямо к пруду, и старейший из них вежливо, но твердо взял из руки Марата его мелкокалиберку.

Настоящий мужчина, было сказано при этом Марату, охотится на оленя, на волка, на медведя и на другую дичь. В крайнем случае, если из-под него кто-то выволакивает жену (выражаясь их языком), он может стрелять в этого человека, но никак не в лягушек, что позорно для их рода и просто так, по-человечески, смехотворно.

Больше Марат этого не мог выдержать. Он собрал свои пожитки и, покинув наш край, уехал работать в Сибирь, на родину своей лайки. Я сознательно (чегемские старцы!) не даю более точного адреса.

Что касается его бывшей жены, то она благополучно живет со своим монтером, насколько благополучно можно жить с человеком, который в пьяном виде поколачивает ее, не без основания утверждая, что она в свое время изменяла мужу. Во всяком случае, можно отдать голову на отсечение, что он ее не называет своим маленьким оруженосцем.

— Меня Марат содержал как куколку, — жалуется она соседкам после очередных побоев своего монтера.

— Ах, тебя, эфиопка, Марат содержал как куколку, — рассуждают между собой возмущенные мухусчанки, — а чем ты его отблагодарила? Тем, что отдалась монтеру, даже не дав ему сложить стремянку?!

Перед самым своим отъездом из Мухуса Марат показал мне ответ на письмо, которое он отправлял в Москву на все-союзный конкурс фотографий, который проводил ТАСС. С ним посылал свой знаменитый снимок, сделанный когда-то в московском метро. Его кровоточащему самолюбию сейчас, как никогда, нужно было признание.

Я прочел ответ конкурсной комиссии. В нем говорилось, что присланный снимок очень интересен, но он не подходит по условиям конкурса, потому что их интересуют *оригинальные* фотоснимки, а не фотомонтаж, хотя и остроумно задуманный.

Они ему не поверили. Что я мог сказать Марату? Что рок никогда не останавливается на полпути, а всегда до конца доводит свой безжалостный замысел?!

И все-таки я верю, что Марат еще возродится во всем своем блеске. Но сейчас я хочу спросить у богов Олимпа во главе с громовержцем Зевсом, я хочу спросить у хитроумного Одиссея, у бесстрашного Ахиллеса, у шлемоблещущего Гектора, у всех у них, умудренных опытом естественной борьбы за обладание нежной, лепокудрой Еленой. Пусть они мне ответят: как? как? как эта приземистая тумба с головой совенка могла сломать нашего великого друга, чьи неисчислимые победы совершались почти на наших глазах? Или тайна сия нераскрытой пребудет в веках, и нам ничего не остается, как суеверно воскликнуть:

— Прочь, богомерзкая тварь! Изыди, сатана!

24. дороги

Я сидел с дядей Сандро в обществе нескольких мухусчан в кабинете летнего ресторана «Нарты». По нынешним временам мы неплохо пообедали, слегка выпили и ждали кофе по-турецки, чтобы довершить обед.

Компания собралась неожиданная, люди разные, а именно в таком обществе и услышишь что-нибудь забавное.

— Что вы, писатели, — слегка ёрничая, обратился ко мне один из наших застольцев, — фантазируете всякие там выдуманные истории! Надо описывать жизненные случаи, то, что было на самом деле. Этому вас учат, учат, да никак не научат. Вот я вам сейчас расскажу то, что было лично со мной.

Когда Шеварднадзе завинтил гайки и перестал из Грузии пропускать частные мандарины в Россию, чего только ни придумывали люди, чтобы их провезти. Говорят, в Кенгурске нашлись дельцы, которые наняли подводную лодку, и она сделала несколько рейсов из Кенгурска до Туапсе.

Конечно, это не современная подводная лодка, современную кто им даст, но дряхлую, довоенную им удалось зафрахтовать. Но они недолго продержались. Как говорят, жадность фрайера сгубила.

В один из рейсов кенгурские дельцы перегрузили подводную лодку, и она села на мель. Бедный капитан, говорят, предупреждал.

— Ребята, — упрасивал он, — не надо перегружать лодку, она у меня старенькая.

Но они его не послушались, потому что капитан в долю вошел и через это потерял контроль над загрузкой. И вот лодка села на мель, вынуждена была выбросить сигнал бедствия, и через это все они вынырнули в Сибири. Говорят, был закрытый суд ввиду капиталистического полуокружения и китайского ехидства. Но сам я там не был, от людей слышал. Возможно, преувеличивают. У нас вечно все преувеличивают. Так что на подводной лодке не знаю как было, но на катерах точно провозили мандарины, об этом даже в газетах писали. Может, какой-то перегруженный катер затонул, а люди решили, что это была подводная лодка.

Но это слухи. Теперь я расскажу то, что видел своими глазами, то, что было лично со мной. А ты можешь об этом напи-

сать, только фамилий не указывай, тем более, что я их все равно не назову.

Наше АТК командировало меня на Пицунду, где я грузил гравий и отвозил его на границу между Абхазией и Краснодарским краем. Там укрепляли опоры железнодорожного моста и нужен был гравий. Вот я и отвозил его с Пицунды. Я переезжал через пограничную речку Псоу, заворачивал к железнодорожному мосту, опрокидывал там кузов и возвращался на Пицунду.

Работаю уже дней десять. Все идет нормально. И вот однажды ко мне подходит один местный грузин и говорит:

— Слушай, кацо, перевези мне через границу мандарины — получишь тысячу.

— А если поймают? — говорю.

— Да кто тебя будет проверять, — отвечает этот тип, — гравий пока еще никто не проверяет.

— А если проверят? — говорю.

— Слушай, — отвечает он, — если б совсем никакого риска не было, я бы тебе тысячу рублей не давал. Я за риск плачу.

И вот я крепко задумался. С одной стороны, я неплохо зарабатываю. В месяц триста имею чистыми. С другой стороны — за полтора часа тысяча рублей. На улице не валяются. С одной стороны — поймают, с работы снимут. С другой стороны — за полтора часа тысячу рублей. Мне три с лишним месяца надо вкалывать, чтобы заработать такие деньги. Я, конечно, калымил, а кто не калымит! Попутно: кому дровишки, кому стройматериалы, но мандарины — нет. Мандарины те-

перь валюта. И вот я до того задумался, что даже вспотел. А этот тип ждет.

— Ну как? — говорит.

— Я еще подумаю, — говорю, — приходи завтра.

— Ладно, — говорит, — в это же время приду.

И вот я работаю и целый день думаю, как перехитрить милицейский пост. Как раз между Пицундой и рекой Псоу, где граница Абхазии, был пост. И там один старший лейтенант всем заправлял. Русак. Но местный парень, здесь родился, здесь вырос. Такой аферист, как рентген всех насквозь видит: что в машине, что под машиной и у какого водителя какие связи. И между прочим, язык подвешен как бритва. Его хохмы и в Гагре, и в Гудаутском районе все повторяют. Одному гагринскому парню, который в ресторанах среди своих дерзкие речи говорил, а среди чужих был большой мандражист, он дал кличку Кролик-людоед. До сих пор так его называют.

Вот такой автоинспектор там работал. Но при этом хлебо-солный парень. Во время дежурства сам же тебя обчистит, а после дежурства твои же деньги с тобой пропъет. Такой хлебо-солный, остроумный аферист.

Когда я уезжал в командировку, наши ребята предупредили меня, чтобы я обязательно посмотрел, как он патронит машину какого-нибудь спекуля. Он из этого такой театр устраивает, говорили они, что Аркадия Райкина не захочешь после него смотреть.

И я несколько раз останавливался возле его поста, вроде напиться воды, там колонка была. Но как-то не совпадало.

А потом наконец совпало. Я напился, стою и курю, а он совсем рядом.

И вот проезжают «Жигули». Он подымает руку и останавливает машину. На переднем сиденье муж и жена, а на заднем, как потом выяснилось, теща. Все трое армяне.

...Интересно, между прочим, когда у нас на Кавказе о каком-то человеке что-то рассказывают, обязательно называют национальность. Один армянин, говорят, один грузин, один абхаз, один мингрел. Я сам такой. Конечно, все люди делают одно и то же, но каждый делает немножко по-своему, согласно своей национальности. И потому мы называем нацию, чтобы картина была ясней.

И вот, значит, этот хохмач-автоинспектор останавливает машину и подходит к ней. Я в пяти шагах и все слышу.

— Это кто у тебя сзади сидит? — спрашивает он у водителя.

— Это теща, — отвечает водитель, — хочу город Сочи показать теще.

— Она что у тебя, американка? — спрашивает хохмач.

— Зачем американка, — удивляется водитель, — моя теща армянка.

Ну, думаю, начинается театр и подхожу ближе.

— Нет, — говорит хохмач, снова посмотрев на тещу, — она чистокровная американка.

— Слушай, — немного нервничает водитель, — вы что думаете, мы репатрианты? Мы местные, гульрипшские армяне, и теща у меня местная армянка.

— Тогда почему она так высоко колени задирает? — говорит этот хохмач. — Это даже неприлично, чтобы армянская старуха так высоко колени задирала.

Я заглядываю в машину. В самом деле старуха сидит странно. Колени почти у подбородка. Неужели, думаю, такая длинная старуха. Тем более армянка. Армянки такими длинными не бывают.

— Слушай, — уже сердится водитель, — моя машина, моя теща, как хотим, так и сидим. Если нарушения не сделали — отпусти.

А хохмач его даже не слушает. Все на старушку смотрит.

— Бабушка, — говорит он ей и показывает руками, — колени ниже, ниже.

Старуха молчит, не смотрит, колени не убирает, но голову приподняла, чтобы голова была подальше от колен.

— Бабушка, — умоляет ее хохмач, — ниже колени опустите. Вы же армянка, а не американка!

Старуха молчит. На него даже не смотрит.

— Она что у тебя, глухая? — спрашивает хохмач у водителя. Уже издевается, но тот еще не понимает, вернее, понимает в свою пользу.

— Да, — говорит, — она глухонемая и по-русски тоже не знает.

— Глухонемая теща, — говорит хохмач, — это подарок судьбы. Но я так прикидываю на глазок, что она вообще не теща.

— Что вы, издеваетесь? — наконец психанул водитель. — То моя теща американка. То она совсем не теща! Тогда кто она?

— Кашей бессмертный, — говорит хохмач, — который сидит на золоте, и мы это сейчас проверим.

С этими словами он поворачивается и заходит к себе в будку. Водитель размяк. Про Кашея, он, конечно, не понял, но про золото понял. Тут и я допетрил, в чем дело, а до этого не мог понять, зачем он разыграл эту комедию. Так и есть, хохмач выходит из будки с ломиком.

Подходит и показывает рукой, чтобы все очистили машину. Водитель и его жена выходят, а теща продолжает сидеть на заднем сиденье. Делает вид, что не слышит, и колени у нее торчат возле самого подбородка. Но я уже понимаю, что она дефективная американка.

Хохмач несколько раз ей кричит, но она даже не смотрит на него. Тогда он сам открыл дверцу и только, потянул ее за руку, как она не выдержала и закричала. Ругается, но уже сама выходит из машины.

— Оказывается, я второй Христос, — говорит хохмач, — только дотронулся до глухонемой, как она заговорила.

С этими словами он поддевает ломиком фальшивое дно этой машины и выворачивает его. А я никак не могу сдержать смех, хоть и жалко этого водителя. Он, наверное, целый месяц трудился, пока не сделал это второе дно. А хохмач уже вытаскивает из-под фальшивого дна мешки с мандаринами. Складывает на тротуаре и при этом продолжает издеваться.

— В следующий раз, — говорит, — если будешь провозить подпольные мандарины, подруби топором ноги своей теще, чтобы она не сидела как американская миллионерша.

Бедный водитель молчит, а теща ругается. Теща ругает автоинспектора, а он, не обращая на нее внимания, подначивает зятя.

— Прямо, — говорит, — не знаю, как с тобой быть. Если бы Франко был жив, тогда другое дело. Мы бы устроили тебя провозить в Испанию под фальшивым дном марксистскую литературу. Но Франко умер, и я теперь не знаю, где тебя использовать для пролетарского дела.

Я корчусь, потому что сдерживаю смех, теща ругается, а водитель, бедный, молчит, оборотку дать не может, не знает, что дальше будет.

Наконец хохмач вынул все мешки и дает команду садиться в машину. И они садятся, и теща теперь замолчала, и колени у нее больше не торчат как у американки. Сидит как приличная советская старуха.

Только водитель включил мотор и уже хотел ехать, как этот хохмач снова его остановил.

— Выключи мотор! — громко кричит он ему. Водитель выключает. Хохмач подходит спереди и открывает капот.

— А, — говорит, — я так и думал! Звук мотора не тот. Через этот звук я и остановил твою машину, а потом загляделся на колени твоей тещи и все на свете забыл.

И тут он вытаскивает из-под капота два мешка с мандаринами, вытянутые, как змеи. Как только бедный хозяин уложил их между цилиндрами, не знаю.

— Слушай, — продолжает издеваться этот хохмач, перекладывая мешки на тротуар, — неужели ты не понимаешь,

что, пока мандарины в капоте довезешь до России, они сварятся. Ты думаешь, в России едят вареные мандарины? Нет! В России едят вареную картошку, а мандарины едят в сыром виде. Иногда даже со шкуркой. Витамины уважают. А теперь езжай и показывай Сочи своей теще.

Хозяин мандаринов, конечно, не собирался ехать в Сочи, он собирался ехать во глубину сибирских руд, как нас учили в школе, чтобы там мандарины продать. Теперь ему надо сворачивать назад и ехать домой. Но он из самолюбия, армяне же упрямые, решил ехать дальше, как будто у него так и было запланировано: сначала теще показать Сочи, а потом попутно продать в Свердловске мандарины.

И вот этого хохмача, который как рентген все насквозь видит, мне надо перехитрить. Конечно, и деньги хочу заработать, но и перехитрить этого афериста интерес имею.

И вот я целый день еду с гравием туда и обратно и думаю, как его перехитрить. Наконец придумал. Узнал номер телефона этого милицейского поста. На следующий день опять приходит тот грузин.

— Ну как, — говорит, — решил?

— Да, — говорю, — вот сейчас отвезу гравий, а следующим рейсом подъеду к твоему дому и заберу мандарины.

— Почему следующим, кацо? — удивляется он. — Давай сразу?

— Это, — говорю, — тайна моей фирмы. Жди.

И вот, значит, я еду, загруженный гравием. Доехал до Гагры, остановился возле телефонной будки и набрал номер поста.

— Слушаю вас, — говорит хохмач на том конце провода.

И я таким противным голосом стукача-пенсионера говорю, что сейчас мимо его поста проедет грузовик с таким-то номером, в гравий которого зарыты ящики с мандаринами. И сразу кладу трубку.

Доезжаю до поста. Вижу, он уже стоит и так небрежно подымает руку. Торможу.

Он подходит к кабине, ставит сапог на подножку и, качая головой, смотрит на меня.

— Быстро же тебя, — говорит, — испортили наши спекули. По моим расчетам, ты еще целую неделю должен был продержаться. Вечно я переоцениваю людей и через это сам же страдаю.

— В чем дело? — говорю. — Я вас не понимаю?

— Давай, давай выгружай ящики, — говорит, — до чего же испортились современные люди. Значит, теперь не только машины с гравием, но и машины с цементом придется проверять. Значит, я должен дышать в респираторную маску? А кто за вредность будет платить? Не жалеете вы нашего брата, нет, не жалеете!

— В чем дело, — говорю, — я вас совсем не понимаю?

— Хватит, — говорит, — мозги мне пудрить! У меня, учти, везде своя разведка. Выгружай ящики, а то сейчас акт составляю, тогда хуже будет.

— О чем вы говорите, — продолжаю я удивляться, — какие ящики? Я ничего не понимаю.

Тут он, показывая, что злится, убирает сапог с подножки.

— Слушай, — говорит, — если будешь играть в несознанку, я заставлю тебя опрокинуть кузов, и ты будешь отвечать за порчу конфискованного товара.

Я про себя смеюсь, но внешне крепко держу себя в руках.

— Вы что-то спутали, — говорю, — у меня никаких ящиков не было и нет!

И тут он окончательно рассифонился и, вытянув руку вперед, приказывает:

— Отъезжай туда и выгружай гравий на тротуар!

Я отъезжаю метров на двадцать, разворачиваюсь, даю задний ход, въезжаю на тротуар, включаю гидравлику, кузов подымается, и гравий грохается на тротуар. Пыль, и сквозь пыль — он. Лицо вытянулось. Никогда я его таким не видел.

Минуты две рот не мог раскрыть.

— Оказывается, меня разыграли, — говорит он наконец, — то-то же мне голос показался фальшивым. Ну ничего. Я этого человека из-под земли вытащу.

— А что мне теперь делать с гравием, — говорю, — кто мне его будет загружать?

— Езжай, — говорит, — это не твоя забота.

Я выехал, развернулся и чешу назад. Пока я выезжал и разворачивался, он так и стоял на месте. Видно, старался угадать, кто его разыграл.

И вот я приезжаю на Пицунду, экскаваторщик загружает мне кузов, и я на обратном пути останавливаюсь возле дома этого человека. Десять больших ящиков с мандаринами мы

зарываем в гравий, и я уезжаю. Мы договорились встретиться за рекой Псоу.

Проезжаю мимо поста. Хохмач стоит на своем месте. Нарочно притормаживаю, показываю: мол, не хочешь ли проверить мой гравий. Он махнул рукой и даже отвернулся от меня. Наверное, все еще думал: кто посмел его разыграть.

Одним словом, все получилось чин чинарем. Мы встретились с этим типом за рекой Псоу, он заплатил мне деньги и взял свои ящики. А я повернул к железной дороге и скинул там гравий.

Дней через десять моя командировка кончилась. И вот я, последний раз проезжая мимо этого поста, остановился. Настроение имею рассказать хохмачу, как я его употребил. Если начнет на пушку брать, свидетелей нет, скажу, пошутил, а на самом деле ничего не было.

— Чего стал? — говорит он мне.

— Нашел, — спрашиваю, — человека, что разыграл тебя?

— Пока не засек, — говорит, — но он от меня никуда не уйдет.

Тут я не выдерживаю и подымаю хохот.

— Он от тебя сейчас навсегда уедет! — говорю.

— Как так? — спрашивает он, и лицо у него балдеет, как в тот раз, когда увидел, что в гравии нет ящиков.

Я ему открыл свой марафет. И вдруг вижу — не обиделся, оборотку не дает. Он даже сверкнул глазами на меня и протянул руку в кабину.

— Молодец, — говорит, — дай руку! Ты первый шоферюга, который меня перехитрил. Но дело не в этом. Ты чужак. Приехал — уехал. Я думал — это наши ребята меня разыграли. Езжай! Только дай слово, что до Гудаут включительно никому ничего не расскажешь! А дальше — кому хочешь рассказывай!

Я даю слово и еду дальше. Душа у меня кейфует: и деньги заработал, и этого знаменитого хохмача перехитрил... За Гудаутой есть ресторанчик. И я решил спокойно там пообедать и посидеть с нашими ребятами, если их там встречу. Захожу, а там целая орава сидит. Среди них двое моих друзей.

Ребята предлагают выпить, но я на колесах никогда не пью и отказываюсь. Мне не терпится рассказать про этот случай. И как раз в это время в ресторан заходит местный автоинспектор и подсаживается к нам. Я думаю — все равно расскажу, еще смешнее будет. Я рассказываю, ребята умирают от хохота и подначивают местного автоинспектора. Он тоже смеется. Сам абхаз, между прочим.

А когда я кончаю, он лично подымает тост за мою находчивость и предлагает всем выпить. Все пьют за меня, и мне, конечно, приятно. И тогда он мне предлагает двумя-тремя стаканами отблагодарить друзей за тост, поднятый в мою честь. Я отказываюсь, но он не отстает, говорит, что ответственность целиком и полностью берет на себя как автоинспектор. Но я тоже слабину не показываю.

— Спасибо, — говорю, — дорогой! Но я, во-первых, на колесах вообще никогда не пью. А во-вторых, у меня дорога и дальше тоже есть автоинспектора.

Я еще немного посидел с ними, а потом попрощался и вышел. Вдруг этот автоинспектор догоняет меня возле моей машины. Я что-то почувствовал, но еще не понял что к чему.

— Слушай, — говорит, — покажи мне свои права.

— Зачем? — удивляюсь.

— Надо, — говорит, — потом скажу.

Я за собой никакой вины не чувствую и спокойно даю ему свои права. Он вынимает оттуда талон и вдруг делает прокол. Я балдею.

— За что?! — говорю.

— Здесь, — говорит, — стоянка запрещена, а ты целых два часа здесь простоял.

А сам смеется.

— Тогда оштрафовал бы, — говорю, — если ты такой честняга. Прокол зачем сделал?!

— Да, — говорит, продолжая смеяться, — здесь стоянка запрещена, и к тому же ты в своем рассказе кое-что утаил.

— Что я утаил, — говорю, — и какое это имеет отношение к проколу?

— Ты утаил, — говорит он, — что дал слово до Гудауты включительно никому об этом не рассказывать.

И в самом деле я об этом не говорил, не потому, что хотел скрыть, а просто забыл, это для моего рассказа не имело значения. Но откуда он узнал об этом? И тут я допетрил.

— Он что, звонил? — говорю.

— А ты думаешь, — смеется он, — кроме тебя, никто не может пользоваться телефоном.

— Но откуда он узнал, — говорю, — что я остановлюсь в этом ресторане?

— Он все знает, — продолжает этот автоинспектор, — ты думал, что его сделал, но он в конце концов тебе отомстил.

Теперь что я ему скажу? Власть! Я уже сел в машину, думая, лучше бы он мой проклятый язык проколол, чем талон. Он, уже вижу, возвращается к ресторану, чтобы там рассказать, как они меня сделали.

И тут я вспомнил, что я не допустил нарушения слова.

— Стой, — говорю, — что-то хочу сказать!

— Что? — поворачивается он.

— Я же, — говорю, — рассказал об этом уже здесь, за городом. Если ты такой честный, почему ты мне прокол сделал?

— Город растет, — отвечает он, — и ресторан теперь считается в черте города. Включительно!

— Но я же не знал! — кричу.

— Надо было знать, — отвечает он и входит в ресторан.

Вот такая жизненная история со мной случилась, когда я три года назад находился в командировке на Пицунде.

Мы посмеялись рассказу этого лихача, и он, с кротким терпением выждав, пока мы отсмеемся, спросил у меня:

— Вот про этот случай, который был лично со мной, ты можешь написать?

— Попробую, — говорю, — не знаю, что получится.

В нашей компании был один старый рыбак. Среди таких рыбаков встречаются весьма затейливые законотолкователи. Когда рыба не клюет, они со всех сторон обдумывают вопро-

сы государственного устройства и правопорядка. А так как рыба с годами на Черном море клюет все хуже и хуже, они в толковании этих вопросов достигают гигантских глубин.

— Никакая цензура не пропустит, — важно заметил он. Однако, помолчав, обнадежил: — Но если в конце прибавить, что всех нарушителей арестовали, могут пропустить.

— И меня? — спросил лихач.

— И тебя, — безжалостно кивнул законотолкователь.

— А меня за что?! — воскликнул рассказчик. Все рассмеялись искренности его удивления, но тут вся эта история продвинулась еще на один виток.

— Когда это с тобой случилось? — спросил у шофера самый молчаливый участник нашей компании.

— Три года тому назад, — сказал шофер.

— Я там недавно проезжал, — заметил молчун, — твой гравий до сих пор лежит возле милицейского поста.

Предположения по поводу столь длительной консервации скромного памятника стратегической победы нашего лихача были прерваны появлением официантки с дымящимися чашечками кофе на подносе.

* * *

Пока шофер рассказывал свою историю, я следил за дядей Сандро. Он поглядывал на шофера, можно сказать, с гётеанской, олимпийской доброжелательностью, поощрительными кивками подчеркивая наиболее сладостные детали. Казалось,

выражение лица его говорило: да, растут у нас хорошие расказчики, возможно, и не без нашего влияния.

Реплики застольцев были выслушаны им тоже достаточно поощрительно. После этого он взял со стола чашечку кофе.

— Раз уж заговорили о дорожных делах, — начал он, отхлебывая кофе, — я тоже кое-что расскажу. Если кто-то из вас уже слышал эту историю, ничего, еще раз послушает. Хороший рассказ, как песня, его много раз можно слушать.

Три года тому назад в один мартовский вечер мне надо было срочно поехать в село Анхара. Дело там у меня было с одним человеком. Такое дело, которое никак нельзя отложить до утра. Я спускаюсь к дому моего соседа Тенгиза и оттуда звоню моему племяннику Кемалу. У него машина.

Так, мол, и так, говорю, надо срочно ехать в село Анхара. Кемал, как обычно, минут десять мыкал в трубку, а потом говорит:

— Не обижайся, дядя, но я сегодня не могу ехать.

— Чего это ты не можешь ехать?

Опять засопел. Вообще, чтобы с нашим Кемалом дело иметь, надо с буйволиными нервами родиться. Но выхода нет, машина нужна.

— Мы, летчики, — наконец переходит он к словам, — верим в предчувствие... Да и погода плохая... Завтра поедем...

Завтра! Завтра уже поздно будет для моего дела.

— Твое предчувствие, — говорю, — это твоя лень, с которой я борюсь уже шестьдесят лет. И какой ты летчик, если

уже тридцать лет не летаешь, а сидишь в диспетчерской? И какой ты племянник, если в год раз не можешь повезти меня на своей машине?

Одним словом, заставил его приехать. Погода в самом деле плохая. Идет мокрый снег, но на земле не держится, тает. Сажусь, едем. Только выехали за город, он вдруг говорит:

— Предчувствие меня не обмануло.

Так говорит, как будто уже что-то случилось. Но дорога нормальная, и мы едем нормально. Я смотрю на него, а он, как обычно, молчит, вперед смотрит. И на голове его эта замусоленная беретка, которую я ненавижу. Сколько раз я ему объяснял, что беретка кавказскому мужчине вообще не идет. Беретка идет латышам. Эстонцам тоже идет. Нет, он за рулем всегда в беретке. И главное, никак не снашивается. Уже лет пятнадцать, как только сядет в машину, беретку надевает. Выходит — беретку в карман.

— Что означает твое предчувствие? — спрашиваю у него.

Минут пять молчит.

— Забыл, — говорит, — свою корреспондентскую книжку.

У него в самом деле есть такая книжка, как будто он внештатный корреспондент журнала «Советская милиция». Есть такой журнал в Москве. У него там товарищ работает, и тот подарил ему такую книжку. Если выпивший едет за рулем и милиция его останавливает, он им эту книжку сует, и они только честь отдают.

— Книжка твоя нам не нужна, — говорю, — я не собираюсь с тобой выпивать. Поговорю с человеком и назад.

— Погода, — морщится он, — и к тому же село абхазских эндурцев надо проезжать.

— Погода, — говорю, — нам не мешает, мы не верхом едем. А эндурцев оставь мне. Я с ними уже восемьдесят лет имею дело. И дома у меня жена-эндурка, как больной зуб во рту, но, как видишь, я до сих пор жив.

Недоволен моими словами. Молчит и только на скорость нажимает.

— Спокойней, — говорю, — ты не в самолете... Все-таки мокрый снег идет.

Едем дальше. Уже доехали до Орехового Ключа, а он вдруг говорит:

— Ты как жена моя Галя...

И больше ничего не добавляет. Вот так что-нибудь скажет и на полпути остановится.

— Чем это я похож на твою жену? — говорю.

— Она тоже, — говорит, — как только сядет в машину, учит меня ездить...

Ладно. Едем дальше. Все спокойно. За несколько километров от эндурского села, которое мы должны были проехать, он вдруг останавливает машину и кивает в окно:

— Посмотри!

Я смотрю — какой-то «Москвич» уткнулся в кювет, и только зад торчит. Кемал открывает дверцу и подходит к машине. Обошел, возвращается.

— Ну что там, — говорю, — люди не пострадали?

— Людей нет, — говорит, — но машину сильно покалечило.

— Главное — люди, — говорю, — едем своей дорогой.

И вот мы уже проезжаем это эндурское село, и он снова останавливает машину. Кивает. Смотрю — на этот раз «Жигули» валяются в кювете. Он опять вышел и посмотрел, но людей не оказалось.

— Видно, — говорит, — здесь большая пирушка была, и все перепились.

— Конечно, — говорю, — они сахар и всякую дрянь к вину добавляют, а потом с ума сходят.

— Наши не лучше, — говорит Кемал, — хорошее вино сейчас редко где выпьешь.

Это правда. Люди сами испортились и вино портят сахаром и всякой отравой.

Проехали мы еще немного, и тут нас обгоняет таксист. Он уже ушел вперед метров на двадцать, и вдруг из-за поворота выскакивает трактор «Беларусь» и идет прямо на такси. Я уже думал ударит, но таксист оказался настоящим джигитом. Увильнул из-под трактора и проехал.

Тут тракторист заметил нас и бросил этого таксиста. Идет как танк. Я думал — Кемал увернется, как этот таксист, а он затормозил и стал. Трактор нас так ударил, что мы отлетели назад метров на десять. Здорово трянуло. Но мы живы, а с Кемала даже его проклятая беретка не слетела. Трактор — мимо, и я услышал пенье. Поет, сукин сын!

Выходим из машины. Смотрим: спереди — как это называется? — бампер весь согнулся и правое крыло вдавилось в колесо. Кемал завел мотор, но колесо не крутится. Крыло его держит.

- Почему, — говорю, — ты не увильнул, как тот таксист?
- Откуда я знал, что он сумасшедший! — говорит.
- Он пьяный, а не сумасшедший, — говорю.

Вылезаем из машины, пробуем разогнуть крыло, но ничего не получается. И тут я вспомнил то, что случилось на этой же дороге больше сорока лет назад.

В тысяча девятьсот тридцать первом году мы на лошадях ехали домой из Кенгурска, где были на оплакивании одного человека. Нас, чегемцев, было человек десять, и женщины с нами были. И вот тогда мы увидели в селе Тамыш первый трактор. Он пахал поле, а на дороге стояли человек пятьдесят местных крестьян и смотрели, как он пашет. С нами был охотник Тендел. И Тендел, когда увидел пашущий трактор, от удивления закричал:

— Какое же чрево было у чудища, из которого вывалилось это чудище!

И тогда все засмеялись простоте нашего Тендела. Он уже машины видел, но не мог поверить, что трактор — это тоже машина. Потому что с детства привык к одной мысли — пашут на живых! И он от неожиданности решил, что трактор это такое животное, которое водится в России и теперь его перегнали к нам. И тогда мы, посмеявшись над словами Тендела, поехали дальше и вступили в это село, где сейчас нашу машину ударил трактор.

В то время там русские рабочие расширяли дорогу. И вот что случилось. Я почему-то немного отстал. На дороге валялась доска. Лошадь моя задней ногой наступила на конец до-

ски и от этого другой конец доски приподнялся и шлепнулся в лужу, возле которой на корточках сидел рабочий. И эта доска все лицо его обрызгала грязью.

— Эй, чернозадый... твою мать! — крикнул рабочий. — Не видишь, куда лошадь идет!

«Чернозадый» я еще стерпел бы, хотя это неправда, в нашем роду все светлые. Но «мать», конечно, я не мог стерпеть! Тогда не мог! Сейчас все терпим!

Я повернул лошадь, подъехал к этому рабочему и от души ударил его камчой по спине. Он завыл, и тут со всех сторон подбежали ко мне рабочие, кто с лопатой, кто с киркой. Хотели избить. Но я кручусь на своей лошади, не даю себя ударить, а сам лупцую камчой налево и направо, так что клочья рубашек летят, и при этом приговариваю:

— Если ваша власть, зачем не сидите в Кремле?! Зачем здесь дорогу строите?!

Сам не знаю, что кричу, и только камча моя свистит в воздухе. Конечно, они меня через две-три минуты достали бы, но тут наши заметили, что случилось, прискакали и разняли нас.

Все бы кончилось мирно, если б не этот эндурский десятник, который рабочими командовал. Он имел зуб на моего отца. Дело в том, что его отец жил в Кенгурске и торговал в магазине. В 1927 году он прокушал десять тысяч казенных денег и ушел от государства в лес.

И вот однажды он пришел в наш дом как абрек. По нашим обычаям, как вы знаете, абрека положено принять, накор-

мить и, если надо, спрятать. Но какой же он абрек? Абрек — это мужчина, убивший кого-то за оскорбление или отомстивший за близкого родственника. Мой отец вообще не любил абреков, а тут напоролся на этого жулика. И отец его прогнал из дому.

— Если каждый торгош будет уходить в абреки, — крикнул отец, — на вас чегемских лесов не напасешься!

Мой отец был резкий, прямой. И он, конечно, опозорил этого человека. И сын его затаил обиду и сейчас, через четыре года решил мне отомстить.

— Езжай, езжай, — крикнул он мне вслед, — это тебе даром не пройдет!

Я тогда ему не поверил. Но, оказывается, этот десятник уговорил рабочих пожаловаться на меня в суд. И они пожаловались. И вот в Чегем приезжает один мой друг из Кенгурска. Он об этом узнал и решил меня предупредить.

— Дело плохо, — говорит, — но у нас в Кенгурске есть хо-роший адвокат-ебрей. Он тебя выручит.

Этот мой друг «еврей» не мог сказать — «ебрей» говорил.

— Нагрузи, — говорит, — ослика орехами, копченым мясом, сыром и поговори с ним.

Приезжаю к этому адвокату, разгружаю мешки и рассказываю про дело.

— Постараюсь найти выход, — говорит адвокат, — но это трудно, потому что Сталин любит рабочих, а крестьян ненавидит.

— А что ему сделали крестьяне? — удивляюсь я.

— Это ты у него спроси, — говорит. — Приезжай через неделю, а я за это время все выясню. Еще два мешка орехов прихвати. Хорошие у вас орехи, сочные.

— Помоги, — говорю, — а за орехами дело не станет.

Через неделю приезжаю.

— Танцуй, — говорит адвокат, — я все уладил! Я поговорил с этими рабочими и сразу понял, кто они такие. Они выдавали себя за жителей Курска. Но я по их выговору сразу понял, что эти курские соловьи на самом деле кубанские казаки, сбегавшие от раскулачивания. Эндурского десятника они могли обмануть, но не меня, керченского еврея. Мы обо всем договорились, и они уже взяли свою жалобу назад.

Я от души поблагодарил его.

— Езжай, — говорит, — а в случае чего всегда обращай ко мне. Чуть что — тряхни грецкий орех и приезжай!

И вот я еду домой, а сам про себя думаю: что за время, в котором стоим! Раньше казаки камчами били рабочих. А теперь казаки превратились в рабочих, и я как казак побил их камчой.

Вот так мы это дело тогда уладили, и теперь я возвращаюсь к машине, которую почти на этом же месте через сорок с лишним лет ударил пьяный тракторист. А сейчас вы сами подумайте, какое время прошло между тем первым трактором, который Тендел принял за российского буйвола, и этим трактористом, который своим трактором машины гробит. И при этом поет!

И вот, значит, ночь. Идет мокрый снег, а мы стоим на дороге и никак не можем оторвать крыло от колеса. Недалеко от

этого места мы заметили огонек и решили пойти туда и попросить у хозяина лом.

Входим во двор. Навстречу с лаем собачонка, а потом и сам хозяин. Хозяин выпивший и нас в дом тащит, чтобы по стаканчику угостить. Еле отцепились. Но вот наконец он достал лом, зажег фонарь и пошел с нами к машине.

Втроем кое-как выправили крыло, сели в машину и поехали дальше. На обратном пути решили заехать в милицию и вместе с ней поймать этого бешеного тракториста. Километрах в десяти от этого села был маленький городок, и там, конечно, можно было найти милицию.

И вот мы с Кемалом приезжаем в село Анхара к этому человеку, с которым у меня было одно неотложное дельце. Я Кемала оставляю на кухне, а сам с хозяином поднимаюсь в дом, и там мы о своем деле как следует поговорили. Вам об этом не обязательно знать.

Спускаемся в кухню, и я вижу, мой Кемал сидит возле горящего очага и на вертеле жарит копченое мясо. Видно, давно жарит, потому что в кухне запах, и с мяса жир капает на угли.

— Ты что делаешь? — говорю.

— Детство вспомнил, — отвечает Кемал, — люблю жарить мясо на вертеле. Хозяйка уговорила остаться. Поужинаем, выпьем, переночуем, а завтра поедем.

— Нет, — говорю, — никак нельзя. Ты забыл, что мы должны поймать этого негодяя, который с песней наехал на твою машину?

— Останемся, — мямлит Кемал, продолжая крутить вертел, — завтра найдем тракториста... Я чувствую — сегодня еще что-нибудь может случиться...

— Все, что могло случиться, уже случилось, — говорю, — вставай, едем!

Хозяин тоже уговаривает остаться, но я твердо держусь, и Кемал неохотно встает, отдает вертел с шипящим мясом хозяйке, натягивает на голову свою беретку, а сам глаз не сводит с дымящегося мяса.

— Ну тогда, — говорит хозяйка, — я вам дам это мясо на дорогу. Вы его пожарили, вы его и съедите!

— Спасибо, не откажемся, — говорит Кемал.

От нашего Кемала с ума можно сойти! Он считает, что, раз он живет на зарплату, все его обязаны обслуживать. Хозяйка сдергивает мясо с вертела в целлофановый мешочек, туда же кладет аджику и туда же кидает несколько головок лука. Хороший лук. Как яблоко, такой лук.

Этот мешочек, наполненный мясом и луком, Кемал аккуратно так укладывает за спиной заднего сиденья, как будто был в гостях у родственников, а не у людей, которых первый раз видит.

Едем назад. Снег перестал. Дорогу хорошо видно. Вдруг — впереди стоит «Волга», а рядом какой-то человек машет рукой, чтобы мы притормозили.

— Я буду с ним говорить, ты молчи, — предупреждаю Кемала.

Чтобы с эндурцем говорить, хорошая политика нужна. А Кемал этого не понимает. Или молчит или вывали-

вает все как есть. Поравнялись. Вижу — машина наполнена людьми. Тот, что стоял возле машины, подходит к нам. За спиной охотничье ружье, а что в голове — понять трудно.

— Трактор «Беларусь» не встречали? — спрашивает.

— Нет, — говорю, — а что случилось?

Он долго смотрит и ничего не отвечает.

— Что-нибудь случилось? — говорю.

— Ничего, — говорит, — трактор «Беларусь» ищем.

Он к своей машине, а мы едем дальше.

— Почему не сказал? — спрашивает Кемал.

— Подальше от них, — говорю, — может, они ищут ненужных свидетелей.

Едем. Километров через пять снова встречная машина, и она останавливается возле нас.

— Трактор «Беларусь» не попадался? — кричит из окна водитель.

— Нет, — отвечаю и едем дальше.

— По-моему, — говорит Кемал, — это облава на трактор «Беларусь».

Точно! Кемал иногда правильно соображает. Конечно, они ищут этого тракториста, чтобы отомстить ему. Опрокинутые люди собрали своих родственников и теперь ищут этого дурака, а про свои машины забыли.

Едем. У самого выезда на трассу вдруг мне показалось, что я услышал тарахтенье трактора.

— Быстрей, — говорю, — он где-то близко.

— Откуда взял? — спрашивает Кемал, но скорость не прибавляет.

— Мотор слышал, — говорю, — быстрее!

— Нет, — говорит, — я ничего не слышал.

От этого Кемала с ума можно сойти! Как он мог услышать, когда глухой, как мельник. Он, конечно, не совсем глухой, но глуховатый. Вечно уши прочищает, как будто от этого лучше будет слышать.

Минут через пять выезжаем на трассу, но здесь уже ни мотора не слышно, ни трактора не видно. И как раз возле трассы на этом месте с одной стороны улицы магазин, а с другой стороны — тракторный гараж, а рядом — сторожка и свет горит.

Я подхожу к воротам гаража. Они заперты, но главное, свежих следов нет, сюда он заехать не мог. Подымаемся в сторожку. Там железная печка горит, стол, а за столом два человека играют в карты. Ясно, что один из них сторож гаража, а другой сторож магазина.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Вы сторож магазина, — рукой на одного, — а вы сторож гаража, — рукой на другого.

— Правильно! — говорят они и вскакивают от удивления. А я правильно угадал, потому что сторож магазина должен был сидеть напротив окна, чтобы время от времени следить за магазином. Я их решил сразу оглушить, чтобы они от растерянности в дальнейшем правду говорили.

— У вас не хватает трактора «Беларусь», — говорю сторо-
жу гаража.

Но этот подлец, оказывается, успел взять себя в руки.

— Нет, — говорит, — у меня все трактора на месте и ключ
от гаража в кармане.

Не поддается. Тогда я ему все рассказываю, как было, но
он все равно не поддается. Говорит — это был чужой трактор.
Врет, конечно, больше здесь никаких гаражей нет.

Я поворачиваюсь уходить, а Кемал как сел у печки, так
и сидит. Не двигается. Как будто я должен мстить за его ма-
шину.

— Что расселся, — говорю, — поехали в милицию!

Кряхтит, встает, вынимает из кармана беретку. Выходим.
А у меня все еще сидит в голове шум этого тракторного мото-
ра. Если я его в самом деле слышал, он далеко не мог уехать.
Тогда где он? В этом месте рядом с улицей была большая по-
ляна. Посреди поляны росли какие-то кусты. Кемал уже сел
в машину.

— Подожди меня, — говорю, а сам иду через поляну. Толь-
ко зашел в кусты — в трех шагах от меня трактор «Беларусь».
Я на него смотрю, и он вроде на меня смотрит. Я молчу, он
молчит. Темно. Человека не видно.

— Он здесь! — кричу и бегу к машине. А в это время трак-
тор затарахтел, развернулся и давай удирать через поляну.
Кемал включает мотор, и мы за трактором. Он уже проехал
поляну, залез в кювет, я думал, он там застрянет, но нет, выва-
лился на проселочную дорогу. Мы за ним, но дорога такая

плохая, что догнали только минут через пятнадцать. Сигналим, сигналим — не останавливается. А дорога все хуже и хуже. Наконец Кемал тормозит.

— Что, — говорю, — страшной «мессершмитта»?

— Да нет, — морщится Кемал, — жалко машину гробить...

Он без милиции все равно не остановится.

Выезжаем на трассу и едем в милицию. Входим. Вижу, за барьером дежурный лейтенант. Грузин. Рядом его помощник. Мингрелец. А в углу сидит молоденькая женщина — пойманная проститутка. Я по-грузински рассказываю лейтенанту все, что с нами случилось. А Кемал в это время что делает? Облокотился о барьер и разговаривает с этой женщиной, как будто на бульваре с курортницей знакомится.

— Я знаю этого хулигана, — говорит лейтенант, — у него бездетный дядя. Местный агроном. Он его всегда выручает. Но на этот раз или я или он.

Лейтенант дает приказ своему помощнику ехать на поиски этого тракториста. Я окликаю Кемала, а он на меня не смотрит. Продолжая разговаривать с этой женщиной, достает из кармана беретку.

Едем. Работник милиции на своей машине, мы на своей.

— Как тебе не стыдно, — говорю, — на глазах своего дяди, на глазах у милиции разговаривать с районной проституткой?

— Она не проститутка, — нахально отвечает Кемал, — просто неопытная женщина попала в плохую компанию. Я хочу ей помочь на работу устроиться в нашу столовую.

И это он мне говорит! Как будто я его не знаю! Ладно, думаю, дома поговорим.

И вот мы часа два крутимся по проселочным дорогам, но нигде его нет. Тракторный след мы потеряли, когда он с дороги свернул на чайную плантацию. Мы уже решили выехать на трассу, как вдруг впереди нас прямо из оврага выползает трактор и летит. Мы за ним. Этот милиционер оказался храбрым парнем. Обогнал трактор, остановил машину и выскочил из нее с пистолетом в руке. И тут трактор остановился.

Подходим и видим — в тракторе сидят двое. Здоровый парень лет тридцати с вылупленными бычьими глазами, а рядом десятилетний мальчик.

— А ну вылезай! — приказывает милиционер.

Но тот вцепился в руль и сидит. Тогда милиционер вместе с Кемалом с трудом выволакивают его из трактора. Как только вытащили, обмяк. Стоит и качается как осенний кабан, опьяневший от виноградных выжимок.

Милиционер вытащил из кабины литровую бутылку чачи, уже наполовину пустую.

Что оказалось? Оказалось, что этот тракторист решил подхалтурить и вспахал приусадебный участок одной вдовушки. За это она его накормила, напоила и еще домой дала литр чачи. А он взял ее мальчика покатать на тракторе. Уже в тракторе еще пол-литра чачи выпил и совсем взбесился.

Теперь нам надо ехать в милицию, а Кемал что делает? Ни один человек в мире не угадает, что Кемал будет делать через

минуту. Он берет у этого милиционера бутылку, вынимает из кармана платок, обливает его чачей, ставит бутылку на землю и, повернувшись к фарам своей машины, начинает чистить свой пиджак. Милиционер ждет, преступник ждет, я жду, а он спокойно чистит свой пиджак, хотя если уж в мире что-нибудь нуждается в чистке, так это его беретка. У меня душа к горлу подошла.

— Что ты делаешь, — говорю, — другого места не нашел?

Спокойно продолжает чистить. А милиционер волнуется и правильно делает, потому что те, что ищут тракториста, могут наткнуться на нас, и тогда неизвестно что будет.

— Да я тут, — мямлит Кемал, — пока этого кабана вытаскивали из кабины, мазутом обмазался.

Наконец почистил пиджак, но, главное, послушайте, что дальше делает. Вообще, когда с Кемалом связался, или умирай от стыда, или умирай от смеха. Закрывает бутылку пробкой и несет в свою машину. Что ему в руки ни попадет, все тащит в свою машину. Слава Богу, тут милиционер опомнился.

— Извините, — говорит, — но бутылка с чачей проходит как вещественное доказательство.

А Кемалу что? Не получилось сегодня, завтра получится. Я думаю, если сунуть ему в руки динамит, завернутый в газету, он его тоже потащит в свою машину. Он считает, что раз он живет на зарплату, все его должны обслуживать.

Наконец садимся в машину и приезжаем в милицию. Там составили акт, и по этому акту тракторист должен был запла-

тить Кемалу тысячу рублей. Тракторист без слов подписал акт. А что ему? Платить все равно будет дядя.

— Сколько машин опрокинул? — спросил лейтенант.

— Четыре, — говорит тракторист.

— Признайся, если больше, — говорит лейтенант, — а то потом хуже будет.

— Клянусь дядей, четыре, — говорит тракторист.

— Другие убежали, — добавляет мальчик.

— Дорого твоему дяде обойдется это хулиганство, — говорит лейтенант, — но на этот раз ты сядешь в тюрьму.. Или я уйду с работы...

Лейтенант задержал тракториста, а своему помощнику приказал отвезти мальчика домой и по дороге проверить все опрокинутые машины. Мы тоже поехали.

— По-моему, — говорю Кемалу, — ремонт тебе в тысячу рублей не обойдется.

— Ничего, — говорит Кемал, — у них денег куры не клюют... Лейтенант понял, что я на зарплату живу.

Только доезжаем до Орехового Ключа, и вдруг у поста останавливает милиционер. Подходит. Кемал открывает окно:

— В чем дело?

— Права, — говорит милиционер, перегибаясь к окну.

— А что я нарушил? — спрашивает Кемал.

— Пьяный сидишь за рулем, вот что нарушил.

Кемал начинает хохотать.

— Смейся, смейся, — говорит милиционер.

— Я уже целую неделю в рот рюмки не брал, — говорит Кемал.

— Повезу на экспертизу, хуже будет, — говорит милиционер.

Ну, думаю, поздно едем, значит едем с пирушки, решил на нас деньги заработать. Но он не знает, что из Кемала деньги на тракторе «Беларусь» не вытянешь.

— Пожалуйста, поехали, — говорит Кемал и открывает заднюю дверцу. Милиционер уже просунулся, и тут я у него спрашиваю:

— Откуда ты взял, что он пьяный?

— От него водкой воняет, — говорит милиционер, — даже с дороги слышно.

И тут я понял, в чем дело.

— Стой, — говорю, — это не он, это его пиджак.

— При чем пиджак? — удивляется милиционер.

Тут я ему рассказываю, как Кемал чистил свой пиджак, а он не очень верит и на закуску, которая за сиденьем лежит, одним глазом смотрит.

— Снимай пиджак, дай понюхать, — говорю Кемалу.

Кемал хохочет и от смеха не может снять пиджак, а милиционер ждет. Кемал сунул ему пиджак. Милиционер понюхал его один раз, понюхал его второй раз и молча закрыл дверцу машины. Недоволен, что мы не попались.

Кемал надевает пиджак, и мы едем. Снова повалил снег, и впереди почти ничего не видно. А Кемал едет посреди шоссе. Я боюсь, что он столкнется со встречной машиной.

— Почему посередине дороги едешь, — говорю, — держись правой стороны.

— Покрышки, — бубнит Кемал и километра через два добавляет, — по краям шоссе колдобины...

— Что ты покрышки экономишь, — кричу ему, — когда такой снег идет! Столкнемся со встречной!

Надулся, но все же перешел на правую сторону. И тут мы проехали метров двести, как вдруг из-за эвкалипта, стоявшего возле дороги, вываливается пьяный эндурец и падает почти прямо под колеса. Кемал нажимает на тормоза, мы выскакиваем, думаю, все — убили человека. Нет, шевелится. Весь рукав разодран до самого плеча. Он ударился о то крыло машины, которое раньше ударил трактор. Кемал все-таки молодец. Недаром летчиком был. Успел тормознуть.

Мы подняли пьяного, но он ничего сказать не может, мычит хуже Кемала. Я его растряс как следует, и он немножко пришел в себя.

— Ребята, — говорит, — доведите домой... Деньги дам сколько хотите...

— Деньги не надо, — говорю, — но где ты живешь?

— От шоссе, — говорит, — первый поворот направо и сразу мой дом.

Сажаем его в машину и едем. Он спит. Кемал свернул на повороте, и едем по проселочной дороге. Снег идет, почти ничего не видно. Наконец увидели первый дом. Толкаю нашего пассажира.

— Нет, — говорит, — мой дом дальше будет.

Теперь я его все время толкаю, чтобы он не пропустил свой дом.

— Вот мой дом, — говорит он наконец и начинает рыться в кармане пиджака. А то, что рукав разорван до самого плеча, не видит. Мы, конечно, не дали ему заплатить и высадили его.

Разворачиваемся и снова выезжаем на трассу. А Кемал опять выехал на середину шоссе. Но я теперь ничего не говорю. Боюсь — опять пьяный под колеса попадет.

— Что такое, — удивляюсь я, — никогда не видел столько пьяных эндурцев.

— Наверное, у них сегодня какой-то праздник, — говорит Кемал.

— Нет, — говорю, — у них сегодня никаких праздников.

— У них, — спорит Кемал, — есть такие праздники, о которых ни один человек не знает.

Он меня учит эндурским праздникам, когда я пятьдесят лет живу с эндуркой.

— Слушай, — говорю, — нет у них сегодня никаких праздников. Просто распустились люди. Палку Большеусого забыли!

Кемал ничего не отвечает, и я уже думал, что он согласился со мной.

— У них, — вдруг повторяет он, — есть такие праздники, о которых ни один посторонний человек не знает.

— Какой, — говорю, — у них может быть праздник? Назови!

Молчит, молчит, а потом опять за свое.

— Может, праздник освобождения от турецких янычар, — говорит, — может, еще что...

Спрашивается, где турецкие янычары, а где наши эндурцы? Я с ума схожу, а он спокойно сидит за рулем, и только беретка торчит над ухом.

— Оставь янычар в покое, — говорю, — лучше следи за дорогой!

А он все едет посередине шоссе, и мы уже близко от города. И тут я вспомнил, что у въезда в Мухус открытый люк на шоссе и знак не успели выставить, чтобы шоферы опасность видели. Я это заметил, когда мы еще туда ехали. Хотел напомнить ему, но, думаю, сейчас опять начнет сравнивать со своей женой Галей или забудет к тому времени, когда подьдем. Решил — перед самым городом скажу. И тут я допустил ошибку. Забыл. И уже в пяти метрах вспомнил.

— Кемал! — кричу.

Он успел остановиться перед самым люком, но тут сзади нас ударяет машина, которая шла следом. Опять эндурцы?! Нет! Оказывается, за нами цугом шли три машины из Еревана.

Мы выходим. Водители ереванских машин тоже выходят. Теперь Кемалу заднее крыло подмяли и фонарь разбили. Заднее крыло тоже правое. Машину Кемала, как паралич, с одной стороны бьют.

Ругаемся. Они говорят, что мы слишком резко затормозили, а мы говорим, что они дистанцию не соблюдали. И это видно по следу от тормозов ереванской машины. Кемал тре-

бует деньги на ремонт, но этот водитель говорит, что мы виноваты. А как докажешь, что мы правы, когда нас двое, а у них три машины, наполненные ереванцами.

И тут, на наше счастье, подходит милицейский патруль. Два человека. Оказались абхазцы. Один пошустрей, а другой тихий. Патрули все честно рассудили и сказали ереванскому водителю, что он должен заплатить за ремонт, иначе акт составят.

— Сколько? — наконец соглашается водитель.

— Сто пятьдесят рублей, — говорит Кемал.

Я вижу, он совсем во вкус вошел. Ясно, что на сто пятьдесят рублей его машину не испортили. Но Кемал такой. Раз он на зарплату живет, значит, его все должны обслуживать. А то, что он хорошую военную пенсию получает, не говорит.

Ереванский водитель начинает торговаться, говорит, что у него дальняя дорога в Россию, а денег мало. Какой же дурак поверит, что он в Россию едет без денег.

— Тут починки всего на пятьдесят рублей, — по-абхазски подсказывает милиционер. Тот, что был пошустрей, подсказывает.

— Что ты их деньги жалеешь, — по-абхазски ему отвечает Кемал, — у них полные багажники денег.

Наконец сторговались на сто рублей. Ереванский водитель злится, но деньги отдает. И видно, захотел к чему-нибудь придаться, потому что спереди подошел к нашей машине и увидел погнутое крыло.

— Вот видите, — кричит он милиционерам, — он ездить не умеет! Он уже с кем-то столкнулся.

Тот, что был пошустрей, подошел к нашей машине, карманным фонариком осветил крыло и что-то там долго завожился. Потом дает знак ереванским машинам, чтобы они проезжали, а нам дает знак, чтобы мы стояли. Ереванские машины уехали, а этот подошел к своему товарищу и начал с ним шептаться. Потом подходит к нам.

— Что у вас случилось в дороге? — спрашивает. Кемал начинает мямлить про трактор, но я чувствую, что милиционер ни одному слову не верит.

— Не трактор, — говорит, — вас ударил, а вы сбили человека. Сознайтесь, где это было. Если живой — окажем помощь. Если мертвый, суд разберется, кто виноват.

Тогда я добавляю, что трактор в самом деле был, но был и пьяный эндурец, который вывалился из-за эвкалипта прямо под колеса. Но, слава Богу, он жив и мы его благополучно довели до дому.

— Поехали, — говорит тот, что был пошустрей, своему товарищу, — мы должны убедиться, что он жив-здоров.

Теперь что делать? Они садятся, Кемал разворачивает машину, и вдруг тот, что был пошустрей, кричит:

— Стой!

— В чем дело? — спрашиваю.

— Да вы, оказывается, совсем пьяные, — удивляется он, — как это я сразу не заметил... Давайте я сяду за руль...

И тут я догадался, в чем дело. От пиджака Кемала вся машина чачей провоняла. Мы привыкли, а милиционер, конечно, заметил. Я ему объяснил в чем дело, но тот, что был

пошустрей, не поленился, привстав, понюхал пиджак Кемала и тогда успокоился. А Кемал хохочет.

— Нюхайте мой пиджак и закусывайте, — говорит, — закуска у вас за спиной. Едем.

— Ты помнишь, где поворот? — спрашиваю у Кемала.

— Вроде бы, — мычит Кемал.

Опять повалил снег, и почти ничего не видно. Доезжаем до поворота и въезжаем на сельскую улицу. Света в домах нет, и черт его знает, где дом этого эндурца. Думаю, пропали на всю ночь, если его сейчас не найдем.

— Слушай, — спрашиваю у милиционера, — как ты догадался, что мы сбили человека?

— Извините, — говорит, — я уважаю ваш возраст, но это пока оперативная тайна. Закроем дело — скажу.

Ладно, думаю, лишь бы мы нашли этот дом.

— Кажется, здесь, — наконец говорит Кемал и останавливает машину.

Вылезаем и в темноте подходим к изгороди. Рядом калитка.

— Эй, хозяин! — кричу несколько раз. Лает собачонка, а людей не видно. Но вот в доме зажегся свет, и женский голос с крыльца:

— Кто там?

— Милиция, — говорю, — подойди сюда!

Женщина вошла в дом и выходит с керосиновым фонарем в руке. Подходит. Пальто накинуто прямо на голову и из-под него глазами то на нас, то на милиционеров.

— Хозяин дома? — спрашивает тот, что пошустрей.

— Спит, — говорит женщина.

— Больше мужчин нет в доме?

— Дети есть, — говорит женщина и все время глазами из-под пальто то на милицию, то на нас, — а что случилось?

— Подыми мужа, — приказывает милиционер.

Женщина не двигается. Старается понять, зачем ее мужа вызывают: может, подрался с кем-то? Но я все же не уверен, что мы нашли тот дом. Если не туда попали, придется всю ночь искать этого дурака.

— А что он сделал? — спрашивает женщина и продолжает стоять.

Тут Кемал не выдержал.

— Слушайте, — говорит, — милиция думает, что мы его переехали. Пусть посмотрит, что он живой.

Не верит. Думает — хитрим. Все же ставит фонарь на землю и идет за мужем. Подходят. Хоть сейчас он был в плаще, я его сразу узнал.

Все же мой Кемал молодец! Недаром он говорил, что во время войны по слепым полетам был первым в полку. А после войны он однажды несколько раз так низко пролетел над чегемской табачной плантацией, где люди работали, что мотыгой можно было его достать. Молодой был, играл!

— Вы знаете этих людей? — спрашивает милиционер. Тот подымает к моему лицу фонарь — смотрит. Подымает к лицу Кемала — смотрит. Опускает фонарь и говорит:

— Первый раз вижу!

Тут Кемал начинает хохотать. Дуралей, нашел время для смеха! Я спокойным голосом объясняю этому человеку, как он стоял под эвкалиптом, как упал под машину и как мы его привезли. Он слушает, делая вид, что трезвый, хотя, правда, немножко протрезвел. Как только я кончил, он заговорил, заблеял, как козел на скале, не останавливается.

— Даю показания, — говорит, — ничего не совпадает! Я сегодня был в гостях в доме моей двоюродной сестры. Хлеб-соль принял! Мы съели хрустящий поросенок! Мы съели жирный индюшка! Мы выпили! Хорошо выпили! Крепко выпили, честно скажу! А потом муж моей двоюродной сестры посадил меня на свои «Жигули» и культурно привез домой. А под эвкалиптом я вообще не мог стоять, потому что ненавижу эвкалипт. Запах не переношу. Если даже мертвого меня вот так поставят к эвкалипту, я и мертвый оттолкнусь от него, до того ненавижу!

Вот такие глупости говорит и многие другие. Кемал хохочет, а милиционеры не знают, кому верить.

— Вот ты оттолкнулся, — говорю, — и попал под нашу машину.

— Извините, папаша, — говорит, — я пить пью, но падать не падаю. Такой характер имею!

Я уже хотел предложить милиционерам сделать внезапный обыск в доме этого человека, чтобы найти пиджак с разорванным рукавом, как доказательство, но тут жена его нас выручила.

Все это время она из-под своего пальто смотрела то на нас с Кемалом, то на милиционеров, то на своего мужа и старалась сообразить, не собираемся ли мы сделать ему что-нибудь плохое. В конце концов сообразила и взорвалась как бомба.

— Пьяница! Пьяница! — закричала она на своего мужа. — Если все было так хорошо, костюм-пиджак кто порвал?! Костюм-пиджак где порвал, пьяница?!

— Какой костюм-пиджак? — растерялся он.

— Новый костюм-пиджак, пьяница! — крикнула она. Лучшее бы тебя эта машина совсем убила!

— Принеси пиджак, — приказал милиционер.

Женщина уходит, продолжая ругать мужа, и приносит пиджак. Тот, что был пошустрей, берет пиджак, просит женщину приподнять фонарь и, достав из кармана маленький кусок материи, сравнивает его с пиджаком. Теперь я понял, почему он так долго возился у крыла нашей машины.

— Все в порядке, — говорит милиционер и кидает пиджак хозяину, — пьянство тебя рано или поздно загубит!

Тот поймал пиджак, смотрит на рукав и не знает, что сказать. Только мы к машине, он к нам.

— Ради моей жизни, — говорит, — ви расход имели! Ради моей жизни — ви приехали сюда! Неужели в моем доме по стаканчику не выпите!

— Поздно! Поздно! — прикрикнул на него милиционер, и мы уехали.

На обратном пути мы уже по-дружески разговариваем с милиционерами, мажем мясо аджикой и луком хрустим.

В селе Анхара как яблоки такой лук. Хорошо идет, потому что все мы проголодались за эту ночь.

Кемал, конечно, тоже свое не упустил, хотя и сидел за рулем.

— Эх, — говорит он, — как бы нам сейчас та бутылка с чайной пригодились.

Узнав все подробности наших приключений, тот, что был пошустрей, сказал своему напарнику:

— Этих бедолаг мы должны развезти по домам... А то с нами еще что-нибудь может случиться...

Они довезли меня до дому, а потом поехали провожать Кемала. Вот так закончилась эта ночь.

Через два месяца Кемал получил деньги от дяди этого тракториста, а самого хулигана посадили. Значит, лейтенант стойким оказался. Сумел сломать этого богатого агронома.

А теперь я вот что вам скажу, мои друзья. Пока мы здесь сидим и пьем кофе, есть такие люди в Абхазии, вроде этого агронома, которые тюкуют деньги как табак. Мы сидим и пьем кофе, гоняем воздух разговорами, а они в это время деньги тюкуют. Ты хоть пей кофе, хоть умирай, а они деньги тюкуют. Тюкуют и тюкуют!

Но этом дядя Сандро закончил свой рассказ и, оглядев застольцев, несколько раз молча кивнул головой, как бы подтверждая свою мысль кивками: да, да, именно тюкуют!

Слушая дядю Сандро, я все время чувствовал тайный дополнительный комизм всей этой истории, потому что о ней мне уже

рассказывал Кемал. По словам Кемала, у дяди Сандро в селе Анхара никакого дельца не оказалось. Просто ему стало скучно в мокрый мартовский вечер, и он решил проведать своего старого друга, которого знал еще со времен битвы на Кодоре.

Но то ли старый друг себя вскоре исчерпал, то ли желая как можно быстрее расправиться с этим бешеным трактористом, он заторопился, и они поехали, даже не поужинав.

Само собой разумеется, что в изложении Кемала во всей этой истории смешным выглядел дядя Сандро со своими таинственными намеками на дельце и непрерывными нелепыми указаниями на правила безопасной езды.

— Я их иногда путаю, — добавил Кемал после паузы, которую в разговоре с другим человеком вполне можно было воспринять как переход к новой теме, — то ли жена моя сидит рядом в машине, то ли дядя Сандро...

25. дудка старого хасана

*Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снегирь?*

Г. Р. Державин

Свет — вода небес. Вода — свет земли. О, шумящий свет водопада!

Мы сидели со старым чегемским пастухом Хасаном на цветущем альпийском лугу. Был жаркий летний день. Пря-

мо перед нами с высоченной гранитной стены срывался и падал многоструйный водопад. Некоторые струи, ударяясь о скальные выступы, сплетались и расплетались на лету. Основной поток падал свободно, не задевая ни одного выступа. Может быть, когда-то они и были на его пути, но он их вышиб своей упорной работой. И теперь он свободно и замедленно падал вниз, словно опасаясь своей невероятной мощи, сам придерживал себя на лету и от этого выглядел еще более мощным.

Шум водопада, смывая остаточный мусор суетных звуков жизни, успокаивал душу. Водопад — случайно обнажившийся на поверхности земли могучий поток кровообращения природы. Мы успокаиваемся, глядя на него и слушая его влажный, обильный шум. Есть еще источник пополнения. Здоровье земли — наше здоровье!

Природа предлагает нам свою мудрость, а не навязывает ее нам. Но мы туповаты, нам подавай приказ следовать мудрости.

Здоровье земли — наше здоровье! Даже козы это понимают и дружно пасутся, почти прижимаясь к водопаду, где сочная альпийская трава, кусты черники и падуба обрызганы озоном водяной пыли и даже на человеческий взгляд выглядят аппетитно. Во всяком случае, на мой проголодавшийся с утра взгляд. Хотелось вместе с козами похрустеть этим сочным салатом, только, в отличие от коз, слегка подсаливая его на ходу. В моем вещмешке оставался спичечный коробок соли.

Эту вылазку в горы устроил мне Тенгиз, любимец дяди Сандро. Он взял меня в Сванетию к своим друзьям, чтобы показать охоту на туров. Мы переночевали в доме его друга Ванно, сумрачного крепкого мужчины. В свободное от охоты время Ванно по совместительству работал в своем селе школьным учителем.

В аскетическом убранстве сванского дома меня удивила роскошь постелей, в которые нас уложили: сдобные подушки, теплые, легкие одеяла, мягкие матрасы, свежее, пахнущее солнцем постельное белье.

Позже, воочию убедившись, что сваны самые неутомимые в мире ходоки, я понял, что роскошь и удобство их постелей — неосознанное самовознаграждение за длительные походы и ночевки на расстеленной бурке под ледниками.

Так, бывало, и чегемский пахарь, отдыхая в полдень в тени грецкого ореха, как бы не замечает протянутого ему сверкающего стакана с ключевой водой, не спеша, с достойной медлительностью договаривает собеседнику фразу, а, договорив, может, и потянется к стакану, да, случается, вспомнит, что нужно уточнить сказанное или выслушать ответ, и приостановится на виду у протянутого стакана.

Но и приняв его наконец, случалось, молча плеснет в стору, не снисходя до объяснения причин (ясно одно — процедура не подготовлена), и женщина, стоящая с кувшином, снова ополоснет стакан, даже как бы с мистическим трепетом, даже как бы с тайным ликованием (знай наших!), снова наполнит его водой, и снова безропотно протянет, понимая, что

и сверкающая чистота стакана, и свежая ключевая вода, и сама роскошь этого каприза благородно оправданы вот этими сильными, босыми ногами в закатанных галифе, по шиколотку вычерненными перевернутой, парной, готовой рожать землей. Благодать кормильцу!

На рассвете следующего дня мы пустились в путь. Нас было четверо: хозяин дома, его сосед, старый охотник, и мы с Тенгизом. Часа через два мы действительно напали на след тура или туров, если они, как опытные нарушители границ (в сущности, именно мы были нарушителями границ), шли след в след. Длинноногий Тенгиз и старый сван оторвались от нас, а Ваню вынужден был придерживать шаг, чтобы оставаться поблизости от меня.

Еще через несколько часов мы уже хрустели по слепящему фирновому снегу. А спутники мои все шли и шли. Я до того устал, что у меня уже мелькала мысль остановить их хотя бы выстрелами... В воздух, разумеется.

А невидимый тур продолжал оставлять наглеющие, но отнюдь не свежеющие следы. Чем сильнее я уставал, тем, естественно, больше занимал меня вопрос: кто быстрее движется — тур или мы! Если тур движется быстрее, тогда и спешить некуда. По крайней мере, можно хотя бы остановиться и обсудить, как быть дальше. Нет, идут и идут.

Уже на фирновом снегу наша добыча к скупой информации своих следов добавила дважды выброшенный помет. Я подумал, что если установить разницу температуры между первой и второй порцией помета, то, разделив расстояние

между ними на эту разницу, мы можем установить скорость передвижения тура.

К сожалению, для установления этой разницы нужен был градусник особой чуткости, но у нас вообще никакого градусника не было.

Оставалось утешаться мыслью, что тур действительно существует и желудок его работает исправно. Но эта мысль никак не утешала. И я наконец до того изверился в возможности догнать тура, что спросил у шагнувшего впереди Ваню:

— А почему ты уверен, что мы двигаемся быстрее тура?

Я могу поклясться прахом Магомета, что в голосе моем не было визгливых интонаций. Ваню остановился и на несколько секунд замер, не оглядываясь. Я понял, что допустил сокрушительную бестактность. Потом он оглянулся, окинул меня долгим взглядом и, ничего не говоря, двинулся дальше. Поистине нет в мире людей сдержанней горцев!

Я почувствовал, что высокогорная охота не подчиняется арифметической логике долин, но подчиняется законам высшей математики, может быть, даже теории относительности. То, что я ничем не заслужил роскошной сванской постели, я понял и раньше. К таким походам надо готовиться, а не обсуждать их в прибрежной кофейне.

Через некоторое время я заметил, что Ваню, он шел впереди меня метрах в тридцати, не останавливаясь, перешагнул через какое-то препятствие. Мне даже показалось, что в этом его движении была некоторая демонстративная непринужденность.

Я подошел и увидел в снегу бездонную щель, в глубине которой клокотал невидимый поток. Надо было сделать пошире шаг, но в глубине клокотал невидимый поток, и я замешкался. Да, я замешкался, но обращаю внимание читателей на смягчающее обстоятельство — поток был невидимый.

Я решил, что, только перебросив винтовку, которая обязательно потащит меня вниз, я смогу сделать этот шаг через эту дьявольскую щель. Только я снял ее с плеча, как мой спутник оглянулся. Не знаю, понял ли он, для чего я снял винтовку, но под его взглядом я почувствовал, что перебрасывать ее через щель никак нельзя. Я понял, что это будет полная этическая катастрофа.

По-видимому, винтовка для свана — это стреляющее знамя, которое надо держать высоко над головой, не только перепрыгивая через щель, но и проваливаясь в нее. А вдруг он решил, что застал меня за постыдной попыткой самострела? Было трудно до конца понять, что именно выражал его взгляд. И вдруг губы его медленно раздвинулись в гранитной улыбке, с коварным гостеприимством призывающей меня приблизиться к нему. Я понял, что это месть за мой неосторожный вопрос. Всякий поход — враг скептицизма. Кстати, я на этом часто попадаюсь.

Я перешагнул, и мы пошли дальше. Так мы шли и шли, и наконец Тенгиз издала помахал нам рукой. Там что-то случилось. Судя по согбенным фигурам Тенгиза и старого свана, мне подумалось, что они захватили обессиленного тура. По-

сле стольких мучений — неудивительно. Но задача взять его живьем вслух, во всяком случае, не обсуждалась. Мы приблизились, и оказалось, что они отошли от следов, по которым мы двигались, и в стороне от них откапывали из снега мертвого тура.

Он лежал под высокой скалой, с которой явно сорвался и потому так глубоко вошел в снег. Оказывается, на поверхности торчал только кончик одного рога, и старый сван это заметил.

Тур был убит неизвестным охотником в неизвестные времена. Единственное, что удалось установить, выкопав его из снега, что убит он был огнестрельным оружием. По моим предположениям, он мог быть убитым и два месяца назад, и два века. Огнестрельное оружие навряд ли в Сванетии могло появиться раньше.

Только наши друзья его начали освежевывать, как над нами не без некоторой сдержанной торжественности закружил стервятник. Странно все-таки: только что пустынное синее небо, пустынные ледяные вершины, и вот он тут как тут.

Мясо тура слегка попахивало, но не протухло. Для двух веков оно хорошо продержалось. Холодильник ледника работал исправно. Разделав мясо, наши друзья правильно решили, что пищеварительный тракт именно этого тура полностью исчерпал свои функции, и отбросили его в сторону.

Я снова поднял голову и взглянул на стервятника. Он с трудом додержал еще один круг, а потом, быстро и деловито замахав крыльями, явно полетел звать своих.

После разделки наши друзья, к моему удивлению, тщательно расстелили шкуру и стали в обратном порядке укладывать в нее мясо и внутренние органы. Делали они это с раздумчивой целесообразностью, словно вспоминая анатомическую карту естественного расположения частей. Сначала я решил, что это дань древнему языческому культу — жертве предоставляется последний символический шанс ожить и убежать.

Но потом я догадался, что все обстоит проще. Мясо и внутренние органы складывались в шкуру с такой первозданной точностью для удобства переноски. По-видимому, сваны давно заметили, что природа расположила наши внутренние органы с разумной компактностью, как опытный пастух — кладь на спине вьючного животного. Чтобы ничего не терлось, не болталось, не мешало друг другу.

Глядя на их работу, я легко догадался, почему у нас сердце расположено слева. Потому что наша правая рука, как наиболее жизнеспособная и потому суетливая, то и дело нарушала бы его равномерную работу. Кроме того, при любом нападении врага правой рукой легче защищать левую сторону. (Читатель, на минуту прервав чтение, может поупражняться.)

Кстати, суть мирного жеста рукопожатия именно правыми руками в том и состоит, что с обеих сторон одновременно отключается наиболее мощное орудие агрессии и включаются гуманистические железы, обдающие организм приятным теплом. Легко заметить, что, чем сильнее взаимозащитные ла-

донец, тем обильней выделяются гуманистические соки и тем приятней делается человеку. Поэтому рукопожатие обычно сопровождается взаимными улыбками и взаимными кивками, подтверждающими, что сок исправно поступает в организм.

Правда, от нашего взгляда не могут ускользнуть и случаи имитации обильного выделения гуманистических желез. Иной раз мы видим, как двое, сцепившись в рукопожатии, судорожно трясут друг другу руки, чувствуя, что гуманистические железы никак не включаются. Бедняги! Так алкоголик пытается вытряхнуть последние капли из опустевшей бутылки, так бессмертный Чарли Чаплин пожимал руку полицейского...

Но все-таки главное в обряде рукопожатия именно правыми руками состоит в том, что с обеих сторон одновременно отключается наиболее мощное орудие агрессии. Как это использовать в борьбе за мир? Надо найти средство сцепить в рукопожатии руки владельцев атомных бомб и оцепенить сцепившихся.

Итак, мы установили, что сердце расположено с левой стороны, чтобы быть подальше от слишком жизнедеятельной правой руки, жизнедеятельность которой часто не совпадает с жизнедеятельностью сердца. А как быть с левшой? Следует грустное медицинское открытие: при прочих равных условиях сердце левши должно быстрее изнашиваться.

Вот сколько открытий можно сделать, если ты не принимаешь участие в разделке и сборке турьего мяса и при этом

точно знаешь, что будешь принимать участие в последующем пиршестве. Если же ты следишь за разделкой мяса, точно зная, что не будешь принимать участие в его последующем поедании, следуют выводы совершенно другого характера. Суровые, классовые выводы.

Наконец мы спустились пониже, где уже росли кое-какие деревья и можно было разложить костер. День клонился к закату.

Ночь в горах под открытым небом, в световом доме костра таит в себе, как говорилось в старину, неизъяснимые наслаждения. Мрак создает самые естественные стены жилья, и потому световой дом самый уютный в мире. Пространство, которое мы способны озарить во мраке, есть наш истинный дом. Пожалуй, это самое справедливое в мире распределение жилплощади. По-видимому, с самого начала так и было задумано, но потом многое исказилось.

На тему о световом доме я еще некоторое время свободно импровизировал, не выходя за стены этого дома. Вообще, под шипенье жарящегося шашлыка хорошо импровизируется.

Но вот мы приступили к ужину. Не знаю, что чувствовали сибирские лайки, которые, если верить газетам, поедали миллионлетнее мясо мамонтов, открытых из вечной мерзлоты, но я и все мои спутники с удовольствием ели нежный горячий шашлык, слегка папахивающий высокогорным, аристократическим тленьем.

Я понял, что такая охота без единого выстрела мне больше по душе. Ходи себе по горам и заглядывай в чужие холодильь-

ники. Особенно внимательным надо быть у подножия крутых обрывов, как возле подножия плодовых деревьев. Если уж тур оттуда свалится, то деться ему некуда, только не надо путать кончики рогов, торчащих из снега, с усохшей веткой рододендрона или верхушкой скалы.

Спали мы на бурках у костра. Тут я почувствовал некоторые изъяны светового дома. Та часть тела, которая была обращена к костру, хорошо раскалялась. В это же самое время другая часть тела, обращенная к ледникам, превращалась в небольшую морену, кстати, довольно быстро оттаивавшую, если повернуть ее в сторону костра.

У костра на высоте ледников, вероятно, хорошо спать, если кто-нибудь равномерно покручивает тебя у огня, как мясо на вертеле. О том, чтобы попросить об этом наших гостеприимных хозяев, не могло быть и речи. Тем более что они сами вносили в мой и без того прерывистый сон дополнительную тревогу. Дело в том, что оба свана, неожиданно гикнув во сне, вскакивали и хватались за оружие.

Схватив винтовки, они подслеповато озирались, словно из сумерек сна слишком неожиданно попадали в световой дом костра. Потом, успокоившись, ложились или же, подвинув головешки костра, уютно устраивались рядом со своей винтовкой.

Судя по количеству вскакиваний, молодой выходил на тура чаще, чем старый. Один раз они вышли одновременно. Потом я подумал, что, может быть, дело не в туре, а в древнем инстинкте воинственного народа. Может быть, они бессозна-

тельно выталкивались из снов, потому что рядом у костра спали вооруженные инородцы, то есть мы с Тенгизом.

Я решил во время следующих привалов, если, конечно, в эту ночь случайно уцелею, просто сдавать им на хранение оружие. Или, наоборот, хранить до утра их оружие? А если вскочит и, не найдя под рукой винтовки, огреет головешкой?

Все-таки как-то неприятно, когда ночью в горах у костра твой спутник, гикнув, просыпается и тут же хватается за оружие. Главное, непонятно, как при этом себя вести. То ли издавать громкий миролюбивый храп, то ли самому положить руку на винтовку, как бы говоря: «Бдим. Ждем, что будет дальше».

Утро было прекрасно уже тем, что оно наступило. За дымящимся шашлыком я узнал от наших друзей, что недалеко отсюда на расстоянии полдневного пути стоянка чегемских пастухов. Мелькнуло имя старого Хасана. И вдруг полузабытое воспоминание кольнуло меня странным, непонятным волнением.

— Это не тот Хасан, что играет на дудке песню о Хаджарате Кяхьбе? — спросил я.

— Да, да, — кивнул старый сван, — но он теперь не играет, он теперь рассказывает про этого абрека...

* * *

...В далеком детстве на косогоре, зеленеющем над дедушкиным домом, бывало, слышалась дудка пастуха. Она всегда

выводила одну и ту же мужественную и пронзительно-печальную мелодию. Это была народная песня о Хаджарате Кяхьбе, знаменитом абреке.

— Тише, Хасан играет! — вдруг восклицала какая-нибудь из женщин, чаще всего тетя Нуца, жена дяди Кязыма.

Долго, долго играл старый Хасан, а потом мелодия ослабевала и гасла. Пастух со своими козами уходил куда-нибудь в сторону.

Я заметил, что лица женщин, когда Хасан играл на своей дудке, задумчиво нежнели, а мужчины как бы смущенно замыкались.

— Чего он добивается? — бывало, говорил кто-нибудь из них сокрушенно. — Нас давно мотыга замордовала...

Даже тогда, в детстве, меня тайно смешила эта милая народная демагогия. Я знал, все они работают как обычно, и никто слишком не убивается на прополке кукурузы или табака.

— Душу отводит, — напоминал кто-нибудь, — его отец дружил с Хаджаратом.

— Делать нечего! — раздраженно добавлял третий. — Вспоминает николаевские времена...

— Сиди где сидишь! — обрывала его тетя Нуца с резкостью, обычно не свойственной горянкам в обращении с мужчинами.

Хасан жил на другом краю Чегема и возле дедушкиного дома появлялся очень редко. Еще реже его появление совпадало с полуденным отдыхом крестьян, работавших на каком-

нибудь ближнем поле и по этому случаю заглянувших во двор Большого Дома.

Иногда вообще никто не обращал внимания на его дудку, но, если уж прислушивались к его игре, было такое впечатление, что повторяется один и тот же разговор, и даже казалось, что тетя Нуца, так же раздраженно крутанув веретено, говорит: «Сиди где сидишь!»

Теперь я понимаю, что разговор этот никак не мог повторяться слово в слово, но тогда, в детстве, казалось, что все повторяется до какого-то сладковатого мучительства. Повторялись не только слова, но и ощущение, что и раньше, когда они произносились, мне тогда тоже казалось, что все повторяется до этого же самого сладковатого мучительства. Воспоминание воспоминания уходило в какое-то неведомое правоспоминание. Теперь, конечно, ясно, что повторялась только психологическая атмосфера и потому казалось, что и обмен возгласами повторяется.

Хасан по чегемским понятиям считался чудачком. Его дудка, естественная в руке подростка, а не пожилого пастуха, его необычайная физическая чистоплотность, а главное, что он собственную жену неизменно называл разумницей — вот основные признаки его чудачества. Может, были еще какие-то, но я их не помню.

Конечно, чегемцы и сами иногда называли своих жен разумницами, но вкладывали в это слово прямо противоположный смысл. Разум жены, если он и наличествует (следует улыбка), обнажать на людях неприлично, уж лучше на

людях, положив голову жены к себе на колени, искать у нее в волосах.

Так что на всяких там сборищах чегемцы не упускали случая подшутить над Хасаном, раскрывая перед ним какую-нибудь якобы выгодную, но достаточно головоломную сделку.

— Нет-нет, надо с разумницей посоветоваться, — обычно отвечал Хасан, вызывая общий хохот, на который он не обращал ни малейшего внимания. Но иногда он с такой же простодушной прямоотой и без помощи жены тут же разоблачал мнимую выгодность хозяйственной головоломки, и следовал еще более дружный хохот, ибо ничего так не смешит людей, как шутник, оказавшийся в дураках.

Его опрятность, необычайная физическая чистоплотность тоже вызывали у чегемцев неистощимые шутки и удивление. Бывало, все дороги развезло, а он является в сельсовет или в дом, где предстоит пиршество, — и ни грязинки даже на обуви.

— Да как же ты прошел по верхнечегемской, — удивлялись ему, — уж не перелетел ли часом?

— Да я так, скок-перескок с камня на камень, — смущенно улыбаясь, отвечал Хасан, утирая о траву, перед тем как войти в дом, свои чувяки из сыромятной кожи. Иногда он просто обходил слишком топкую дорогу, не ленясь неведомой тропой пройти несколько лишних километров.

Таким мне и запомнился Хасан, смущенно и вместе с тем с каким-то тайным упрямством поглядывающий на крыльцо и долго вытирающий о траву свои ботинки или чувяки,

то и дело, вывернув голову, заглядывающий на их лоснящиеся подошвы и продолжающий счищать с них одному ему видимую грязь. Высокий, поджарый, даже несколько хрупкий для крестьянина, с большими голубыми глазами, почему-то он мне и тогда казался стариком. Интересно, какой он сейчас?

Я, конечно, знал историю Хаджарата Кяхьбы настолько, насколько ее тогда знали дети. Мы его любили, мы им гордились, но песня, лившаяся из дудки Хасана, создавала ощущение чего-то непонятного, даже горького. Ощущение вины? Но какой вины? И главное, эта же самая песня в застольном исполнении наших мужчин была прекрасна, и тогда казалось, что каждый из поющих в случае надобности может сам стать таким, как Хаджарат. Но что же тогда хотел сказать своей дудкой старый Хасан?

Все это сейчас всплыло, и вдруг мне неостановимо захотелось увидеть его. Несколько лет назад я подымался к нашим пастухам, но тогда его там не было.

— А как пройти до их стоянки? — спросил я старого свана.

— Ты что, — удивился Тенгиз, — забыл, для чего мы приехали?

Я ничего не ответил.

— Спустишься в эту лощину, — с неожиданной бодростью, опережая старого свана, вмешался Ваню, — увидишь тропу и иди по ней. К полудню упруешься в водопад. Он всегда там пасет своих коз. Только никуда не сворачивай, прямо по тропинке иди, иди, иди...

Мне показалось, что повторение удаляющего меня глагола доставляет ему удовольствие. Еще раз говорю — нет народа сдержанней горцев! В холодильнике сдержанности мести хорошо сохраняется. Впрочем, я это знаю по себе.

Сваны вместе с Тенгизом снова стали складывать мясо в многотрадальную шкуру тура, из которой оно вчера было дважды извлечено. Делали они это все с тем же жизнетворящим, хирургическим усердием, мгновениями приостанавливаясь для консилиума, словно не смущаясь недостающими частями и полностью съеденной печенью, старались точно припомнить и восстановить их первоизданное положение.

Они снова собирались закопать бедного тура в снег, чтобы мясо не испортилось до возвращения с охоты.

Я попросился со своими спутниками и, чувствуя двойное облегчение, перекинул через плечо полупустой вещмешок. Теперь никто не будет вскакивать по ночам и хвататься за оружие, подслеповато озираясь. Терпеть не могу, когда люди сначала хватаются за оружие, а потом подслеповато озираются. Ты сначала протри глаза, осмотришься, а потом, если надо, хватайся за оружие. В возможность встречи с медведем, на которую намекнул Тенгиз, чтобы не тащить вторую винтовку, я верил не больше, чем в возможность встречи со снежным человеком.

— Можете зарыть ее в снег вместе с туром, — сказал я и в шутку добавил: — Так что если вы случайно погибнете, охотники послепомной эры, отрыв вашего тура, узнают, из какого дикарского оружия он был убит.

— Хватит голову морочить, — сказал Тенгиз, принимая у меня винтовку, — побудь у пастухов дня три. Я туда приду...

Вано перевел старому свану мои слова и даже жестами показал, куда я предложил спрятать винтовку. Хотя старый сван и достаточно хорошо знал русский язык, но, видимо, с его точки зрения зарывать винтовку в снег, да еще внутри убитого тура (уж не взамен ли съеденной печени?), показалось ему такой святотатственной глупостью, что ему легче было решить, что сам он неправильно истолковал мои слова.

Но Вано ему быстрым орлиным клекотом разъяснил, что именно так, а не иначе надо понимать мои слова. Потом он явно добавил, что я имел наглость спросить, мол, кто быстрее движется — тур или мы, охотники, и при этом язык жителя низкорослых гор (то есть мой язык) не отсох.

Говорить так уж все! И он стал рассказывать, как я стоял возле провала, раздумывая, куда бы подальше сбросить винтовку. Для полной наглядности Вано не поленился скинуть с плеча собственную винтовку и почти ткнул ее в невидимую щель. Такой пацифистский вариант понимания моего жеста мне почему-то не приходил в голову. Хотел, стало быть, сбросить, но тут бдительный Вано вовремя обернулся, и я под его взглядом отдернул руку и, так как теперь уже деться мне было некуда, перешагнул щель.

Клекот, клекот, клекот — и в ответ удивленное цоканье старого свана. Рассказывая, Вано поглядывал на меня все теплеющим и теплеющим взглядом, словно начиная пони-

мать извинительные причины моего странного поведения. Потом он взглянул на меня еще раз и стал изображать тяжелое, частое дыхание усталого, как мне показалось, человека. Но почему-то оба свана после этого громко расхохотались.

И тут я понял, что он изображал не усталость, а просто объяснял, что нарушение высокогорных обычаев со стороны некоторых жителей низкорослых гор вызывается не желанием оскорблять эти обычаи, а легким идиотизмом, который находит на них при виде ледников, но якобы от кислородного голодания.

Скорее всего, именно так растолковал Вану старому свану некоторые странности моего эндурского поведения. Увы, все в мире относительно, в том числе и эндурство. Оба свана сильно повеселели. И когда я, попрощавшись, стал спускаться вниз по крутому, покрытому каменной осыпью склону, Вану крикнул мне вслед:

— Если увидишь медвежонка, не лови его!

— Почему? — спросил я, обернувшись.

— Потому, что медведица поймает тебя!

Горная шутка. Оба свана захохотали. Осыпь камней за моей спиной слегка оживилась.

* * *

Мой путь через альпийские луга был исполнен бодрости и веселья.

Я вспомнил одну из баек нашего бессмертного Абесаломона Нартовича. Еще в бытность свою ответственным работни-

ком, он сопровождал какую-то немецкую делегацию, почему-то поднятую на уровень альпийских лугов. Возможно, это было сделано для демонстрации полного преимущества мирных путей: мол, чего не смогли добиться дивизии «Эдельвейс», стало легко доступно дружеской делегации. В районе Отхары гости залюбовались внезапно открывшейся им далекой белопенной струей водопада.

— Это наши горные пастухи так транспортируют молоко, — сказал Абесаломон Нартович, свободно переводя величавые явления природы в величие дел человеческих рук, — внизу перерабатывающий завод.

Это сообщение оказалось неожиданным не только для гостей, но и для нашего переводчика. Он, конечно, водил туристов по этим местам, но с Абесаломоном Нартовичем впервые. К счастью, перерабатывающего завода за высокими пихтами не было видно, но было видно, как побледнел переводчик. Однако он, надо полагать, мысленно подпрыгнув до вершины водопада и успев заметить несметные, тучные стада, пасущиеся за хребтом, справился со своей задачей, хотя и не без потерь.

— Мы так решили, — продолжал Абесаломон Нартович, — чтобы не портить пейзаж трубами. И дешево и красиво.

Гости дружно закивали, особенно тронутые экологическими заботами Абесаломона Нартовича, а одна сердобольная немка поднесла переводчику таблетку валидола.

— Слабонервным не место в горах, — небрежно бросил в его сторону Абесаломон Нартович и стал рассказывать ми-

ролюбивым немцам народную легенду о вымершем племени горных карликов-ацанов.

Может создаться неправильное впечатление, что Абесаломон Нартович всегда фантазировал. Ничего подобного. Если те или иные явления жизни или природы казались ему сами по себе достаточно красочными, он их оставлял в первобытном виде. Но если они не оказывались таковыми или даже отдавали, особенно почему-то в хозяйственной области, какой-то вредной для здоровья народа депрессивной убогостью, он смело пускал в ход свою жирную, красочную палитру, на которой когда-то, теперь уже в невосстановимой последовательности, были раздавлены радуга и свинья.

Сейчас Абесаломон Нартович несколькими каскадами низвергнут до уровня главного агронома долинного совхоза, который он раньше сверху шумно опекал. И в этом сказались так называемая ирония истории: опальный Потемкин был назначен главным агрономом потемкинской деревни. А бывало, такие пиры закатывал! А гости! Но стоит ли? О, если б! Да что там! Эх, время, в котором стоим, как говаривали чегемцы!

* * *

...Часа через три я отдыхал, сидя возле замшелого валуна и любуясь голубовато-зелеными узорами лишайника, расположенного на его поверхности. И вдруг часть узора ожила и, вылетев из него, оказалась зеленовато-голубой бабочкой,

абсолютно не различимой на его поверхности. Пропорхав некоторое время возле пятен лишайника, которые, казалось, были ею же вытканы, она поплыла в сторону.

Трудно было отделаться от впечатления, что не Дарвин, заметив подобные явления, создал свою теорию, а бабочка, изучив дарвинизм, как отличница, точно приспособилась к законам его учения. Когда она отделилась от зелено-голубого узора и запорхала возле него, я почувствовал, что из меня навстречу ей вылетела вспышка радости. Вторая бабочка.

И теперь я попытаюсь проанализировать не учение Дарвина, о котором я имею только смутные школьные представления, а природу собственной радости. Этот организм я знаю неплохо. В определенном смысле его я знаю даже лучше, чем Дарвин организмы животных, которые он изучал. Этот организм сам передает мне свои ощущения, чего нельзя сказать про организмы животных, которых изучал Дарвин, особенно давно вымерших животных.

Так что же меня обрадовало? Некое разумное начало, заключенное в природе? Безусловно. Но меня обрадовало не то, что за миллионы лет существования природы всех остальных бабочек, окружающих валун, выклевали, допустим, птицы, а эта доприспособилась до нашего времени. Для человека это было бы странной радостью. Человек скорее должен был бы объявить траур по бабочкам, героически погибшим на покрытой древними лишайниками лестнице эволюции.

— Впятниться в окружающие пятна или достойно защищать свой цвет? Вот в чем вопрос! — сказал бы Гамлет.

Но есть сомнение и другого рода. Сократим для удобства эксперимента дробь. Земной шар — валун. Его обитатели — бабочки и птицы. Вечная борьба за существование и приспособление сторон. Почему же в процессе впятнения бабочки в лишайник у птицы параллельно не развивалось зрение? Почему она не вооружилась эволюционными очками и не стала точным клевком выводить ложные пятна из пятен лишайника? Почему она отказалась от борьбы с этой хитрой бабочкой и, подслеповато озираясь (знакомая картина), перелетела на другие луговые планеты в поисках более простодушно окрашенных бабочек?

Тут все случайно, и случайней всего мысль, что бабочка села на узор лишайника по закону бессознательной маскировки. Бабочка случайно села на этот валун, и я случайно увидел ее в тот миг, когда она отделилась от него. Неслучайна была только моя радость.

Поэтому вернемся к этому точному ощущению. Радость действительно была, и я понял, в чем она заключалась. Удивительное сходство зелено-голубой бабочки с зелено-голубым узором лишайника обрадовало меня как поэтический образ родства всего живого и потому единства нашей конечной цели. Значит, во мне, как в человеке, заложен вкус к родству всего живого, хотя и беспрерывно оскорбляемый враждой всего живого. Но если бы во мне не было вкуса к родству всего живого, не было бы и оскорбления враждой, а только чувство здравого приспособления.

Зелено-голубая бабочка, вылетев из зелено-голубого узора лишайника, не породила мою радость-бабочку, а только дала сигнал выпорхнуть ей из моей души, где она до поры была неощутима, как была незаметна на валуне первая бабочка. Вкус к единству всего живого заложен в человеке, как радость при виде ребенка или солнца, как бы они порой ни надоедали нам.

В хаосе мирового эгоизма человек устает и невольно, впадая в уныние, говорит себе: «А есть ли вообще общая цель?» — «Есть, есть!» — вспыхивает бабочка, переговариваясь на общем цветовом языке с лишайником. Этот заряд бодрости, полученный через поэтическое доказательство, для меня так же объективен, как объективна математическая формула.

Кстати, такой способ доказательства меня не раз выручал. Однажды я имел дерзость поспорить с одним милым биологом, утверждавшим случайность возникновения жизни на земле. Он понимал и любил литературу, чем я и воспользовался.

— Скажите, — спросил я вкрадчиво, — строение живой клетки намного отличается от мертвой?

— Неимоверная разница! — воскликнул он с пафосом человека, приложившего руку к этой разнице.

— Примерно как мозг гениального поэта от мозга графомана? — уточнил я.

— Еще сильнее отличается! — воскликнул он с еще большим пафосом.

— Можно ли представить, — спросил я, — что графоман за всю свою жизнь написал две гениальные строчки?

— В принципе можно, — сказал он, слегка подумав.

— А четыре? — спросил я.

— Думаю, что можно, — согласился он, решив, что такое предположение науке не грозит, — а вы как думаете?

— Конечно, — согласился я, — это случается. А двенадцать гениальных строчек мог бы, по-вашему, написать графоман?

— Нет, — сказал он, как бы чувствуя надвигающуюся ловушку, но еще не зная, откуда она идет, — это, вероятно, невозможно.

— Подумайте, — взбодрил я его, — проходят тысячелетия, приходят и уходят тысячи тысяч графоманов, и один из них случайно набрел на двенадцать гениальных строк, даже если после этого его слабый мозг, вспыхнув, окончательно погас.

— Вероятно, возможно, — очень неохотно согласился он и добавил: — Если вообще не было психиатрической ошибки считать этого человека графоманом.

— Не было ошибки! — воскликнул я радостно. — Не было и не могло быть психиатрической ошибки! Так можно ли представить, что проходят миллионы и миллионы лет, приходят и уходят миллиарды графоманов и наконец один из них написал «Евгения Онегина»?

— Никогда!!! — воскликнул он, обидевшись за родную литературу.

...К полудню и даже раньше я уже был у водопада. На зеленом холмике, под которым радостно проносилась речка,

только что родившаяся от водопада, сидел старый Хасан. Он сидел на расстеленной бурке. Наконец-то мы до него добрались. Я поздоровался.

Он встал навстречу мне. Теперь это был и в самом деле старик. Сухощавый, прямой. Чистые резиновые сапоги, солдатское галифе, серая шерстяная рубаша, перетянутая тонким поясом. Седая голова коротко острижена, в меру горбатый нос, большие голубые глаза, полные свежей грусти.

Он ужасно обрадовался, услышав, что я говорю по-абхазски, глаза прямо-таки пыхнули девичьим смущенным удовольствием. Видимо, от путников, идущих из Сванетии, он не ожидал абхазского языка. Радость его перешла в ликование, когда он узнал, что мы земляки, да еще выяснилось, что мой городской дядя в начале двадцатых годов помог ему высушить у конокрада его любимую одноухую кобылу. Изложу этот его рассказ покороче, с тем чтобы потом, когда он заговорит о главном, полностью предоставить ему слово.

— ...Ухо, значит, у нее откусил мой же мул. Мулы в наших краях, как ты, наверное, знаешь, не в меру чадолюбивы. И мулу моему показалось, что во время нападения волков кобыла плохо защищала своего жеребенка. Да и не показалось! Такой она и была, волчья доля! Вот он и отхватил у нее пол-уха. Да я ее, волчью долю, любил и безухой. И вот говорят мне: «Хасан, тебя заживо схоронил конокрад из Дранды! Он не слезает с твоей кобылы!» Я поехал туда. Вижу — моя кобыла. Не отдает. Свидетелей выставляет, говорит: «Это волк оторвал ей пол-уха». Можно подумать, что мы родились в лесу и не

знаем, что если уж волк прыгнет на кобылу, то он ухватится за глотку, а не за ухо.

В следующий раз я поехал туда верхом на муле, чтобы показать деревенскому суду, как прикус моего мула точка-в-точку совпадает со следами на рваном ухе моей кобылы. Но тогдашний деревенский суд даже в зубы моему мулу не стал глядеть. Ты думаешь, взятки только сейчас берут? И тогда брали! Конокрад подкупил старшину.

А городской суд, как я ни бился, как ни ездил, что в Кенгурск, что в Мухус, только хахакал, а за дело не брался. Слишком мелкое, по их разумению. Для них мелко, а у меня душа поперек горла. И дело длилось два с половиной года, и я на всякие там хлопоты истратил столько денег, что мог купить на них и трех лошадей поушастей зайцев, но ради правды, ради справедливости, ради честности хотел найти суд на этого конокрада и не мог найти. А тут и мул мой сдох, и теперь зазубрины на ухе моей кобылы стало не с чем сравнивать, хоть и при жизни моего мула никто и не хотел свести его резцы с ее ухом.

И дело мое окончательно запуталось, но тут твоя мать вышла замуж за городского, и Кязым свел меня с твоим городским дядей, адвокатом. И он, царство ему небесное, весь этот клубок распутал до ниточки и на суде доказал, что кобыла моя, и всех свидетелей пристыдил и еще доказал, что кобыла моя была жеребая, когда конокрад ее увел, так что тот вынужден был и стригунка к ней пристегнуть. У него душа горела, у твоего дяди, — закончил старый Хасан эту историю, — сей-

час таких нет. Сейчас у адвокатов толстая печень. Разве я его когда-нибудь забуду? Жалко, что ты его не застал, царство ему небесное!

Старый Хасан тут ошибся, но я его не стал поправлять. Я хорошо помнил дядю Самада. В мое время он уже был горьким алкоголиком, и адвокатская практика его сводилась к тому, что он в кофейне и на базаре писал прошения неграмотным крестьянам. Платили натурой, и он каждый вечер приходил пьяный. Потом он исчез, как исчезали многие люди в те времена — ни единого письма, ни открытки. Видно, жизнь его оборвалась вместе с алкогольной ниточкой, на которой она еще тогда держалась.

И словно теплый дождь пролился на душу. Я никогда не встречал ни его знакомых, ни тем более клиентов, и вдруг в таком неожиданном месте вижу человека, который пронес сквозь всю жизнь благодарность к моему невезучему дяде.

— Что тебя пригнало сюда? — спросил старый Хасан на своем пастушеском языке.

Я ему ответил. Услышав имя Хаджарата Кяхьбы, он встрепенулся, в глазах его мелькнул неистовый огонь, может быть, искрой которого и была его память о моем дяде. Рассказывая, он иногда вскрикивал, не столько пытаясь перекричать водопад, как мне сперва показалось, сколько нашу человеческую глухоту.

— Историю Хаджарата Кяхьбы, его геройство и его мучения, я тебе расскажу все как есть. Ты наша кровь, ты должен

знать правду. Сейчас многие охорашивают его жизнь, но это непристойное дело. Все, что было дурного в его жизни, шло не от него, а от других людей. Иногда даже родственников. Охорашивая жизнь Хаджарата, люди на самом деле охорашивают себя. Потому что стыдно и есть чего стыдиться.

Хаджарат был нашим дальним родственником по матери. Когда я его впервые увидел, он уже был абреком. Когда я его впервые увидел, я был крепким мальчиком лет десяти. Я уже мог выгнать из загона двадцать—тридцать коз, от пуза выпастить их в лесу и к вечеру вернуться домой, не потеряв ни одной козы и не заплутавшись.

...Это было за пять лет до Большого Снега и за восемь лет до первой германской войны. Большой Снег накрыл Абхазию по крыши домов, только дымоходы, оттаяв, торчали. Большой Снег означал, что будет германская война.

Но мы тогда ничего не знали. Мы тогда даже слово «немец» не знали как правильно сказать. Мы говорили «лемцы». Понадобилась новая германская война. И когда раненые стали возвращаться, мы поняли, что «лемцы» говорить неправильно. Надо говорить «немцы». А что толку? Из наших мальчиков мало кто вернулся. Но теперь ошибаться в имени врага стало стыдно, и мы начали говорить «немцы».

Хаджарат был чистокровный крестьянин. Он жил в Эше-рах. А мы тогда жили в Ачандарах. Почему мы переехали жить в Чегем, ты поймешь, если будешь идти за моими словами.

В Эшерах в те времена жил богатый князь по фамилии Дзяпшба. Звали его Омар. Омар был ровесником Хаджарата... Нет! Он был старше года на три-четыре. Почему так думаю? Потому, что Омар долгое время не замечал Хаджарата, а потом, когда Хаджарат вошел в мужской возраст, он начал ему завидовать.

Пока Хаджарат был мальчиком, Омар на сельских играх во всем был первым. А потом Хаджарат шагнул вперед. Омар был сильным. Хаджарат был еще сильнее. Но Омар был на голову выше ростом, и потому камень с его плеча летел дальше.

Надо же говорить, как было. Лицом Хаджарат был хорош, но ростом не бросался в глаза. Он был как барс. До Большого Снега в наших лесах попадались барсы. А потом, говорят, ушли в Азербайджан. Там, говорят, нефть греет землю, но я там не был, не знаю.

Значит, в толкании камня Омар был первым, а во всем остальном — скачки, стрельба, прыжки, борьба на конях — Хаджарат.

В кремневых коленях Хаджарата было столько силы, что он с места в прыжке, не притрагиваясь к лошади, мог сесть на нее верхом. Но не на казацкую лошадь, она намного выше наших. На абхазскую горную лошадь он мог вскочить в прыжке. Как было, так и говорю.

В его кремневых коленях было столько силы, что он не мог сесть на корточки и подоить корову или козу. Эта сила сама его выбрасывала вверх, и он выпрямлялся с пустым по-

дойником. В этом мире сильные часто остаются с пустым подойником.

Крестьянскую работу он любил. Но сидеть с подойником — гуж! мыж! — не любил. Выпрямлялся и отбрасывал подойник. Зато когда пахал сохой, обгонял собственного вола, такую силу в руках имел. Пахать любил. Но доить коров и коз — гуж! мыж! гуж! мыж! — не любил. В те времена у нас, абхазцев, женщины редко доили скот. Сейчас женщины доят, если есть, что доить.

У Хаджарата в доме было кому подоить коров и коз. У него было две сестры. Словами не передашь, как они его любили. И он их так любил. Отец и мать Хаджарата к этому времени умерли, оставались в доме только сестры. А у Омара в доме к этому времени была только мать. Княгиня.

Так было, когда началось. И вот Омар цепляется и цепляется к Хаджарату, потому что завидует. Зависть — черная повязка на глазах разума. А Хаджарат крепко держит себя в руках. Почему? О сестрах думает. Погибнет — сестры умрут от горя. Убьет князя — придется уйти в абреки, а сестры останутся одни. Этот княжеский род даже в те времена считался чересчур свирепым.

А Омар не унимается. Уймись! Природа таким создала Хаджарата. Разве я могу схватить этот водопад и перекинуть его назад? Это природа! Смирись с природой! Толкай себе свой камень! Нет, цепляется и цепляется к Хаджарату.

И вот однажды в дом к Хаджарату приходят два его родственника. Один по фамилии Акузба. Другой по фамилии Ахьба. Они прислуживали в доме князя.

— Хаджарат, — говорят они, — князь хочет, чтобы ты отдал ему своего коня. Взамен — любого из его косяка или деньгами.

— Разве вы не знаете, что я своего коня не продаю?

Еще жеребенком этого коня его отец незадолго до смерти пригнал из Черкессии. Хаджарат сам его объездил и берег как память об умершем отце. Это был хороший конь. Но князь не понимал, что если в борьбе на конях Хаджарат опрокидывает его вместе с конем, то тут дело в наезднике, а не в коне. И хорошего коня надо уметь разгорячить! Хаджарат умел. Этого кичливый Омар не понимал.

— Знаем, но князь так велел тебе передать.

— Вот и скажите ему то, что я вам говорю!

— Боимся вернуться с пустыми руками.

— Выходит, меня не боитесь, а князя боитесь?

— Выходит.

— Идите и передайте, что я сказал.

Потоптались эти двое и ушли. А Хаджарат призадумался. Понял, что князь его теперь не оставит. Или порчу наведет на коня, или конокрадов напустит, или еще что. За себя он не боялся, боялся за сестер. Что с ними будет, если он схлестнется с князем и уйдет в абреки?

И опять через два дня пришли эти двое.

— Богом просим тебя, Хаджарат, смирись! Князь сердает. Он готов дать тебе любые деньги и любых лошадей из косяка. Смирись! Иначе ты, может, и уцелеешь, но нас он изведет! Мы же твои родственники все-таки!

И Хаджарат прикусил сердце. Отдал коня за сто золотых рублей. Князь через месяц обещал деньги. Но, когда родственники вывели коня из конюшни, он понял, что опустела его жизнь. Места себе не находит, по ночам не спит. Он был привязчивый, Хаджарат! Что лошадь, что собака, что человек — прикипал душой. И это его сгубило в конце концов!

А тут проходит месяц, а от князя ни денег, ни слова. Выдержал Хаджарат еще три дня, а на четвертый наполнил карман патронами, сунул за пояс свой смит-вессон, так называли тогда николаевский пистолет, и явился на княжеский двор. Прислужники так и шныряют по двору.

— Позовите Омара!

— Он уехал в Мухус!

— Где стоит мой конь?

— Он уехал на нем. Обещал сегодня приехать.

— Где княгиня?

— Спит.

— Будите ее!

— Как мы можем будить княгиню? — говорит тот, что поближе. — Княгиня на то и княгиня, что встает, когда захочет.

Хаджарат цап его за плечо и шварк на землю:

— Буди!

Пошел будить.

И вот выходит княгиня на веранду в одной рубашке, только нахлобучила на себя персидское одеяло, как попону.

— Кто это тут расшумелся?

Делает вид, что не узнает Хаджарата.

— Протри буркалы и узнаешь кто! — отвечает ей Хаджарат. На долгом огне и камень лопнет.

— Хоть бы я узнала? Что тебе?

— Твой сын вымолил у меня коня? Где обещанные деньги?

— Что тебе деньги, пастух? Бери любого коня из нашего косяка и иди себе с миром.

— Дайте обещанные деньги или верните моего коня! Иначе поставишь моего коня над гробом сына!

Тут княгиня отбросила персидское одеяло.

— Если ты, коротышка, — крикнула она, — сумеешь убить моего Омара, туда ему и дорога! Приедет сын, будешь в ногах валяться! Вон со двора!

Хаджарат повернулся и пошел в сторону Гумисты. С той стороны должен был приехать Омар. Тогда берег Гумисты был весь в самшитовых лесах. Это теперь он облысел. И вот он там притаился и ждет. Проходит часа два, и появляется Омар верхом на его коне. Переехал Гумисту вброд, и, только поднялся на берег, Хаджарат хватъ коня под уздцы:

— Где мои деньги? \

— Зачем тебе деньги, Хаджарат? Бери любого коня из моего косяка и кончим разговор!

— Прочь с коня! — и еще крепче ухватывается под уздцы.

Тут Омар изо всех сил ударил Хаджарата камчой по лицу. Думал — Хаджарат опрокинется. Но Хаджарат стянул его с коня, и они оба рухнули наземь. То один возьмет верх, то другой. Хаджарат тогда ослаб от недосыпа. Конь почувствовал, что дело плохо, потихоньку ушел по тропе.

Люди слышали их крики, но поблизости не нашлось настоящего мужчины, который бы стал между ними. И вот в последний раз князь оказался сверху и стал душить Хаджарата. И все же Хаджарат, он уже хрипел, изловчился вытянуть из-за пояса пистолет и выстрелить. Омар отвалился и умер.

Хаджарат встал, привел покойника в порядок, завернул его в свою бурку, чтобы дикие животные его не попортили, и вернулся к княжескому дому. А там переполох — конь пришел без всадника.

— Княгиня, — крикнул Хаджарат, — твой сын лежит над Гумистой! Заберите, иначе его псы попортят!

С этими словами он среди бела дня прошел по селу и скрылся в лесу. Но далеко не ушел. Смотрит с дерева, что они будут делать. Не знает, что будет делать княжеская родня и слуги. В роду Омара был обычай сжигать дома своих врагов. Они не поклонялись божеству огня, они просто любили поджог.

И вот Хаджарат видит издали, что княжеская родня собралась и вместе со слугами двинулась к его дому. Но он был гораздо ближе. Он выскочил из леса и вбежал в дом, стоявший рядом с его домом. Здесь со своим мужем жила служанка княгини. Хаджарат поднялся на чердак, раздвинул драйки и стал следить за теми, что идут к его дому. Там было несколько князей и куча прислужников княжеского дома. И как раз служанка княгини, та самая, в чей дом он залез, несла в руках бидон с керосином.

Что делать? Хаджарат решил стрелять в князей и прислужников, когда они поравняются с ним. Но тут навстречу поджигателям вышли эшерские крестьяне и остановили их.

— Не позорьте наше село поджогом, — сказали они, — даем вам слово, что мы сами поймаем Хаджарата и сдадим его в руки закона.

Народ гудит, как растревоженный рой. И родственники Омара отступились перед гневом народа. Уж до чего въелась в них привычка сжигать дом врага, а тут отступились. И вдруг один из родственников княгини, он случайно оказался в Эшерах, говорит писклявым голосом:

— Пойдемте успокоим княгиню. Я сам затяну петлю на его шею.

Сморчок сморчком да еще гнилоглазый. Говорит, а сам платком протирает глазные стекла. Гнилые глаза потеют, вот он и протирает глазные стекла. До этого никто о нем и слыхом не слыхал. Оказывается, он был из судейских. Оказывается, он раньше учился в Тифлисе, в Москве, а теперь в Мухусе работал судейским. Оказывается, этот сморчок в три раза глубже зарыт в землю, чем торчит над землей, но тогда никто об этом не знал.

И тогда, значит, все назад, решив взять Хаджарата или через односельчан, или через полицию и казаков. Все назад, а эта служанка, что держала бидон с керосином, к себе домой. Она же знала привычку этого княжеского рода. Думает — не утерпят, не удержатся и снова пойдут поджигать дом

Хаджарата. Вот и бидон с керосином будет под рукой. Тут же и поднесу.

Подходит к дверям, а двери заперты изнутри. Не поймет, в чем дело. Тут Хаджарат, он уже слез с чердака, приоткрыл дверь и вволок ее в дом. Она, конечно, омертвела.

— Так это ты, соседка, собиралась поджечь мой дом?

Молчит.

— Отвечай!

Молчит. Хаджарат ее за косу и мотнул на стену.

— Княгиня велела!

Хаджарат схватил бидон и облил ее керосином. Вынул из кармана спичку и потряхнул коробок над ее ухом.

— Поджечь тебя, княжеская сука?

Она повалилась на колени и стала умолять его. Хаджарат, конечно, не собирался поджигать ее, но пугал для будущего.

— Иди и передай княгине, — сказал он, — что я ее сожгу и прикурю от ее пепла, если волос упадет с головы моих сестер и хотя бы плетень моего дома лизнет пламень! То, что я обещал сотворить с ее сыном, я сотворил. И то, что я обещаю сотворить с ней, я сотворю. Меня, если могут, пусть поймают и убьют, а сестры мои ни при чем! Иди!

Хаджарат в лес, а служанка, вся провонявшая керосином, бегом к своей госпоже. Так и так, это чудище Хаджарат чуть меня не сжег и тебя обещал сжечь и прикурить от твоего пепла, если что случится с его сестрами и домом. И тут княгиня поняла, что Хаджарат — хозяин своего слова. И теперь не

только не науськивала поджечь дом Хаджарата, а то и дело отгоняла родственников Омара от керосина и дымящихся голловешек.

Но шпионы, конечно, следили за домом Хаджарата, чтобы поймать его, когда он придет навещать своих сестер. Прошло несколько месяцев, и Хаджарат однажды ночью решил войти в свой дом. Он, конечно, понимал, что за домом могут следить, и ночь выбрал самую безлунную.

Не со стороны ворот, а сзади дома он перемахнул через плетень и, держа наготове пистолет, стал тихо подходить к дому. А в это время, завернувшись в бурки, двое караулили у ворот. Один из них был его родственник Акузба, тот самый княжеский прислужник, что уговаривал его продать коня, а другой был родственник Омара. Фамилия его Эмухвари.

И как раз в это время Акузбе захотелось закурить. Он чирк спичкой и только ее к сигарке — Хаджарат стрельнул и попал ему прямо в рот. Убил на месте. Второй метнулся в ночь. Хаджарат выстрелил наугад и попал ему в ногу. Тот заорал и свалился. Хаджарат к нему. Раненый, бросив винтовку, пытался уползти. Хаджарат подобрал его винтовку, вынул затвор и отдал раненому:

— Ковыляй! Будешь горевестником шпиона. Все же мой родственник.

Тот уковылял в темноту. Хаджарат подошел к убитому, сложил ему руки, сложил ему ноги, прикрыл глаза и завернул в бурку, чтобы зверье не попортило труп. Уже стали перекликаться люди, проснувшиеся от выстрелов.

После этого он вошел к сестрам, перепуганным сернам, обнял их, поцеловал их, встряхнул их: «Ничего не бойтесь, пока я жив!» — и ушел в ночь.

И вот слава Хаджарата греет Абхазию, и стражники его никак не могут взять, и дух народа — вверх, а усы кичливых князей — вниз. И даже казаки приутихли. Раньше как было? Если кто провинился и ушел в лес, в дом его родственников приходили казаки и жили там столько времени, сколько положило начальство. Икзикуция называлось! Кушай, казак! Пей, казак! Гуляй, казак!

Если несколько родственников в селе, распределяли казаков на всех родственников. Если один — садились на одного. И вот теперь во время икзикуции казаки тоже стали поопрятней. Если раньше говорили хозяину дома: «Вали быка!» — теперь стали говорить: «Прирежь овцу!» Вот что значит один человек, если этот человек — герой!

Но абреку в лесу нелегко. Страшнее всего человеку одиночество. Жил в Эшерах греческий купец... Забыл его имя, будь оно проклято! И был у него сын. И этот парнишка привязался к Хаджарату. Иногда уходил с ним и бродил за ним по горам и лесам, как собачонка. Иногда приводил его домой — подкрепиться, отдохнуть.

Дошло до княгини. Родственники Омара всполошились: предадим огню дом этого гяура! Некоторые до сих пор думают, что они поклонялись божеству огня. Те, что поклоняются божеству огня, держат у себя молитвенную наковальню. Никто никогда не видел у них молитвенную наковальню. Они не

поклонялись божеству огня, они глумились над ним, потому что любили поджог.

Одним словом, княгиня и на этот раз отогнала их от огня. Она хорошо запомнила, что сказал Хаджарат. Она тайно поговорила с купцом, обещала ему пятьсот рублей золотом, если он наведет полицию на след Хаджарата. Но купец ничего не признал: «Я Хаджарата не прятал, а если сын иногда уезжает из дому, это значит, что он веселится в городских кофейнях, как и положено молодому греку при отцовских деньгах».

Но тут выполз этот судейский змей. Он стал дознаваться, из каких краев этот купец, где и какая у него живет родня. Узнал, что младший брат купца живет в Кенгурске. Но братья уже тридцать лет не встречаются. Почему бы?

Поехал судейский в Кенгурск и узнал у брата, что купец тридцать лет назад подделал завещание отца и забрал после его смерти почти все добро. Младший брат, стыдясь людей, не стал жаловаться закону, но родного брата перестал пускать в свой дом.

Судейский перешелестил казенные бумаги, и все оказалось правдой. И с этим явился к купцу. И тут купец сломался. Пятьсот рублей золотом и подделанное завещание соединились и сломали купца. Он обещал дать знать нужному человеку, когда Хаджарат придет к ним домой.

И вот однажды ночью Хаджарат приходит с его сыном. Они поели, попили и пошли ночевать в кукурузный амбар. Оставаясь у купца, Хаджарат в доме никогда не ночевал. Он

ночевал в кукурузном амбаре. Амбар на высоких сваях стоял в кукурузном поле рядом с лесом. Оттуда и отстреливаться было легче, и сбежать можно было, если повезет.

Они уже легли, когда пришла мать этого парнишки.

— Сынок, — говорит, — тебе надо вымыться, я воду подогрела.

Сын спустился и пошел за матерью, а Хаджарат, как всегда, уснул, держа на груди руку с пистолетом. А в это время купец дал знать нужным людям, и пришли стражники и окружили кукурузник. Среди них был Ачырба. Слышал про такого? Он загубил многих абреков. Как Хаджарат среди абреков, так и он среди стражников был самым бесстрашным.

— Эй, Хаджарат, — крикнул он зычно, — ты окружен! Сдавайся! Или посмотрим, какой ты мужчина!

Услышав его голос, Хаджарат вскочил.

— Вот какой я мужчина! — крикнул Хаджарат и прямо на голос пустил свою пулю. Но не попал. Этот стражник был хитрый как волк. Он знал привычки Хаджарата. Не успев прокричать до конца, он уже прыгнул в сторону от своего голоса, и пуля на миг опоздала.

Ну, тут гром, молния, ночь полопалась от выстрелов. Но Хаджарат, заметив, откуда раздается какой выстрел, выпрыгнул из амбара, и, отстреливаясь, побежал через кукурузу. В кустах кизила за оградой его бурка зацепилась за колючки, но он выскочил из нее и вывалился в лес.

Стражники с перепугу решили, что он затаился в кустах кизила. Они искромсали пулями его бурку, а когда подошли,

увидели, что она пустая. Вот откуда пошли слухи, что он заколдован от пули. Они же пустили эти слухи. Им стыдно было признаться, что они палили и палили в пустую бурку.

Итак, Хаджарат снова ушел. Тогда-то он и стал появляться у нас в Ачандарах. Мы жили чуть в сторонке от села, и он иногда приходил к нам домой. Обычно ночью, но бывал и днем.

Иногда приходил черный, как туча, вздрагивал от каждого шороха. Однажды перед ужином моет руки на веранде. Я ему поливаю. Он держит в одной руке пистолет, а другую подставляет под струю, а глаза так и шарят в темноте. Потом пистолет в другую, а эту под струю.

— Зачем ты к нам приходишь, если не доверяешь? — шутиливо спросил отец.

— Я теперь только ему доверяю, — сказал Хаджарат, кивнув на пистолет.

Но бывал он и легким, светлым. Совсем другим. Однажды пришел теплым августовским днем. Отец постелил ему туфлюшку под тенью айвы. Он сам так попросил. Лег и заснул. От нашего дома по обе стороны далеко видна дорога. И я сидел на плетне, посматривая, не появится ли на ней подозрительный человек. Отец прирезал ягненка, мать готовит еду, а Хаджарат спит.

Поспал он всласть, а потом присел на шкуру и закурил. Сидит курит. И надо же было так случиться, что как раз в это мгновенье подул ветерок, с дерева сорвалась огромная айва и ударила его по голове. Хаджарат так и рухнул на шкуру. По-

том поднял голову, ругнулся, рассмеялся и потер ушиб. Дотянулся до упавшей айвы, вынул нож и стал ее есть, состругивая с нее кожуру. Потом за обедом он все время шутил, вспоминая эту айву.

— Не говорите моим врагам, — смеялся он, — а то они бомбами не могли меня взять, глядишь, айвой закидают.

Приставал к отцу:

— Признайся, ты подрезал черенок этой айвы и подстелил под ним свою шкуру, чтобы сдать меня властям?

Отец отшучивался. И я сейчас, вспоминая этот день, думаю, что он был самым счастливым в его жизни. Сколько он напридумывал, общучивая свою голову и эту айву. И как мы тогда смеялись вместе с ним!

Он был ухватчивый, он был догадливый, Хаджарат! Однажды мы с отцом и несколькими пастухами спустились с альпийских лугов. День был жаркий. В одном месте над тропею в скале оказалось гнездо диких пчел. От жары мед потек из расщелины и капал со скалы на тропу.

Отец предупредил меня, что мед этот нельзя пробовать, сделал из гнилушки дымарь и полез на скалу. Такой мед, дикий мед, у нас сначала варят, а потом едят. Отец отковырял ножом и наполнил два мешка из козьих шкур сотами дикого меда. Спустил их нам по веревке, а потом спустился сам. Мешок поменьше — мне, другой отец взял сам — спускаемся. Становилось все жарче и жарче. Я стянул с себя рубашку и приладил мешок к голой спине, чтобы прохладней было идти.

Часа через два мне стало плохо. Голова разрывается, тошнит, умираю. Лег на траву. Отец перепугался. Пастухи стали рубить ветки, чтобы сделать носилки и нести меня вниз. А в это время сверху, издалека, оказывается, за нами следил Хаджарат. Он нас не узнал, но к простым людям в горах подходил. Ничего не боялся. Он понял, что случилась беда, и спустился к нам. И тут нас узнал.

— Мед пробовал? — сразу же спросил он.

— Нет, нет, — говорят пастухи, — он его только нес в этом мешке!

— А почему его рубаха приторочена к мешку?

— Жарко. Снял по дороге.

— В этом все дело! Дикая мед просачивается сквозь кожу мешка и входит в тело. Он отравился. Напоите его кислым молоком! Ничего с ним не будет!

Меня напоили кислым молоком. Я тихонько отлежался, и в голове развиднелось. Мы пошли дальше. Мой отец всю жизнь занимался пчелами и не знал, что от дикого меда можно отравиться через тело. А Хаджарат сразу понял.

Да, Хаджарат. Он так скучал по крестьянской работе, что иногда летом, приходя к нам домой, ночью брал мотыгу и до утра полон кукурузу. Я думаю, через это нас заподозрили. Видно, кто-то, проходя мимо нашего дома, заметил, что кукуруза с вечера была не прополота, а вдруг за ночь вся прополота. Как это? Наши по ночам не работают. Наши и днем не слишком убиваются на работе. Армяне — другое дело. Надо же правду говорить.

Я думаю, через это и дошло до старшины. Он несколько раз с отцом заговаривал, но отец: «Нет, не бывал у меня Хаджарат!» Но оказывается, до судейского через старшину, конечно, дошло, что у нас бывал Хаджарат. И тот начал плести паутину вокруг наших родственников, чтобы найти зацепку для разговора с отцом.

Родственники, конечно, знали, что у нас он бывает, как от родственников скроешь, но молчали. А мы про это ничего не знали. Отец только знал, что судейский купил грека на деньги княгини, а то, что он уже принохивается к нашему дому, не знал.

Да! Я же забыл сказать, что Хаджарат расправился с этим купцом. Старею! Хаджарат, конечно, все узнал, поймал его сына, увел в лес и через верного человека велел передать купцу:

— Я учил твоего сына мужчинству, а ты продал мою жизнь за пятьсот рублей. Принеси мне эти деньги к Анчарскому спуску. Я проем эти деньги и подотрусь ими. Приедешь со стражниками — сына не увидишь.

Анчарский спуск знаешь? Это по дороге к Каманскому хребту. Может, его на теперешних картах переименовали, но мы его так и будем называть, как наши деды называли, — Анчарский спуск.

Старику купцу ничего не оставалось, как взять деньги и пойти туда. Отдал золото — вернул сына. Хаджарат никого не тронул, а только проклял человеческую жадность и ушел в лес.

...Голос старого Хасана и обильный шум водопада. Козы паслись в траве, временами набредая на рослые, легкие кусты черники. Они привставали на задние ноги и, опершись передними на гнущуюся ветку, объедали куст. Передние ноги порой соскальзывали с ветки, и именно в тот миг, когда они начинали соскальзывать, козы торопились быстрее схватить и добрать в рот листья, прежде чем сорвутся передние ноги. Соскользнув вниз, они продолжали жевать, приподняв голову и поглядывая на куст, соображали: стоит ли снова громоздиться? Сообразив, иногда громоздились, а иногда, тряхнув головой: «Не стоит мелочиться!» — переходили к новому кусту.

...Кто-то говорил, что козы оголили Грецию и Малую Азию. Нам это, слава Богу, не грозит. Тема: козы и цивилизация.

С десятков овец паслось, уткнув вытянутые головы в траву, словно старательно внюхивались в нее, прежде чем оборвать зубами. Они все время придерживались стада, но козы, если те слишком близко подходили, отгоняли их от себя: не по чину приблизились! Овцы отходили, но потом с каким-то покорным упорством снова следовали за ними.

Слева от водопада на изумрудном склоне, чуть позолоченном цветущими примулами, появился человек, погонявший впереди себя легкое облачко козлят. Облачко, вытягиваясь, весело наползало на зеленый склон. Человек шел мерными шагами, держа на одном плече толстую длинную ветку и придерживая ее топориком с другого плеча. Это был Кунта.

Сверху по склону, держа лошадь за поводья, спускался Бардуша. Я сразу узнал его высокую, стройную фигуру. Лошадь была нагружена мешками. Видимо, он направлялся в Чегем с кладью свежего сыра. Войдя во встречное облачко козлят, он двигался, как бы разгребая его. Поравнявшись с Кунтой, он остановился и стал ему что-то говорить, иногда показывая рукой наверх. Слушая его, Кунта поставил ветку стоймя, чтобы дать плечу отдохнуть. Теперь видно было, что это пихтовый сухостой.

Разошлись. Кунта осторожно опрокинул длинную ветку на плечо и стал подыматься. Бардуша и его лошадь исчезли за бугром.

Козы постепенно стали спускаться со склона, примыкаяющего к водопаду, и теперь приближались к большому валуну. Старый вожак с мощными триумфальными рогами, желтобородый, с клоками такой же пожелтевшей шерсти, свисавшей с боков, первым взобрался на валун, добрался до его вершины, важно огляделся и лег. Стадо последовало за ним.

Шум водопада и голос старого Хасана:

— Да, мальчиком в те времена, когда Хаджарат захаживал к нам, я его часто встречал в лесу. Собираясь ночью прийти к нам, он меня предупреждал. А потом, бывало, скажет:

— А ну, подкинь ореховый прут!

Я выламывал ореховый прут, сдергивал все листочки, оставлял только один на макушке. Я изо всех сил закидывал прутик, а когда он начинал падать на землю, Хаджарат стре-

лял из пистолета по листику. Обычно стрелял два раза. Если попадал только один раз, говорил:

— Сегодня плохо стреляю.

Время идет, а Хаджарата никак не могут взять. И дух народа подымается, а дух писарей и князей падает. И уже люди, когда с ними подличали те, в чьих руках сила, так говорили:

— Пойду жаловаться Хаджарату.

И шли ходоки. И находили его. Хаджарат пикнет в горах, а в долине у вороватого писаря писулька падает из рук. Вот такой стал Хаджарат! Хаджарата никак не могут взять, но и ему трудно в горах одному. Человек не может без человека. Даже если соринка влетит тебе в глаз, нужен человеческий глаз, чтобы снять эту соринку.

Сдружился Хаджарат с тремя абреками, и теперь они живут в одной пещере возле Бзыбского хребта. Ходят, бродят по Абхазии, а живут в этой пещере.

Однажды один из них ушел к себе в село. Оказывается, гнилоглазый уже нашел к нему путь. Через какую щель он вполз к нему в душу, не знаю. И раньше не знал и теперь выдумывать не хочу. Видно, обещал ему закрыть дела трех абреков, если они Хаджарата живого или мертвого привезут в Мухус.

Этот вернулся и договорился с двумя остальными ночью навалиться на Хаджарата и взять его живого или мертвого. Но Хаджарат почувал беду. Он понял, что эти трое в своей душе уже отделили себя от него и соединились между собой.

Ладно. Хаджарат почуял, что от них несет гнилью, но они этого не поняли. Гнилой человек сам свой запах не чувствует.

Ночью в пещере он лег на свое место и сделал вид, что заснул. Он решил ждать, чтобы поймать их с оружием в руках. Они, конечно, хоть и задумали черное дело, побаиваются. Слышит — шепчутся, шепчутся. Костер горит, а они шепчутся. Дошептались, взяли за оружие, и тут Хаджарат вскакивает. Куда теперь спрячешь оружие? Хаджарат и раньше спал с оружием в руках, а теперь и заранее приготовился.

— Хаджарат, — говорит самый крепкий из этих абреков, — нас все-таки трое. Лучше сдавайся!

— Правильно, — сказал Хаджарат, — я убью троих, а вы убьете одного.

И случилось то, чего не случалось в мире! Пять дней и пять ночей они вот так в трех шагах просидели друг против друга. Их было трое, и один из них мог прикорнуть, пододвинуть головешки костра, дать чего-нибудь пожевать своим, а Хаджарат ничего не мог. На третьи сутки, он потом нам рассказывал, он прилачился на миг засыпать и просыпаться. Но они этого не заметили. Они хотели его взять измором, но сами протухли.

На рассвете шестого дня, пятась, пятась, они вышли из пещеры и навсегда скрылись из глаз. Может быть, ушли в Мингрелию. Тогда Хаджарат догнать их не мог, слишком устал, а потом больше их не видел никогда.

А старшина отцу покою не дает:

— Поезжай, поговори с судейским. Иначе — плохо будет.

— Мне не о чем с ним говорить, — отвечал отец, — и если он придет сюда, я на него собак спущу. Так и передай!

И вот получается, что они знают — бывал у нас Хаджарат. Но никто не может встать на суде и сказать: «Да, он там был. Я его видел». Тогда тоже немного закон соблюдали. А этот, гнилоглазый, принюхивается, принюхивается к нашим родственникам и наконец унюхал, что надо было ему. Этого нашего родственника звали Бадра.

У него была такая история. Он всю жизнь был вдовый, но имел единственного сына, пушинке не давал на него опуститься, так любил его. Однажды Бадра искал свою лошадь и шел через заросли папорти. И в это время местная вдова искала своего теленка в этой же самой папорти. Она еще была молодая, крепкая, папорти так и трещали вокруг ее ног. И Бадра пошутил:

— Куда это ты волочишь сквозь папорти свое сокровище?

Если бы она опустила голову или хотя бы пристойно улыбнулась и прошла, ничего бы не было. Нет! Засмеялась! И он понял, что можно. И у них был грех и длился много лет.

А тут вырос его сын, который, конечно, ничего об этом не знал, и полюбил ее дочь. Видишь, как чудно получается? Видно, их породу тянуло на эту породу.

Как отец ни отговаривал, что ни делал, сын женился на ней. Бадра эту вдовушку давно оставил, но все равно нехорошо по нашим законам: отец ложился с матерью девушки, на которой теперь женился сын.

Но вот они хорошо живут, и невестка скоро должна родить. А в это самое время гнилоглазый все вынюхал и через своего человека передал Бадре:

— Или ты со мной поговоришь о Хаджарате, или я с твоим сыном поговорю о кровосмесительстве!

И Бадра испугался. Но все же он был честным. Предупредил отца.

— Опозорю себя и вас, — сказал он отцу, — не устою перед четырехглазым. Если сын что узнает — застрелится. Заранее говорю — ради сына на все пойду, все, что знаю, скажу четырехглазому. Что-нибудь придумайте, пока не поздно!

И тогда в ту же ночь отец принял решение. В ту же ночь, никому ничего не говоря, мы снялись со своего места и переехали в Чегем. Тогда Чегем был чистым, как этот луг под водопадом.

В те времена крестьянский дом не был захламлен добром, как сейчас. Телевизоры, шифоньеры, диваны, чума, холера — кто тогда знал? Домашнюю утварь — на лошадей, впереди скот и тронулись в места. Вот так с тех пор мы и живем в Чегеме.

И судейский тогда Бадру оставил. Через его боль он хотел разговорить моего отца, а когда отец исчез, ему и Бадра стал не нужен.

Время идет, а Хаджарата никак не могут взять. Но я уже говорил, как трудно человеку одному. И вот Хаджарат, забыв свои обиды, сдружился с одним абреком. Вместе спят, вместе

едят, вместе уходят от погони. У этого абрека брат был арестован и сослан в Сибирь. Он тоже был абрек.

Однажды они, я говорю о Хаджарате и этом абреке, высоко в горах наткнулись на человеческое жильё. Оказывается, там жил пожилой абхаз со своей дочкой-перестарком. Он выкорчевал лес, посеял кукурузу, держал пчел. Знал я его имя — забыл, будь оно проклято!

Хаджарату приглянулось это место. Вокруг ни души, чащобы — не прорубиться, ущелья — не переползти. Старик этот пятнадцать лет там прожил, и ни один человек не знал, где он живет. Он иногда спускался вниз, но к нему никто никогда не подымался...

Почти прямо над грохочущим водопадом из-за хребта вывалился вертолет, на мгновенье грохотом мотора перекрыл шум водопада, и, бешено вращая огромными, неряшливыми лопастями, как бы проваливаясь и выбираясь из воздушных ям, пропилил над альпийскими лугами и завалился за северный хребет.

Старый Хасан взглянул ему вслед привычными спокойными глазами и сказал:

— Это чудище сверху все видит. В прошлом году в самом дремучем урочище под Псху он нашел последних новофонских монахов. Человек в лесу без огня не может. Огонь не может без дыма. Через дым нашли. Сняли всех вертолетом, привезли в город и отпустили. Власть, как и мы, пастухи, не любит, чтобы от нее скрывались: пасись на глазах!

Но тогда вертолетов не было, тогда можно было прятаться. И вот стал Хаджарат со своим другом туда наведываться. Домой нельзя. Перебраться через Кавказ и жить среди других народов наши тогда не могли. Сейчас везде живут. Тогда не могли.

Если бы он знал, что будет революция и власть перевернется вверх ногами, может быть, переждал бы где-нибудь на Кубани. Но он не знал. Сейчас некоторые делают вид, что он — революция-конституция — все знал. Как и все мы, он знал — икзикуция. А революция-конституция — не знал. Он был простой и решил жениться на дочери этого старика.

— Так и так, — говорит Хаджарат старику, — имя мое ты знаешь, как и вся Абхазия. Хочу жениться на твоей дочке. Буду раз в неделю приходить мыться, переодеваться, отдыхать. Деньги у меня есть, добро у меня есть, если убьют, все вам останется. И по хозяйству буду помогать, пока жив. Что ты мне скажешь на это?

Испугался старик, а что может сказать такому человеку?

— Спроси у нее, — говорит, — если она хочет, пусть выходит.

Спросил. Она опустила голову.

— Если я такому человеку приглянулась, — говорит, — согласна.

И вот Хаджарат стал ее мужем. Но, конечно, ни свадьбы, ни гостей. Только этот его друг знает о женитьбе. И вот, значит, они живут. И бедный Хаджарат привязался к ней. Все же

женщина, все же очаг. И она, как бывает весной, когда старый кол изгороди вдруг выбрызгивает листья, помолодела, порозовела.

А судейский в это время сидит в Мухусе и рассылает своих шпионов по разным деревням. И он наконец донюхался, с каким абреком сейчас дружит Хаджарат. У этого абрека была жена, и он иногда тайком приходил к себе домой. И вот однажды приезжает к ней гнилоглазый и уговаривает помочь встретиться с ее мужем.

— Если твой муж подсобит мне в одном дельце, — говорит ей, — я его верну тебе.

И жена обрадовалась. Надоело жить без мужа. Устроила встречу, и судейский сказал абреку:

— Твой брат в Сибири. Сибирь большая — человек может не найти дорогу назад. Возьми Хаджарата живого или мертвого. И твой брат вернется домой, и дело твое я закрою.

Крепко задумался абрек да недолго думал.

— Живым он никому не дастся.

— Тогда убей.

— Я не могу, — ответил абрек, — попробуйте через такого-то.

И он открыл судейскому про старика и его дом в горах. Судейский об этом ничего не знал.

— Что за старик? — обрадовался судейский. — Откуда он родом? Кто его родственники? Почему живет вдали от людей?

И этот абрек все рассказал, что знал о старике. Когда люди в горах в одиночестве сидят перед костром, они много такого рассказывают, чего не расскажут в низине.

Оказывается, пятнадцать лет назад в селе, где жил старик, постоем стояли казаки. Икзикуция! И вот однажды старик вышел со своей дочкой в лес собирать дикие груши, чтобы варить водку. Он натрусил одно дерево, и дочка стала собирать груши, а сам он отошел подальше искать другое дерево. Слышит, дочка кричит. Прибежал и видит: пьяный казак навалился на его дочку, чтобы поглумиться над ее девичеством. Старик убил его топором и отволоч в колючки. А казаки стоят в селе — пьют, гуляют. Икзикуция! И старик испугался. У него была только жена и дочка. Родственниками был хиловат. Пока казаки не нашли труп своего товарища, собрался в одну ночь и переехал в горы. Горы он хорошо знал. Потом жена его умерла, и он остался там с дочкой.

— Хорошо, — сказал судейский — я найду старика. Но ты не говори, что встречался со мной. Все, что я обещал твоей жене, сделаю.

Так они расстались, и судейский наконец вышел на старика. Старик, конечно, не тур, все время не сидел в горах. Иногда и пониже спускался, к людям. Там и встретились.

— Я все про тебя знаю, — сказал судейский, — ты родом из такого-то села. Ты родственниками хиловат. Ты живешь с дочкой в горах. И почему живешь, знаю. И знаю, что ты приютил у себя в доме двух абреков. Один из них

государственный преступник. Хаджарат Кяхьба. Мы его ищем уже много лет. Казаки вот-вот окружают твой дом. Хаджарат, как ты сам знаешь, живым никому в руки не дастся. Значит, казаки в перестрелке убьют вас и дом ваш сожгут. У тебя только один выход — убей Хаджарата!

Ты понял, какой шайтан этот судейский? Все сказал, но не сказал, что дочка старика — жена Хаджарата. Почему? Боялся, что старик постыдится предать зятя.

Старик подумал, подумал и сказал:

— Хорошо!

— Оружие дать?

— Нет. Я его топором зарублю.

— Правильно, — говорит судейский, — это у тебя получается.

И вот прошло некоторое время, и Хаджарат с этим абреком встретились в лесу и пошли к старику. Абрек этот уже знал, что старик будет убивать Хаджарата. И Хаджарат почувствовал, что он в душе отделился от него. Он подумал, что этого абрека подкупили или запугали. И он начал к нему цепляться, чтобы тот загорелся и раскрыл себя. Но абрек не отвечал. А старика Хаджарат не заподозрил: породнился, привязался.

И вот они поужинали у старика, и тут абрек говорит:

— Хаджарат, ты у себя дома. Я тоже хочу пойти к себе домой. Если сейчас пойду, к утру буду дома. Через три дня встретимся здесь.

И он ушел. Хаджарат был усталый и лег спать. Рядом легла жена. И он уснул. Жена потолкала его — не просыпается. Хорошо спит. Встала, оделась, вышла к отцу:

— Давай, отец!

Отец взял топор и подошел к лежанке. Сейчас у нас некоторые крестьяне двухэтажные дома имеют. Тогда кто это знал? Уж не этот лесной старик. В его доме была одна комната, перегороженная занавеской. В одной половине спал он, а в другой его дочка с Хаджаратом.

И вот старик откинул занавеску, подошел к лежанке, изо всех сил взмахнул топором, чтобы отрубить голову Хаджарату, но клинок запутался в занавеске. Старик уже не мог остановиться, и лезвие скользнуло по голове Хаджарата и почти отсекло ему ухо. Оно повисло на мочке.

— Хайт! — вскрикнул Хаджарат и, выхватив из-под подушки пистолет, взлетел над лежанкой. Старик не успел еще раз поднять топор. Раздался выстрел, и он повалился.

— Отец! — закричала дочка. — Бандит убил тебя!

И тогда Хаджарат очнулся и понял, почему она одетая, почему не в постели, и выстрелил в нее. Но не попал. Женщина за порог. Хаджарат за ней, придерживая ухо, откуда кровь так и хлестала. Они два раза обежали дом старика. А старик, оказывается, не был убит, он был только ранен в живот. Он выполз из дому с топором в руке и, когда Хаджарат пробежал мимо него, он, лежа, швырнул ему в ноги топор. И топор перерубил сухожилия правой ноги Хаджарата. Он рухнул, но потом встал и прикончил старика.

Женщина в лес, а Хаджарат, истекая кровью, опираясь на палку, к утру вошел в село Отхара. Там жила семья близких ему людей. Это были Гарпы. Хорошие, чистокровные крестьяне. Они приняли Хаджарата как родного, травами остановили кровь, вымыли, отпоили, положили в чистую постель. Все, что можно было сделать, сделали.

Но Хаджарат устал от предательства. Он знал, что, если старик обещал его убить в эту ночь, утром туда подымутся стражники, чтобы взять труп. И они по следам крови легко выйдут на дом этих Гарпов. И он подумал, что, может быть, эти хорошие люди не выдержат и предадут его. А иначе не поймешь того, что он сделал потом.

— Друзья мои, — сказал он, — я никогда не забуду ваш чистый очаг... Но сейчас оставьте меня... Я устал...

Они решили, что он хочет уснуть, и стали выходить из комнаты.

— ...расстанемся, пока хороши, — услышал хозяин, выходящий последним.

Но он решил, что Хаджарат уже сквозь сон что-то пробормотал. Он не знал, что Хаджарат собирается уснуть навсегда. Через минуту из комнаты раздался выстрел. Вбежали — где он? Хаджарат, с простреленной головой, мертвый, лежит в постели. Вот так, сынок, не уберегли мы его. Он подымал дух народа, а он что, не человек? Его дух не надо было подымать? Любим сваливать на чужих. Свои же его и предавали. Это его и сломало. Знаю, были стоящие люди, вроде моего отца. И лучше моего отца были люди, но предатели оказались сильнее.

«Расстанемся, пока хороши!» — с этим лучший из нас ушел от нас. Вдуматься — и камень заплачет. Если мы чего-то стоим как народ, мы внукам, правнукам и праправнукам передадим этот стыд. Пусть горит! Забудем и сами будем забыты! Не внявши упреку — кого упрекнешь!

Старый Хасан замолк. Бушующий сноп водопада валил и валил с неимоверной высоты, обдавая нас влажным дыханием, запахом мокрых камней, легким, неназойливым дуновением вечности. Козы на большом плоском валуне белели, как пятна снега. Под валуном, приткнув вытянутые головы в тень, в обморочных позах заклятия притихли овцы.

— Пойдем, перекусим, — сказал старый Хасан, вставая, — козы никуда не уйдут.

Мы встали. Он поднял бурку, тщательно отряхнул ее и так же тщательно сложил, словно готовился к далекому походу.

— Разве ты не вернешься? — спросил я.

— Конечно, вернусь, — ответил он, угнездив сложенную бурку под мышкой, — куда я денусь... Все-таки скотина рядом, может ископытить...

Мы пошли к пастушеской стоянке.

26. табу

Недавно я был в селе Анхара у своих родственников. Это большая семья, где под одной крышей живут отец и мать, двое сыновей с детьми и две дочери, еще незамужние. Всего

в одном доме живет двенадцать человек, если, пока я пишу эти строки, не народились новые дети.

Старшая хозяйка дома — моя двоюродная тетушка. Она дочь брата моего деда и как сирота воспитывалась в его доме. В свое время Тата была красавицей, да и сейчас хороша своими правильными индианскими чертами лица, застывшими в суровой пристойности и тем более очаровательно теплеющими, когда она подымает свои добрые глаза или начинает говорить. Ее мягкий голос заранее укачивает, убаюкивает еще отдаленный скрежет любой дисгармонии.

По нашей семейной легенде, она приглянулась Раифу, и он зачастил в Большой Дом. Назревало предложение. В последний раз, уезжая, он сел на свою лошадь и еще не успел перейти двор, как дядя Сандро сказал вполголоса:

— Не тянет этот длинноносый на нашу Тату, нет, не тянет.

И тут Раиф, словно услышал его голос, хотя услышать никак не мог, огрел свою лошадь камчой и, перемахнув через изгородь, умчался.

— Потянет, — заметил дядя Кязым, увидев такое.

— Я поцелую задницу его лошади, если он сумеет жениться на нашей Таточке, — пообещал дядя Сандро.

Однако сумел. И вот они уже около пятидесяти лет живут вместе. У них полдюжины детей и множество внучат. Раифу под восемьдесят. Тата лет на пятнадцать моложе. Он человек среднего роста, упитанный, держится все еще молодцом, хотя в последние годы побаливает. У него круглое, лунообразное лицо, а нос, по крайней мере сейчас, да, веро-

ятно, и всегда соответствовал давнему наблюдению дяди Сандро. Не хочется впадать в мистику и думать, что нос постепенно пришел в соответствие с насмешливым указанием дяди Сандро. Некоторые явления жизни действительно приходят в соответствие с фантастическими наблюдениями дяди Сандро, но только не носы. Уши — да. Уши у некоторых людей в самом деле со временем выросли до размеров, ранее пророчески указанных дядей Сандро. Но дядя Сандро недооценил силу его маленьких глаз под короткими бровями, как бы всегда иронически чувствующих свое преимущество, хотя бы благодаря более удобной природной расположенности в глазницах (чуть не сказал, в бойницах), чем у собеседника. Видимо, дядя Кязым это вовремя усек. У него у самого были такие глаза.

...Стол накрыт во дворе под лавровишней. На столе дымящиеся порции мамалыги, утыканые пахучими ломтями копченого сыра, жареная курица, алычовая и ореховая подлива, влажные холмы зелени и, конечно, кувшин с «изабеллой». Рядом с этим кувшином стояла чужеродная для абхазского стола кастрюля, как позже выяснилось, с компотом.

Но прежде чем рассказывать о застолье, я должен признаться, что эта встреча была тайным знаком моего прощения и возвращения в семью этих родственников.

Дело в том, что несколько лет назад Раиф заболел, и его привезли в Москву и положили в больницу. Сын его позвонил мне и рассказал о том, что случилось и в какой больнице лежит его отец. Судя по голосу сына, он не испытывал боль-

шого беспокойства, но из перестраховки привез отца в Москву. Я предложил ему приехать ко мне, но он ответил, что смотрит по телевизору футбольный матч и не хочет отрываться. Даже по этим словам его было ясно, что болезнь отца не слишком угнетает сына.

— Сегодня я не смогу приехать, — сказал я Зауру, так его звали, — а завтра навещу твоего отца.

Так получилось, что назавтра я должен был срочно выехать в Абхазию по неотложным делам. Телефон у Заура я забыл попросить и не смог предупредить его о своем неожиданном отъезде.

Я пробыл в Абхазии дней двадцать. Больной все еще находился в Москве. Примерно на третий или четвертый день моего приезда по Абхазии стали расползаться слухи о том, что в Москве я не навестил в больнице своего страждущего родственника. Излишне говорить, что слухи эти исходили не от меня.

Первым мне об этом сказал дядя Сандро. Это был тот период моей жизни, когда он мне смертельно надоел. Господи, если бы кто-нибудь знал, как он мне время от времени надоет! Конца и края ему не видно, конца и края!

В такие времена, хотя я сам ему ничего об этом не говорю, он угадывает мое состояние и делается надменным и мстительным. Тогда в печати стали появляться мои рассказы о Чике, а не о нем, и он несколько раз говорил нашим общим знакомым, что, видимо, умственные силы его племянника пришли в полный упадок и он уже не в состоянии писать

о мудрых, много переживших людях и снова взялся за детей. Разумеется, сам он моих вещей не читал, но люди ему пересказывали их содержание.

Увидев меня в кофейне с друзьями, дядя Сандро с траурной важностью отвел меня в сторону. Он начал издали. Раз уж так получилось, сказал он, что этот длинноносый исхитрился жениться на нашей Таточке, а мы тогда ее прохлопали, чего уж теперь хорохориться, когда все позади. Надо было этого горемыку навестить в больнице, нельзя было уезжать, не проведав его.

Обилие прошедшего времени в его словах заставило меня заподозрить самое худшее.

— Он что, умер? — спросил я.

— Нет, — с достаточным ехидством заметил дядя Сандро, — видно, спасая твою честь, пока держится.

Потом мне об этом несколько раз говорили родственники, и в конце концов заговорил сильно озабоченный, хотя и малознакомый человек. Он сказал, что, конечно, все это не его дело, это дело внутрисемейное, но ходят слухи, что я просто-напросто сбежал из Москвы, чтобы не околачиваться возле больницы со всякими там передачами.

Потом-то я узнал источник этих слухов. Просто Зауру позвонили из Абхазии и, в частности, спросили, был ли я у больного. Он, по-видимому, достаточно холодно ответил, что я обещал быть, но так и не пришел.

В день отлета уже в аэропорту я опять встретил дядю Сандро. Он важничал, я бы сказал, с мусульманским оттенком.

У него был такой вид, как будто он только что проводил делегацию арабских шейхов, прилетевших его проведать.

— В самый раз подгадал улететь, — сказал он, — больного вчера привезли из Москвы.

Прошло с тех пор несколько лет. Я каждый год бывал в Абхазии и очень хотел встретиться с семьей нашей Таты, но что-то мешало поехать к ним. Мешала какая-то глупая необходимость объяснять, что и как. Но приехать и ничего не сказать, раз уж ходили такие слухи, тоже было неловко.

Потом нас постигли горестные события, и на похоронах брата я увидел нашу милую Тату. Она так убивалась. И все-таки позже, на поминках, я ей нашел нужным объяснить, почему я не смог навестить ее мужа в больнице. Несмотря на все случившееся, я почувствовал, что гора свалилась с ее плеч.

И вот я наконец здесь, и мы сидим за столом под лавровишней. Вокруг нас огромный зеленый двор, на котором пасутся телята, похаживают куры и индюки. Отдельно пасется индюшка с целым выводком индюшат и одним утенком. Индюшата время от времени отгоняют его от себя, но он совсем необидчивый, снова присоединяется к ним, забавно переваливаясь с ноги на ногу. Индюшка, если индюшата нападают на утенка поблизости от нее, строгим клевком восстанавливает справедливость. Тата для пробы подложила под индюшку утиное яйцо, и теперь наседке придется защищать своего неунывающего уродца.

Большая черная собака сидит возле дома, сумрачно поглядывая на свое корытце, откуда кипящие воробьи что-то вы-

клевывают. Время от времени она отводит в сторону голову, стараясь самой себе внушить, что ажиотаж воробьев — следствие чистой глупости, в корытце ничего нет.

Но это ей трудно удается. Она снова направляет на корытце взгляд, исполненный якобы сонного равнодушия. И вдруг не выдерживает, словно спохватившись: «А что, если пока я дремала...» — и, бодро вскочив, подбегает к корытцу. Воробьи, пыхнув, разлетаются. Она несколько секунд принимается к своему корытцу, убеждается, что там ничего нет, и с выражением: «Черт его знает что творится!» — досадливо возвращается на место и брякается на траву. Постепенно воробьи снова слетаются, и все повторяется сначала.

На том конце двора дети играют в футбол. Очаровательный малыш в майке и коротких штанишках бежит по двору, то и дело шлепаясь. Видимо, он только научился бегать и, вскочив, бежит все быстрее, быстрее, быстрее, перебирая своими ангельскими икрами, словно невольно разгоняясь от невидимой силы притяжения, и наконец падает на траву. И кажется, зеленая земля мягко приучает его к тому, что она имеет форму шара.

Раиф возглавлял стол. Его желудочная болезнь оказалась не очень опасной, во всяком случае, он уже попил вино. Рядом со мной сидел Заур, кстати сказать, директор местной школы, своим непедагогическим телефонным сообщением ввергший столько людей в горестное недоумение по поводу моей бессердечности. У него такое же круглое лицо, как

и у отца, однако о магической проницательности отцовских глаз не может быть и речи. Напротив нас сидели Тата и пожилой сосед, преданно поглядывавший на Раифа.

Стол обслуживала легконогая с шельмоватыми веснушками на лице жена младшего сына.

Она — лучшая в селе сборщица чая, ее несколько раз выбирали депутаткой, но в этом году не выбрали. Не успели мы как следует рассесться, как она, горячась и, видимо, ища во мне свежего союзника, стала рассказывать о том, что с ней несправедливо поступили.

— Подарили мне золотые часики, как сельской дурочке, — тараторила она, — а на черта они мне нужны! Я их даже не ношу! А депутаткой выбрали другую сборщицу, потому что она родственница председателя, хотя они это скрывают. Подарили мне золотые часики: на, молчи! А я молчать не буду!

— Не всегда же тебе, невестушка, быть депутаткой, — перебил ее Раиф, — надо, чтобы и другие побыли.

— Почему другие?! — возмутилась она. — Пока я собираю чай лучше всех, я должна быть депутаткой!

— Доченька, — мягко заметила Тата, — когда разговариваешь с мужчиной, не надо полыхать ему в глаза.

— Куда же мне смотреть, мама? — полыхнула на нее невестка.

— Бери немножко левее, — сказала Тата и добавила, показывая, что деликатность в своем роде тоже необъятна, — можно и правее взять. А в глаза мужчине полыхать — некрасиво.

— Тебя бы, мама, обидели так, — сказала невестка, разливая вино из кувшина в стаканы, — ты бы еще и не так располыхалась.

— Хватит, невестушка, — важно промолвил Раиф, подымая стакан как бразды правления, — не все так просто, как ты думаешь. Везде своя политика...

Раиф сейчас, конечно, пенсионер, но он много лет был членом правления колхоза. После первых стаканов он стал мне рассказывать длинную сагу о том, как он боролся с жителями одного выселка Анхары, которые хотели отделиться, чтобы жить своим колхозом, а он, поддерживаемый односельчанами, их всячески не отпускал.

Жители этого выселка выходцы из Эндурского района. В основном живут там, но, размножаясь со скоростью, несколько опережающей наше терпение, расселились и по остальным районам Абхазии. Их смешной выговор с точки зрения общеабхазского языка (наши видят в этом смехотворную, но упорную попытку порчи его) и их действительная жизненная напористость, доходящая до неприличия (с точки зрения нашей склонности к раздумчивости в тени деревьев) — предмет бесконечных шуток, пересудов, анекдотов.

Я никак не мог понять, почему он, собственно, должен держаться за них. Кстати, у меня было смутное чувство, что я эту историю когда-то слышал или даже она приснилась мне, и тогда же во сне было непонятно, почему их не отпускают жить отдельным колхозом.

Но не спросил у него с самого начала об этом, а теперь, когда он описал столько подводных рифов, которые ему удалось мягко обогнуть, я боялся, что мой вопрос прозвучит как сомнение в разумности его грандиозного предприятия.

Уточняя те или иные этапы своей борьбы, он кивал быстроногой невестке и говорил:

— Вынь у меня там из сундучка бумажку... Ту, что розовенькая...

Невестка бежала, мелькая стройными ногами по зеленой траве, вбегала в дом и приносила розоватенькую справку.

— Ага, — говорил Раиф и, слегка погладив справку, как гладят щенка, передавая его в чужие руки, добавлял: — Почитай, что там написано.

Я читал, и справка подтверждала именно то, что он говорил. Рассказ, подтвержденный розовенькой справкой, двигался дальше, пока не упирался в необходимость нотариального подтверждения голубоватенькой справкой или той, что вроде рецепта, или той, на которой в середине печать, как пупок.

— Что ты задергал мою невесточку! — наконец не выдержала Тата. И обратилась к ней: — Да вывали ты их разом!

— Нет, нет, — с комической важностью возразил Раиф, — пусть приносит те, что мне нужны.

При этом он с любовной снисходительностью посматривал на жену, давая знать: не всякую справку можно вываливать как бабское лоскутье, иная справка лишнего глаза не терпит, простушка ты моя.

Взгляд его бесшумно токовал, и она, мгновенно улавливая это токование, выпрямляла свой стройный стан и, опуская глаза в позе сдержанного индианского кокетства, говорила:

— Если бы я хоть знала, чего ты убивался с этим выселком.

Он опять со снисходительной улыбкой направлял на нее токующий взгляд, под которым она еще больше выпрямлялась, после чего он, не удостоив ее ответом, продолжал рассказ.

И теперь, когда его собственная жена несколько раз выразила недоумение по поводу его многолетней борьбы, спросить его об этом было особенно неудобно. Я боялся, что он тут же намекнет на генетическую родственность нашей сообразительности. Но при этом я, в отличие от его жены, не мог рассчитывать на любовную снисходительность и тем более токующий взгляд.

Забавно было слышать, как жена его каждый раз, когда он пытался пригубить стакан, ворчливо замечала:

— Твое вино теперь компот. А ты что пьешь?

Он снисходительно выслушивал ее, переводил задумчивый взгляд на кастрюлю, как бы из любви к жене почти готовый приняться за компот, однако не принимался и выпивал свой стакан.

Каждый раз, когда Тата напоминала про компот, все начинали смеяться. Дело в том, что компот вообще не принадлежность абхазской кухни. Абхазцы переняли его у русских. Ее слова как бы означали, что она теперь переводит своего мужа

в разряд русских мужчин, которые, по ее разумению, только и делают, что пьют компот. А так как все остальные застольцы прекрасно знали, что русские мужчины далеко не всегда ограничиваются компотом и даже никогда не ограничиваются компотом, они начинали веселиться. Превосходство знания — теплый источник юмора.

Раиф в свое время был неплохим тамадой, то есть человеком, весьма стойким к питью. Стойким не в смысле устоять перед выпивкой, а в смысле устоять на ногах после хорошей выпивки. Но здоровье в последние годы слегка пошатнулось, и жена, жалая его, говорит перед каждым стаканом:

— Твое вино теперь компот. А ты что пьешь?

Возможно, он ей иногда уступал, но я этого не видел. Кстати, после того как он выпивал вино, она иногда говорила с запоздалой надеждой:

— Пусти хотя бы вслед...

Раиф бросал задумчивый взгляд на кастрюлю и, словно решив: нет, и там не стоит портить вино! — отворачивался.

Заур, по-видимому, решив уравновесить компотные намеки на одряхление отца, наклонился ко мне и шепнул с библейской простотой:

— А мой отец еще иногда восходит к маме.

В это время его все еще восходящий отец поднял стакан за всех наших мальчиков, которые служат в армии, поднес его ко рту и вдруг с дурашливым удивлением отвел его от губ, как бы пораженный, что нравоучения не воспоследовало. Все рассмеялись.

— Оставь, ради Бога, — досадливо махнула рукой Тата.

Раиф опять дурашливо посмотрел на жену, потом удивленно на остальных застольцев, словно спрашивая: «О чем она? Я же ничего не говорил».

Насладившись слабым ходом жены, он опять направил на нее свой токующий взгляд. Тата опустила глаза и снова замерла в позе статичного индианского кокетства.

— Когда она мне приглянулась, — кивнул он головой на жену, как бы торопя обратить наше внимание на четкость форм ее индианского кокетства, пока они не размякли, — и я стал бывать в Большом Доме, вот что случилось. Однажды я уезжал... Молодой был, влюбленный... Не то, что сейчас, правда?

Он многозначительно замолк и взглянул на жену.

— Не в наши годы об этом говорить, — тихо вымолвила Тата и, замирая, опустила глаза.

Раиф кивнул в сторону жены, на этот раз обращая внимание на мгновенную силу своего гипноза. Потом продолжил:

— Да, молодой был, горячий. Я сел на свою лошадь и уже отъехал в сторону ворот, и тут на меня нашло. Я огрел лошадь камчой и перескочил через изгородь. Изгородь была изрядная, но я перемахнул. Да и лошадь была с перцем... Так вот... Оказывается, Сандро в это время сказал: «Я поцелую задницу его лошади, если этому длинноносому достанется наша красавица».

Мне это потом передали. Кязым, царство ему небесное, был за меня, но Сандро был против. Ладно, думаю, а сам затаился. Я выждал время, пока у нас не родился первый ребенок.

Сразу вскидываться некрасиво. Все же молодой зять. И вот однажды Сандро приезжает к нам домой. Чем могли встретили. Хлеб-соль, туда-сюда. Я и за столом выждал время, пока все в настроение не вошли. Значит, выждал время и говорю:

— Слушай, Сандро, ты сказал, что поцелуешь задницу моей лошади, если я возьму твою сестренку?

Он смеется:

— Да, сказал!

— Ну тогда, — говорю, — пошли в конюшню, выполняй свое слово!

Но разве этого шайтана поймаешь!

— Я бы, — говорит, — поцеловал, да ведь у тебя теперь другая лошадь, а я имел в виду ту!

В самом деле, я сменил к этому времени лошадь... Да, Сандро! Во время войны приезжает к нам и говорит:

— Помоги мне участочек земли получить. Время трудное, хлеба не хватает.

Я уже был членом правления. Мы тогда городским помогали. Поговорил с председателем, выделили ему землицы. Я говорю ему:

— Я тебе вспашу и засею участок. А ты приезжай мотыжить кукурузу.

— Спасибо, — говорит, — конечно, приеду.

С тем и уехал. Пришло время мотыжить, а его все нет и нет. Уже сорняк выше кукурузы. Встречаю его на одной свадьбе:

— Ты чего не едешь мотыжить свою кукурузу?

А он мне:

— Сейчас у меня со временем плохо. Никак не могу. Ты промотыжь мою кукурузу, чтоб твои труды не пропадали, а я приеду на вторую прополку.

И на вторую прополку не приехал, только приехал собирать урожай.

Тут Заур захохотал и сквозь хохот выкрикнул:

— Папа сам всю жизнь искал, кто бы на него поработал, а тут сам попался на Сандро!

— Как ты, сынок, можешь такое говорить об отце, — покачала головой Тата, — твой отец всю жизнь член правления колхоза... Он, конечно, больше головой работал, чем руками...

— Головой своих лошадей! — со смехом перебил ее Заур.

Отец с добродушным превосходством оглядел своего сына и сказал:

— Голова худшей из моих лошадей уж на директора школы потянет.

И он снова приступил к рассказу о борьбе с жителями выселка, которые хотели выделиться в отдельный колхоз. И тут вдруг обнажилась удивительная деталь. Оказывается, эта его многолетняя борьба была глубоко законспирирована от жителей самого выселка.

Оказывается, в один прекрасный день Раиф пришел в обком партии с заявлением, написанным хорошим городским адвокатом. Он положил его на стол и еще устно рассказал работнику обкома о неимоверном вреде отделения небольшого выселка от богатого, сильного хозяйства.

И так случилось, что на обратном пути у автобусной станции он встретил нескольких жителей выселка, делегированных в обком партии с совершенно противоположной целью.

Раиф им, конечно, ничего не рассказал о своем посещении обкома, и они вместе пошли в ресторан, чтобы перекусить и обсудить проект жалобы. Выслушав их, Раиф предложил им включить в жалобу просьбу о необходимости в новом колхозе новой школы, потому что детям выселка далекоовато идти в школу на центральную усадьбу.

— Зачем? — насторожились делегаты.

— Я слышал, что секретарь обкома очень любит детей, — сказал им Раиф.

Бедняги включили в свою жалобу и просьбу о новой школе, которая, как последняя соломинка, надломила спину верблюду.

Оказывается, эта многолетняя тяжба надоела секретарю обкома, и он решил сам на месте во всем разобраться. Раиф сказал, что секретарь обкома, приехав в деревню, не председателя посадил в свою машину, а его. Председатель склонялся отпустить жителей выселка на все четыре стороны, и это, видно, не понравилось секретарю обкома. Объехав вместе с Раифом все бригады, он убедился, что выселок находится от центральной усадьбы не намного дальше, чем другие края деревни, и что у колхоза достаточно машин, чтобы в случае необходимости возить людей на любые места работы.

В тот же день было устроено общее собрание колхозников, где секретарь обкома выступил со своими соображениями.

ями о нецелесообразности распыления большого хозяйства. В конце он сказал:

— Если мы будем строить школы для каждой бригады, мы разоримся и нас прогонят.

Речь секретаря обкома, в особенности ее концовка, вызвала бурные аплодисменты, и подавляющее большинство крестьян проголосовало за братство и дружбу с эндурцами в рамках одного колхоза.

— Но почему же все-таки ты не дал им выделиться? — вырвалось у меня.

— Они и так богаче нас, — просто сказал Раиф.

— Почему? — спросил я.

— Надо же правду говорить, — отвечал он, мирно сокрушаясь, — они лучше наших работают и больше получают.

— Какая тебе разница, где они больше зарабатывают, в своем колхозе или в общем? — спросил я.

— Есть разница, — сказал он, подумав, — надо же правду говорить. Они и лучше наших работают, но и шахер-махеры умеют делать лучше наших. Если они будут жить отдельным колхозом, у них от бригадира до учетчика, от учетчика до бухгалтера, от бухгалтера до председателя одна линия будет. Рука руку моет. Я им сломал эту линию.

Мы выпили за сломанную линию, и тут Заур, похохотывая, начал рассказывать давнюю историю о том, как мы с ним, тогда еще совсем мальчишки, жили с пастухами на альпийских лугах. Ночью разразилась страшная гроза с градом и сильным ветром. Наш балаган наполовину развалился, скот

от ударов градин стал разбегаться, и пастухи криками сгоняли его. А я, оказывается, все это время, стоя верхом на раскладушке, орал:

— Давай сильнее! Еще сильнее!

Вероятно, я тогда с мальчишеской прямолинейностью истолковывал знаменитые слова Горького: «Пусть сильнее грянет буря!»

Сам я эту ночную грозу хорошо помню, а то, что кричал, забыл. Но ему мои крики врезались в память. Конечно, на взгляд деревенского мальчика, это было то же самое, что говорил Иванушка-дурачок при виде похоронной процессии: «Таскать вам не перетаскать!»

Но с тех пор прошло столько времени! Можно было и позабыть об этом случае. Нет, он каждый раз вспоминает о нем и рассказывает со всевозрастающим энтузиазмом.

С годами, я думаю, каждый нормальный человек дозревает до здорового консерватизма, и напоминание о его юношеских призывах к буре, если таковые имели место, ему крайне неприятны. Возможно, именно по этой причине с годами Зауру мое поведение во время ночной грозы представляется все более и более смешным.

Тут во двор вошел младший сын Раифа, высокий стройный Валико. Он работает заведующим животноводческой фермой. Он такой же любитель лошадей, как и его отец в прошлом. Оказывается, сегодня колхоз приобрел несколько скаковых лошадей и по этому поводу было небольшое возлияние с черкесами, которые их привезли.

К немалому моему удовольствию, он бесцеремонно перебил брата и стал рассказывать о великолепных достоинствах этих лошадей, уже испробованных, надо полагать, до выпивки. Во время рассказа взгляд его случайно остановился на кастрюле с компотом, и он, пробормотав: «Эта проклятая чача!» — взял кастрюлю и осторожно всю ее выцедил, как-то мимоходом решив компотную проблему.

Нахмурившийся было старший брат, воспользовавшись паузой, пока младший пил из кастрюли, холодно отогнал его лошадей и продолжил рассказ о той далекой альпийской ночи, но уже с гораздо меньшим успехом.

Младший брат, поставив опустошенную кастрюлю на место, снова перебил его и припустил на своих скаковых. Теперь было видно, что он на очень хорошем взводе.

Старший брат нахмурился и сказал:

— Что ты меня перебиваешь? Я хотя бы на один день старше тебя?

Младший вдруг растерянно осекся, словно осознав, что он не только на один день, но на целых три года моложе своего брата, и, как бы прикинув длину предстоящего застолья и чувствуя, что он невольно снова может выскочить на своих скаковых или на чем-нибудь похлеще, вдруг встал и повинным голосом сказал:

— Я, пожалуй, пойду лягу.

— Иди, кто тебя держит, — заметил старший, и тот пошел в сторону дома.

Тата молча посмотрела вслед уходящему сыну, потом взглянула на его жену и сделала ей многозначительный кивок. Невестка немедленно ответила кивком: сигнал принят. Тогда Тата сделала еще один кивок, на который невесточка ответила радостным кивком, и, еле сдерживая смех, рысцой бросилась вслед за своим лошадиником. Мой прикидочный анализ кивков в их временной последовательности дал такую расшифровку: приготовь постель... поставь у изголовья тазик...

— Послушай, — вдруг обратилась Тата к мужу, — я тебя прошу, поговори со стариками. Я знаю, что бедный Нури извелся среди чужих. Пусть простят его. Слава Богу, уже пять лет прошло.

И тут лицо Раифа окаменело. Он посмотрел на жену со сдержанным гневом.

— Я, что ли, не впускаю его в наш род, — тихо проговорил он, — мы вместе со старейшинами решили это.

— Ты же сам знаешь, — примиряюще сказала Тата, уже опустив веки, — твое слово — золото.

— Вот сидит родной брат человека, которого он оскорбил, — кивнул Раиф на соседа, — если хотят, пусть впускают в свой дом. Но я с этим хулиганом за один стол не сяду. Вам же будет стыдно, если я не приду на фамильные сборища.

— Как можно! — воскликнул сосед и мягко добавил: — Но и времени, Раиф, извини, что режу твое слово, много прошло.

— Как хотите, — сказал Раиф, и лицо его продолжало оставаться непроницаемым как скала, — можете его впустить. Но я с ним за один стол не сяду.

— Что ты, что ты, Раиф, — поспешил сосед, — без тебя мы и шагу не ступим!

Дело было вот в чем. У этого Нури отец умер шесть лет назад. Когда справляли годовщину его смерти, оказывается, Нури подошел к старику-односельчанину и спросил его, почему он семье не возвращает деньги, взятые в долг у покойного отца.

— Я ему давно возвратил этот долг, — презрительно ответил старик, — и не тебе, мальчишке, со мной об этом говорить.

И Нури вспылil. Он решил, что этот старик, пользуясь смертью отца, пытается присвоить деньги. И он ударил старика. Конечно, его тут же схватили, скрутили и увели.

Ударить старика, да еще на поминках, было большим позором для всего рода. Старейшины рода в тот же день, собравшись, обсудили этот случай, попутно выяснили, что долг был возвращен, но отец Нури почему-то дома не сказал об этом, да и умер довольно внезапно. Старейшины решили, что Нури должен быть полностью исключен из жизни рода и не допускаться ни на какие траурные и праздничные сборища вплоть до самых далеких родственников.

В тот же год Нури вынужден был вместе с семьей покинуть деревню. Он поселился в Нижних Эшерах. Пока обсуждали подробности этого дела, я вспомнил, что два года тому назад видел его. Дело было так.

Я уезжал из Верхних Эшер, где был на могиле брата. Семейное кладбище наших эшерских родственников расположено прямо на усадьбе одного из них, у крутого откоса. Мы с зятем, он привез меня сюда на своей машине, постояли возле могилы брата, выпили на помин его души по стаканчику, грустно вспомнили, как он при жизни любил это дело, слишком любил, повздыхали, постояли, озираясь.

Отсюда далеко смотрится. И близкая стена моря, как уместная вечность перед глазами, и круглящиеся зеленые холмы с крестьянскими домиками, с табачными сараями, кукурузными полями и мандариновыми плантациями, с купами деревьев, чья округлость мягко повторяла округлость холмов, и белыми пятнами коз на склонах — вся эта чистая, опрятная застенчивость продолжающейся жизни тихо умиротворяла кладбищенский кругозор.

И вот, уже спускаясь на машине по очень крутой дороге, я увидел двух своих родственников, стоявших у обочины. Рядом был дом одного из них. Мы вышли из машины и обнялись. Родственники были несколько смущены тем, что мы, побывав на могиле брата, не зашли ни к одному из них.

Хозяина той усадьбы, где расположено кладбище, не было дома, а к остальным я не хотел заходить, потому что спешил в город. Теперь они стали уговаривать, и я уже склонялся зайти к ним на полчаса. Все-таки неудобно, давно у них не бывал.

И вдруг на дорогу выскочила машина, со скрежетом затормозила, подняв облако пыли, из нее вышел водитель. Это был человек среднего роста, широкоплечий и очень небритый. Одет он был в ковбойку с закатанными рукавами и черные брюки. Он двигался в нашу сторону, обнажив в улыбке зубастый рот и заранее распахнув объятия, которые, как мне подумалось с облегчением, были предназначены зятю. Облегчение оказалось ошибочным.

Такие вот заранее расставленные для объятий руки почему-то всегда раздражают. Ты чувствуешь, что тебя принуждают к лицедейству. Чтобы соответствовать миру, танцующему в глазах пьяного человека, ты как бы в самом деле должен пу-скаться в пляс. И потом эти широкие объятия, идущие на тебя, одновременно означают: обниму и не пу-щу.

Мне показалось странноватым, что наши родственники при виде этого человека как-то ступали. Я думал, что они просто отошли, а они, оказывается, совсем ушли, забыв о приглашении. Не успел я осмыслить причину исчезновения своих родственников, может, даже на мгновение оглянулся, как вдруг оказался в мощных объятиях этого человека.

Обжигая меня наждачными щеками, он несколько раз яростно поцеловал меня, при этом я пытался увернуться, с оппортунистической уклончивостью делая вид, что страшно озабочен исчезновением родственников, которые прямо-таки сквозь землю провалились.

Человек был очень небрит и очень пьян. Можно было подумать, что одна и та же причина заставила его перестать

бриться и начать пить. Однако, как и многие люди, физически очень крепкие, внешне он держался.

— Что, — гаркнул он, взяв меня за плечи и отодвигая для лучшего обзора и в то же время продолжая меня крепко держать, чтобы немедленно привлечь, если возникнет необходимость в новых поцелуях, — забыл, как мы с тобой в детстве буйволов пасли в нашем любимом селе Анхара?

Это был Нури, и я его вспомнил. В детстве я одно лето проводил у Таты, и тогда встречал его среди деревенских мальчиков. Он был на несколько лет старше меня.

Однажды мы с ним пришли на мельницу в соседнее село, и он там задрался с одним мальчиком. Они довольно долго дрались, иногда бодаясь как бычки и упираясь друг в друга головами. А рядом стояли враждебные, незнакомые мальчики. Тогда мне эта драка показалась потрясающим героизмом. Кругом чужие, а он дерется. Конечно, я несколько преувеличивал героизм его драки, потому что это для меня мальчики из соседнего села были совсем незнакомы, а он с ними встречался не раз.

И вдруг вспыхнула другая картина. Розовеющая предзакатным солнцем запруда и голый мальчик Геркулес, стоя в воде, моет коня. И тихая рябь проходит по воде, и тихая рябь проходит по рыжему крупу замершего коня, когда мальчик ленивыми пригоршнями шлепает ему воду на спину, и мускулы играют под кожей его юного тела, хотя мальчик совсем не напрягается...

— Когда ты из ФРГ выступал по телевидению, — крикнул он, гася далекую картину, — я поцеловал телевизор!

— Я по телевидению из ФРГ никогда не выступал, — возразил я твердо, чувствуя, что нечто слишком далеко заходит, хотя и не совсем понимая, что именно.

— Как не выступал? — опешил он.

— Не выступал, — повторил я несколько мягче, чтобы успокоить его.

— Может, ты еще скажешь, что не был там? — спросил он с тихим бешенством.

— Был, но не выступал по телевизору, — сказал я, стараясь быть внятным.

Бешенство в глазах его сменилось смутным озарением.

— Ха! — хмыкнул он понимающе. — Ты уже забыл, где выступал, а народ помнит. Для тебя это семечки. После твоего выступления наши играли в футбол с ФРГ и выиграли. И я второй раз поцеловал телевизор! Едем ко мне домой, и ты посмотришь, как я живу.

Я попытался возразить, но он был непреклонен.

— За поворотом обрыв знаешь? — кивнул он на дорогу.

— Да, — сказал я.

— Клянусь матерью, я туда выброшусь вместе с машиной, если вы сейчас же не поедете ко мне, — сказал он.

— Хорошо, поехали, — согласился мой зять, и мы сели по машинам.

Он ехал впереди нас, высунув из окна руку и время от времени помахивая ею с ленивой властью, напоминал, что

следовать надо именно за ним, а не сворачивать в сторону, хотя свернуть было некуда.

Надвигалось предчувствие кошмара. Дело в том, что в этот вечер мне надо было прийти на банкет одного моего хорошего друга. Я любил его и обещал прийти. Но, с другой стороны, я знал, что там будет один человек, видеть которого было непереносимой мукой.

Когда-то у нас с ним были самые дружеские отношения, хотя он намного старше меня. Он пошаливал писательским пером, и я считал, что для любителя у него даже неплохо получается. Распивая бутылку вина с дилетантом, мы, сами того не ведая, порожаем в нем самый страшный комплекс, комплекс сообщающихся сосудов. Но тогда я этого не знал, а потом вот что случилось.

В одном моем рассказе затрагивался сложный вопрос, связанный с нашей историей, и редакция предложила отправить его на рецензию какому-нибудь специалисту.

— Есть у тебя в Абхазии знакомый специалист по этому периоду? — спросили у меня.

— Да, — бодро сказал я, — как раз мой друг такой специалист.

Это был он. Редакция отослала рассказ, и я спокойно дожидался рецензии. Наконец мне позвонили из редакции и сказали, что отзыв прибыл. Когда я пришел ознакомиться с ним, работники редакции встретили меня гомерическим хохотом.

— Хорошие у тебя друзья, — сказали мне, — читай.

По существу вопроса рецензия не содержала никаких возражений, хотя была весьма кислой. Но не в этом дело. Возмутило меня то, что автор весьма недвусмысленно намекал, что в республике есть люди, которые об этом могли бы написать гораздо лучше. А так как эти люди не были названы, по замыслу рецензента, мучительное любопытство редакции неминуемо должно было привести к нему, стоящему вдалеке со скромно опущенными глазами.

Второе место в рецензии, которое меня оглушило своей глупостью, — это пышное перечисление успехов республики в области сельского хозяйства и промышленности. Что это должно было означать? Что республика этими успехами обязана ему? Или что я углубился в далекую историю, когда вот здесь, под ногами, организованное им Эльдорадо? Этот оттенок тоже улавливался, учитывая, что историк был человеком в немалых чинах, разумеется, в масштабах нашего края.

Надо отдать редакции справедливость, она рассказ напечатала, не дожидаясь тех, которые об этом могут написать лучше. Однако мой кавказский патриотизм был посрамлен.

Я давно заметил, что в гуманитарной области чаще всего встречается такой тип подлеца с неожиданностью. Вот что я думаю по этому поводу. В самой природе искусства заложена естественная необходимость пребывания на определенной этической высоте. Но если душа данного гуманитария не имеет внутренней склонности пребывать на этой высоте, то она, отбывая ее как повинность, накапливает злобную эмо-

цию и в конце концов низостью, внезапным змеиным укусом уравнивает ненавистную высоту. Катарсис зла.

С тех пор я его издали встречал, но подойти и сказать человеку, который намного старше меня, что он поступил как подлец и дурак к тому же, я не мог. Трудно преодолеть всосанное с молоком матери.

А вот написать могу. Из этого я делаю заключение, что творчество — это возмездие и в более широком смысле. Мы забрасываем в прошлое крепкую леску с крючком, чтобы вытащить врага, но, увы, наживкой служит наше собственное сердце. На другую он не клюет.

И вот сейчас я боялся, что, если мне придется выпить в доме этого Нури, там, на банкете, нервы у меня не выдержат и произойдет какая-нибудь нелепость. Мы продолжали ехать по очень крутой, извилистой дороге, а Нури впереди все помахивал рукой, высунутой из машины, хотя на такой дороге лучше обеими руками держаться за руль.

— А ты догадался, почему исчезли твои родственники? — спросил у меня зять.

— Понятия не имею, — сказал я.

И тут я впервые от него услышал обо всей этой истории.

— Откуда он взял, что я выступал по телевидению ФРГ? — спросил я, все еще неприятно озабоченный этой странной фразой.

— Спутал, — ответил зять, — ты выступал по нашему телевидению, и, может быть, в тот же день наши играли с командой ФРГ. В голове у него все смешалось.

Наконец Нури свернул с дороги, машина боднула ворота, они распахнулись, и мы вслед за ним въехали во двор. Мы вышли из машины, и хозяин ввел нас в свой еще не совсем достроенный дом.

— Хозяйка! — гаркнул он. — Гости! Гости!

Из кухни вышла миловидная полная женщина и, не обращая внимания на мужа, ласково с нами поздоровалась.

— А ну, скажи — крикнул он, — когда вот он, мой братик, выступал по телевидению ФРГ, что я сделал?

— Поцеловал телевизор, — сказала она и добавила: — Не стыдно, пьяный пришел с людьми, которые первый раз в нашем доме?

— Это мой брат, — крикнул Нури, — он пришел в свой дом! Сейчас же приведи из школы детей! Я хочу, чтобы мой брат увидел моих детей!

— Может, тебе кости моего деда Хасана принести из могилы? — спокойно спросила жена.

— При чем твой дед, — бормотнул Нури и, видимо, поняв несокрушимость метафоры сопротивления, раздраженно добавил: — Ладно, чтобы курица через полчаса была готова!

Мы попытались его остановить, но он был неумолим. Хозяйка вышла во двор и стала сзывать кур. Я обреченно стал бродить по комнатам нового дома, и это ему понравилось.

— Все сам построил, вот этими руками! — сказал он, выворачивая вперед мощные и прекрасные рабочие руки. — Наверху немного осталось. В этом году закончу.

Мы снова вошли в залу. Он посадил нас за стол. На столе стоял графин с чачей, ваза с яблоками и рюмки. Он разлил чачу. Пить ужасно не хотелось.

— Ты слышал о моем горе? — вдруг спросил он. Я взглянул ему в глаза и увидел две раны.

— Да, — кивнул я.

— О смерти твоего брата мне не сообщили, — проговорил он, и в горле у него клокотнуло, — ни одного человека я так не любил, как его. Ты что по сравнению с ним? Тень! Много лет назад я бросил пить. Месяц не пью, два не пью, три не пью. И все время болею. Зашел к нему в магазин. Он тогда возле Красного моста работал. Так и так, говорю, бросил пить и все время болею: то грипп, то прострел. Он молча берет поллитровку, открывает, разливает по стаканам и говорит: «Самое главное в нашем деле — никогда не выходить из системы!» Какие слова!.. Все же он слишком увлекался... Так тоже нельзя... Выпьем за помин его души. Если там что-то есть, пусть будет ему хорошо! За товарищество, за дружбу погиб!

Он отплеснул из рюмки в знак памяти об умершем и выпил.

— Ты о моем горе слышал, — сказал он, взглянув мне в глаза, — и ты как брат пришел в мой дом. А там, в деревне, мои не хотят встречаться со мной! Если вы такие честняги, чего в милицию не сообщили, а? По советским законам от силы дали бы год! Я бы уже давно забыл об этом деле. Да, да, я виноват, но так получилось. Я решил, что отец умер, и он теперь издевается над нами. Меня родных лишили. Мою кровь от меня оторвали, мою кровь!!!

Последние слова он произнес с такой силой, что жена его появилась в дверях кухни с прирезанной курицей в руках. Полная, миловидная, она казалась совершенно спокойной, и только лицо ее выражало удивление как бы самой высоте ноты, которую он взял.

— Ты иди своим делом занимайся! — дернулся он в ее сторону, и она исчезла в дверях кухни.

— Я знаю, чьи это интриги, — продолжал он, наклонившись ко мне, — это все Раиф! Об его интригах книгу можно написать. Там у нас, в деревне, ты знаешь, есть выселок. Люди этого выселка живут спаянно, дружно, одной семьей. И вот они хотят свой колхоз иметь. Нет, не дает! Слушай, какое твое дело? Налоги будут платить? Будут! План будут выполнять? Будут! Чем они тебе мешают? Нет, не дает! Им не дает отойти от себя, а мне не дает войти к своим. Что он от меня хочет? Я что, не человек?!

Последние слова он выкрикнул с такой страстью, что жена его опять появилась в дверях кухни, и курица в ее руках уже была наполовину ощипана. Полная, миловидная, она казалась совершенно спокойной. И только слегка склоненная голова напоминала позу курицы, разумеется, не ощипанной, а живой. Лицо ее выражало чисто вокальное удивление: «Как? Еще выше?!»

— Ты иди своим делом занимайся, — кивнул он ей, и она исчезла в дверях.

— Ты не думай, — сказал он, — что я всегда такой. Это я тебя увидел и разволновался... Вот этот телевизор я поце-

ловал, когда ты там выступал. Я болею за наших... У меня все есть — дети, дом, друзья, товарищи. У себя в гараже, на работе, тоже ни от кого не отстаю. Мои соседи все армяне. Прекрасные люди! Да, послушай, что со мной сделали. У дочки моего двоюродного брата рак глаза определили. Десятилетняя девочка, и рак глаза. Ужас! Родители вывезли ее в Москву показать профессорам, положить в хорошую больницу. Ради этой девочки я узнал их адрес и послал от моего имени сто рублей. Что мог послал! Деньги вернулись! Они мне плюнули в глаза! За что? Почему меня сторонятся? Я человек или я бешеная собака?!

Он это выкрикнул рыдающим голосом, и глаза его были, как две раны. Жена его снова вышла из кухни. Теперь у нее в руке телепалась ошипанная курица. Полная, миловидная, она опять посмотрела на мужа с выражением терпеливого любопытства к его голосовым возможностям.

Нури внезапно отяжелел, взглянул на жену и сумрачно кивнул мне:

— Любого с ума сведет.

Жена исчезла в дверях кухни.

Тут зять мой встал и произнес энергичный тост за его прекрасный дом и прекрасную семью и выразил твердую надежду, что и этому печальному наказанию придет конец, только надо набраться мужества и терпения.

Нури совсем отяжелел и с сонным одобрением слушал тост. Он почти не отпил из рюмки. Зять попросил его не обижаться на нас, но больше времени нет, мы должны ехать в город.

Нури вяло попросил остаться. Он совсем отяжелел и, я думаю, был рад, что мы уходим. Правда, ему удалось настоять, чтобы мы взяли эту нелепую ошипанную курицу. Жена его завернула ее в газету, и мы, положив сверток в багажник, уехали.

На банкете я чувствовал себя неважно, хотя с этим человеком мы сидели в разных углах. Облик его тускло светился смущенным убожеством. Он как бы говорил: укусил-то я как-то непроизвольно, но, не скрою, укус был приятен. Сейчас об этом легко говорить, но тогда мне было очень нехорошо. Я почти ничего не пил, и мне становилось все хуже и хуже. Хотя предательство и мелкое, но находиться с предателем в одном помещении противостоит естеству. Высидев приличное время, я ушел. Некоторые мне потом говорили, что надо было выпить, и мне стало бы лучше. Но кто его знает. Надо было, чтобы этот человек не мог появиться на банкете. Вот что надо было.

* * *

— Мне его жалко, — сказала Тата, опустив веки, — он так тянется к нашим.

— Я же сказал, что можете посадить его себе на голову, — вразумительно ответил Раиф, — это я не сяду с ним за один стол... Вот брат оскорбленного, с ним и говори!

— Ты же знаешь, что они без тебя... — недоговорила Тата и погасла, не подымая глаз.

Раиф строго посмотрел на жену. За столом воцарилось молчание.

— Она всех жалеет, — кивнул Раиф на жену. Помедлил и, вдруг потеплев глазами, добавил: — Всех, кроме своего мужа.

— Как это я не жалею своего мужа, — тихо проговорила Тата, не подымая глаз, — кого же мне жалеть, как не своего мужа...

Она так и застыла с опущенными веками. Раиф уже спокойно взглянул на нее, потом на остальных застольцев и сказал:

— Я же не зверь... Подоспеет время, и об этом поговорим. Тебя послушать, так нас, стариков, палками начнут бить.

...День клонился к закату. Тата кормила кур и индюшек, разбрасывая из ведерка кукурузу. Индюшата все время пытались отогнать утенка, и Тата самых задиристых несколько раз огрела хворостинкой. Было странно видеть ее сердитые движения.

После вечерней кормежки куры стали лениво вспархивать в курятник, а индюшки, неуклюже вспрыгивая, по перекладинам лесенки забирались в индюшатник.

Петух похаживал возле курятника, нетерпеливо дожидаясь, когда наконец куры войдут в курятник и уgomонятся. В своем нервном нетерпении петух, должно быть забываясь, доходил и до индюшатника. При некотором пристрастии можно было подумать, что его раздражение относится и к индюшкам.

Именно это случилось с индюком, степенно дожидавшимся, когда его тяжеловатые на подъем соплеменницы заберутся в индюшатник. Раздувшись внутренним ветром ярости, он стал похож на пиратский фрегат при поднятых парусах. Он пошел на петуха. Однако, сильно уступая в скорости пиратскому фрегату, не сумел его догнать. Вернувшись на место, он еще некоторое время оставался при поднятых парусах, а потом ветер внутренней ярости угас, и паруса опустились. Заметив это, петух спокойно вернулся к своим.

Индюшата, вместе с утенком посаженные под большую плетеную корзину, подняли возню. Тата подошла к корзине и некоторое время сквозь щели плетенки наблюдала за происходящим. Пробормотав какие-то явно укоряющие слова и, видимо, решив, что мира не будет, она приподняла корзину, поймала утенка и, подойдя к индюшатнику, вбросила его туда. Потом закрыла дверцы индюшатника и курятника.

У колодца невестка, до этого обслуживавшая нас, помогала детям мыться. Вскрики, споры, звонкий смех и не менее звонкие затрешины. К воротам подошли коровы и время от времени сдержанным мычанием напоминали о себе. Пора было собираться в дорогу.

27. широколобый

В жаркий летний день буйвол по кличке Широколобый сидел в прохладной запруде вместе с несколькими буйволами

и буйволицами. Ворона, примостившись на его голове и время от времени озираясь, приятно подалбливала ему череп крепким, требовательным клювом.

Две черепахи, следуя одна за другой, осторожно выползли ему на спину, доползли до самой ее верхней части, торчавшей из воды, покопошились немного и замерли, греясь на солнце.

Широколобому нравилось, что ворона выклеывает у него из шкуры клещей. Ему также нравилось, что черепахи, почесывая ему спину, выползают на него и греются на солнце. Он понимал, почему черепахи предпочитают греться на солнце, лежа у него на спине, а не на берегу. На берегу всякое может случиться, а здесь, на могучей спине буйвола, их, конечно, никто не посмеет тронуть. И это было приятно Широколобому.

Но и ворона, выклеывающая клещей, и черепахи, лежащие на спине, были приятны главным образом тем, что они были признаками мира, спокойствия, отдыха. И он чувствовал всем своим мощным телом, погруженным в прохладную воду запруды, этот мир и спокойствие, это высокое голубое небо и это жаркое солнце, сама жаркость которого и дает почувствовать блаженство прохладной воды.

Широколобый пожевывал жвачку и, как всегда, когда он был благодушно настроен, насмешливо думал о тракторе. Два года тому назад в Чегеме появился трактор, и Широколобого, как и остальных буйволов, перестали использовать для пахотных работ, хотя бревна из лесу они все еще волочили и иногда ходили под арбой.

Широколобый уже много раз видел машину и знал, что это неживое существо. Но трактор, по его мнению, был хоть и уродливым, но живым существом, потому что на нем пахали. Он твердо знал, что пашут только на живых. Пашут на буйволах, на быках, на лошадях. Пашут и на этом странном существе, и потому оно живое. Пашут на живых. Он видел это всю свою жизнь, знал об этом от родителей и уверен был, что так было и будет от века.

Странность трактора заключалась главным образом в том, что сам он ничего не мог делать или не хотел. Сам он, если его не трогать, все время спал. Он просыпался только тогда, когда на него верхом садился человек. Если же человек не садился на него верхом, он спал. Однажды Широколобый видел, как трактор возле фермы проспал дней двадцать. Спит и спит.

Широколобый признавал за ним большую силу, потому что много раз видел, какие тот бревна волочил из лесу. Обычно про себя он его называл Сонливый Крепыш. А когда злился — Тупой Крепыш.

Сила-то она сила, да не всегда сила. Широколобый сам был тому свидетелем, как несколько раз Сонливый Крепыш опозорился. Первый раз он это увидел, когда Широколобого вместе с другим буйволом пригнали на склон, где Сонливый Крепыш во всю глотку стонал и кряхтел, но никак не мог сдвинуть огромное бревно, застрявшее на крутом подъеме. Сонливый Крепыш до того старался, что у него из задницы дым пошел, а все же сдвинуть бревно не смог.

Бригадир махнул рукой тому, что сидел верхом на Тупом Крепыше, и тот спрыгнул на землю, а Крепыш замолк, обес-силенный. Его отпрягли от бревна и припрягли к бревну буйволов.

И они постарались, ох, как постарались! Бревно было очень тяжелым, и, как всегда на крутых подъемах, напрягая могучие мышцы, Широколобый вместе с другим буйволом, становясь передними ногами на колени (укорачивание рычага), сдвинули его и на коленях, на коленях выволокли бревно на гребень холма. Потом туда приковылял Сонливый Крепыш и его снова впрягли. Тогда-то чегемцы и уразумели, что буйвол — это все-таки буйвол и без него не проживешь.

Потом был еще один совсем смешной случай. На этот раз Сонливый Крепыш уже без всякого бревна сам застрял в ручье, и его самого пришлось выволакивать оттуда. И смех и грех с этим Тупым Крепышом.

Несколько ворон, сидевших на головах буйволов, неохотно поднялись и, дряхло взмахивая крыльями, отлетели и усе-лись на полуголой ольхе, умудрившейся усохнуть над самым ручьем.

К запруде подошел пастух Бардуша и стал гнать буйволов из воды. Буйволы медленно подымались с насиженных мест, и черепахи соскальзывали с их спин и плюхались в воду. Буй-волы вышли на берег, пошлепывая себя хвостами и лоснясь мокрыми темными шкурами.

Пастух почему-то отделил от остальных Широколобого и погнал его в сторону правления колхоза. Там уже стоял гру-

зовик, а рядом с ним, покуривая, переминались чегемцы. Их было человек шесть, и Широколобый смутно припоминал, что они местные.

Только одного из них он знал хорошо. Это был заведующий скотофермой. Когда-то давно-давно Широколобый любил его буйволицу, и хозяин ее страшно его унизил, и Широколобый четыре года помнил об этом унижении, дождался своего часа, отомстил и, местью утолив душу, простил его подлость. Но все это было так давно, а хозяин его бывшей возлюбленной буйволицы только недавно стал хозяином колхозных животных.

К открытому заднему борту грузовика приладили мостки, и пастух Бардуш, подогнав Широколобого к ним, стал его понукать, чтобы он лез вверх. Широколобому это было неприятно, но он привык подчиняться людям как разумной силе, так был устроен мир, и он подчинился. Тем более этого пастуха он давно знал и любил.

И он осторожно, боясь, как бы доски под ним не проломилась, прошел мостки и взгромоздился на кузов. Он знал, что грузовик скоро куда-то побежит, и понял, что его собираются на нем увозить. Он подумал, что его увозят в такую деревню, где еще нет Сонливых Крепышей, и покорился судьбе. Почему его одного? Вероятно, потому, что он самый сильный.

Пастух, перебирая в руках веревки, взошел вслед за ним по мосткам и стал спутывать ему ноги. Сперва передние, потом задние.

— А чего Широколобого решили сдать? — спросил один из чегемцев.

— Одним буйволом отделаемся, — как-то слишком охотно пояснил завфермой, — тонну потянет... На этом мы закроем план мясopоставки на этот год...

— Вообще буйволиное время ушло, — заметил другой чегемец, — слишком много кушает и характер тоже имеет упрямый...

— С твоего стола, что ли, кушает, — ввязался в разговор еще один, — кушает — за то и сила такая. Буйволиное мацони ножом можно резать.

Постепенно развязывались языки, и посыпались разные соображения о буйволах.

— Что интересно — у буйвола самая толстая шкура, и он в то же время хуже всех переносит жару и холод.

— Зато в море плавает, как пароход. От Кенгурска до Батуми пройдет. Он в воде раздувается и от этого никогда не тонет.

— Все же слишком много кушает... Так тоже нельзя.

— Что ты заладил — кушает. Ты гостям тоже в рот смотришь, когда они у тебя кушают?

— При чем гость!

— Такого боевого буйвола, как Широколобый, больше нет. Вот Бардуша здесь не даст соврать. Лет пять тому назад весной, еще снег лежал, буйволы ночью паслись на верхней поляне. Стая голодных волков на них напала. Они загнали в середину буйволят и круговую оборону держали. Слышим,

буйволицы кричат, и мы с Бардушей схватили ружья и фонари и туда. Не меньше десяти волков было. Увидели нас и убежали. Широколобый сам троих убил...

— Откуда ты узнал, что он убил?

— Вот здесь Бардуша не даст соврать, кровь только у него на рогах была. Клянусь своими детьми, одного волка он на двадцать шагов отбросил. Я сам своими шагами измерил.

— Такую гордую животную в мире не найдешь! У меня была хорошая буйволица. Однажды я ее избил! Крепко избил! За дело избил! И она мне до конца своих дней этого не простила. Хозяйка моя доит — все спокойно. Я подсяду — прячет молоко. Мать моя доит — все хорошо. Я подсяду — прячет молоко. И так восемь лет, пока я ее не зарезал.

— Буйвол, как мулла, справедливость любит!

— Много ты справедливости видел от муллы?

— Я при чем! Народ так говорит...

Бардуша слез с грузовика и убрал мостки. Шофер приподнял и закрепил задний борт. Потом они оба влезли в кабину, и шофер включил зажигание. Грузовик сдвинулся с места.

Впервые в жизни не Широколобый ташил груз, а его, как груз, ташила чуждая сила. Ему вдруг стало ужасно неприятно. Он даже испугался. По закону жизни, который он усвоил с детства, то, на чем стоят ноги, должно быть неподвижным. И вдруг не ноги передвигаются, а передвигается то, на чем стоят ноги.

Грузовик еще не успел выехать со двора сельсовета, как Широколобый напряг мышцы, веревки полопались сперва на

передних, через миг на задних ногах, и Широколобый перемахнул через борт кузова. Он шмякнулся о землю всей своей огромной тушей, но боли не почувствовал и тут же вскочил.

Те, что стояли возле правления, закричали в один голос. Машина наконец остановилась. Шофер и пастух сами не заметили, что Широколобый спрыгнул. Бардуша вышел из машины и снова подогнал буйвола к правлению. Туда же задним ходом подъехал шофер.

— Чувствует, бедняга, куда едет, — сказал один из чегемцев. Но Широколобый ничего не чувствовал, он просто испугался от неожиданности, когда то, на чем он стоял, сдвинулось с места.

Опять открыли задний борт, приладили мостки, и пастух снова стал загонять его в кузов. Широколобому было неприятно входить на шаткие мостки, но делать было нечего, он привык подчиняться людям как разумной силе и снова взшел на грузовик.

Теперь решили для полной безопасности положить его и связать ему ноги, чтобы он не мог вскочить. Чегемцы влезли в кузов и, шумно споря, стали дергать его за ноги, и он долго не понимал, чего от него хотят, потом наконец понял и лег сам, а люди решили, что это они его опрокинули.

Пастух снова ему спутал ноги, но он уже не собирался выпрыгивать из машины. Он понял, что от него не отстанут, пока его не увезут туда, куда хотят люди. Он все еще был уверен, что его везут в другую деревню, где нет Сонливых Крепышей.

На этот раз шофер сдвинулся осторожней, но и Широколобый уже решил терпеть и покориться судьбе. Пока машина ехала по проселочной дороге, он старался привыкать к своему новому положению, когда не он тащит груз, а его тащат как груз. Он даже попробовал жевать жвачку, но тряска портила удовольствие. Приладить движение челюстей к неожиданностям вихляющегося кузова он не мог и, проглотив жвачку, погрузился в раздумья.

Когда машина выехала на шоссе, ему в ноздри ударил вонючий запах асфальта, и вместе с этим вонючим запахом к нему пришло нежное воспоминание о детстве.

Он был еще буйволенком, но уже достаточно большим, чтобы не сосать молоко, и его отпускали вместе с матерью и другими буйволами пастись в стаде. В тот удивительный день он вместе с матерью, отцом и другими буйволами ел траву в котловине Сабида.

И был жаркий-прежаркий день. И отец что-то вспомнил и повел куда-то всех буйволов. И они долго шли, шли, шли. Все время вниз, вниз. А потом была дорога вот с таким же вонючим запахом, черная и мягкая, как свежий помет, и они перешли ее и пошли дальше и вышли к огромной воде. И это было море, и море было свободой и счастьем свободы.

И отец вошел в воду, и вслед за ним вошли все буйволы, и они поплыли. И это было так прекрасно, в жаркий-прежаркий день огромная добрая вода, пахнущая свободой, и мама рядом, и отец рядом, и все остальные буйволы рядом, и они

плыли и плыли, а потом остановились в море и блаженствовали, раздуваясь и шумно вдыхая воздух.

Поближе к вечеру к ним приплыл пастух Бардуша со своим сыном. Широколобый был тогда еще такой глупышка! Он подумал, что пастух Бардуша привел сюда своего сына, точно так же как отец Широколобого стадо буйволов, они здесь случайно встретились в воде. Пастух взобрался на его отца, а сын его на Широколобого, и они, смеясь, погнали стадо к берегу. И Широколобый до сих пор помнит, как приятно мальчик сжимал в кулачках его уши, чтобы держаться на его спине и показывать, куда плыть.

На берегу они сошли на землю и пошли в сторону Чегема. И долго шли, и мальчик время от времени садился на спину отца Широколобого, потом, устав сидеть на спине отца Широколобого, пересел на плечи собственного отца и там заснул. Поздно ночью они вошли в Чегем.

С тех пор прошло столько лет, но он всегда с наслаждением вспоминал тот день, ту огромную добрую воду, пахнущую свободой, и мечтал снова испытать это наслаждение. Он хотел теперь сам повести стадо к большой воде, насладиться морем самому и насладиться наслаждением буйволов, еще не видавших моря. Но что-то ему мешало. Просто, наверное, больше не бывало такого жаркого летнего дня.

Сколько времени с тех пор прошло? Он точно не знал. Может, десять раз, может, чаще с тех пор снег падал на землю, и может, десять раз, может, больше он подымался на альпий-

ские луга, всегда свежие и вкусные. И мать с отцом куда-то исчезли. Сначала отец. Потом мать.

Широколобый всегда считал жизнь прекрасной. Но в этой прекрасной жизни было одно страшное и непонятное: все, все, кого он любил, рано или поздно куда-то исчезали. Куда? Он не знал. Сначала исчез отец. Потом через два года мать. Потом была в его жизни изумительная коричневая буйволица, его первая любовь. И она куда-то исчезла. И некоторые буйволы, которых он знал по стаду, куда-то исчезали. Он догадывался, что и коровы, и быки время от времени куда-то исчезают. Вероятно, и козы и овцы тоже куда-то исчезали, но они такие мелкие, что за ними не уследишь.

Вместо исчезнувших подрастали новые буйволы, коровы и быки, и все-таки Широколобый за всю свою жизнь не мог не заметить, что деревенское стадо все-таки медленно, но неуклонно уменьшалось. И это доставляло ему временами смутную, нехорошую боль. Своим инстинктом он чувствовал, что тут нарушается закон самой жизни, по которому стадо должно плодиться и множиться, но стадо медленно уменьшалось, и, пусть где-то впереди, где-то после жизни Широколобого, оно должно было кончиться, если так пойдет дальше, и этот далекий грядущий конец причинял ему близкую сегодняшнюю боль.

По преданию от матери-буйволицы он знал, что на земле есть страшное место, ад — там, Где Лошади Плачут. От матери он знал, что животные, попадая туда, погибают. Их убивают злые люди.

И только один раз один буйвол вернулся из этого места. Он жил раньше матери, и мать сама знала о нем по преданию. Тот буйвол не покорился злым людям и убежал оттуда, Где Лошади Плачут, и через многие горы и многие леса вернулся в Чегем.

И чегемцы дивились этому буйволу и уважали его за то, что он убежал оттуда, откуда никто не возвращался. Они его до того чтили, что не заставляли пахать, волочить бревна, тащить арбу. И от того, что чегемцы так любили этого буйвола за храбрость и непокорность, Широколобый твердо знал, что не они, а какие-то совсем другие люди вылавливают животных и отправляют их туда, Где Лошади Плачут.

Но если бы Широколобый был уверен, что все животные, которые исчезают, попадают туда, Где Лошади Плачут, было бы невозможно жить. Нет, он был умным, наблюдательным буйволом и много раз замечал, что в Чегеме время от времени появляются буйволы, коровы, быки, лошади, которые не выросли в Чегеме, а выросли где-то в другом месте. И он понял, что люди иногда меняются животными или просто дарят их друг другу. И если в Чегеме появляется лошадь, которая здесь никогда не была жеребенком, значит, точно так же и многие животные, исчезнувшие из Чегема, появились в других селах. Это было великим утешением. Но ведь никогда точно не знаешь, куда попал тот или иной буйвол, в другое село или туда, Где Лошади Плачут.

Однажды, когда чегемское стадо паслось на альпийских лугах, какой-то человек подошел к стаду и отогнал от него

Широколобого, Широколобый по привычке покоряться разумной воле человека пошел в ту сторону, куда его гнал этот человек. Он думал, что этот человек из смутно знакомых чегемцев. Кроме пастухов и тех людей, с которыми он общался в работе, Широколобый с трудом узнавал очертанья чегемцев. В отличие от животных, люди вообще очень похожи друг на друга. Их необычная двуногость делает их почти неразличимыми.

И вот Широколобый пошел туда, куда гнал его этот человек. И все-таки, еще сам не зная почему, он вдруг заподозрил в этом человеке злодея из тех, которые загоняют животных туда, Где Лошади Плачут. Широколобый остановился, оглянулся на него, взгляделся и, поняв, что он нечегемец, задышал с такой яростью, что человек, вскрикнув: «Ты что? Ты что!» — трусцой побежал от него. В тот раз Широколобый не погнался за ним, потому что у него не было еще решения убивать таких людей. Но потом, когда такое решение пришло, он жалел, что не погнался за ним.

На самом деле этот человек был скотокрадом. Широколобый многое знал о людях, но он не знал о них самого простого, что люди — племя вороватое. Сам того не осознав, он заподозрил в этом человеке неладное по той суетливой быстроте, с которой тот гнал его от стада. По опыту жизни Широколобый знал, что люди уводят его на работу более размеренной, солидной походкой. Правильно поняв, что его ведут не на работу, он неправильно понял, что его ведут туда, Где Лошади Плачут.

В другой раз Шиироклобый пасся в котловине Сабида вместе с другими буйволами. И тогда какой-то человек подошел к стаду и, отогнав его от остальных буйволов, повел его в глубь леса. Это был не случайный, а профессиональный скотокрад, и поэтому он уводил Широколобого спокойной деловитой походкой, чем и запутал его на некоторое время. Они уже шли около двух часов и прошли все места, где валили лес, и кругом все было незнакомо. И тут Широколобый что-то заподозрил, остановился, взгляделся в очертания человека и понял, что он нечегемец. Так вот он, убийца, ведущий его туда, Где Лошади Плачут! От нарастающей ярости у Широколобого воздух с шипеньем стал выходить из ноздрей.

Человек испугался и побежал от него. От разогнавшегося буйвола и лошадь не уйдет, и Широколобый, конечно, об этом знал. Теперь он отомстит за всех! Но тут случилось неожиданное. Человек на ходу подпрыгнул, ухватился за ветку молоденького бука и вскарабкался на него.

Шиироклобый в бешенстве стал бить рогами по дереву. Была осень, буковые орешки поспели, и они, как дождь, сыпались с веток. Но человек почему-то не стряхивался. Люди — цепкие существа! Широколобый пришел в неимоверную свирепость и сотрясал дерево ударами рогов. Орешки сыпались, а человек не падал. А дерево, хоть и было молодое, но все-таки достаточно крепкое, чтобы устоять под его рогами.

Шиироклобый злился и на самого себя. Опять он этого человека принял за чегемца! Но люди так похожи друг на дру-

га! Не говоря о буйволах, двух коров, даже если они одной масти, он всегда мог отличить. То же самое и лошади. Коз и овец, конечно, можно спутать — мелочь, мелочь!

О свиньях и говорить нечего. Чегемцы были настолько мусульманами, чтобы не есть свинину, но не настолько мусульманами, чтобы гнушаться разводить их на продажу. И Широколобый давно заметил, что чегемцы, подзывая свиней или загоняя их в свинарник, не могут скрыть в голосе брезгливого презрения. Разумеется, свинья лучшего обращения и не заслуживает.

Омерзительная подлость свиней заключалась в том, что они в летнюю жару находили себе какую-нибудь лужу и, думая, что они от этого делаются похожими на буйволов, лезли в нее.

Одно дело — могучий буйвол, пожевывая вкусную жвачку, спокойно лежит в запруде с вороной на голове и черепашками на спине. И совсем другое дело — хрюкающая свинья ерзает в грязной луже! Не для того ли Аллах создал свинью, чтобы все живое видело перед собой образ богомерзости?!

Широколобый от всей души презирал свиней и в этом, сам того не зная, был настоящим мусульманином.

Устав бить по дереву, Широколобый пошел на такую хитрость. Он сделал вид, что вернулся к стаду, а сам спрятался в кустах и следил за человеком. Широколобый долго ждал, но человек не слез с дерева. Широколобый не догадывался, что сверху с дерева хорошо видна его спина.

Тогда Широколобый решил зайти к нему сзади и неожиданно ударить по дереву. Может, человек от неожиданности рухнет. Но с какой стороны Широколобый ни заходил, человек оказывался лицом к нему. И тогда он понял, что человек все время следит за ним с дерева.

Широколобый решил никуда не уходить, пока человек не свалится. Человек не птица, он не может вечно жить на дереве. Придя к такому решению, он успокоился и подошел к буку. И тут только он увидел, что вокруг дерева лежит множество буковых орешков.

Широколобый любил буковые орешки и стал подбирать губами те из них, которые выпали из колючей кожуры. Он долго ел вкусные орешки, слушая проклятия, доносившиеся с дерева. Широколобый решил, что человек голоден и завидует ему. Он знал, что все живое должно есть, и человек, ослабнув от голода, в конце концов рухнет.

И тогда Широколобый решил не оставлять человеку на дереве буковых орешков, чтобы ему нечем было подкрепиться. Он снова стал бить по дереву рогами, но долго бить не пришлось, потому что он и так стряхнул с него почти все орешки. Широколобый съел все, что натряс, и улегся под деревом. Решение казнить убийцу было непреклонным. Сколько надо будет, столько он и проведет под деревом.

Сквозь чуткую дрему, ночью лежа под деревом, он снова несколько раз слышал проклятия человека. Широколобый спокойно дожидался своего часа. За ночь с дерева дважды что-то лилось, и Широколобый правильно догадался, что че-

ловец мочится. Ничего, думал Широколобый, с дерева мочиться легко, но гораздо трудней раздобыть там себе еду.

На следующее утро пастух Бардуша вышел на след Широколобого и вскоре появился под деревом, где тот лежал. За спиной у пастуха был легкий топорик.

Увидев пастуха с топориком, Широколобый обрадовался. Подобно многим современным людям, Широколобый преувеличивал возможности передачи мысли на расстоянии. Он решил, что его страстное желание достать убийцу передалось пастуху и потому тот пришел сюда с топориком, чтобы срубить этот молодой бук.

Увидев человека на дереве, а Широколобого под деревом, Бардуша заподозрил, что этот человек скотокрад. Он стал с ним ругаться. По жестам человека с дерева Широколобый понял, что тот пытается доказать свою невиновность, якобы буйвол сам за ним погнался и он вынужден был вскарабкаться на дерево. А по жестам пастуха, который все время показывал на котловину Сабида, было ясно, что он ему не верит. Не мог буйвол так далеко загнать человека, он бы его давно догнал.

Зачем так долго спорить, думал Широколобый, надо просто рубить дерево, и будет ясно, что делать с убийцей, который уводит животных туда, Где Лошади Плачут. Но пастух, увы, видно, ему поверил, дерева рубить не стал, но, продолжая ругаться, погнался Широколобого назад. Широколобому было ужасно обидно, но, привыкнув подчиняться разумной воле людей, он уныло поплелся в котловину Сабида.

...Шоссейная дорога, по которой катил грузовик, приближалась к морю. Широколобый почувствовал этот волнующий, солоноватый запах свободы, к сожалению, замутненный зловонными струями дорожного запаха. Приподняв голову, он глубоко дышал, стараясь выцеживать из воздуха запах моря и поменьше глотать запахи дороги. Забывшись, он снова взялся за жвачку, но трясущийся кузов и вонь асфальта портили удовольствие. Он проглотил жвачку и задумался о жизни.

Он вспомнил о своей первой любви. Широколобый за свою жизнь любил буйволиц три раза. Но сейчас он вспомнил о своей самой первой любви.

Это случилось как-то странно. Он даже не мог понять, как это случилось. Молодая буйволица обычно паслась вместе со всеми буйволами то в котловине Сабиды, то на других лугах и выгонах. Она почти ничем не отличалась от остальных буйволиц. Только остальные были потемней, а она была коричневатая. И бедра у нее были покруглей, и рога были похожи не столько на оружие, сколько на украшение.

Он сам сначала не понял, почему рядом с ней приятней пастись. Он решил, что у нее какое-то особое чутье к траве, и она находит самые вкусные уголки пастбища. С радостным удивлением он чувствовал каждый раз, когда подходил к ней, что трава возле нее гораздо вкусней обычной. Какая же она разумница, как она ее находит!

Потом он заметил, что, если хозяин немного запаздывает выпустить ее в стадо, трава делается совсем невкусной, и Ши-

роколобий, подняв голову, ждал ее, все еще думая, что она его избаловала умением находить самую вкусную траву. И только потом он понял, что это любовь делает траву вкусной.

По вечерам, когда она уходила к себе домой или ее отгонял хозяин, Широколобий скучал и думал о следующем утре, когда она появится. И каждое утро было праздником ее прихода в стадо.

Он открыл ей свою маленькую, но приятную тайну. Конечно, все буйволы и так знали, что чесать бока лучше всего о грецкий орех. У него самая шероховатая кора. Она хорошо прочесывает шкуру.

Но Молельный Орех выделялся среди других деревьев своими глубокими, мощными шероховатостями. От того, что он стоял на косогоре, остальные буйволы ошибочно думали, что к нему неудобно приладиться для почесывания. На самом деле приладиться было очень просто.

С первого же раза, почесавшись о Молельный Орех, она сразу же вошла во вкус, и, как бы далеко от него они ни паслись, когда ей хотелось почесаться, она, пропуская все остальные деревья, приходила вместе с ним к Молельному Ореху и почесывалась о него, благодарно поглядывая на Широколобого.

В запруде было одно место, где лежать было гораздо мягче, чем в других. Там почти не было камней. Она об этом не знала. И первый раз, когда они входили в запруду, ее, глупышку, пришлось слегка подтолкнуть к этому месту. Потом она уже сама укладывалась всегда в этом месте, а он устраи-

вался рядом. Случалось, они приходили к запруде, а ее место уже занято. И тогда — ничего не поделаешь! — приходилось сгонять буйвола, разлегшегося не там, где положено. Широколобий был еще молод, но уже все буйволы и многие люди знали о его силе.

Лето первой любви было самым прекрасным в его жизни, и он еще был так молод, еще не знал ничего о времени осеннего гона, еще думал, что вся полнота любви и есть: хрустеть вкуснеющей травой рядом с любимой буйволицей, ждть ее по утрам, скучать по ней вечерами, блаженствовать рядом с ней в запруде или одновременно с ней почесывать бока о священную кору Молельного Ореха.

И вдруг в один осенний день она исчезла. Утром не появилась в стаде. Широколобий ждал, ждал, а потом не выдержал и, стыдясь самого себя, подошел к ее дому и заглянул в загон. Но там было пусто, пусто. И великая печаль пронзила его. Он решил, что она исчезла, как в свое время исчез его отец, как исчезли многие буйволы и животные. Мысль, что его нежная коричневая буйволица могла попасть туда, Где Лошади Плачут, сводила его с ума.

Два дня он ничего не ел. То бродил как неприкаянный по котловине Сабида, то нарочно заходил в самые колючие дебри, чтобы колючки, болью оцарапывая шкуру, заглушали внутреннюю боль. Иногда он молча стоял в тени деревьев.

Время этой великой печали совпало с желанием гона, может быть, оно ускорило это желание. Он стоял под деревьями в тени и слушал, как сладко переливаются внутри него соки

любви, деревенеют ноги, кружится голова. И стоило чуть прикрыть глаза, как она появлялась перед ним, тихая, покорная, тяжелоглазая. Он ее видел перед собой — коричневую, крутобедрую, и, сходя с ума от любви, никак не мог понять одного — как это он мог спокойно пастись рядом с ней, как он мог спокойно лежать — рядом с ней! — в запруде, как он мог спокойно почесывать шкуру одновременно с ней под Молельным Орехом!

Да если бы он сейчас улегся рядом с ней в запруде, запруда закипела бы от его страсти! Да если бы он сейчас стал почесывать свою шкуру рядом с ней о Молельный Орех, дерево задымилось бы и запылало от его страсти, как пылало оно когда-то от небесного огня!

И вдруг на третий день, когда он так стоял под дождем у выхода из леса, он услышал запах своей буйволицы. И он с такой силой втянул в себя этот любимый запах, что шкура его чуть не лопнула под растяжкой ребер. И тут за деревьями показалась арба, в которую была впряжена его буйволица. Арба была наполнена дровами, а впереди с хворостиной в руке сидел хозяин. Так вот где она пропадала два дня!

Забыв все на свете от счастья, Широколобый ринулся к своей любимой! И грянул гром! И дождь превратился в ливень. Увидев бегущего на арбу буйвола, хозяин, уже пытаясь перекрычать ливень, грозил ему хворостиной, но Широколобый ничего не видел и не слышал, кроме своей буйволицы.

Он налетел — ураган обожания! Хозяин в одну сторону, арба кувыркком в другую, всякие там хитрые ремни, при помо-

щи которых буйволица была впряжена в арбу, полопались! Но каждый раз, когда он пытался овладеть своей буйволицей и она от застенчивости уходила, делала несколько шагов вперед, арба неизменно волочилась за ними. Оказывается, один какой-то ремень еще держался. А Широколобый был тогда еще так молод, так разгорячен близостью буйволицы, что вдруг решил — арба тоже вспылала незаконной страстью к его буйволице и хочет последовать его примеру. Он с такой яростью подцепил ее на рога и отбросил в сторону, что она, рухнув, распалась грудой деревяшек, а одно колесо покатилося в сторону хозяина.

И тогда под жалкое лopotание хозяина он овладел своей возлюбленной буйволицей. И был ливень неба, и был ливень любви, а потом могучая страсть улеглась, и они, омытые обоями ливнями, спокойно паслись рядом и рвали траву, омытую тем же ливнем.

А через три дня глупый хозяин, решив, что Широколобый будет именно так всегда овладевать его буйволицей и тем самым введет его в неисчислимые расходы, продал ее в соседнее село. И теперь она исчезла навсегда, и Широколобый не знал, куда она делась. Горе его было так велико, что была замечено Богом, и Бог, в знак сочувствия ему, целых полгода выпускал на небо тусклое, раненое солнце. И худшего времени Широколобый не знал.

...Грузовик мчался и мчался по шоссе в сторону Мухуса. Августовское солнце припекало все горячее. Дорога продолжала исправно вонять, и только спасительные струйки мор-

ского воздуха, время от времени влетающие в ноздри, успокаивали душу. Встречные машины проносили встречную вонь.

От жары Широколобый перестал думать о буйволицах и стал вспоминать о всех водах, которые ему удалось перепробовать в жизни, поблаженствовать в них. Конечно, лучшим воспоминанием было море, но и всякая другая вода в летний день хороша.

Чем хороши болотистые воды, расположенные пониже Чегема? Черепах вдосталь! Не успеешь разлечься, как дюжина черепах так и наползает на тебя, так и копошится на твоей шкуре, так и почесывает ее. И дно мягкое, мягкое. Ил толстой с буйволиную ногу. Но вода, пожалуй, слишком теплая, заласкивает. Приятно, но после нее чересчур расслабляешься, млеешь.

Теперь чегемская запруда. Хороша. Вода не слишком теплая и не слишком холодная. В самый раз. Черепах, конечно, гораздо меньше, но зато вороны, если поблизости нет человека, отковыряют своими точными клювами из твоей головы и спины много вредных клещей. Но что плохо? Надо честно сказать — всем хороша чегемская запруда — но дно слишком каменистое. Такого нежного ила, как внизу, нет. Чего нет, того нет. Нельзя же хвалить свое только потому, что оно свое.

Теперь альпийские озерца. На вид красивые — ничего не скажешь. Но вода слишком холодная. Эти озерца — самая удивительная загадка природы. Ведь альпийские луга гораздо ближе к солнцу, чем остальные места земли, а вода почему-

то не успевает прогреться. Так что слишком долго в ней не улежишь.

Но зато чем хороша эта бодрящая вода? Аппетит после нее невероятный! Вылезает из озерца на луг и начинаешь есть траву. Ешь и ешь! Ешь и ешь! И вкуснее травы в мире нет. Она до того вкусная, что даже потом, когда жуешь жвачку, по ее аромату понимаешь, что это жвачка из альпийской травы.

Иногда ночью, особенно в первые дни после перегона стада в горы, забываешься, думаешь, что ты еще в Чегеме, но вырыгнул в рот жвачку и сразу понимаешь, нет, ты на альпийских лугах.

Широколобый вместе с другими буйволами несколько раз спускался к быстрой, текучей воде Кодора и в ней прохлаждался. Это совсем особое дело! Эта сильная вода омывает тебя, тащит, но ты держишься на ногах, потому что ты буйвол и тебя никто не может тащить насильно. И что интересно на Кодоре — ни одна муха не подлетит, когда ты в реке! Трусливые твари!

А дети, дети! Они с кубышками особой пустотелой тыквы, подвязанными к поясам, чтобы не утонуть, подплывают к тебе, садятся на тебя верхом, галдят, брызгаются, смеются. Хорошо! С мухами не сравнишь. А вода мощная, хочет сбить тебя с ног и потащить, но ты держишься и сам чувствуешь свою мощь. Приятно перемогучить могучий поток.

Воспоминания о водах так взбудрили Широколобого, что он, несмотря на вонь дороги, снова перекинулся на любимых буйволиц.

Следующую буйволицу он любил около двух лет. И он думал, что это навсегда, на всю жизнь, но никто не знает, что ждет его впереди. От этой буйволицы у него был буйволенок, и они так любили друг друга, что чегемцы нередко посмеивались над этим. Почему люди, заметив, что животные любят друг друга, начинают подсмеиваться? Наверное, от зависти.

Широколобый всегда ел траву рядом с ней и рядом с ней лежал в запруде, конечно, приучив ее к самому мягкому ложу. Да если говорить правду, ее даже и приучать не пришлось. Она, зная, что находится под защитой Широколобого, сама плюхнулась туда. И если, когда она приходила с Широколобым, место было занято, она ждала некоторое время, а потом оглядывалась на Широколобого, чтобы он навел порядок.

Широколобому забавно было следить за каким-нибудь буйволом-ленивцем, занявшим ложе его возлюбленной и делающим вид, что ничего вокруг не замечает, а только лежит себе в полудреме и жует жвачку. Он спокойно ждал, зная, что у самого ленивого буйвола рано или поздно должна проснуться совесть. И конечно, в конце концов просыпалась. Ленивец вдруг оглядывал их, стоящих на берегу, делал вид, что удивлен тому, что они стоят над водой, а в воду не входят, а потом как бы догадавшись: «Ах, я по рассеянности занял место твоей царицы!» — медленно вставал, отходил на несколько шагов и устраивался на новом месте.

Хотя Широколобый любил эту новую буйволицу, а все-таки он ей не открыл, что вкуснее всего в Чегеме чесаться

о Молельный Орех. Пусть Молельный Орех останется чещальной первой любви. Теперь он иногда сам приходил сюда почесать свою шкуру, погружаясь в сладкие и грустные воспоминания.

Теперешнюю свою любимую буйволицу Широколобый всегда провожал до дому, стоял рядом с ней на скотном дворе, пока ее доили, а потом возвращался в колхозное стадо.

И чегемцы иногда приходили посмотреть по вечерам на Широколобого, забравшегося на скотный двор, где жила его любимая буйволица. Они объясняли чужакам, что это, мол, буйвол по кличке Широколобый, что он не принадлежит этому хозяину, а принадлежит колхозу, но исключительно ради буйволицы каждый вечер приходит сюда. И люди дивились такой привязанности буйвола к буйволице не только во время осеннего гона, а круглый год.

Но все это кончилось так нелепо, так нехорошо.

Однажды хозяин доил буйволицу, как обычно, отгоняя буйволенка хворостинкой. А буйволенок нетерпеливо ожидал, когда хозяин, кончив доить, даст ему дососать остатки молока.

Широколобый стоял возле буйволицы, и вдруг она потянулась к нему, чтобы положить свою голову ему на шею, да так неловко, что задней ногой опрокинула подойник, полный молока.

Широколобый никогда бы не подумал, что хозяин этой буйволицы такой жадный. Он схватил палку и стал изо всех сил бить его и гнать со скотного двора. И это было так обид-

но. Ему казалось, что его принимают на этом скотном дворе как члена семьи. Широколобый растерялся не от боли, а от этого позорища.

Широколобый уходил со скотного двора быстрыми шагами. А хозяин поспевал за ним и бил его палкой и кричал нехорошие слова. Конечно, Широколобый мог побежать, но бежать было стыдно, а от того, что он не бежал, само позорище длилось гораздо дольше.

Конечно, и его любимая буйволица все это видела, и его буйволенок, бедняга, притих и прижался к матери, и две коровы все это видели, и глупые козы удивленно смотрели, и даже две свиньи — смрад позорища, — которым хозяйка как раз налила пошла в корыто, не поленились задрать морды, но при этом не переставая чавкать, смотрели на него. И только лошадь, благородное существо, увидев такое, грустно отвернула свою длинную шею.

Никогда в жизни Широколобый не испытал такого унижения. Почему, почему он этого плюгавого мерзавца не поднял на рога и не перебрросил за спину?! Он как-то растерялся. Он в первое мгновение подумал, что буйволица, конечно, немного виновата. Он даже хотел, чтобы гнев хозяина пал на него, на Широколобого. Ну, стукнул бы его пару раз палкой, но нельзя же было так издеваться?!

Скотный двор был длиной шагов в сто, и, пока он переходил его, хозяин бил и бил и кричал какие-то злобные слова. Наконец даже палка, как показалось Широколобому, сломалась от стыда. Могла бы сломаться и пораньше.

Всю эту ночь Широколобый не спал. Ему было стыдно вспоминать, что он чувствовал себя на этом скотном дворе, как в родной семье. Мечь, мечь, мечь! Этот злобный дурак, так унизивший его из-за подойника молока, даже не мог сообразить, что, если бы его буйволица не забеременела от Широколобого, он вообще никакого молока не имел бы! Теперь Широколобый знал, что рано или поздно он подымет его на рога.

Он только не понимал, как теперь ему быть с любимой буйволицей. Конечно, провожать ее на скотный двор он уже никогда не будет. Но как теперь к ней подходить? Было неясно.

На следующий день они паслись в одном стаде, и он не подходил к ней, и она несколько раз, подымая голову, смотрела в его сторону, но он делал вид, что не замечает ее взгляда. Наконец, она оказалась поблизости и опять, подняв голову, посмотрела на него, и он ясно прочел в ее взгляде: неужели ты нас не простишь?

И он одеревенел от возмущения. Это подлое «нас» он ей никогда не мог простить. Значит, душой она с ним. Хорошо. Он придумал еще один способ возмездия.

Теперь он не только не подходил к ней, но и во время осеннего гона, когда один молодой буйвол, по глупости не понимавший что к чему, попытался ею овладеть, Широколобый отбросил его ударами рогов и погнался за ним. Он заставил его дважды обежать котловину Сабида, пока тот не перебежал ручей и не скрылся в лесу.

Два года буйволица оставалась яловой, и хозяин, не понимая в чем дело (дороговато ему обошелся тот подоюник молока), в конце концов продал буйволицу в соседнее село. Однако Широколобый никогда не забывал, что хозяина его бывшей буйволицы предстоит поднять на рога. Но тот, как назло, нигде ему не попадался.

И наконец еще через два года попался. В тот день Широколобый пасся возле верхнегемской дороги и увидел хозяина своей бывшей буйволицы, проезжавшего на лошади в сторону правления колхоза. Такой случай мог не повториться.

И он погнался за всадником. То ли лошадь услышала приближающийся топот, то ли, как думал Широколобый, его яростная мысль о возмездии передалась оскорбителю, лошадь понеслась галопом. Но Широколобый уже набрал свою предельную скорость и неотвратно догонял всадника. Всадник верещал и, то и дело оглядываясь, наяривал лошадь камчой. Но он уже был обречен. Широколобый догнал его возле усадьбы Большого Дома.

Он поддел рогами брюхо лошади и хотел зашвырнуть ее за спину вместе с всадником, но уже вздыбленный в воздухе всадник как-то соскользнул и, перелетев через плетень, шмякнулся в мягкую пахоту кукурузного поля. Человек вскочил и с криком, который хорошо слышали в Большом Доме: «Убивают! Убивают!» — скрылся в кукурузнике.

Лошадь некоторое время подрыгала ногами, а потом перевернулась на бок и притихла. Седло сползло, одна подпруга оборвалась, и вид у нее был жалкий.

Двойной трусливый побег хозяина, сначала по верхнечегемской дороге, а потом по кукурузнику, полностью утолил душу Широколобого. Хозяин буйволицы, конечно, был трус. Широколобый всегда подозревал, что жестокость — это храбрость трусов.

И теперь ему стало стыдно перед лошадью, беспомощно лежащей в кукурузнике. Он вспомнил, что из всех животных в тот проклятый вечер только одна лошадь не захотела видеть, как его оскорбляют.

И вдруг лошадь перевалилась на живот, встала на ноги и начала есть кукурузу, громко хрустя челюстями. Ешь, ешь вкусную кукурузу, думал Широколобый, ты заслужила ее. Однако лошадь недолго ела кукурузные стебли, вскоре раздался голос человека, идущего через поле, и Широколобый вернулся в стадо.

Оказывается, всадник при падении вывихнул руку. В тот же день он пожаловался председателю колхоза, что Широколобый взбесился и теперь опасен для жизни людей. Правление колхоза уже было решило сдать Широколобого на заготовку мяса, но тут к председателю в кабинет вошел бригадир Кязым.

— Тебя что, тоже забодал Широколобый? — удивился председатель появлению Кязыма. Он уже знал, что несчастный случай произошел возле его дома.

— Его лошадь привел, — кивнул Кязым, насмешливо улыбаясь, — бросил ее в моем кукурузнике, а сам прибежал сюда.

— Проклятый буйвол, — отвечал пострадавший, — я про нее забыл сгоряча.

Оказывается, Кязым пришел домой, как только его покинул враг Широколобого. Узнав от домашних о том, что здесь произошло, он привел лошадь к себе во двор, переседлал ее и приехал на ней в правление колхоза.

— Как это он взбесился, — спросил Кязым, узнав, куда клонит пострадавший, — ты же сам говорил, что сломал палку о его спину?

— Так это когда было! — отвечал тот. — Слава Богу, четыре года прошло!

— Буйвол обиду помнит всю жизнь, — сказал Кязым, — неужели ты этого не знал? Ты ведь сам держал буйволов?

— Так что же, мне теперь порушить хозяйство и покинуть Чегем? — спросил хозяин буйволицы, показывая на свою неподвижную руку.

— Нет, — сказал Кязым, — он помнит обиду, пока не отомстит. Считай, что ты легко отделался.

Было решено, что если Широколобый еще раз нападет на человека, сдать его на бойню в счет мясопоставок. Так в первый раз Кязым спас его от смерти, о чем Широколобый, конечно, не ведал.

...Время от времени удивляясь не столько вони шоссейной дороги, сколько длине этой вони, Широколобый лежал в кузове мчащейся машины. В Чегеме и во многих местах Широколобый не раз встречался с вонью. Но там вонь никогда не бывала такой длинной. Сонливый Крепыш, просы-

паясь и начиная двигаться, порядочно вонял. Но это была короткая вонь. Прошел и не слышно. Когда Сонливый Крепыш спал, он почти не издавал воню. Особенно после дождя. Воняла кузня, но это была короткая вонь. Вонял табачный сарай, когда сушили табак. Ну и свиньи, конечно, воняли. Свинья — это маленькая ходячая вонь. Но и она — прошла и не слышно.

Но чтобы в мире была такая длинная вонь, когда едешь, едешь по ней, а она не кончается, такого он не знал. А что, если он попал на такую землю, у которой вонять — такое же природное свойство, как у травы пахнуть травой? Нет, нет, подумал он, мы приедем в деревню, и там все будет, как раньше, земля будет пахнуть землей, а трава травой. Однако здорово расплодились Сонливые Крепыши, если его так долго везут в деревню, где их еще нет.

И вдруг Широколобый замер от предчувствия невозможного счастья. А что, если его первая любовь, его коричневая буйволица жива и обитает именно в этой деревне? Конечно, она уже не та двухлетняя буйволица, так ведь и он порядочно постарел. Но ведь он теперь столько знает о жизни, о людях, о буйволицах. Он будет так ею дорожить. Ведь он теперь знает, как никто, какая это редкость среди буйволиц — верная душа, настоящая подруга. И у них еще будет буйволенок, ведь они еще не очень старые буйволы. Ах, если б она оказалась там, но лучше не пытаться судьбу, не думать об этом.

Подумав о новой деревне, где ему придется пахать, Широколобый почувствовал, что он сильно соскучился по этому

занятию. Когда Сонливый Крепыш затарахтел по чегемским полям, он сказал себе: ладно, если вы думаете, что я от этого умру, вы ошибаетесь. И он, конечно, не умер. Но он любил пахать. Из трех дел, которые он делал для людей — пахать, волочить бревна, перевозить грузы на арбе, по-настоящему он любил только пахать.

Выволакивать бревна из лесу иногда любил, а иногда нет. И любил выволакивать именно тогда, когда бревна не поддавались от сопротивления рыхлой земли или от слишком крутого подъема, когда приходилось передними ногами становиться на колени и доволакивать бревна до плоского места. Он любил это дело, когда его подымал азарт, когда он сам удивлялся нешуточности своих сил и по возгласам людей чувствовал, что и они изумлены. А ходить под арбой он никогда не любил. Это была тупая, однообразная работа.

Но пахать! Это ровное и легкое выворачивание жирной земли, оно так сладило душу, потому что ему, буйволу, передавалось состояние пахаря. А человек, идущий за плугом, всегда чувствовал, что он делает правильное, главное дело жизни. Он отворачивал пласт земли, как отворачивают одеяло, чтобы положить под него малютку зерно.

Широколобий чувствовал, что пахарь, выворачивая землю пласт за пластом, ласкает и ласкает ее острием лемеха, готовит ее к приятию семени и сам причастен к великой тайне ее будущей беременности. И как бы он ни покрикивал на поворотах, как бы ни уставал после этой работы, он уносил с по-

ля эту великую тайну, когда он распахивал ее лоно и крепко вминался босыми ногами в ее сырое, плодоносное тело. И Широколобый чувствовал себя счастливым соучастником этой тайны.

С тех пор как начали пахать на Сонливом Тупице, с пашущим, как заметил Широколобый, ничего такого не происходит. Пашущий всегда соскакивает с трактора крикливым, бесплодно измотанным. И Широколобый знал, что по законам самой природы грешно и вредно оплодотворять землю, не притрагиваясь к ней. Земля должна чувствовать и помнить ноги того, от которого она забеременеет. И хороший чегемский крестьянин всегда пахал босым. Широколобый был уверен, что это искусственное осеменение земли, когда во время зачатия пахарь и земля не соприкасаются, не кончится добром. Земля-то молчала, но попусту взвинченный, воспаленный тракторист что-то чувствовал и, даже на взгляд Широколобого, слишком грубо обращался с Сонливым Крепышом, срывал на нем свою смутную злобу. Но ведь сам по себе Сонливый Крепыш ни в чем не виноват, он был ошибочно приручен какими-то заблуждающимися людьми. Так думал Широколобый.

Сейчас он вспомнил, как первый раз в жизни опахивал кукурузу. До этого чегемцы кукурузу мотыжили, как мотыжили табак и все, что растет на огородах.

Бригадир Кязым первым в Чегеме догадался, что кукурузу можно не мотыжить, а опахивать, только надо сеять ее рядами. Чегемцы не верили, они просто смеялись над тем, что

можно буйвола или быка заставить опахивать рослую кукурузу, а животные не будут ее трогать.

Когда Кязым впряг в плуг Широколобого и ввел его в поле, десяток чегемцев с шутками и прибаутками, примостившись у плетня, смотрели, что будет. Широколобому самому было смешно. Как это можно пройти мимо рослой, нежной, вкусной кукурузы и не откусить ее стебель? И что же? Кязым был прав.

Оказывается, как-то неловко опахивать кукурузу и одновременно объедать то, что опахиваешь. Вот и получается, что идешь между рядами зеленых стеблей и некоторые из них так соблазнительно мажутся о твое тело, а ты идешь себе и только опахиваешь их корни. Потому что неудобно. Чтобы схватить кукурузный стебель, хоть на мгновение надо остановиться, но останавливаться нельзя, потому что ты пашешь, да и человек рядом.

С тех пор, как заметил Широколобый, многие кукурузные поля Чегема перестали мотыжить и начали сеять кукурузу не вразброс, как раньше, а рядами и опахивали ее буйволами и быками. Правда, туповатые быки не всегда чувствовали всю сложность своего неудобного положения и порой на ходу хватали кукурузные стебли. За это им рты подвязывали веревками, что довольно позорно, если разобратся.

Смолоду Широколобый, что скрывать, любил поозорничать на кукурузных полях. При его силе, конечно, никакая ограда не могла его удержать. Но так вкусно бывало похрустеть

сахаристыми стеблями кукурузы, что как-то забывалась предстоящая палка. Плохо было то, что другие животные — ослы, коровы, козы — тоже устремлялись за ним в пролом и начинали есть кукурузу. Прогнать их бывало как-то неудобно, потому что и сам ведь незаконно вломился в поле.

В конце концов ему приделали к голове омерзительную деревяшку, чтобы он ничего не мог видеть, кроме травы под ногами. Мир померк. Теперь он не видел не только кукурузное поле, но и неба, и луга, и деревьев, и запруды. Дня три Широколобый терпел, а потом разъярился и стал биться головой о землю и бился до тех пор, пока не расколошматил деревяшку. И он снова увидел огромный, прекрасный, многоцветный мир. И больше он никогда не проламывал оград, и больше ему на лоб не нацепляли этой мерзкой деревяшки, этой тюрьмы для глаз.

...Машина остановилась перед закуской, и шофер с Бардушей зашли перекусить. Когда машина остановилась, вонь от неожиданности ушла вперед, но через мгновение вернулась и улеглась рядом с машиной, как верная свинья. Широколобый все так же старался выцеживать из воздуха запах моря. Оно было где-то недалеко и пробивалось сквозь вонь как надежда.

Сейчас Широколобый вспомнил историю своей третьей любви. Неожиданно в чегемском стаде появилась новая буйволица. И она сразу же понравилась Широколобому и еще одному буйволу. Широколобый уважал этого буйвола за силу и храбрость.

В ту весеннюю ночь, когда стая обнаглевших от голода волков пыталась зарезать буйволенка и все буйволы стали кругом, охраняя буйволят, этот буйвол сражался рядом с Широколобым. И он мужественно отражал нападения волков, хотя ему не удалось ни одного из них убить. Просто он не владел искусством подсечки. Он старался волка прямо проткнуть своими рогами, но тот всегда в таких случаях успевал отпрянуть. Другое дело — подсек и подбросил, на лету рвя ему внутренности!

Да, он уважал этого буйвола за силу и храбрость, и временами ему хотелось схватиться с ним просто так, чтобы узнать, кто сильнее. Но повода не было. И они, как самые сильные, уважали друг друга.

И тут появилась эта буйволица. Широколобый заметил, что она и ему понравилась. Но когда Широколобый подошел к ней и положил ей на шею голову, а потом стал пастись рядом с ней, тот признал их парой и не стал больше к ней подходить. И так длилось три недели, и Широколобый думал, что все решено.

В тот день его отправили в лес таскать бревна, и он, проработав до полудня, пришел на выгон и увидел, что буйволов нет, и, конечно, догадался, что все они отдыхают на запруде. Он пришел туда и увидел такую картину.

Рядом с его буйволицей лежал этот буйвол и как ни в чем не бывало жевал жвачку, равнодушно поглядывая на берег, где стоял Широколобый. Они лежали так тесно, что хвост этого буйвола, время от времени высываясь из во-

ды и шлепая свою спину, на ходу как бы случайно притрагивался к спине его буйволицы. Это видеть было неприятно, но еще терпимо. И вдруг черепаха, сидевшая на спине его буйволицы, сползла с нее и влезла на спину этого буйвола. Широколобый в порыве ревности, чему способствовала его уверенность, что мысли можно передавать на расстоянии, решил, что его буйволица подарила черепахе этому буйволу.

Горестно взревев про себя: «Мне черепах никто не дарил!» — он решительно фыркнул, бросился в запруду и выгнал всех буйволов на луг. Этот буйвол понял, что предстоит битва, и был к ней готов. Широколобый это знал. У противника было даже некоторое преимущество, все-таки Широколобый с утра работал, пока тот прохлаждался в запруде рядом с его буйволицей. Они разошлись и побежали друг на друга. Как выстрел щелкнули столкнувшиеся рога. Запахло костяным дымом.

Упершись друг в друга рогами, они стояли, покачиваясь, сдвигаясь с места, чтобы найти лучшую опору для толчка, но никто ничего не мог сделать. Рога так натерлись, что черепу было горячо у основания рогов.

Не сумев перебороть друг друга с первого столкновения, они снова разошлись. И Широколобый уже остановился, чтобы бежать на противника, но тот еще отходил, удлиняя разгон. Тогда Широколобый решил, что это несправедливо, и сам удлинил свой разгон. Противник, на этот раз остановившись раньше Широколобого и увидев, что тот продолжа-

ет удлинять разгон, сам еще раз отошел. И теперь они стояли метрах в пятидесяти друг от друга, высматривая друг друга, нацеливаясь и выжидая. Широколобый ринулся, и противник, дрогнув, поспешил навстречу, боясь, что Широколобый пробежит большее расстояние и от этого наберет большую скорость.

И рога в наклоне щелкнули друг о друга, как выстрел, и сразу же запахло костяным дымом. Уткнувшись друг в друга, они давили с такой невероятной силой, что передние копыта Широколобого и его противника по бабки ушли в травянистую землю. И они надолго так замерли, едва-едва двигая рогами, и опять запахло костяным дымом, и жар рогов у основания горячил лоб.

Задача состояла в том, чтобы силой давления рогов свернуть шею противнику и тогда от боли он вынужден будет сам повернуть вслед за шеей, и тогда остается только гнать и гнать побежденного противника. Но и на этот раз ничего не вышло. И они снова далеко разошлись и, тяжело дыша, издали поглядывали друг на друга, стараясь не прозевать мгновенье, когда противник ринется.

И тут Широколобому пришла в голову боевая хитрость. Надо дожидаться, чтобы первым на него побежал противник, а потом чуть-чуть, незаметно для глаз, свернув свое направление, всю силу удара сосредоточить не на обоих рогах противника, а на его левом роге. И тогда, может быть, его шея не выдержит, и он вслед за ней повернет свое огромное туловище.

Противник ринулся. Широколобый чуть выждал, мысленно поймал основанием своего правого рога середину левого рога противника и с горестной яростью припомнив про себя: «Мне черепах никто не дарил!!!» — бросился навстречу.

И они снова столкнулись. Но на этот раз раздалось не щелканье, а короткий сухой треск. Левый рог противника обломился и рухнул на землю! Это было так неожиданно, что тот растерялся и побежал. Широколобый, чувствуя, что случилось ужасное, неправильное, непоправимое, все-таки сгоряча побежал за ним и несколько раз боднул его на ходу, пока тот не вломился в заключенный лес.

Конечно, Широколобый хотел победить и своей победой осрамить противника. Но не до такой степени. Он даже не знал, что у буйвола может сломаться рог. Он много раз встречал однорогих коров, иногда быков, но однорогих буйволов никогда. Это было ужасно. Он не хотел так унижить своего противника. Как же ему теперь жить с одним рогом? Это все равно, что усатому чегемцу жить с одним усом. Широколобый давно заметил, что если уж чегемец носит усы, то они всегда парные, как рога.

В довершение несчастья по выгону прошел пастух с козами и собакой. Собака, почуяв рог, подбежала к нему без всякого почтения, как будто это была дохлая ворона. Ухватившись зубами за обломанный край, она его зачем-то поволокла за собой, хотя ясно, что буйволиный рог не только собака, даже медведь не сумеет разгрызть. Конечно, можно было по-

гнаться за ней и отнять у нее рог, но собака такая мелкая — унизительно гнаться за ней. Ужас! Ужас!

А возлюбленная буйволица, подняв голову, смотрела на него, ожидая, что он подойдет к ней. Очень неуместно. И он не подходил. И она начала пастись, время от времени удивленно подымая голову и как бы спрашивая: «Почему ты не подходишь? Разве ты не победил?»

Ее тупость раздражала Широколобого, и он к ней в тот день так и не подошел. Он к ней не подошел и на следующий день, хотя она много раз подымала голову и смотрела в его сторону. Эта дура никак не могла понять, что ему жалко своего вчерашнего противника, который теперь скорбно пасется в стороне и из головы его торчит безобразный обломок.

Так кончилась любовь Широколобого. Он к этой буйволице больше никогда не подходил и никогда рядом с ней не ложился в запруде. Пострадавший буйвол тоже к ней никогда не подходил. А когда пришло время осеннего гона, она досталась низкорослому замухрышке, которого издали можно было принять за черного быка и притом не очень крупного.

...Шофер и пастух Бардуша вышли из закусочной. Бардуша, став на подножку, дотянулся до Широколобого и погладил его по шее.

— Ну что, Широколобый? — сказал он. И Широколобый по дыханию его понял, что он выпил, а по голосу его понял, что он жалеет его.

— Давай, давай, — заторопился шофер.

— Такого буйвола, — сказал Бардуша, усаживаясь рядом с ним и захлопывая дверцу, — я на этом свете больше не увижу!

Грузовик двинулся дальше. Вонь, от неожиданности на мгновение отстав от него, быстро догнала и распласталась рядом в воздухе. Но и море было где-то близко, и запах свободы иногда доходил до ноздрей Широколобого.

Сейчас он вспомнил далекий день на альпийских лугах. Тогда стадо из буйволов и коров вышло на чудесный склон с разновкусицей жирных и сочных трав. И они поедали и поедали эту траву, постепенно подымаясь, и трава делалась все лучше и лучше. Рядом с ним паслась буйволица с уже довольно рослым буйволенком.

Теперь Широколобий не любил ни одной из буйволиц в чегемском стаде, а когда приходило время гона, он, как и остальные буйволы, делал то, что положено природой, и тут же забывал буйволицу, с которой свел его случай.

С тех пор как он разлюбил, буйволицы стали похожи друг на друга, как люди. А когда он любил, он не только всех буйволиц, но и всех остальных животных, даже если они были одной масти, хорошо отличал. Любовь промывала глаза. А сейчас, поглядывая на буйволицу с буйволенком, не отстававших от него, он никак не мог припомнить, был он именно с этой буйволицей во время осеннего гона или с какой другой? Все-таки два года прошло с тех пор. Странно.

И, словно подслушав его мысли, из-за бугра вышел медведь и не спеша заковылял в сторону буйволенка, как будто был уверен, что Широколобый не станет его защищать, раз у него такие сомнения.

Широколобый пришел в поистине благородную ярость. Уже по привычке горестно взревев про себя: «Мне черепак никто не дарил!» — он ринулся на медведя, свалил его с ног и прижал к склону.

Медведь заревел, изо рта у него вырвались клубы вони, он попытался лапами достать до шеи Широколобого и в самом деле, как граблями, мазанул его своими страшными когтями. Но сами лапы были настолько ослаблены давящей силой Широколобого, что глубоко вкогтиться ему в шею он не смог.

Медведь стонал. Изо рта у него выходила пена и вонь, но он почему-то не умирал. Широколобый не прободал его, а только с невероятной силой втиснул в склон.

Долгое время он держал его так, и стоны медведя стали слабеть, но вонь не унималась. Тогда Широколобый решил разогнаться, проткнуть его рогами и перекинуть через себя.

Только он отпятился, как медведь вдруг замертво свалился и, безжизненно подсакивая на неровностях склона, покатился вниз.

Широколобый следил за ним глазами, удивляясь, что медведь так неожиданно сдох, хотя в нем еще оставалось много вони. И вдруг в самом конце склонадохлое тело медведя остановилось, бесчестно ожило, отряхнулось и как ни в чем не бывало закосолапило в чащобу. Перехитрил!

Широколобый был так возбужден всем случившимся, что еще часа два яростно дышал, и воздух с шипеньем выходил из него. И тут вдруг появился пастух Бардуша с дровами на плече. Он сбросил свою ношу и стал подходить к Широколобому. Но Широколобый был в такой ярости, что даже его не хотел к себе подпускать. Почему он забыл про стадо? А что было бы с буйволенком, не окажись рядом Широколобого?

Конечно, потом он его подпустил к себе, и пастух внимательно ощупал раны на его шее. Он любил Бардушу. Пастух всегда угощал стадо солью, взбадривал его криками. Широколобый, конечно, ничего не боялся, но некоторые буйволицы и все коровы такие робкие, что им приятно, кушая альпийскую траву, слышать человеческий голос. Мало ли что, если человек подает голос, зверь не подойдет.

Однажды Широколобый заболел на альпийских лугах. Он съел ядовитой травы. Несколько дней он пролежал у пастушеского балагана. И тогда Бардуша каждый день приносил ему вязанку веток со свежими, вкусными листьями, и он ел лежа, потому что встать не было сил. Бардуша выносил ему каждое утро и каждый вечер из балагана огромный котел лекарственного чая. И Широколобый лежа выпивал его.

На альпийских лугах жить прекрасно. Нигде в мире нет такой вкусной, многообразной и жирной травы. Но плохо одно. После сильного града травы и кусты до того холодеют, что язык перестает чувствовать ядовитость растения или листика, которую обычно животные хорошо чувствуют. И, если даже случайно потащат в рот, тут же сбрасывают с языка.

Но после сильного града растения леденеют, и язык ошибается. Так и случилось с Широколобым, но он был сильным от природы, и Бардуша спас его. Широколобый не знал, что старший пастух уже предложил его прирезать, но Бардуша взялся его вылечить и в конце концов отпоил его своим лекарственным чаем. И Широколобый никогда не забывал, как далеко приходилось идти Бардуше за этими вязанками веток со свежими вкусными листьями, которые он ел лежа.

...Машина притормозила у ворот бойни. Ворота распахнулись, грузовик медленно завернул и въехал во двор. Здесь он опять развернулся и задним ходом подошел поближе к весам, на которых взвешивали принятых животных.

Как только грузовик въехал во двор бойни, Широколобый почувствовал, что вонь дороги исчезла и появился запах крови. Оказывается, долгая вонь кончается кровью, подумал он. Да, это был запах крови. Широколобый его хорошо знал, потому что видел кровь животных, разорванных хищниками, и видел кровь хищников, разорванных его рогами.

Но вместе с этим запахом крови усилился запах моря, потому что бойня расположена над морем. И с какой-то странной тревогой Широколобый ощущал, как в него входят два соленых запаха, запах крови и запах свободы.

Но он еще ничего не мог понять. Спереди раздавался какой-то непрерывный неприятный грохот, и из этого неприятного грохота время от времени вываливался еще более неприятный костяной стук.

Широколобый ясно понимал, что они еще не приехали в деревню. Потому что между деревней и воняющей дорогой должна быть дорога, которая не воняет. Так было, когда они выехали из Чегема. Был большой кусок невоняющей дороги. Значит, перед новой деревней кусок невоняющей дороги должен повториться. Раз его нет, значит, они еще не в деревне. Тогда где?

Но тут Бардуша влез в кузов и стал развязывать веревки, которыми были спутаны его ноги. Широколобый как-то растерялся, поняв, что раз снимают веревки, значит, они куда-то приехали, где ему надо будет сходить. Пастух отбросил снятые веревки и легонько потрепал его по шее. И Широколобому это сейчас было очень приятно.

Его тревожил этот запах крови и этот чуждый грохот машин, из которого время от времени выпадал костяной стук, мучительно напоминающий что-то знакомое.

Здесь было страшно, но рядом с ним был пастух Бардуша, и, значит, разумная сила человека его оберегает, а ему следует только подчиняться ей. Теперь Бардуша более требовательно похлопал его по шее, и это значило, что надо встать.

Широколобый поднялся, с трудом передвигая затекшими ногами. Бардуша открыл задний борт, работник бойни приладил мостки, и Широколобый, поощряемый добрыми похлопываниями пастушеской ладони, спустился вниз.

Грохот. Костяной стук. Грохот. Костяной стук.

— Давай, — сказал весовщик, и Бардуша подогнал Широколобого к весам.

Для удобства взвешивания площадка весов была расположена на уровне земли и до того ископана ногами многочисленных животных, что по виду не отличалась от окружающей земли. Широколобый подумал, что это обыкновенная земля, но, когда стал на площадку весов, почувствовал, что она таит в себе неприятную неустойчивость. Но он решил терпеть, раз это надо пастуху.

— Ничего себе, — сказал весовщик, взглянув на стрелку весов, — девятьсот пятьдесят пять килограмм!

— Такого буйвола... — сказал Бардуша. И вдруг в голове у него смешалось все, что он думал о Широколобом: могучая память, трогательная привязанность к буйволицам, сила, храбрость, чувство собственного достоинства, и он, не зная о чем сказать, добавил: — Больше на свете нет... Он рог сломал в драке другому буйволу. Понимаешь, рог?!

Он почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно. Может быть, весовщик даже не знает, что живая природа ничего крепче буйволиных рогов не создавала.

Но весовщик почувствовал какой-то излишний напор в словах этого деревенщины и решил на всякий случай не давать ему выхода.

— Слушай, ляй-ляй-конференция не надо мне сейчас, — сурово оборвал он его, — мясо есть мясо! Держи квитанцию! Дальше! Дальше!

— Эх, Широколобый, Широколобый, — сказал Бардуша и, шагнув на весы, в последний раз потрепал его по холке. Он повернулся, не оглядываясь, дошел до своего грузовика и сел

в кабину, крепко хлопнув дверцей. В это время в ворота бойни въезжала машина с партией коров. Два грузовика осторожно разъехались, и чегемская машина, выехав на шоссе, свернула направо и, набирая скорость, двинулась в сторону Чегема.

Все еще стоя на площадке весов, чувствуя своей могучей тяжестью ее колеблющуюся поверхность, Широколобый понял, что это мост. Такое ощущение всегда вызывали мосты. Но где река и куда ведет этот мост?

Открыв ворота узкого дощатого коридора, работник бойни загнал туда Широколобого. Широколобый увидел перед собой десятка два коров, которые стояли, плотно прижавшись друг к другу, то и дело вздрагивая и вытягивая головы. Взглянув на выражение их глаз, он вспомнил, что такое же выражение глаз он встречал у животных в лесу, когда они чувствуют близость хищника или им кажется, что хищник близок.

В ноздри ударил густой запах крови, но запах моря доносился с прежней силой. Из этого он понял, что, войдя в этот узкий коридор, он приблизился к невидимой крови, но не удалился от моря.

И снова сквозь грохот каких-то машин Широколобый услышал неприятный костяной стук, теперь гораздо более отчетливо вываливающийся из этого грохота. Грохот машин был бессмысленный, потому что мертвый. Костяной стук имел смысл, потому что был живой и означал живую боль. Теперь он вспомнил, где и когда он слышал этот костяной

стук. Как-то зимой они всем стадом проходили по обледенелому мосту, и одна буйволица поскользнулась и с таким вот костяным стуком рухнула на мост. И теперь помимо его воли что-то страшное вырисовывалось в сознании: сначала они почему-то падают, а потом кровь.

Так оно и было на самом деле. Несколько коров впускали в первый отсек. Работник бойни подносил к губам животного ручку с металлическим наконечником, включал ток, и животное, оглушенное электрическим разрядом, падало на деревянный помост. Тут ему перерезали глотку, подцепляли на крюк, который тащил его через весь цех, где рабочие как на конвейере поочередно обрабатывали тушу.

Несмотря на ужас и беспокойство, внушаемые этим костяным стуком, Широколобый твердо верил, что за ним должен прийти пастух Бардуша. Он уведет его отсюда.

Широколобый несколько раз оглядывался, но пастуха не было видно. Однако он твердо продолжал верить, что пастух придет, именно потому, что здесь так плохо и в таком плохом месте он его долго не может держать.

Он снова всмотрелся в дергающуюся массу сцепившихся, взволнованных коров и заметил, что многие из них стараются повыше вытянуть головы, чтобы увидеть то страшное, что, как они догадывались, здесь происходит. И, смутно догадываясь о том страшном, что здесь происходит, они все-таки любопытствовали отдельно от страха и даже испуганно радовались, что это страшное хотя бы в это мгновение происходит не с ними.

И тут вдруг Широколобый увидел то, что мысленно и во сне видел много раз. Он увидел лошадь! То ли потому, что он слишком всматривался в ближайших коров, то ли потому, что лошадь до этого стояла, опустив голову, но он ее только теперь заметил. Ему показалось, что страшный хозяин этого места до сих пор прятал от него лошадь, а теперь зазевался, и лошадь, вытянув шею и прильнув губами к доскам ограды, внюхивалась в запах моря. И он увидел большой, печальный лошадиный глаз и слезы, стекающие по морде.

Он там, Где Лошади Плачут! Его и пастуха Бардушу обманули! И сразу же кончилось тревожное, растерянное, сиротливое ожидание пастуха. Он понял, что в этом мире для него остались только два соленых запаха — запах крови и смерти, запах моря и свободы. И он понял, что он один и может надеяться только на самого себя.

И сразу же он почувствовал мощь собственного тела и спокойствие собственного духа. Он понял, что надо делать. В это время позади него открылись ворота, и новую партию коров загнали в коридор. Они стали сзади теснить его. Но теперь ему никто не мог помешать.

Одним боковым ударом рогов он сразу вышиб две доски и просунул в пролом голову. Запах моря усилился. Услышав треск досок, работник бойни, впуская животных в коридор, подбежал, схватил его за рога и попытался водворить голову обратно. Проще было бы остановить падающий дуб.

Сунув голову в пролом свободы, Широколобый вслед за головой потащил к свободе тело. Пролом был узкий, но жела-

ние свободы было столь велико, что Широколобый вывалился наружу, обрушив все доски стены, вбитые между ближайшими столбами.

Запах свободы усилился. Но это был большой загон, выстроенный на случай поступления крупных партий скота, которые нельзя сразу обработать. Впереди метрах в двадцати виднелась ограда из дубовых досок, и он понял, что ее надо проломить. Остановившись посреди загона, он внюхивался в воздух, чтобы определить, откуда сильнее идет запах моря, чтобы именно в том месте прошибить ограду

Когда он обрушил стену коридора, вслед за ним ринулись коровы и, пьянея от радости, с бестолковым мычанием стали носиться взад-вперед. Лошадь заржала и галопом пустилась вдоль загона. На шум собрались те работники бойни, которые были во дворе. Прильнув к забору, они ждали, что будет дальше.

Растерявшийся было весовщик сейчас взял себя в руки. Он решил, что если буйвола вернуть первым в коридор, порядок будет легко восстановить. За долгое время работы на бойне всегда видя перед собой растерянных и покорных животных, он не испытывал никакого страха перед буйволом. Он подбежал к Широколобому, когда тот уже нацелился на место в ограде, которое было поближе к морю. Весовщик раздраженно схватил его за хвост и пытался повернуть в сторону коридора. С необыкновенным проворством буйвол крутанулся на месте, подсек правым рогом весовщика под его левое ребро и небрежно перекинул через себя. Те, что выглядывали из

за ограды, дружно охнули. Весовщик рухнул, но сгоряча, шатаясь, встал на ноги. Широколобий, удивившись его живучести, повернул к нему голову и хотел его добить, но вдруг вспомнил кончиком своего правого рога неприятную дряблость его ребра, отвернулся от него и тут же забыл о его существовании.

Снова поймав ноздрями место в заборе, которое было поближе к морю, он рысью пошел на него и, одним ударом проломив, очутился во дворе бойни. Верхняя поперечина обрушившейся части забора каким-то образом застряла у него между рогами. Он брезгливо тряхнул головой, но она еще крепче засела между рогами. Тогда он с такой яростью мотнул головой, что доска, взлетев метров на десять, упала за его спиной.

Именно в это мгновение главный инженер бойни, еще ничего не знавший о происшествии, случайно подняв над столом тяжелую, похмельную голову, увидел, как перед окном его кабинета, расположенного на третьем этаже, беззвучно поднялась большая доска, остановилась, словно раздумывая, как ей быть дальше, а потом, медленно разворачиваясь, пошла вниз, самозванно имитируя какую-то фигуру высшего пилотажа.

Главный инженер накануне крепко выпил и сейчас мрачно поздравил себя с первой алкогольной галлюцинацией. Нельзя ж так пить, как и все пьющие в такие минуты, с ненавистью подумал он о себе, я уже немолодой, а все хорохорюсь, хорохорюсь...

И тут к нему в кабинет влетела секретарша и задрезжала:

— Георгий Лаврентьевич, буйвол взбесился!

Раздраженный своим собственным состоянием и этим крикливым вторжением, он вскочил.

— Запретить! — воскликнул он от неожиданности. — То есть как взбесился?

— Он ранил весовщика и разбил загон! Может, в милицию позвонить?

Главный инженер подбежал к окну, увидел мечущихся в загоне коров, людей, уносящих раненого весовщика, пролом в заборе и, главное, большую доску, лежавшую посреди загона. Да, это была, безусловно, она, та самая.

— Зачем милицию, — сказал он неожиданно спокойным голосом, — звони в «Скорую помощь». Сами справимся с ним.

Выскочив во двор бойни, Широколобий увидел, как люди шарахнулись от него и побежали. Мимоходом подумав о них: «Мелко! мелко!» — он стал внюхиваться в запах моря. Каменная стена с железными воротами отделяла бойню от моря. Он понял, что надо бить по воротам, другого пути нет.

До ворот было всего метров двадцать, и надо было как можно быстрее набирать конечную скорость. Черный ураган весом в тонну гулко врезался в створку ворот и сильно погнул ее. Он снова отбежал, нацелился и, напружинившись, помчался. На этот раз удар был такой силы, что Широколобий от сотрясения на миг потерял сознание. Створка вырва-

лась из петель, громыхая и подпрыгивая, покатилась по прибрежной гальке и, перевернувшись у моря, затихла.

И море распахнулось перед Широколобым. Разбрасывая копытами гальку, даже не слишком быстрой рысцей, он подбежал к морю и стал пить его. Напившись моря, он погрузился в море и поплыл.

Через двадцать минут машина «Скорой помощи» въехала во двор бойни. Весовщика с пробитой насквозь ляжкой положили на носилки и увезли как героического матадора.

Коров и одинокую лошадь снова загнали в узкий коридор, пролом которого уже был заделан. Но работники бойни не скоро успокоились. Многие стояли у разбитых железных ворот и смотрели на буйвола, уплывающего все дальше и дальше.

Старый забойщик Мисроп не уставал всем рассказывать, что сорок лет тому назад было подобное происшествие. Только тогда буйвол не в море ушел, а пробил деревянные ворота, ведущие в город, и, пробежав по всем улицам, выбежал в горы и скрылся в лесах.

При этом, указывая на главные ворота, он раздраженно пояснял, что ворота тогда стояли там, где сейчас находится вахтерская. А вахтерской тогда вообще не было!

И было не вполне ясно, что он хотел этим сказать. То ли то, что бойня стала учреждением более важным и потому понадобилось теперь помещение для вахты, то ли дело в том, что мясо превратилось в стратегический товар, и теперь стихийное воровство введено в рамки строго организованной операции.

А Широколобый плыл и плыл в открытое море.

В это время главный инженер бойни договаривался с председателем соседнего рыболовецкого колхоза, чтобы тот послал вслед за буйволом моторную лодку с людьми, и они, пристрелив буйвола, привезли бы тушу на бойню.

Так как в обязанности председателя рыболовецкого колхоза не входили ловля и отстрел плавающих в море буйволов, он отхлопотал у главного инженера две буйволиные ляжки. Главный инженер дал согласие, и высокие стороны на этом договорились.

У председателя рыбколхоза теперь была задача, можно сказать, тройной сложности. Найти рыбаков, которые сейчас не в море, что было сравнительно легко. Но при этом чтобы они были трезвы, и тут задача мгновенно приобретала головоломную сложность. И наконец, один из них должен был уметь стрелять, здесь просто надо было надеяться на везение. Председатель, можно сказать, перенюхав оставшихся рыбаков, наконец остановился на двух. Они были в самом деле трезвыми, и один из них баловался охотой и имел охотничий карабин. Но именно потому, что они были трезвы, рыбаки вели себя заносчиво и капризно.

Но вот часа через три все уладили, и моторная лодка отчалила от причала и пошла в открытое море. Тот, что был с карабином, сидел на передней банке и, глядя на далекую черную точку буйволиной головы, заранее волновался. Он знал, что буйвол ранил весовщика бойни.

...Свобода — это когда в жаркий летний день много воды. Широколобый плыл и плыл. Самое великое свойство души — доброта. Самое естественное состояние доброй души — добродушие. Широколобый был добродушно настроен. За три часа пребывания в море он остыл от всех страстей, испытанных на бойне, и теперь думал о родном Чегеме и о том, как будут удивлены люди и буйволы, узнав, откуда он вернулся. Хорошо, что был когда-то Великий буйвол, первым вырвавшийся оттуда, Где Лошади Плачут, и хорошо, что буйволы хранят память о нем. Кто его знает, решился бы Широколобый на все, на что решился, если бы не знал, что уже был однажды непокорный храбрец.

Проплыв километра три прямо в открытое море, Широколобый, подчиняясь могучему инстинкту дома, стал постепенно сворачивать налево, и теперь, если бы по линии его пути провести прямую, она бы пересекла море и вышла к чегемским нагорьям.

Он чувствовал, что плыть ему долго. Остаток дня и всю ночь. Но его пронизывала великая радость. Он знал, что выйдет на берег как раз в том месте, где давно-давно он, неуклюжий буйволенок, вместе с матерью и отцом когда-то первый раз вошел в море.

Свобода — это когда в жаркий летний день много воды. И кругом до самого горизонта была свобода, большая, прохладная, ласковая. Кругом была свобода, и внутри Широколобого была свобода, и от этого ему было хорошо, хорошо. И тут он вспомнил о Сонливом Крепыше. Широколобый,

улыбаясь про себя, представил, что бы случилось с Сонливым Крепышом в море, если он застрял в маленьком чегемском ручье. Пожалуй, там, где в море потонет Сонливый Крепыш, его на берег не выволокут и десять буйволов.

Чайка, издали приняв рогатую голову Широколобого за большую корягу, удобную для отдыха, легко спикировала на нее и уселась между его рогами.

Прекрасно, подумал Широколобый, посмотрим, как белые морские вороны выклевывают из головы клещей. Интересно, водятся в море черепахи или нет?

Услышав нарастающий сзади шум моторной лодки и увидев краем глаза сидящих на ней людей, Широколобый не обеспокоился. Свобода моря была такой огромной, а люди, даже если они несут несвободу, были по сравнению с морем такими маленькими в своей маленькой лодке, что при таком смехотворном соотношении сил и беспокоиться было нечего.

Однако, когда шум мотора усилился, чайка слетела с его головы и отлетела в сторону. Он посмотрел на чайку и подумал: птица всегда отлетает, когда приближается человек. А буйвол? Буйволу отлетать было бы неудобно, даже если бы он был крылатый.

Он еще раз взглянул на чайку, кружившуюся над водой, и подумал: морская ворона лучше владеет своими крыльями, чем сухопутная. Почему? Сам себе ответил — местность, где она живет. В море нету деревьев, чтобы то и дело садиться отдыхать, значит, крылья должны птицу хорошо и долго держать в воздухе.

Когда до буйвола оставалось метров пятнадцать, тот, что сидел на моторе, выключил его. Лодка по инерции продолжала идти вперед. Она шла гораздо быстрее, чем плыл буйвол.

— Если я его не убью с первого выстрела, — сказал вполголоса тот, что был с карабином, — сразу же включай мотор! А то набросится!

— Знаю без тебя, — сказал тот, что сидел на руле.

Тот, что был с карабином, заметно волновался. Когда лодка поравнялась с Широколобым, он приподнял карабин и тщательно прицелился в пяти метрах от головы буйвола.

Когда он поднял карабин, Широколобый смутно вспомнил, что эта железная палка имеет какое-то опасное предназначение. Но свобода была такая огромная и прекрасная, а люди в лодке были такими ничтожными, что Широколобому, всю жизнь не ленившемуся думать и вспоминать, сейчас было лень вспоминать.

Человек тщательно прицелился, но не нажимал спускового крючка, пока нос лодки не опередил головы буйвола. Так, предусмотрительно сообразил он, будет безопасней удирать, если он не убьет буйвола одним выстрелом. Он выстрелил, но Широколобый уже не услышал выстрела, потому что пуля, влетевшая в его ухо, влетела раньше, чем дошел до него звук.

Через пять минут рыбаки, окрутив веревкой рога Широколобого, намотали оба конца на заднюю банку и крепко привязали их. Тот, кто сидел на руле, дернул шнур, и мотор включился. Лодка пошла вперед, веревка натянулась, и лодка

остановилась и даже пошла назад, словно Широколобый в последний миг ожил и перетянул ее. Но лодка снова сдвинулась вперед и пошла, хотя тяжелое тело буйвола сильно тормозило ход. Чайка, отлетевшая после выстрела, увидев, что рыбаки волочат за лодкой то, на чем сидела она, почувствовала себя обокраденной и, подлетев к лодке, сверху, притормаживая крыльями, некоторое время вглядывалась в голову Широколобого. Она давно заметила, что рыбаки часто увозят из моря выброшенные реками бревна и коряги. Решив, что это такой же обычный случай, она решительно взмахнула крыльями и отлетела. Сделав осторожный полукруг, лодка повернула в сторону бойни.

— Председатель сказал, что, если мы его привезем, бойня выдаст ляжку, — сказал тот, что сидел с карабином, — он сказал, что мы разделим ее на троих.

— Если не обманет, — сказал тот, что сидел на руле.

— Не должен обмануть, — сказал тот, что сидел с карабином, — мы все же жизнью рисковали. Он меня, знаешь, сколько уговаривал. Если бы не это, я бы уже веселился у Еремеевны.

— Успеешь, — сказал тот, что сидел на руле, — еще не вечер.

— Здорово тормозит, — сказал тот, что сидел с карабином, — полхода забирает.

— Еще бы, — сказал тот, что сидел на руле, — такая зверюга, дай Бог.

— А что, махнем в город, — сказал тот, что сидел с карабином, — мясо загоним. Месяц пей не хочу! А этим скажем, что не нашли. Ушел!

— Ух ты! Ух ты! Какой умник! — сказал тот, что сидел на руле.

— Слабó? — сказал тот, что сидел с карабином.

— Дубина, — сказал тот, что сидел на руле, — нас же с берега видят как на ладони.

— А-а-а, — сказал тот, что сидел с карабином.

— Б-ее, — сказал тот, что сидел на руле, — не думай, что ты умнее других.

Предзакатное море переливалось розово-сиреневыми бликами. То там, то здесь из воды вылетала кефаль и, на миг проблеснув в воздухе, плюхалась в родную стихию.

Белые дома города, и мягкие, пушистые холмы над ними, и цепи дымчатых гор, уходящие в бесконечность неба, и далекие, но различимые для любящего глаза пятна голых утесов над Чегемом — все, все утопало в примиряющем свете закатного солнца.

И это же солнце озаряло могучую голову Широколобого и горело в его открытых, прямых, немигающих глазах. Со стороны могло показаться, что буйвол плывет и плывет, догоняет и догоняет моторную лодку. Но со стороны некому было посмотреть, да и нет в этом мире сторонних.

28. утраты

На следующий день после сороковин в квартире оставались: муж умершей, его сын, его старенькая мать, родственни-

ца Зенона, приехавшая из деревни и помогавшая по дому, и сам Зенон, брат умершей.

Множество людей, пришедших и приехавших на сороковины и как бы временно самим своим огромным числом и любовью к сестре заполнивших дом, теперь, отхлынув, еще сильнее обнажили зияние невосполнимой пустоты.

Сестры нет и никогда ее больше не будет. С такой пронзительной трезвостью Зенон до сих пор не осознавал эту мысль. Похороны прошли в каком-то почти нереальном полусне...

Перед смертью сестры Зенон был в Москве у себя дома. После многомесячного перерыва на него навалилась работа, и он уже несколько дней часов по двенадцать не отрывался от машинки, как вдруг раздался междугородный телефонный звонок.

— Твоя сестра умерла час назад! — резко прокричал зять и положил трубку.

И хотя смерть сестры ожидали, Зенон не думал, что это будет так скоро. Грубая краткость сообщения мгновенно ввинтилась в мозги, но Зенон тогда не пытался анализировать ее причины.

Позже, когда он приехал, родственники, слышавшие, что сказал ему в трубку зять, и переживающие, что тот безо всякой подготовки разом выложил ему всю правду, как бы извинялись за него перед Зеноном. И только тут он сам понял, в чем дело.

Зять Зенона голосом своим бессознательно перебрросил на него часть раздавливавшей его непомерной тяжести случив-

шегося. Сбросить часть этой тяжести только и можно было на Зенона, брата умершей, зная, что только он ее и может принять всей полнотой горя.

Но обо всем этом Зенон подумал гораздо позже. А тогда он взял билет на самолет вечернего рейса, вернулся домой и снова сел за работу. Работа шла, и он не понимал, почему бы не работать. Работа шла, но сердце его впервые за всю взрослую жизнь по-настоящему болело. Видимо, там тоже шла какая-то работа.

И Зенон впервые в жизни работал, посасывая холодящий рот валидол. Вкус его напоминал какие-то конфеты детства, но он не мог и не пытался вспомнить, что это за конфеты, да и не уверен был, что именно холодящий рот валидол напоминает детство, а не боль в сердце.

В детстве иногда что-то резко сдавливало сердце, и, как теперь понимал Зенон, это было следствием непомерного запаса доверия к миру, и, когда какое-нибудь событие протыкало это доверие — возникала боль.

Но в детстве запасы этого доверия были так велики, что отверстие боли почти мгновенно замыкалось, и нередко детские слезы сглатывались уже улыбающимся, любящим ртом. Теперешняя боль была другая. Это было началом общей усталости: доверять, проверять, жить...

Он продолжал работать, и товарищ, позвонивший ему, чтобы выразить сочувствие, услышав стук машинки в телефонной трубке, удивленно спросил у жены Зенона:

— Он работает?

— Да, — сказала жена, видимо, сама не зная, как это оценить.

Потом был долгий ночной кошмар ожидания вылета в здании аэропорта. Время вылета все время отодвигалось. Да и другие рейсы отодвигались. Люди слонялись по залам ожидания, стояли в очереди, проталкиваясь к справочной и к буфетным стойкам. Все скамейки были заняты, и Зенон безостановочно ходил, почти не замечая вокруг никого, а работа продолжала гудеть в голове.

Иногда она выплескивалась, как рыба из воды, готовой, осмысленной фразой, иногда возвращала сознание, а точнее, слух, к какому-то уже написанному месту и через неприятно-настойчивое звучание этого места показывала, что там есть какая-то неточность или фальшь. Зенон вслушивался в звучание этого места и, уже разумом и слухом одновременно обнимая вещь целиком, сознавал, что именно и почему звучит неточно и фальшиво.

Предстоящие похороны никак не отражались на характере того, над чем он мысленно продолжал работать. Мелодия повествования была поймана раньше постигшего его горя и уже двигалась по своим законам, только изредка в грустных местах слегка углубляясь.

Подобно тому, как человек, видящий кошмарный, фантастический сон, не перестает лежать в своей постели, в своей собственной безопасной квартире, Зенон одновременно находился в безопасной, нормальной реальности работы своего воображения, а жизнь с реальностью смерти сестры и с этой

бесконечной ночью в аэропорту была кошмарным сном, который, по каким-то законам кошмарного сна, почему-то нельзя было прервать, а надо было смотреть и смотреть.

Пока был открыт ресторан, он несколько раз заходил туда, выпивал коньяк, и тогда кошмар окружающей реальности немного смягчался, а работа продолжала идти своим чередом.

Но после закрытия ресторана уже нечем было смягчить этот кошмар, а тут время от времени стал попадаться на глаза земляк, еще более жуткий, чем эта ночь.

Много лет тому назад, во времена молодости Зенона, этот его земляк был большим человеком в масштабах Абхазии. Он тогда знал Зенона как начинающего писателя и недолюбливал его за некоторую сатирическую направленность его творчества, каковую считал плачевным результатом отсутствия в авторе сынолюбия по отношению к отчому краю.

Но с тех пор как он был снят со своей работы, а потом, уже через некоторое время, и вовсе был вынужден уйти на пенсию, он стал проявлять к Зенону пристальный интерес, стараясь в часы случайных встреч на бульваре или в кофейнях привлекать его внимание именно к теневым сторонам жизни отчего края.

И хотя он давно был по ту сторону власти, но упрямо продолжал с таким апломбом рассуждать о мероприятиях местного правительства, как будто с его мнением кто-то где-то продолжает считаться.

Вообще от облика его исходило ощущение нечистоплотного трепыхания между жизнью и смертью, одновременное

оскорбление и той и другой. Для живого он слишком явно смердел, для мертвого он был непристойно суетлив, как бы постоянно и глумливо подмигивая из гроба.

Зенону не всегда удавалось быстро отделаться от этого несносного пенсионера и потому, что он не любил всякую грубость, и потому, что этот жалкий старикашка был потоптан самой жизнью, и какая-то естественная брезгливость заставляла Зенона осторожничать с ним, чтобы случайно не дотоптать.

Кроме всего этого, Зенон чувствовал, что все-таки испытывает еще и любопытство к самому веществу пошлости, заключенному в этом человеке. Он хотел понять, при помощи какого мотора действует человек, отказавшийся от мотора нравственности. Ведь должен все-таки находиться какой-то двигатель и внутри пошлости?

Увы, с годами Зенон убедился, что двигатель пошлости — сама пошлость. Но тогда, пытаясь кое-что выведать у этого старикашки, он направлял беседу с ним на времена, когда тот еще не был такой развалиной, а напротив, был новенькой черноморской крепостцой усатого кумира, новенькой, хотя и халтурно сколоченной, как потом выяснилось.

Но выведать ничего не удавалось, старикашка увиливал от острых вопросов. Правда, он упрямо придерживался той мысли, что порядок тогда был отменным, хотя, конечно, правопорядок и прихрамывал.

Однажды он все-таки как бы раскололся.

— Хорошо, я тебе открою один секрет, — прошепелявил он, слегка озираясь, — а ты его используй, как хочешь... Я тебе документы тоже достану...

Зенон замер, как охотничья собака.

— Этот товарищ, — старикашка кивнул вверх и назвал работника, который сейчас занимал его место, — в тысяча девятьсот тридцать четвертом году убил человека... Я тебе все документы представлю...

Зенон тогда не мог удержаться от хохота. В тридцать четвертом году работнику, о котором шла речь, едва ли было четыре года, если он вообще тогда был. Комплекс возмездия создал в голове старикашки миф, но подвела склеротическая неряшливость чувства времени.

Сейчас он сидел на скамейке, старчески-розоватый, с водянистым студнем голубых глаз, которые, казалось, уже мало что видят, однако он первым узнал Зенона и закивал ему в том смысле, что есть, есть о чем поговорить!

Зенон кивнул в ответ, но не двинулся в его сторону. Поняв, что Зенон не собирается с ним разговаривать, старикашка многозначительно покачал головой, показывая, что такая задержка с вылетом никак не могла произойти во времена его общественной деятельности, и при этом он каким-то особенно противным подмигиванием студенистых глаз дал знать Зенону, что поощряет его сатирические возможности для наказания виновных в задержке вылета.

Зенон уже прошел мимо своего земляка, когда осознал, что тот сжимает в одной руке в нескольких местах перевязан-

ный пучок из четырех или, по крайней мере, из трех новеньких палок. Это были обыкновенные палки, которыми пользуются старики.

Зенон прекрасно знал, что провинция вывозит из Москвы всевозможные продукты, но чтобы в Москву ехали за палками или, случайно наткнувшись на них в продаже, покупали про запас, этого он не мог представить. И зачем ему столько палок? Неужели он надеется их пережить? Само отсутствие понимания собственной смертности порождает пошлость, думал Зенон, или благодаря отсутствию этого чувства уже существующая пошлость накурдючивается жиром?

За ночь Зенон, забывая о нем, снова несколько раз проходил мимо него, и тот каждый раз гримасами, жестами, подмигиванием своих водянистых глаз настаивал на абсолютной необходимости со стороны Зенона покарать сатирическим пером виновников задержки вылета. При этом он почему-то совершенно не стеснялся того, что Зенон на его жесты не реагирует.

К утру всех ожидающих самолет, на котором должен был лететь Зенон, загнали в какой-то отсек, откуда после проверки билетов и просвечивания на предмет пронесения оружия вывели из здания аэропорта, но автобус почему-то долго не подходил, и в конце концов всех снова отогнали в помещение.

Через некоторое время их опять вывели наружу, и пассажиры на этот раз мужественно приготовились к ожиданию автобуса, но мужество как-то не понадобилось, потому что автобус подошел почти сразу и подвез их к самолету.

Самолет загрузили, и пассажиры, ожидавшие всю ночь вылета и наконец рассеявшиеся по своим местам, пришли в необыкновенное возбуждение, не только прощая и судьбу и Аэрофлот за эту бессонную ночь, но как бы благодаря их за сиюминутную остроту удовольствия, эйфорию, вызванную чувством преодоленности всех трудностей и потому заслуженной достигнутостью предвзлетного состояния. Но тут опять произошла какая-то осечка. Самолет еще около часа простоял на аэродроме.

Зенон случайно обернулся и поймал терпеливо ждущий взгляд старика, умоляющий его включить в список потерь и это долгое, незаконное ожидание вылета уже внутри издевательски неподвижного самолета. Зенон резко отвернулся, отсекая от общего кошмара этого кошмарного старикашку.

Вообще лица людей, пока он слонялся по зданию аэропорта, хотя он их видел краем глаза, внушали Зенону отвращение. Казалось, они все время, хотя и неизвестно перед кем, на всякий случай, отстаивают право на несущественность своего существования. А когда-то он так любил рассматривать на вокзалах и в аэропортах лица людей. Какая это была тайная обжираловка любви и любопытства!

А сейчас только лица детей и стариков (кроме этого поганого старикашки!) были все еще приятны Зенону. Может быть, мимоходом подумал он, дело в том, что дети — это люди, еще не научившиеся лгать, а старики — это люди, которым уже незачем лгать.

На заре самолет приземлился. Перед выходом на трап Зенон опять встретился взглядом с этим старикашкой, и тот не только своими подрагивающими студнями глаз напомнил ему о необходимости разоблачения виновников задержки вылета, но и жестом руки, сжимавшей пучок связанных палок, посоветовал ему быть потверже, не смягчать общую картину безобразия ложным благополучием приземления, потому что другого выхода у них просто не было, и взлетевший самолет им надо было так или иначе посадить.

...Хотя таксистам, толпящимся у здания аэропорта, явно нечего было делать, но на вопрос Зенона: «Поедем в город?» — почему-то никто не ответил и только через несколько долгих секунд, так как Зенон продолжал стоять перед ними, сиротливо взгрустнувшими, с выражением: «Обижаешь, земляк!» — один из таксистов, словно исправляя неловкость, созданную неуместным вопросом Зенона, вышел из толпы и очень неохотно отправился к своей машине. Зенон подсел, и они поехали.

Сколько он ни прилетал сюда, таксисты всегда неохотно брали его в город, словно все они ждали какого-то более ценного груза, чем человек, или более дальнего рейса, чем город, хотя и толпились здесь часами без дела.

...Зенон поймал себя на мысли, что и сам хотел бы сейчас ехать более дальним, нескончаемым рейсом...

Машина подъехала к дому, где жила сестра... Где еще вчера жила сестра. Он расплатился с таксистом и впервые сразу поднялся по лестнице до нужного этажа. А раньше, бывало,

в день приезда почему-то всегда путал этажи: то ли пятый, то ли шестой, а то и седьмой.

Счастливая беспечность памяти никогда не удерживала этаж, на котором жила сестра. Обычно, после годичной разлуки, даже было приятно поплутать по этажам, прежде чем распахнется ее дверь и она, сияя, бросится его целовать!

Смерть сестры отсекла уже эту маленькую вольность — теперь ошибиться было нельзя, и он не ошибся. Жизнь близких, мельком подумал он, обеспечивала безопасность и даже роскошь его вечной рассеянности к мелочам быта.

Он позвонил в дверь. Несмотря на ранний час, зять не спал. Высокий, с диковато ввалившимися глазами, он открыл ему дверь и ввел в квартиру.

Прикрытая покрывалом, сестра лежала в самой большой из трех комнат. Зять подвел его к ней, и Зенон, преодолевая неестественность этой яви, ступал за ним, не понимая, почему таким высоким под тканью покрывала кажется тело сестры, словно вздыбленное ужасом последней борьбы со смертью, последним взрывом непримиримости с концом.

Зять приподнял и отодвинул покрывало, и Зенон поцеловал холодный лоб сестры. Зять издал странный, горловой звук заглотанного рыдания. Зенон вспомнил абхазский обычай: муж не плачет над трупом жены. По-видимому — часть общего горского культа сдержанности.

Потом они зашли на кухню. Зять приготовил кофе по-турецки. Зенона немного освежил этот кофе после бессонной ночи.

...Остальные дни до похорон и сами похороны остались в голове в виде тяжелого, притупленного в болевых ощущениях самым своим обилием горя. И только резкой болью время от времени всплывала перед глазами большая фигура сына сестры, неуклюже сотрясающаяся в рыданиях. Поздний, единственный, ласковый, заласканный сын, и, может быть, потому эти разрывающие душу неумелые рыдания.

И были бесконечные процессии учителей, учеников, бывших учеников, соседей, родственников. Нет, это была не только дань кавказской традиции похорон, сестру и в самом деле любили. Она была такой доброжелательной, такой улыбчивой, такой контактной, как сейчас говорят. Вечно у нее на кухне щебетали соседки. Теперь кончилось все.

Сестра болела, уже не вставая, восемь месяцев. У нее была редчайшая для южан и смертельная для всех болезнь — рассеянный склероз. Конец был предсказан врачами, но Зенон надеялся, что где-нибудь в мире, может быть, только что появилось новое лекарство. Он связался с друзьями, живущими на Западе, и те быстро купили все новейшие лекарства и столь же быстро с оказией переслали их в Москву.

Зенон достал телефон московского профессора, по слухам, лучшего специалиста по рассеянному склерозу, и прочел ему названия лекарств. Профессор ошарашил его ответом на незаданный вопрос:

— Знаю... Барахло все это...

Странное дело быть специалистом или лучшим специалистом по заведомо неизлечимой болезни. Но ведь есть

специалисты и по неизлечимым формам рака. На каких-то стадиях каким-то больным, они, наверное, помогают. Конечно, старик профессор оказался прав: лекарства ничего не дали. Но он сделал все, что мог. Он послал с Зеноном в Абхазию своего лучшего помощника. Тот, осмотрев сестру, подтвердил диагноз. Правда, он обещал, что возможна ремиссия, то есть временное улучшение, но ремиссии не последовало.

Восемь месяцев сестра, конечно, не зная правды о своей болезни, упорно держалась за жизнь. За это время Зенон несколько раз приезжал к сестре и каждый раз бывал растроган необыкновенным добросердечием соседей, подруг, которые ежедневно все это время готовили еду, кормили больную, ухаживали за ней и присматривали за домом.

И каждый вечер приходила женщина-врач, до этого едва знакомая. Просто сын ее год или два учился в классе, где преподавала сестра. Эта женщина, разумеется, совершенно бесплатно часами делала массажи и другие процедуры в попытке вернуть жизнь угасающим мышцам.

Что объединяло всех этих людей, думал Зенон, людей разных профессий и разных национальностей, в едином многомесячном порыве любви и милосердия?

Конечно, свет души его сестры, на который, сами благодарно светясь, слетались ее подруги, соседи, знакомые. Люди стремятся друг к другу, видимо, по признаку душевной близости, где нету разницы в нациях, в профессиях и даже в уровне благосостояния. А когда нет у людей душевной общ-

ности, они объединяются по национально-видовому признаку, как стая. И опасны, как стая.

Да, сестра стойко переносила все процедуры, терпеливо пила лекарства и не теряла надежды на выздоровление. И только однажды она сказала фразу, перевернувшую душу Зенону. Глубоко вздохнув, она сказала:

— Мы не должны были покидать нашу деревню... Это было ошибкой...

Она имела в виду горную деревушку, где родилась их мама. Но разве у них кто-нибудь спрашивал, где жить? Мама вышла замуж за отца, который жил в городе и привез ее к себе. Сестра, конечно, все это помнила, но то, что она говорила, было более глубокой правдой. Да, они жили в городе, но то ли слишком много времени в детстве проводили в горах, то ли материнские гены оказались столь сильны, но Зенон и сам так думал уже много лет.

Он думал об этом мучительно. Да, мы не должны были спускаться в долину, а я, думал Зенон, не должен был переезжать в долину долин — в Москву. Но ему и в голову никогда не приходило, что его добродушная, веселая сестра могла хотя бы на минуту задуматься над этой горькой проблемой.

Зенону казалось, что сам он только через свою профессию понял это, но как его сестра пришла к такой же мысли? Неужели болезнь? Нет, она была умницей от природы! Как плохо мы знаем своих близких! Уметь так прожить свою жизнь, чтобы все или почти все окружающие тебя любили, — это

и есть высшая доблесть ума! Ум, подчинявшийся душе, это и есть высший ум. Цель человечества — хороший человек, и никакой другой цели нет и не может быть.

Сколько раз наблюдал Зенон в той среде, где он жил, людей, которые в свой мозг, растянутый, как мочевого пузыря кавказского тамады, впихивали сотни и тысячи книг и умели неплохо о них говорить, но своей ничтожной, неразвитой душой не могли понять смысла человеческого благородства, доброты, темнели от зависти, подло злословили, если их товарищ добивался большего, чем они.

Эти странные люди непрерывно говорили о лучшем будущем страны, но, заметив лучшее настоящее ближнего, бледнели от обиды.

А сестра жила легко, хотя и нелегкой жизнью. Имея свою зарплату учительницы и зарплату мужа, инженера-физика, она все-таки вечно держала учеников — денег не хватало, жизнь в курортном городе особенно дорога. Почти все соседи по дому были более состоятельны, но она никогда не испытывала к ним никакой зависти.

— Каждому свое, — смеялась она, — зато нам воры не страшны.

...Обо всем этом Зенон вспоминал на следующий день после сороковин, когда схлынули гости и он сидел вместе с зятем, его матерью и родственницей в той комнате, где сорок дней тому назад стоял гроб сестры.

Странно, но сейчас находиться в доме сестры было больней, чем тогда, когда она мертвая здесь лежала. Слов-

но мертвая в своем доме она еще чуть-чуть принадлежала своему дому, своему мужу, своему сыну, ну и ему, Зенону, конечно.

А может, дело в том, что теперь, когда он сам уже внутренне не работал, потому что иссякло вдохновение, его духовное зрение полностью совпадало с действительностью, которую он видел как четкий пейзаж в хорошо отрегулированном бинокле. И этот пейзаж означал: в доме сестры нет и никогда не будет сестры.

Уже был вечер. Мерцал экран телевизора, но за картиной следили только женщины — родственница Зенона и мать зятя.

Зенон временами поглядывал на свою родственницу, о которой он когда-то писал, и, как ему казалось, это были хорошие страницы. Поглядывая на модель своего образа и сравнивая их, он чувствовал странное удовлетворение сходством модели с образом, а не наоборот.

В его сознании давно уже оригиналом стал написанный им портрет, но сейчас, глядя на модель, он испытывал поощрительное удовлетворение моделью за то, что она похожа на свой образ, словно она, родственница, кстати, абсолютно не подозревавшая о существовании своего словесного портрета, тем не менее старается быть на него похожим и, несмотря на время, все еще преуспевает в этом.

Однако пора бы ей выглядеть старухой, думал Зенон, глядя на нее. В горной деревушке, еще совсем пацаном, он помнил ее уже цветущей женщиной, беспрерывно, почти еже-

годно рожавшей детей, а сейчас у нее уже были правнуки, но она еще была мало похожа на старуху.

Зато идеальной кавказской старухой выглядела девяностолетняя мать мужа сестры. В черной одежде, с черным платком на голове, она сидела на стуле и неподвижным взглядом смотрела на экран.

Она все еще жила в своем доме в горной деревушке, а два ее сына жили здесь, в городе. Как они ни уговаривали ее переехать в город, она упорно отказывалась, хотя иногда приезжала погостить на день — на два или ее привозили, если она всерьез заболела.

Почти одинокая жизнь старенькой матери в горной деревушке тревожила сыновей, но мать не выносила городской жизни и наотрез отказывалась переехать. Она еще была в силах подоить корову, приготовить себе еду, но на большее ее уже не хватало.

Каждую весну муж сестры ездил в деревню к матери, вспахивал приусадебный участок, засеивал его кукурузой, летом мотыжил, осенью собирал урожай кукурузы и винограда, из которого выдавливал вино. Все это было неудобно, хлопотно, но переупрямить старенькую мать уже и не пытались.

В доме у нее жил приبلудный алкаш. Она с ним кое-как объяснялась по-русски. Когда она прибалывала, он за ней ухаживал, когда он запивал, она за ним приглядывала.

Так они жили уже много лет, но сыновьям было страшно-вато, что внезапная болезнь матери совпадет с запойным состоянием ее постояльца, и было бы горестно и позорно, если

бы мать умерла в одиночестве. Правда, там неподалеку жили еще родственники, и они время от времени приходили проведать старушку, но здесь, в городе, сыновьям было тревожно за нее.

Сейчас старушка внимательно следила за тем, что происходило на экране телевизора. Зенон знал, что она никак не совладает с мыслью, что все происходящее на экране — это некий мираж и люди, действующие и говорящие там, не имеют никакого соприкосновения с квартирой ее сына.

Не подготовленная привычкой смотреть кино, она уже в глубокой старости, приезжая в город из своей деревушки, увлеклась телевизором, то и дело забывая об условности жизни на экране.

Иногда, по логике своего восприятия, она делала забавные замечания по поводу происходящего, а когда ей объясняли, что все это не имеет отношения к ним, глядящим в телевизор, она пристыженно оправдывалась, говоря, что и сама знает об этом.

Сестра как-то рассказывала Зенону, что однажды, когда бабка больная лежала в этой комнате, а она хотела переодеть ее в свежую рубашку, бабка, кивнув на телевизор, сказала:

— Неужто я при таком котоголовом начальнике буду переодеваться?!

— Пришлось выключить! — закончила сестра свой рассказ. Они оба тогда хорошо посмеялись, потому что старушка довольно точно нарисовала портрет известного диктора телевидения.

Лет десять тому назад местный фотокор, очутившись в ее горной деревушке, то ли ко Дню Победы, то ли по вдохновению сделал с нее снимок, на котором она изображена с фотографией сына, убитого во время войны под Севастополем. Снимок получился на редкость удачным и потом был перепечатан московской газетой, и, если верить фотокору, даже за рубежом его перепечатали.

Благородное, удлинненное, морщинистое лицо старушки, скорбно склоненное над фотографией храброго бойца, в самом деле производило сильное впечатление. Оно пронзало чувством длительности, непрерывности, беспредельности материнской боли. Казалось, со дня известия о смерти сына мать взяла в руки эту фотографию и, не выпуская ее из рук, постарела.

Старушка, разумеется, о своем прославленном снимке ничего не знала, а если что-то и слышала, то давно забыла. Но о сыне, погибшем в войну, она говорила всегда. И, словно извиняясь за безутешность свою, она обычно объясняла:

— Если б он хоть кровиночку свою оставил... Мальчишком убили его немцы...

Муж сестры, видно, что-то вспомнив, обернулся к Зенону и, кивнув на мать посветлевшим лицом, сказал:

— Маму молодой я почему-то вспоминаю в связи с черной оспой, которая, кажется, в тридцать третьем году вспыхнула в нашей деревне. Хотя, зная ее возраст, я понимаю, что мама тогда уже была не так молода, но видится она мне из того времени почему-то очень молодой. Может быть, потому, что мне

самому тогда было лет десять. Черную оспу абхазцы именуют Царским Гонцом. Непонятно, когда и откуда пришло это название. Ясно одно — оно из глубокой древности.

Однажды из дома нашего соседа Альяса, жившего повыше нас метров на двести, раздался чей-то голос:

— Эй, слушайте! Царский Гонец пришел в наш дом, Царский Гонец! Передайте людям!

У нас в доме все взрослые выскочили во двор. Отец, мать, братья отца. И мы, детвора, ничего не понимая, побежали следом. По лицам взрослых я чувствовал, что случилось что-то необыкновенное, а что именно, не знал. Слова «царский гонец» для меня звучали нелепо. Что-то вроде слов из детской сказки. Лица взрослых окаменели, выражая ужас, тревогу, внимание. Они вслушивались в голос оттуда.

— Что случилось, мама, что? — приставал я к матери, дергая ее за рукав.

— Тише, — отмахивалась она. — Дай послушать!

Оказалось, что сам хозяин дома Альяс заболел черной оспой. Отец закричал в ответ на голос оттуда, что сейчас же оседлает свою лошадь, чтобы известить о случившемся в соседнем селе.

— Кого, кого он должен известить, — спросил я, — родственников?

Я чувствовал волнение взрослых, отчасти сам проникся им, но, конечно, не понимал, что наступает великая стихия зла, а не просто болезнь, постигшая хозяина соседского дома.

— Нет, — сказала мама, — Царский Гонец — это страшная болезнь. Но человек, переболевший ею, если выживает, уже не может заразиться этой болезнью. Поэтому переболевшие Царским Гонцом приходят ухаживать за больным, чтобы домашние к нему не подходили и не заражались... Скоро они начнут прибывать...

Тут раздались голоса соседей, живших пониже нас. Они почувствовали какую-то особую тревогу в нашей переключке с домом Альяса и спрашивали, что случилось. Отец ответил им и, назвав село, в которое он едет, посоветовал ехать с этой черной вестью в другое село.

Потом он поймал свою лошадь, она случайно паслась возле самого нашего дома, и, надев на нее уздечку, ввел во двор...

Тут рассказ был прерван появлением сына сестры. Он пришел из кухни, где сидел и читал книгу. Он был такой же большой, как отец, но разрез глаз и разлет бровей — материнские. Отец взглянул на сына и с какой-то странной озабоченностью вдруг спросил:

— Мама пришла с работы?

Сын пожал плечами и, посмотрев на отца с грустным недоумением, молча придвинул себе стул, уселся на него верхом и, опершись подбородком на спинку, уставился в телевизор.

— Ха, — смущенно хмыкнул отец и, взглянув на Зенона, сказал: — Никак не могу привыкнуть... Уже несколько раз так спрашивал. Обычно она в это время приходила с работы... Да-а... Ну, так вот... На следующий день отец вернулся

из соседней деревни, где рассказал о случившемся в доме Альяса. Я понял, что вот так по цепочке весть о том, что у нас появился Царский Гонец, будет передаваться из деревни в деревню.

Мать строго-настрого запретила мне подходить к дому Альяса без сопровождения взрослых, но я не выдержал и через два дня украдкой подошел к его усадьбе. Человек десять незнакомых мне людей с лицами рябыми, как я догадался, от оспы, ходили по двору и почему-то очень громко, словно сквозь бурю случившегося, переговаривались. Двое или трое, стоя посреди двора, сжигали какую-то ветошь и домашнюю рухлядь. Мне показалось, что языки пламени, то захлебываясь от бессилия, то яростно вздымаясь, пожирают зараженные вещи. Остальные тащили из ближайшего леса заостренные колья и вязанки свежих, очищенных от листьев ветвей рододендрона.

— Для чего это они? — спросил я у охотника Щаадата, который, как и я, стоял возле усадьбы и следил за тем, что происходит во дворе.

— Они хотят обнести усадьбу новым плетнем, — сказал Щаадат.

— Почему новым, — спросил я, — а старый что, будут сносить?

— Не в этом дело, — сказал охотник Щаадат, — новый плетень должен быть такой густой, чтобы даже мышка из усадьбы в деревню не могла пронести Царского Гонца... А старый плетень трогать незачем... Вон видишь дом Эсната?

Дом Эснага стоял прямо над домом Альяса выше по горе. Я хорошо знал этот дом, бывал там.

— Конечно, — говорю, — я там бывал много раз.

— Так вот, — сказал охотник Щаадат, — сейчас там никто не живет.

— Перемерли от Царского Гонца?! — ужаснулся я, одновременно удивляясь, что нас об этом не уведомили.

— Нет, — сказал Щаадат, — им велели переселиться к родственникам. Они могут заразиться, потому что на их дом ветер задувает со стороны дома Альяса.

— Они навсегда переселились? — спросил я.

— Нет, — сказал Щаадат, — если Альяс умрет и больше никто не заразится в доме или если он выздоровеет, они вернутся в свой дом. А всех домашних Альяса и тех, кто пришли навещать его, когда бывалый человек распознал его болезнь, не выпустят из дому, пока не убедятся, что они не заразились от Альяса.

Этот охотник Щаадат был удивительным человеком. Он обладал сверхъестественным чутьем на добычу. Он во сне видел место, где пасется его будущий охотничий трофей. И он по древнему абхазскому обычаю, который теперь уже почти никто не знает, никогда во время охоты не убивал больше одного травоядного животного, даже если набредал на стадо. У него...

На этом месте сын неожиданно прервал рассказ отца. Он, видно, слушал его, хотя и не отрывался от телевизора.

— Папа, что у тебя за привычка, — раздраженно обернулся он на отца, — вечно ты начинаешь рассказывать про одно, а потом тебя заносит совсем в другую сторону?!

— Да! — кивнул отец и с некоторым смущением взглянул на Зенона, сидевшего рядом на диване. — Его мать тоже за это часто меня ругала. Я как-то увлекаюсь подробностями и захожу в какие-то никому не нужные дебри... Его мать тоже меня часто упрекала в этом...

Было похоже, что он с удовольствием повторил эти слова. На самом деле, по мнению Зенона, упрекать его было не в чем. Он был прирожденным рассказчиком, и ветвистость его рассказов только подчеркивала подлинность самого древа жизни, которое он описывал.

Раньше Зенон, слушая его рассказы и оценивая их внутренний талант, пытался, как, впрочем, и всех рассказчиков подобного рода, уговорить его писать самому. Не чувство приоритета двигало им, ему было наплевать на этот приоритет, а чувство долга перед искусством толкало его на это. Он считал аморальным упускать хотя бы один шанс из ста, если этот рассказчик потенциально способен сам описать свои впечатления лучше него.

Впрочем, никогда из этого ничего путного не получалось. Те, что умели хорошо рассказывать, так и не попытались записать свои рассказы, несмотря на его уговоры. А те, что сами что-то писали и приходили к нему со своими писаниями, никогда не были хорошими рассказчиками. По-видимому, дар устного рассказчика самоосуществляется в устном рассказе, и у нормального носителя этого дара просто не возникает потребности повторяться на бумаге.

— Так что же все-таки случилось с охотником Щаадатом? — спросил Зенон. Он кое-что и раньше слышал об этом прославленном охотнике и хотел знать о нем побольше.

— Несчастный случай после войны, — неуверенно начал муж сестры, видимо, все еще смущаясь замечанием сына, но постепенно (дар!) голос его становился уверенней. — Щаадат, видимо, обладал необычайно хрупкой душевной организацией... Его охотничье ясновиденье, вероятно, тоже как-то было связано с этой хрупкой душевной организацией.

Я уже говорил, что он, в согласии с древнейшими нашими охотничьими обычаями, никогда не убивал больше одной козули, серны или тура, даже если набредал на стадо.

И вот после войны, когда он со своими товарищами-пастухами жил на альпийских лугах, к ним погостить и поохотиться приехал то ли родственник, то ли знакомый... Уж не помню кто... Да это и неважно...

Важно, что он был негодяй. И вот этот негодяй во время охотничьей вылазки набрел на стадо коз в девять голов. Они паслись в таком месте, где с одной стороны была пропасть, а с другой стороны он перегородил единственный выход. Одну за другой, спокойно перезаряжая винтовку, он убил все девять коз, заматавшихся, обезумев от страха, на узкой лужайке.

Мало этого. Видимо, решив, по своему разумению, подшутить над старым охотником и его правилами охоты, он, не предупредив о содеянном, привел Щаадата на место своего палачества.

— Что ты наделал?! — говорят, вскричал старый охотник, увидев груду наваленных друг на друга косуль, и упал без сознания.

Охотник-убийца, испугавшись, побежал за остальными пастухами. Через пару часов те пришли и привели Щаадата в чувство. То ли от долгого лежания на мокрой альпийской траве, то ли еще от чего, но Щаадата всю ночь колодил озноб, и он никак не мог согреться у костра. А потом через некоторое время он заболел чахоткой и умер. Вот так, брат...

Он замолк, о чем-то задумавшись и рассеянно поглядывая на телевизор. Потом взглянул на мать и, отключившись от своих мыслей, усмешливо кивнул Зенону. Старушка, глядя на экран, что-то вполголоса бормотала. На экране по ходу сюжета герои лупили друг друга.

— Идите, идите отсюда, — бормотала старушка по-абхазски, — пришли в дом моего сына и свалку тут устраивают... Бесстыжие... Если ты пришел в гости, так и держись как гость...

— Да нет их здесь! — вскричала родственница Зенона. — Это только кажется, что они здесь! На самом деле они в Москве! В Москве!

Она теперь жила не в горной деревушке, а в долинном селе, где давно приспособилась к телевизору.

— Знаю, знаю, — вздрогнула старушка от ее зычного голоса.

— ...Так вот, — взглянув на Зенона и взглядом напоминая, что он возвращается к основному руслу рассказа, зять про-

должал, — через два дня после моего похода к дому Альяса отец сказал: «Сегодня наша очередь кормить гостей».

Оказывается, соседи по очереди каждый день приносили еду в дом Альяса. Мама зарезала четырех кур, поджарила их, напекла десяток хачапури, уложила все это в корзину, и мы пошли к дому Альяса. Мне почему-то особенно ярко видится этот солнечный день. Мы с мамой поднимаемся по каменистой горной тропке. Движения мамы легкие, гибкие, она явно взволнована, может быть, самой своей миссией милосердия, может быть, потому, что должна там встретиться и говорить с чужими, незнакомыми людьми. И я, мальчишка, чувствуя ее смущение, а сам этого смущения не чувствую, потому что уже был там, кажусь самому себе старше, а мама мне кажется моложе, чем она есть.

И вдруг чудо! Новенький плетень метров на десять снаружи от старого плетня окружает большой приусадебный участок Альяса. Он почти готов. С противоположной стороны оставалось еще небольшое неогороженное пространство, и там возилось несколько человек, всаживая в землю колья и плотно оплетая их свежими ветками рододендрона. Ограда плетня сходилась к новеньким воротцам с длинной выдвинутой кормушкой.

Когда мы поднялись к воротцам, вслед за нами по другой тропе подошли три человека с лицами, истыканными оспой. Сколько же их в Абхазии, удивляясь, подумал я тогда. До этого я не видел ни одного человека с лицом, подпорченным оспой.

— Хватит, хватит людей! — крикнул один из возившихся возле плетня и направился к нам.

Мама аккуратно выложила из корзины в кормушку свои приношения.

— Как больной? — спросила она, когда человек, приближавшийся к нам, подошел к воротам.

— Пока плохо, — сказал он громко и, потянув на себя кормушку, взял в руки выложенных мамой кур и хачапури, — день и ночь елозит! Волдыри пошли по телу! Сегодня выкупали его в кислом молоке... Может, полегчает...

— Выходит, мы не нужны? — спросил один из тех, что стоял рядом с нами. Я заметил, что у него лицо особенно попорчено оспой. Мне подумалось, что он от этого считает себя самым большим знатоком болезни. Но стоявший по ту сторону ворот не обратил на это внимания.

— Спасибо, уважаемые, от имени родственников! Спасибо, уважаемые, от имени нашего народа! — вдруг закричал он, придерживая руками хачапури и кур. — Спокойно идите по домам! Людей хватает!

Он повернулся и неуклюже, боясь, что наши приношения вывалятся у него из рук, двинулся к дому. Мы с мамой тоже пошли к себе.

В течение месяца мы еще несколько раз приносили еду, и, когда больной наконец выздоровел и никто из домашних не заразился, бригада помощников разъехалась по домам. Так вспышка черной оспы была раздавлена в своем очаге. Народная санитария победила.

Зенон, слушая рассказ зятя, тоже очень ясно представил себе тот далекий солнечный день, когда эта вот старенькая старушка была еще молодой, крепкой женщиной, а муж сестры был мальчонкой (или это был сам Зенон?), и они легко и быстро подымались по горной тропе, чтобы накормить народных санитаров, ухаживающих за больным и защищавших деревушку, а может, и всю Абхазию от нашествия Царского Гонца.

Далекий, могучий поток народной жизни остужающим дуновением коснулся одинокой, болящей души Зенона. Недаром, думал он, люди веками хранили и воспитывали в своих детях мистическое уважение и любовь к этому понятию — народ.

Народ — это вечно живой храм личности, думал Зенон, это единственное море, куда мы можем бросить бутылку с запиской о нашей жизни, и она рано или поздно дойдет. Другого моря у нас не было, нет и не будет.

...Через некоторое время все перешли на кухню ужинать. Во время ужина родственница Зенона вдруг посмотрела на него обиженными глазами и сказала:

— Купил бы мне сапоги... Смотри, в каких туфлях я хожу... Подошва тонкая, а у меня ревматизма...

— Ох, тетушка, — ответил Зенон, — я так не люблю этими делами заниматься...

— А зачем тебе заниматься? — удивилась она. — Ты дай мне денег, я сама и куплю.

В той среде, где он жил, Зенон краем уха слышал, что женские сапоги стоят полтора ста рублей. Или сто? Сто он мог

дать ей, но больше не мог, потому что на обратный билет не хватило бы.

— А сколько они стоят? — спросил он у нее.

— Так тридцать! — воскликнула она, как бы удивляясь его неосведомленности или наивности способа, каким он хочет отделаться от нее.

Зенон дал ей денег, и она удовлетворенно, но и без особой суеты благодарности положила их к себе в кошелек. Точнее говоря, вообще никакой суеты благодарности не было.

Когда пришло время ложиться, матери зятя и Зенону постелили в большой комнате, где стоял телевизор. Его выключили, потом погасили свет, и в полумгле бледнела стеклянная дверь, ведущая в лоджию. Из соседней квартиры доносилось погромыхивание телевизора.

— Отсюда их прогнали, — пробормотала старушка, укладываясь, — так они на балконе беснуются... Сердятся, что их прогнали... Пожалей нас, Господи! Сохрани детей моих и внуков!

Старушка притихла. Балконная дверь светилась бледным, печальным светом. Вот и все, подумал Зенон, завтра надо лететь обратно и заниматься своим делом. И вдруг он подумал: всю жизнь, всю жизнь положил на это дело, пытаясь делать его хорошо, и, может, от этого матери недодано, сестре недодано, и теперь их нет и никогда не будет, и нечем отблагодарить за их чистую, самоотверженную жизнь.

Проклятый год! Он унес брата, маму, сестру. Зенон вдруг заплакал обильными, беззвучными, сладким отчая-

нием утоляющими душу слезами. Зенон почти никогда в жизни не плакал, а так только в раннем детстве. Он никогда не думал, что жесткую корку жизни можно смягчить слезами. И теперь он плакал за все те времена, когда удерживался от слез, плакал за всех близких сразу, но волнами набегали отдельные слезы брату, отдельные слезы маме, отдельные слезы сестре и отдельные слезы собственной жизни.

И когда слезы стали иссякать, как камни на дне обмелевшего ручья высунулись мысли. Ну что ж, подумал Зенон, чем больше любимых там, тем смелей мы обращаемся со своей жизнью здесь. Он подумал: скорбь есть самое последнее, самое успокоительное гнездо человека в этом мире, потому что это гнездо никто не может разорить.

Мысли одна за другой легкой вереницей проходили в голове. Оказывается, слезы, подумал Зенон, лучшая оросительная система для выращивания мыслей. Но мысль становится мыслью только тогда, когда что-то отсекает. И потому на самой прекрасной мысли можно нащупать уродский след отсекновения и, в конечном итоге, неполноты. В слезах нет этой неполноты, и потому слезы выше мыслей, честнее мыслей. Слезы и есть знак полноты, они идут от переполненности, а переполненность и есть лучшее доказательство полноты... С этой мыслью Зенон уснул.

На следующий день приятель, приехавший, чтобы увезти его в аэропорт, сказал, что у школьного товарища Зенона внезапно в больнице умер отец.

Это был солнечный старик с ясной, веселой головой. Уже после окончания института, живя в родном городе, Зенон частенько захаживал к школьному другу, и старик охотно проводил с ними вечера за выпивкой, спорами, шутками и даже шутливыми ухаживаниями за их девушками.

Зенон вдруг отчетливо, словно все это происходило вчера, вспомнил слова старика на одной вечеринке у школьного товарища.

— Крепче прижми ее! — азартно крикнул старик под общий смех, обращаясь к Зенону, танцевавшему с любимой девушкой.

Странно, подумал Зенон, что я в Москве почти никогда о ней не вспоминаю. Словно все, что было тогда, осталось на том берегу жизни. И сейчас Зенон, вспомнив, вернее, услышав тот давний возглас старика, подумал, что возглас его был провидческим.

Как будто Зенон не танцевал со своей девушкой, а входил с нею в реку, а старик, перекрикивая шум потока, предупреждал, что ее может смыть течением... Впрочем, никто ничего не знает.

Школьный товарищ жил на улице, где проходило детство Зенона, и многие там все еще его помнили. Ему всегда как-то стыдно было, приезжая в родной город, заходить на улицу детства. Он как-то никогда не мог взбодрить ее обитателей не только общим выражением счастья на лице, но даже хотя бы выражением частых удач. И хотя удачи были и успехи были, но как-то сама личность Зенона, его лицо и одежда не храни-

ли следов этих успехов и удач. Улица хотя и доброжелательно здоровалась с ним, улыбалась ему, но все-таки, провожая его взглядом, как бы говорила: «А стоило ли так далеко уезжать, чтобы приехать с таким лицом?»

Вероятно, думал Зенон, каждый, кто всерьез берется за перо, осознанно или неосознанно обещает сделать людей счастливыми. И вот человек пишет и пишет, проходят годы, он приезжает в родные места и тут-то спохватывается, что никого не осчастливил. В родных местах это хорошо видно.

И хотя люди, которых он хотел осчастливить своим творчеством, ничего такого и не ожидали от него, но, глядя на его лицо с явными следами смущенной неплатежеспособности, смутно догадываются, что им чего-то было обещано, но обещание оказалось шарлатански несбыточным.

В общем, тут была какая-то хроническая неловкость. Поэтому, когда машина остановилась возле дома школьного товарища, Зенон выскочил из нее и, кивая соседям, быстро, не давая им как следует взглянуть в свое лицо, даже как бы зачадрив его траурной целеустремленностью, вошел в дом товарища, чтобы перед отлетом выразить ему соболезнование.

Увидев его, товарищ разрыдался, явно вспоминая их далекие, милые вечера. Зенон обнял его, трясущегося от рыданий, прижал к себе и постарался успокоить. Через несколько минут тот немного успокоился, достал платок, тщательно вытер им глаза и вдруг, приосанившись, сказал Зенону с интонацией самоутешения:

— У тебя трое умерло, а у меня все-таки один...

Как он был хорош, подумал Зенон, когда рыдал у меня на груди, и как стал жалок и беден, когда попытался при помощи логики себя утешить. Не чувствуя никакой личной обиды, Зенон попрощался с этим несчастным человеком и уехал в аэропорт.

29. большой день большого дома

Середина лета 1912 года.

В жаркий солнечный день во дворе Большого Дома под сенью яблони на овечьей шкуре сидела двенадцатилетняя Кама и кормила своего племянника Кемальчика.

У подножия яблони на деревянной колоде сидел ее самый старший брат Сандро и рассказывал своему гостю веселые истории из своей еще совсем молодой жизни.

Этот гость здесь появился случайно. Он шел из села Наа в Чегем к своим родственникам. Сандро от нечего делать перехватил его на верхнечегемской дороге, обещав угостить хорошим обедом, как только придут русские геологи, которых он ожидал. В ожидании геологов, которые все не приходили, Сандро угощал его своими байками. Гость тоже пытался поделиться своим жизненным опытом, но Сандро после первых же попыток подавил гостя, то и дело приговаривая:

— Да это что! Вот ты послушай, что со мной было!

Кормя младенца, Кама прислушивалась к веселым историям своего брата. Но больше, чем эти веселые истории, ее

смешило то, что гость брата из вежливости начинал смеяться раньше, чем надо было смеяться. Очень уж он боялся прозевать место, где надо смеяться, и это было смешнее всего. Кама, кажется, не без оснований, находила этого неведомого гостя туповатым.

Она держала в руке миску с тюрей из кислого молока, куда накрошила чурек и ломтики свежего огурца. Рот малыша сначала охотно разевался навстречу костяной ложке, а потом Кемальчик стал все ленивей открывать его, рассеянно озирая двор своими большими черными глазами, время от времени пытаясь выплюнуть изо рта кусочки огурца, но девочка ловко заталкивала их назад. Наконец малыш сердито замотал головой и сказал:

— Не хоцу!

Кама доела за ним тюрю, похрустывая ломтиками огурчика, тщательно выскребла ложкой стенки миски, потом встала и, выйдя из-под тени яблони, пошла в сторону кухни.

Легкая, в цветастом ситцевом платье с короткими рукавами, она шла через двор, бесшумно переступая длинными босыми ногами по горячей траве. Толстые светлые косы со смешной, как бы девичьей солидностью лежали на ее худой, детской спине. У самой кухни она обернулась и, с улыбкой взглянув на малыша своими широко расставленными большими сине-зелеными глазами, погрозила ему ложкой. Кемальчик понял, что она имела в виду, и лукаво улыбнулся ей в ответ.

Под сенью той же яблони к колышку была привязана наседка. Вокруг нее роились желто-пушистые цыплята. Они си-

ротливо попискивали, время от времени равнодушно покле- вывая рассыпанную вокруг колышек муку, и, приподняв го- лову, вдруг задумывались, словно пытаюсь вспомнить и срав- нить свою недавнюю жизнь внутри яйца с этой земной жиз- нью. Кемальчик уже несколько раз подбегал к ним, пытаюсь схватить солнечный комочек цыпленка, что сильно не нрави- лось наседке, и она могла больно клюнуть его, если б Кама не успевала подхватить малыша. Вот Кама и грозила ему сейчас, чтобы он сидел на месте и не вставал.

На длинной веранде, соединяющей кухню с горницей, за ткацким станком в своей неизменной черной одежде си- дела бабушка Камы и ткала холст. Одной рукой она ловко прокидывала щелкающий катушкой челнок сквозь лучис- то разлетающиеся нити основы и ловила его другой. При- шлепнув прокинутую уточную нить рамкой батана, она пе- рекидывала челнок в обратную сторону и снова прише- пывала нить.

Рядом с бабушкой на низенькой скамейке сидел Навей, тринадцатилетний брат Камы. Он громко, во весь голос читал русскую книгу. Чувствовалось, что мальчику доставляет удо- вольствие не только содержание книги, но и сами звуки этой странной и такой приятной для него русской речи. Чтобы усилить для себя эту странную приятность, он старался чи- тать как можно громче.

Он был единственным сыном Хабуга, который учился в школе. Так как в те времена в Чегеме школы не было, он учился в селе Анхара, где жил у своей старшей сестры. Кста-

ти, именно сына этой сестры уже больше месяца нянчила Кама. Сестра заболела малярией, за мальчиком не то что некому было смотреть, а просто сестра решила, что ребенку в летнюю жару будет лучше пожить в горах, да и от лихорадки подальше.

Навей читал книгу «Робинзон Крузо», сочиненную Даниэлем Дефое. Так в те времена произносилось название книги и имя ее автора. Прочитав несколько страниц, мальчик по-абхазски пересказывал бабке их содержание. Но бабушка, хоть и внимательно слушала его, однако пользовалась каждым случаем, чтобы уличить Робинзона в глупостях и противоречиях. Она никак не могла ему простить, что он покинул дом и родину вопреки воле отца.

Кама вошла в кухню, показавшуюся ей темной, несмотря на яркий очажный огонь. Она поставила на стол миску с ложкой. Мать сидела на низенькой скамейке у очага. Ее полное, доброе лицо было озарено огнем костра.

Прокручивая мешалку между ладонями, она размалывала в котелке разбухшие зерна фасолевого похлебки. Услышав шаги Камы, она подняла голову и, не переставая прокручивать мешалку между ладонями, с улыбкой кивнула в сторону веранды:

— Слышь, как брат твой расчитался! Прямо мулла. Русский мулла. Я одного взять в толк не могу, как они там в школе круглый год так горланят, а учитель не сходит с ума? Или он, как мельник, привыкает к шуму?

— Не знаю, — сказала Кама и повернулась к выходу.

— Бабке-то хорошо, — посмеиваясь, зачем-то бросила вслед ей мать, — она глуховатая.

Кама вернулась под сень яблони и шлепнулась рядом с племянником. Сандро и его гость, говорившие до этого о чем-то, внезапно замолкли. Со стороны приусадебного поля стало слышно, как время от времени мотыги звякают, натываясь на камушки в пахоте.

Там отец Камы с тремя сыновьями мотыжил кукурузу. Когда одна из мотыг звякнула особенно громко, Сандро вдруг приподнял голову и посмотрел в ту сторону, откуда доносился звук. Казалось, он силится понять, не укоряет ли его этот звук в том, что он тут расслаживается в тени, когда братья и отец работают. Через мгновение, словно решив: нет, не укоряет! — он заговорил со своим гостем.

Так Кама поняла смысл выражения его лица, и, улыбнувшись этому смыслу, принялась играть с Кемальчиком. Малыш едва-едва начал говорить. Игра заключалась в том, что Кама называла какую-нибудь часть тела, а Кемальчик ее показывал.

Некоторые жесты его так ее смешили, что она с хохотом валилась на шкуру. Один раз Сандро взглянул на ее хохочущее лицо, как бы удивляясь, что в его присутствии люди могут находить другой, независимый от него источник юмора. Кама это почувствовала, и ей стало еще смешней.

— Ну, а теперь покажи, где твои ноги? — спросила она у Кемальчика.

Малыш услужливо показал на ступни своих босых ножек. Кама ужасно смешило, что он именно ступни считает ногами. Но самое смешное было впереди.

— А теперь покажи живот. Где живот?

Малыш охотно задрал рубашонку, пыхтя и стараясь рассмотреть пупок, он выискал его ладонью и показал. Так бывало всегда!

Кама запрокинулась от хохота. Ее хохот почему-то возбудил Кемальчика, он вскочил со skóry, подбежал к гостю Сандро и задал ему свой любимый вопрос:

— Ты купался?

Гость неуверенно пожал плечами. Было похоже, что он насторожился, ожидая более определенных оскорблений.

— Ты купался? — опять спросил малыш, весело глядя на гостя. Кама корчилась от сдерживаемого смеха и даже прикрыла рукой свои широко расставленные глаза, чтобы не смущать гостя смеющимся взглядом.

— Да, да, — наконец сказал гость шутивым тоном, показавшимся Каме несколько вымученным, — я всегда купаюсь, когда еду куда-нибудь.

То ли потому, что малыш знал, что гость не приехал, а пришел, то ли еще по какой-то причине, но ответ гостя его явно не удовлетворил. Он снова задал ему тот же вопрос, на этот раз, видимо, рассчитывая на более доходчивую форму, несколько видоизменив его:

— Ты купатый?

Гость слегка помрачнел, но тут Кама подхватила Кемальчика и поволокла его к себе на овечью шкуру.

— Ты купатый?! — еще раз восторженно успел бросить малыш, дрыгаясь в руках у Камы и оборачиваясь на гостя.

— Он сам очень не любит купаться, — сказал Сандро, — потому у всех и спрашивает об этом.

— Ах, вот в чем дело! — приподымая брови, удивился гость, словно радуясь, что никто в этом доме всерьез не интересуется степенью его чистоплотности.

Сандро стал рассказывать о том, как и где застиг его Большой Снег. В прошлом году в Абхазии выпал неслыханный снег, который в некоторых районах покрыл землю до уровня крыш и даже выше. К счастью, он держался несколько дней, а потом растаял.

Тогда еще никто не знал, что Большой Снег станет для абхазцев летоисчислением двадцатого века и люди с тех пор будут говорить, что такое событие произошло за столько-то лет до или после Большого Снега. И до сих пор еще так говорят и, может статься, до конца двадцатого века будут так говорить, если ему, веку, вообще дадут кончиться.

— В тот день, — начал Сандро, — мы выехали с другом верхом из Кенгурска в Чегем. Вечер нас застал в пути. Как только стемнело, повалил такой снег, что через два часа он уже был лошадям по брюхо. Вскоре лошади выбились из сил, и мы поочередно сами торили им дорогу. В это время мы проходили Богом проклятое село Мамыш. Рядом мелькнул огонек дома.

— Эй, хозяин! — крикнул я изо всех сил.

Только я крикнул, как свет в доме погас, мол, спим и ничего не слышим. Но мой голос и мертвеца разбудил бы. Мамышцы, они такие. На гостя смотрят, как на волка. Правда, там скрещения дорог и слишком многие путники просят на ночлег. Да редко кто допросится. Уж мы, во всяком случае, так и не допросились. Еще домов пять попадалось нам на пути, но только я окликну хозяина, как свет в доме пух! — вроде я голосом сдуваю его.

Так и не добившись ночлега, мы прошли этот распроклятый Мамыш. А уже снег по грудь, и нет сил плечом продавливать тропу. Но что интересно — только вступили в Джгерды, как в первом же доме, хотя там и не горел свет, на мой окрик «Хозяин!» — сразу же отозвались. Мы с трудом отвалили ворота и стали пробиваться к дому

— Что за чудо вы с собой привезли! — крикнул хозяин, заметив с веранды, сколько снега навалило. Видно, он с вечера не выходил из дому, и ничего не знал. А снег все валит. Кажется, небо искрошилось дотла и падает на землю.

— Эй, — крикнул хозяин жене, — вставай, гости! — И нам уже с крыльца: — Бросайте лошадей и пробивайтесь на кухню! Сейчас наладим вам огонь и ужин!

Он взял у нас поводья и скрылся за белой пеленой. Отвел лошадей в конюшню. Мы добрались до кухни. Через час мы высушились у огня и поужинали. Мы так устали, что уснули мертвым сном и спали до следующего полудня.

Дом уже был завален по крышу. Но я ничего не знал. Утром выхожу на веранду и вижу — белая стена, а в ней прорыта тропа до колодца.

Сквозь этот проход я увидел соседский дом, стоявший на холме. Вернее, не увидел, а догадался, что это дом. Из оттаявшего дымохода шел дым, а рядом с дымоходом лежала большая рыжая собака и грелась.

— Никуда вы не поедете! — крикнул хозяин из кухни, — еды у нас, с Божьей помощью, хватает! Лошадям вашим я навалил кукурузной соломы, а вино в сарае. Там кувшины зарыты. Помогите мне пробить тропу, а потом мы засядем и будем пить от души. Или снег нас раздавит, или мы его перепьем!

Славный человек! Мы, конечно, с другом помогли ему. К хорошему вину я не то что сквозь снег, сквозь землю проруюсь. А все же часа три проковырялись, пока дошли до сарая. Потом и с крыш сгребли снег. Три дня пролетело между стаканами. Снег тает, а мы пьем. Мы пьем, а снег тает.

Оказывается, лучшего в мире удовольствия нет, как во время Большого Снега сидеть в теплой кухне перед гудящим огнем и, потягивая хорошее вино, дожидаться погоды. Мне даже показалось, что снег слишком быстро растаял. Мог бы еще полежать...

Тут гость вовремя рассмеялся и решил рассказать, где и как он пережил Большой Снег. Но Сандро, слушая гостя, окидывал его таким снисходительным взглядом, словно хотел сказать, что Большой Снег гостя уж явно был поменьше его Большого Снега. И гость от этого взгляда скучнел и как-то сбивался.

Рассказ гостя Каме показался неинтересным, и она, лежа на спине с Кемальчиком, сидящим на ней верхом, прислушалась к голосу брата, доносящемуся с веранды.

Оказывается, Робинзон на своем острове внезапно заболел лихорадкой, испугался, стал каяться в непослушании отцу и попытался лечиться водкой, сделав настойку из табачных листьев. Навей довольно правильно догадался, что ром это нечто вроде водки.

— А-а-а, — язвительно проговорила бабушка и, придерживав челнок в правой руке, взглянула на внука: — Как подперло, так вспомнил отца! А когда отец учил его уму-разуму — не слушался. Так оно и бывает! Запомни! Хороший человек стареется жить и умереть там, где он родился. Нехороший человек твой Робинзон!

— Бабушка, — воскликнул внук, — если ты будешь так говорить, я тебе ничего не стану рассказывать!

— Читай и рассказывай! Мне бы только узнать, чем это все кончится, иначе бы я и слушать про твоего Робинзона не стала. Он даже не знает, что во время лихорадки надо пить водку с перцем, а не совать туда табачные листья. Дуралей он и есть дуралей! Нечего заступаться за него! Лучше принеси мне из кухни огня!

Она взяла со скамейки, стоявшей рядом, трубку с длинным мундштуком и, когда внук принес из кухни небольшую головешку, прикурила от нее и, с удовольствием распрямив спину, потягивая дым, оглядела двор. Навей отнес головешку в кухню и зашвырнул ее в очаг. Вернувшись, он поудобней уселся на своей скамейке и положил книгу на колени.

— Талдычь дальше! — сказала бабка, не глядя на внука. Мальчику было неприятно слышать такие слова, но он смол-

чал. Ему почему-то нужен был слушатель, хоть и не понимающий русского языка, но все-таки слушатель. Бабка осторожно положила на скамейку дымящуюся трубку и взялась за челнок, под шелканье которого Навей продолжил чтение, все больше и больше воодушевляясь от собственного голоса.

Братья на приусадебном поле затянули песню. Сандро внимательно прислушался к ним, всем своим видом показывая, что он и не собирался ограничивать свою любовь к пению знанием только застольных мелодий.

— Иса слегка подвирает, — признался Сандро гостю, продолжая прислушиваться и в то же время как бы приоткрывая ему, как близкому человеку, некоторые семейные тайны, — а Кязым у нас ушастый. Он не только наши песни поет, но и грузинские, и мингрельские, и греческие песни. Он даже эндурские песни поет, хотя никто его об этом не просит. Но он ушастый! Все, что ни услышит, так и застревает там. А бедняга Иса всегда подвирает...

— Это от природы, — уныло согласился гость, почему-то стыдясь признаться, что он вообще никакого Ису не знает, и ушастость Кязыма ему совершенно ни к чему, и непонятно, зачем он здесь сидит в ожидании каких-то геологов, когда уже давно мог пообедать в доме у своих родственников.

В это время мать Камы вышла из кухни, неся в переднике кукурузу.

— Цып! Цып! Цып! — раздался ее голос. Озаренная солнцем, полная, уютная, она стояла посреди зеленого двора в своем сером домотканом платье, и со всех сторон к ней бе-

жали куры, петухи, поспешали, как бы стесняясь своей тяжелой неловкости, индюки.

Золотистые горсти кукурузы, просверкнув на солнце, падали в гущу вхохчущих птиц. В птичьем хозяйстве Большого Дома было два карликовых петуха и две карликовые курицы. Карликовые петухи, ростом не больше цыпленка, были такие злые и отчаянные, что большие петухи всегда отступали перед ними.

Вот и сейчас карликовый петух, озлившись на большого рыжего петуха, отогнал его в сторону. Каме было смешно видеть, как большой петух улепетывает от карликового петушка.

Наверное, маленькие петушки такие злые оттого, что они маленькие, подумала Кама. Она попыталась сопоставить жизнь петухов с жизнью взрослых людей, но не смогла, потому что в их роду не было людей маленького роста. Правда, отец был маленьким, но он не был злым, он только не любил лентяев. И потом отец был сильным. Так что его можно было считать и не маленьким.

Наседка, до этого дремавшая, прикрыв крыльями всех своих цыплят, сейчас, услышав гомон кур и поняв, что хозяйка их кормит, привстала, как бы с трудом вспоминая свое прошлое обычной курицы и не вполне понимая, почему ее сейчас держат привязанной к колышку. Цыплята стали с писком выбегать из-под нее, рассеянно поклевывая муку и внезапно сиротливо задумываясь, словно так и не могли решить, где им было лучше, внутри яйца или здесь, на земле.

Когда все цыплята выскочили из-под курицы, наседка перестала вытягивать голову в сторону гомонящих птиц, возможно, наконец поняв, почему она здесь привязана, и, как бы осознавая, что и в этом ее положении есть свои преимущества, стала спокойно клевать муку.

Кама никак не могла понять, каким образом наседка ухитряется спрятать под своими крыльями целых пятнадцать цыплят. Это же надо! Сначала некоторые цыплята взгромождались на курицу, другие прямо лезли под крылья, неловко толклись там, попискивая, но потом постепенно все успокаивались.

Те, что сидели верхом на курице, соскальзывали с нее и тоже лезли под крылья. И сперва казалось невозможным, чтобы все цыплята уместились под наседкой, но она, пошевеливая растопыренными крыльями, находила для них все новые и новые места и наконец полностью укрывала всех, словно и не было никого, и только временами доносилось из-под нее сонное попискивание.

Вот и сейчас цыплята, вяло порезвившись на воле, снова полезли под крылья матери. Каждый раз видя, как цыплята один за другим исчезают под теплыми крыльями наседки, Кама чувствовала, что на ее глазах произошло необъяснимое чудо.

Она еще не понимала, что в мире нет ничего вместительней крыльев любви. Но и не понимая, она и сейчас при виде наседки, на ее глазах укрывшей под крыльями всех цыплят, ощутила восторг, как бы предчувствие праздника жизни.

Восторг этот требовал какого-то выхода, и она, схватив малыша, стала целовать сочную темень его больших глаз, припухлые веки, крепкие щеки, очаровательные ушки. Кемальчик, ничуть не разделяя ее восторга, пыхтел, сердился, отбивался ручонками.

Неизвестно, сколько бы она еще тискала малыша, но взгляд ее случайно встретился с насмешливым взглядом Сандро, и сердце у нее ёкнуло. Сейчас дразнить будет, испуганно подумала Кама. Да еще при чужом человеке!

Он ее уже подразнивал из-за того, что она так привязалась к малышу. И каждый раз он говорил одно и то же. И каждый раз это кончалось слезами. И она никак не могла понять, откуда берутся слезы, откуда горечь обиды — ведь она знала, что все, что он говорит, — глупая выдумка!

И на этот раз Кама не ошиблась. Сандро, переходя на турецкий язык, якобы для того, чтобы Кама его не понимала, а на самом деле прекрасно зная, что она уже понимает по-турецки, начал:

— Эта моя дурочка никогда не выйдет замуж...

«Глупость! Глупость! — сказала себе Кама. — Я же знаю, что все это он нарочно говорит! Нет, на этот раз я не заплачу!»

— ...А как же она выйдет замуж, — продолжал Сандро, — если парень, которому она понравится, когда вырастет, вдруг узнает, что она всю жизнь нянчилась с каким-то ребенком. «Что это за ребенок?» — спросит парень у кого-нибудь из чегемцев...

Это все глупость, глупость, думала Кама, но уже почему-то жалела себя и этого парня, которого так подло обманут. Она ведь знала, что дальше будет. И, помимо ее воли, что-то горестное и неприятное из груди подымалось к горлу.

И она уперлась подбородком в грудь, стараясь остановить и не пускать дальше то, что из груди подымалось к горлу. Она знала: если то, что подымается из груди, сцепится с чем-то, расположенным возле глаз, тогда обязательно полюбуются слезы.

— ...А ведь люди всякие бывают, — продолжал Сандро, — в том числе и чегемцы. «Кто его знает, — ответит этому хорошему парню какой-нибудь нехороший чегемец, — говорят, племянник, а там поди разбери... Может, ее собственный сын...» — «Ах, как жалко! — скажет на это парень, которому полюбилась моя сестричка. — А я так мечтал на ней жениться. Ну, теперь, конечно, не женюсь, хоть и полюбил ее навсегда... Стыдно... Люди надо мной будут смеяться...»

Тут Кама не выдержала. То, что шло из груди, внезапно вырвалось и сцепилось с тем, что ведало слезами, и она навзрыд разрыдалась. Кемальчик удивленно взглянул на Каму, потом на Сандро, каким-то образом, несмотря на турецкий язык, догадавшись, что он виновник ее слез, сморщился и тоже заревел.

Сандро, хохоча, вскочил, подбежал к сестренке и подхватил ее на руки.

— Ну какая же ты дуручка, — говорил он смеясь, — это же шутка! Шутка!

Он стал высоко подбрасывать ее и ловить, подбрасывать и ловить, и у Камы уже через несколько бросков, словно от встречного воздуха, выветрились слезы и улетучилась обида. А он продолжал высоко подбрасывать ее в воздух, и каждый раз от сладостного страха захватывало дух — и она, хохоча, кричала:

— Ой, боюсь!

Наконец он перестал ее подбрасывать, и она изо всех сил обхватила голыми руками его шею и горячо зашептала ему на ухо:

— Не надо меня больше дразнить... Особенно при чужих...

— Честное слово, не буду! — ответил Сандро, похочатывая, и поставил ее на землю.

Увидев, что Кама перестала плакать, Кемальчик тоже перестал реветь, но продолжал сердито следить за Сандро. Не без тактической хитрости дождавшись, когда Сандро поставит Каму на землю, убедившись, что теперь она вне опасности, Кемальчик выпалил дяде:

— Ты плохой!

— Я плохой? — удивился Сандро.

— Ты! — внятно повторил малыш, храбро глядя на своего дядю темными глазищами.

— Почему же я плохой? — с шутливой серьезностью спросил Сандро, усаживаясь рядом со своим гостем, который все больше и больше сомневался в правильности своего решения свернуть с дороги.

— Кама плакала, — сказал малыш и сердито ткнул кулачком в его сторону.

— Ах ты, сукин сын, — ругнулся Сандро с не очень шуточной серьезностью, — сейчас же отправлю тебя в твою деревню!

— Нет! — сказал малыш и еще сердитее махнул на него ручонкой.

Кама, хохоча, обняла его и, целуя, стала приговаривать:

— Дядя шутит, Кемальчик! Шутит!

Сандро, решив, что представление окончено, повернулся к своему гостю и заговорил с ним о знаменитой свадьбе князя Татархана, куда он был приглашен в качестве одного из помощников тамады, что было, учитывая его молодость, уже немалым взлетом в его будущей карьере столодержца. Гость, пригорюнившись, слушал описание свадебного пиршества, по-видимому, находя это описание несколько бестактным в виду затянувшегося ожидания пирушки в доме самого Сандро.

Внезапно ласточки, влетавшие и вылетавшие из-под карниза веранды, стали с тревожными криками кружиться вокруг орехового дерева, росшего на том конце двора. Кама поняла, что на дерево уселся ястреб. Ястреба иногда с лету подхватывали жертвы, а иногда вот так, воровато усевшись на какое-нибудь дерево внутри усадьбы, выбирали удобное мгновение, чтобы схватить и унести добычу.

— Хайт! Хайт! Хайт! — стала кричать Кама. Этим возгласом обычно отгоняют ястребов. Наседка, услышав знакомые звуки, означающие приближение опасности, тревожно закудахтала, а цыплята сгрудились вокруг нее, чувствуя тревогу матери, но еще не понимая ее причины.

Продолжая кричать, Кама пересекла двор и подошла к дереву. Ласточки, нервно взвизгивая, носились вокруг ореха. Кама так и не смогла разглядеть ястреба, хотя точно знала, что он где-то там сидит.

Услышав ее голос, куры и цыплята побежали к дому, пытаясь использовать по дороге свои, впрочем, небольшие, взлетные возможности. А петухи, гневно клопоча, следовали за ними, проявляя мужественную сдержанность, которая, судя по всему, нелегко им давалась, однако же проявляя эту сдержанность, и притом в чистом виде, то есть для самих себя, потому что куры на них не оглядывались. Одним словом, петухи, проявляя все это, следовали за курами в некотором разнообразном, уже в зависимости от личной доблести, отдалении.

Ласточки с яростными взвизгами носились вокруг зеленой кроны, и частота их пересечений в воздухе обозначала примерное местонахождение ястреба. Кама продолжала кричать, и ястреб в конце концов не выдержал этого двойного напора. Он слетел с дерева и, некоторое время преследуемый взвизгивающими ласточками и как бы скрывая смущение и не замечая ласточек, проблеснув рыжеватыми крыльями, улетел в сторону заката.

Возвращаясь под яблоню, Кама заметила, что Кемальчик опять пытается ухватить какого-нибудь цыпленка, но они успевали опережать его неловкие движения, а наседка, нахотлившись, явно готовилась к атаке. Кама подбежала к племяннику, подхватила его и поволокла на шкуру.

С веранды доносился голос бабки, спорящей с внуком. Внук рассказывал ей, как Робинзон, перетаскивая всякие нужные ему вещи с потерпевшего крушение корабля, спас оставшуюся там собаку. На этот раз бабка одобрила хозяйственную запасливость Робинзона и даже заставила заново перечислить все взятые вещи и выслушала это перечисление с явным удовольствием.

Но потом она вдруг стала недоумевать, что Робинзон в своем дальнейшем повествовании больше ничего о собаке не говорит.

— Собаку-то куда он дел? — сердито спрашивала бабка.

— Никуда, — попытался успокоить ее внук, — она просто живет с ним.

— Так что же он о ней ничего не говорит? — удивилась бабка. — О своих попугайчиках говорит, а о собаке ни слова. Неужто ему попугайчики дороже? Собака охраняет человека, а попугай только и делает, что тараторит.

— Не знаю, — слегка растерялся внук, — он о ней ничего не пишет.

Честно говоря, ему тоже казалось странным, что больше нет никаких упоминаний о собаке.

— Уж не съел ли он ее часом? — вдруг высказала бабка странную догадку и на этот раз, бросив челнок к себе в подол, побоченившись, посмотрела на внука.

— Да что ты, бабушка! — вскричал внук. — Что ему, есть нечего, что ли?

— Съел, — твердо сказала бабка и, взяв в правую руку челнок, прокинула его на левую сторону и, пришлепнув

уточную нить, добавила: — Сlopал, а теперь стыдно говорить правду.

— Да не съел он ее! — воскликнул внук. — Он, если хочешь знать, англичанин, а они вроде нас, собак не едят!

— Вот и сидел бы в своей Англичании, — сказала бабка уже более спокойно, продолжая работать, — а не шлялся бы по свету как бродяга... Помни! Хороший человек старается жить и умереть там, где он родился...

Вдруг бабка остановила челнок и о чем-то горестно задумалась.

— Наши абхазцы, — сказала она, вздохнув, — когда им велели переселяться в Турцию, напрасно согласились. Надо было стоять на своем! Надо было каждому мужчине с оружием в руках умереть у порога своего дома! А ведь тех, кто не уехал, не тронули. Но многие уехали, и я с ними. Поддалась уговорам родственников. Но там я сразу поняла, что не будет нам жизни на чужой земле. Не будет! У меня три золотые монеты были защиты в платье. Я подхватила своего сына с твоей матерью, тогда еще совсем девчонкой, наняла фелюгу, и мы ночью тайком приплыли на родину. А другие, бедолаги, сгинули, разбрелись по свету... Вот и опустела наша Абхазия... Принеси мне огня и не смей защищать своего Робинзона! Знаю, куда ты клонишь!

Бабка взяла свою трубку и нетерпеливо стала посасывать ее. Чувствовалось, что она взволновалась. Прикурив от головешки, она долго потягивала свою трубку, может, вспоминала толпы растерянных переселенцев на чужой выжженной

солнцем земле. Потом, видно, поуспокоилась, положила трубку на скамейку и снова взялась за работу. Внук продолжил чтение.

Внезапно собаки, рыжая и черная, лежавшие у кухонной веранды, с яростным лаем кинулись к воротам. По скотному двору с бердышом на плече проходил Кунта. Хотя собаки давно знали его, они почему-то всегда злобно облаивали Кунту.

Кама часто думала: почему его так не любят собаки? Может, их раздражает его горбик? Но ведь он такой аккуратненький. Или плохая одежда? Или потому, что он глуповатый? Но откуда они знают, что он глуповатый?

Попыхивая трубкой, уютно положив рукоятку бердыша на свой горбик, он проходил, ни разу не взглянув в сторону беснующихся собак.

— Кунта, — перекричал их Сандро, — куда путь держишь?

Кунта остановился, нашел глазами Сандро и вынул изо рта трубку.

— К брату, — отвечал Кунта, стараясь протиснуть свой голос между взлаями собак, — он просил на мельницу сходить...

— Ладно, ступай, — махнул рукой Сандро, как бы показывая, что новость недостаточно содержательна, чтобы ради нее терпеть шум, поднятый собаками. Кунта двинулся дальше.

— В прошлом году, — начал Сандро, дождавшись, когда уgomонятся собаки, — Кунта таскал на спине вязанки сухого папоротника. Сарай свой перекрывал. Однажды, смотрю, тут неподалеку идет по холму, посасывая трубку. А день ве-

трень, искры так и сыплются из трубки. Ветер их относит назад. А у него за спиной целый стог папоротника. Сухой, как порох. А искры так и сыплются. Неужели, думаю, ни одна искра не попадет в папоротник? Незаметно уселся в тенечке и жду.

Раз прошел с вязанкой на спине. А ветер так и задувает, а искры так и сыплются из трубки и летят за спину. Потом еще. Потом еще. Восемь раз прошел мимо меня. А я часа три просидел, ожидая, не загорится ли папоротник. Нет, не загорается, черт подери!

Тогда я решил проучить Кунту, чтобы он никогда не сосал свою трубку, если уж вздумал перетаскивать папоротник в такой ветреный день. Незаметно подкрался сзади, а вязанка шумит, ему не слышно моих шагов. Чирк спичкой, у меня спички были, и ткнул ее в папоротник. Задымил. Он идет себе, а вязанка уже занялась.

— Кунта, — кричу ему, — горишь, горишь!

— Чего? — поворачивается он ко мне, а за спиной уже пламя, но вязанка большая, он еще ничего не чувствует. Тут я струхнул.

— Горишь! — кричу и подбегаю к нему. Вынул нож из чехла и — раз! раз! — перерезал на груди его веревку, которой он приторочил вязанку к спине. Тут пламя пыхнуло на всю вязанку, и я еле успел его оттолкнуть.

А он в сторону огня даже не смотрит. Держит в руках обрывки веревки и, почмокивая трубкой, прилаживает их концы друг к другу.

— Что ж ты мне веревку испортил, — цедит сквозь трубку, — я бы небось успел отвязать.

— Я тебя от огня спас, — говорю, — а ты веревку жалеешь!

Тут гость стал смеяться, но, как выяснилось, преждевременно.

— Слушай дальше, — продолжал Сандро, — на этом деле не кончилось. Оказывается, на следующий день он пришел к нам домой. Меня не было. Вот он и говорит отцу: так, мол, и так, у меня вязанка папоротника загорелась за спиной от моей трубки, а Сандро веревку мне перерезал, хотя я его и не просил. Возьмите, мол, разрезанную и дайте целую. Ну, отец его, конечно, прогнал. «Прочь, — говорит, — отсюда! Жалко, что мой Сандро не был подвязан к твоей веревке».

Тут гость и Сандро расхохотались.

— Строг мой отец, — добавил Сандро, — но Кунта каков? Я его, можно сказать, от смерти спас, а он по веревке горюет.

Тут гость еще раз посмеялся и, как бы в знак того, что теперь не прочь передохнуть от смеха, свернул сигарку и закурил.

Увидев это, Кемальчик поднялся со шкуры, подошел к гостю и, показывая на струйку дыма, четко обозначил:

— Дым!

— Да, — кивнул гость, слегка подобрившись.

— Дым, дым, — повторил Кемальчик, показывая рукой на струйку дыма, словно находя согласие гостя недостаточно чистосердечным, но дружески предлагая поверить ему.

— Да, да, — терпеливо согласился гость и, затянувшись, повернул голову и выдохнул струйку дыма как можно дальше от Кемальчика, явно стараясь убрать сам повод этого досадно затянувшего разъяснения.

— Дым! — громко повторил Кемальчик, показывая рукой на струйку дыма, которую гость почему-то пытался упрятать от него.

— Смешной мальчик, — уныло заметил гость. Кама, слушая все это и уже попривыкнув к гостю, не скрывала своего веселья.

— Да убери ты его! — кивнул Сандро на малыша.

— Ты купатый? — неожиданно спросил Кемальчик у гостя. Было похоже, что малыш заподозрил некоторую связь между непонятливостью гостя в вопросе о дыме с более ранней попыткой его уйти от вопроса о купании. Возможно, малыш решил, что, если сначала гость признается в том, купался он или нет, легче будет втолковать ему, что такое дым.

Гость вздрогнул.

— Да убери ты его! — прикрикнул Сандро на Каму.

Кама подбежала и, схватив дрыгающегося Кемальчика, подняла его на руки. Малыш рвался из рук, но Кама крепко его держала. Наконец поняв, что на этот раз вытянуть из гостя истину не удастся, он громко завопил:

— Гулять! Гулять!

Он показал рукой в сторону от усадьбы. Кама знала, что он имеет в виду. На выгоне за усадьбой стояла вишенка, и Ке-

мальчик решил полакомиться ягодами, раз уж ему не дают поговорить с гостем.

Тонкая босоногая девочка в пестром ситцевом платье, держа за руку мальчика в белой рубашонке и в темных сатиновых штанишках чуть пониже колен, прошла по зеленому, озаренному солнцем двору, открыла ворота и вместе с мальчиком вышла на скотный двор. Здесь остро пахло навозом. Они прошли под сенью орехового дерева, где валялись, выглядывая из полусгнившей кожуры, грецкие орехи. Кемальчик пытался их подбирать, но Кама отдергивала его за руку, так как знала, что все эти скороспелки червивые. Казалось, дерево брезгливо стряхивает с себя плоды, сгнившие от недостойного желания раньше срока созреть. Пройдя скотный двор и открыв вторые ворота, они вышли на выгон, где стояло одинокое деревце вишни.

Кама обхватила руками и ногами шелушащийся ствол, доползла до первой ветки и взобралась на нее. Вишня уже была почти вся склевана птицами и оборвана Камой, так что ей приходилось дотягиваться до самых дальних веток. Гибкая, стоя на прогибающихся ветках и дотянувшись до ягод, она то бросала их малышу, то отправляла себе в рот.

— Исе! — то и дело кричал малыш.

Отсюда сверху хорошо было видно поле, где работал отец и три ее брата: Махаз, Иса, Кязым. Трое юношей, Кязым самый высокий и стройный, в нательных рубахах с засученными рукавами стояли в рослой по пояс кукурузе и мотыжили ее. Отец, как всегда, быстрее всех вел свою полосу, и было

видно, как вздрагивают стебли кукурузы, когда он, выполов сорняки, заваливает их подножья свежей землей.

— Кама, не упади! — крикнул Иса, первым заметив ее.

— Нет! — уверенно отвечала Кама, срывая ягоды с подтянутой ветки.

Опершись одной рукой на ручку мотыги, Иса некоторое время следил за ней, а потом повернулся и, взмахнув мотыгой, стал пропалывать кукурузу. Иса был самым сердобольным из братьев, что не мешало ему быть хорошим охотником.

Через некоторое время со двора раздался тревожный голос Сандро. Он чего-то кричал отцу. Кама прислушалась.

— Исе! Исе! — просил Кемальчик, не понимая, почему Кама перестала бросать ему вишенки.

— Тише! — махнула на него рукой Кама и переступила на ветке, чтобы не было больно голым ступням.

По словам Сандро выходило, что из улья вылетел рой и уцепился за ветку яблони.

— Хорошо, иду! — крикнул отец и, забросив мотыгу за плечо, двинулся в сторону дома, раздвигая стебли кукурузы.

Кама, волнуясь, быстро слезла с дерева. Она никогда не видела, как рой возвращают в улей. Она только слыхала об этом, но сама никогда не видела.

Когда Кама с Кемальчиком возвратились во двор, отец уже был там. Сандро и его гость стояли возле яблони и смотрели на дерево. Почти на кончике одной из яблоневого ветвей, прогибая и покачивая ветвь, висел коричнево-золотистый рой. Он шевелился и мерцал.

— Близко не подходите! — сказал Сандро, оглянувшись на сестренку.

Придерживая Кемальчика за руку, Кама остановилась. Она никак не могла понять, какой силой рой держится за ветку. Отец притащил пустой улей и поставил его под тем местом, над которым висел рой. Он отвернул крышку колоды и положил ее рядом.

Кама ужасно боялась, что рой вот-вот отцепится от ветки и рухнет на землю, и тогда пчелы разлетятся и, может, покусают их. А отец делал все так медленно. Он зашел в подвал и вынул оттуда длинную, остроносую корзину для сбора винограда. Оттуда же он вытащил шест для сбивания грецких орехов. Куском веревки он прикрепил корзину к вершине шеста и подошел к дереву.

Осторожно приподняв шест, он подвел корзину к шевелящемуся, покачивающемуся на ветерке и тихо гудящему рою.

Он подвел верхнюю часть корзины к рою и осторожно втиснул его в корзину.

— Учти, — важно сказал Сандро гостю, — пока пчеломатка там, ни одна пчела никуда не улетит.

Гость согласно кивнул головой, хотя и не очень понимал, зачем ему надо это учитывать, ибо он не держал пчел и не собирался их разводить.

Кама ужасно волновалась. Когда рой втискивался в корзину, некоторые пчелы, сбитые ее краями, взлетели и закружились возле ветки. Но рой не разлетался и, словно углуб-

ленный в какую-то свою таинственную работу, погружался в корзину.

Кама мимолетно взглянула на подошедшего брата Навей. Он держал в руке раскрытую книгу. И хотя сейчас он следил за тем, что делает отец, в глазах его еще пылал нечегемский, Кама это чувствовала, сумрачный пламень книжного азарта.

Достав краями корзины ветку, отец толкнул ее, она покачнулась, но пчелы продолжали держаться за нее. Тогда он еще раз подвел корзину к ветке и толкнул ее сильнее. Издав сухой, бумажный шорох, рой шлепнулся в корзину.

Отец медленно накренил шест и стал опускать его. Пчелы почему-то не вылетали из корзины. Перебирая шест, отец ухватился за край корзины, быстро перевернул ее и вытряхнул в долбленную колоду. Отец отбросил корзину, и Кама увидела на дне улья слегка расплющенный рой. Несколько встревоженных пчел кружились рядом, но рой, мерцая и шевелясь, продолжал лежать на дне. Отец накрыл колоду крышкой, приподнял за середину и, слегка горбясь, отнес ее в верхнюю часть двора, туда, где рядом стояли ульи.

— Чего остолбенел! — прикрикнул Сандро на задумавшегося книжника. — Снеси на место шест и корзину!

Навей положил книгу на траву, отцепил корзину от шеста, поднял книгу и, зажав ее под мышкой, отнес в подвал корзину и шест.

— Качать! Качать! — крикнул малыш, и Кама подвела его под яблоневую ветку, с которой свисали качели. Кама посади-

ла малыша на деревянное сиденье, заставила покрепче уцепиться ручонками за веревки и стала его раскачивать.

Сандро и гость снова усаелись под яблоней. Казалось, гость был несколько подавлен обилием ненужных впечатлений и удручающей задержкой прибытия геологов. Надо было уходить. Но именно потому, что он слишком долго ждал обещанную пирушку с геологами, уходить было обидно. А тут еще мелькает перед глазами на своих качелях этот несносный мальчишка. Того и жди — остановятся качели и он кинется на тебя с каким-нибудь совсем уж неприличным вопросом.

— Да, пчелы, — сказал Сандро с видом человека, только что справившегося с нелегким делом. — В прошлом году, — продолжал он, — я был в верховьях Кодора, там, где переброшен над рекой висячий мост. Он весь оброс лианами и плющом, и по нему проходишь, как по зеленому коридору. И вот я перешел с левого берега на правый и вижу такую картину. Стоит знакомый мне крестьянин с коровьей шкурой, распяленной на распялках. И она, эта шкура, с бесшерстяной стороны обмазана медом, и на нее налетают пчелы.

— Ты что делаешь? — спрашиваю у него.

— Да вот, — говорит, выглядывая из-за шкуры, — пчел своих приучаю пролетать по мосту.

— Зачем, — удивляюсь я, — приучать их пролетать по мосту?

— А затем, — говорит, — что медоносные луга на этой стороне реки. В жаркие летние дни пчелы, перелетая реку, по привычке слишком низко летят над водой и часто подышают.

Сверху жара, снизу холод — не выдерживают и дохнут на лету. Решил приучить их пролетать через мост.

— Ну и как, — говорю, — приучаются?

— Как видишь, — говорит, — я уже на этой стороне. Сначала на том берегу у моста держал шкуру, а потом взошел на мост, потом подальше. Потом еще подальше. И вот уже стою на этой стороне.

— Что ж ты, — говорю, — все лето так и будешь стоять?

— Нет, — говорит, — как увижу, что привыкли перелетать через мост, перестану.

Посмеялся я тогда над этим крестьянином и пошел своей дорогой. В этом году опять довелось мне идти по этому мосту. Я совсем забыл про тот случай. Только взошел на мост... что за черт? Слышу: вжик! вжик! вжик! — пчелы так и шныряют туда и обратно, так и шныряют. И тут я вспомнил того крестьянина. Приучил-таки, упрямец! Вот какие дела бывают!

Гость на этот раз не засмеялся, а только кисло улыбнулся, возможно, сопоставляя плодотворность терпения этого удивительного крестьянина с собственным бесплодным терпением.

Приближалось время обеда, и мать Камы прошла под яблоней, взобралась на перелаз и спустилась на огород. Через некоторое время она снова спустилась во двор, неся в переднике зеленый лук, кинзу, цыцмат, петрушку.

Остановившись возле качелей, она, тихо посмеиваясь, кивнула в сторону веранды, где Навей все еще гудел по-русски.

— Боюсь, пупок надорвет мой сын, — сказала она посмеиваясь, — очень уж он старается...

Мать прошла на кухню, продолжая посмеиваться. Навей внезапно перестал гудеть по-русски и стал пересказывать бабке содержание прочитанных страниц. Кама прислушалась. Брат рассказывал о том, как Робинзон увидел на берегу одинокий след неизвестного человека.

— Что ж, — перебила его бабка, — только от одной ноги след и остался?

— Да, тут так написано.

— Может, тот человек в грязь наступил?

— Нет, — отвечал брат, — тут про грязь ничего не сказано. На песке он увидел след от ноги человека.

— Да как это может быть, чтобы след остался только от одной ноги? Куда подевалась другая нога? Врет он, твой Робинзон!

— Может, ветром сдуло? — попытался внук оправдать Робинзона.

— Ну, конечно! Все следы ветром сдуло, и только один остался. Врет он, твой Робинзон!

— Нет, не врет! — в отчаянье воскликнул мальчик и даже захлопнул книгу. — Если тебе не нравится, я не буду рассказывать!

— Читай и рассказывай, — властно сказала бабка и сердито перебросила громко щелкнувший челнок справа налево, — небось сам уже надумал куда-нибудь от нас удрать! Вот и защищаешь его. Хороший человек старается жить

и умереть там, где он родился. Плохой человек твой Робинзон! Плохой!

— Бабушка!!!

— Читай!!!

...Ах, бабка, бабка! Далеко же ты глядела! Через тридцать лет после Большого Снега во время Великой Отечественной войны Навей ушел на фронт, попал в окружение, надолго сгинул без вести, а потом вдруг вынырнул в неведомой Чегему Америке и оттуда по радио на родном языке стал вещать Евангелие своим ошеломленным землякам! Но бабки с ее пророчеством, как и многих других, уже не было на свете.

Из кухни вышла мать Камы и, подойдя к плетню, крикнула в сторону поля:

— Мальчики мои, обедать!

— Идем! — весело загоготали братья, не скрывая радости перехода от жесткой власти отца в мягкую власть матери.

Минут через десять братья бодро вошли во двор. Отец, как бы временно низложенный, не спеша вошел вслед за ними. Братья сбросили свои мотыги у кухонной веранды. Отец, поочередно подбирая каждую из них, пробовал рукой, крепко ли держатся клинки на ручках. Казалось, он исподволь готовится ко времени прихода своей власти. Обстругав колышек, он вбил его обухом бердыша в ручку одной из мотыг, чтобы клинок плотнее держался.

Кязым поднял из кучи дров, сложенных на кухонной веранде, сухую ветку, сломал ее надвое и, взяв одну половину,

подошел к яблоне. Он поймал глазами ветку погуще, усеянную плодами, и запустил в нее палку.

Полдюжины яблочек, прошумев в листьях, нашлеписто стукаясь о траву и подскакивая, покатались по легкому скосу двора. Виноград, задетый палкой, сыпанул следом.

— Виноград портишь, дурень! — прикрикнул на него Сандро, как человек, чувствующий живую боль за винотворческую часть хозяйства.

Кязым подобрал пару яблочек. Иса тоже успел подбежать и подобрать одно яблоко. По яблоку подобрали и Кама с Кемальчиком.

— Мое счастливое! — радостно закричала Кама, трясая яблоко возле уха. Яблоко, внутри которого шелкают косточки, считалось счастливым. Братья, с хрустом вонзая в твердые яблоки молодые крепкие зубы, отправились на кухню. Потом Иса вышел с кувшинчиком, и братья, брызгаясь и смеясь, умылись на веранде и снова вошли в кухню.

Увидев дядей, весело брызгающихся водой, Кемальчик вспомнил о ручье, куда его временами водила Кама.

— Журчей, журчей, — закричал он, — пойдем на журчей!

Он стал теребить и подымать Каму, чтобы она повела его к ручью. Но Каме удалось отвлечь его от этой затеи. Она стала трясти над его ухом шелкающее яблоко, то и дело приговаривая:

— Послушай, Кемальчик! Это счастливое яблоко, счастливое!

В конце концов малыш затих, вслушиваясь в таинственное щелканье семечек внутри яблока и как бы пытаясь осмыслить: что есть счастье?

Сандро отказался от приглашения матери пообедать. При этом он жестом руки, крайне неприятным для гостя, отгораживая его от кухни, сказал, что они будут ждать геологов.

Этих геологов Кама несколько раз видела в доме. Они чего-то искали в лесах над чегемским перевалом, но чего они там искали, Кама не могла понять.

Один из них, самый молодой, оказался очень смешным парнем. Однажды перед обедом Кама вышла на веранду с кувшинчиком и полотенцем через плечо, чтобы дать им вымыть руки. Так как этот парень стоял ближе всех, она, как водится, ему первому предложила полить. Но он, вместо того чтобы оглянуться и уступить первенство тому, кто старше всех, простодушно, как ребенок, стал мыть руки. Каме это показалось настолько смешным, что она, покраснев и нагнув голову, еле-еле удержалась от смеха.

А потом она им прислуживала за столом. Когда она разлила вино, этот парень молча взял свой стакан и опрокинул его в рот. Тут Кама не выдержала. Она едва успела поставить на пол кувшинчик и, выбежав из кухни, расхохоталась во дворе.

— Ты чего, Кама? — спросила мать, удивленно выглядывая из дверей.

— Он!.. Он!.. Выпил вино как воду, не сказав ни слова! — прерываясь от хохота, выкрикнула тогда Кама.

Смешной парень! Интересно, придут они сегодня или нет? И тут же, как нарочно, залаяли собаки и бросились к верхним воротам.

— А вот и они! — сказал Сандро, вставая и взглядом призывая гостя приободриться.

Кама побежала отгонять собак. Когда она поднялась к верхним воротам, она увидела всадника и всадницу, едущих в их сторону, то высовываясь, то пропадая за высокими кустарниками папоротника-страусника, держи-дерева, бирючины. Это были совсем не геологи. Мужчина был на рыжей лошади, а женщина на белой. Женщина была одета в голубое шелковое платье, и над ней, как заморский праздник, голубел зонт.

Кама вообще никогда не видала зонтов, хотя слыхала, что они существуют. Но она не знала, что зонт может быть таким красивым. Он покачивался над женщиной в голубом шелковом платье, как огромный цветок. Мужчина, ехавший впереди, теперь они спускались к воротам, то прикрывал женщину, то она снова появлялась. Вдруг женщина на спуске, натянув поводья, слегка откинулась, тень зонта сдвинулась с ее лица, и Кама узнала сестру.

— Эсма! — крикнула Кама и, рванув ворота, вдруг замерла, вспомнив о собаках: — Пошли вон! Кому говорят, пошли!

Собаки, возможно, узнав всадников, уже подъехавших к воротам, стыдливо отошли, издали подлаивая.

Сестра и муж въехали во двор, и лошади боком, выбрасывая из-под копыт ошметки дерна, горячась от близости воли, спустились по крутому косогору на ровную лужайку двора.

— А мы не ждали! А ты приехала! — кричала Кама, не отставая от лошади сестры. Сидя на женском седле, Эсма, улыбаясь, поглядывала на нее сверху большими серыми глазами, чуть склоняя свое красивое, похудевшее после болезни лицо.

Братья уже выскочили из кухни и, схватив лошадей под уздцы, помогли всадникам спешиться. Мать, подбежавшая вместе с сыновьями, обняла дочку и, целуя, прильнула к ней. Потом бабка степенно подошла к внучке, несколько раз провела рукой возле ее лица, что означало: «Да падут твои болезни на мою голову!» — после чего обняла ее. Сквозь смех радостной встречи, отвечая на беглые вопросы, Эсма по абхазскому обычаю быть сдержанней всего по отношению к самому любимому, не спрашивала о сыне, но поневоле через головы толпящейся родни искала его глазами, наконец нашла и, просяив, не выдержала:

— Кемальчик!

Малыш с самого начала, увидев мать, застыдился, насутился и опустил голову. Сейчас, услышав ее голос, он еще ниже опустил голову и, взяв в руки яблоко, лежавшее рядом на шкуре, сделал вид, что углубился в изучение его поверхности.

Высокая, тонкая, как бы прорываясь сквозь сопротивляющийся воздух, вся облепленная струящимся шелком, сестра кинулась к сыну.

— Узнает! Узнает! Он только стыдится! — кричала Кама, поспевая за ней и держа в руке раскрытый голубой зонт. Зонт

одушевленно упрямылся, вихлялся, и Каме казалось: он недоволен, что его держит ненарядная девочка.

Мать схватила в охапку Кемальчика, приподняла его, прижала к себе и стала жадно целовать.

— Ну, ты скучал по маме? — то и дело спрашивала она, прерывая поцелуи и ревниво заглядывая в лицо сына порозовевшим лицом.

— Цыплята, — наконец сказал мальчик, потянувшись из рук матери в сторону наседки и щебечущих цыплят. Он хотел отвлечь внимание матери от стыдного вопроса.

Братья расседлали лошадей, протерли им спины и пустили пастись во дворе. Поставив седла на перила веранды, они уселись на траву у подножия яблони, где собралась вся компания.

Эсма, держа ребенка на коленях, сидела у края колоды. Рядом примостился Сандро, следом муж Эсмы, а дальше все тот же неведомый гость, который, по веселому наблюдению Камы, с приездом сестры и ее мужа почему-то сделался еще более неведомым. Смысл его пребывания здесь окружающим, мягко говоря, был не вполне ясен. Судя по выражению его собственного лица, он и сам уже не мог уловить этого смысла.

— Где ты купила такую красивую штуку? — спросила Камма, все еще вертя в руках раскрытый зонт.

— Он привез из города, — кивнула сестра, с мимолетной нежностью улыкнувшись мужу. Тот смущенно опустил голову.

— Надо же! — выдохнула Кама и, закусив губу, замерла с выражением вдохновенного любопытства, словно на миг подглядела в щелочку жизни ослепительную, вечную тайну любви...

...Если бы Кама знала, что через год у сестры родится девочка, а еще через год муж ее будет убит шальной пулей одного из двух повздоривших соседей (он пытался остановить их от крови), а еще через год ее сестра с унижительной для родственников мужа быстротой, вот в этом же голубом платье, сбежит из дому к новому мужу, и родственники погибшего, в знак возмездия за позорную быстроту, упрячут от нее детей, и она, осатанев от яростной тоски по детям, повесится в доме нового мужа, кстати, в этом же платье, словно для того, чтобы, в лучшем виде представ перед Богом, умаслить и умолить его за любовное помешательство и временное забвение детей, но тут муж ее (новый, конечно!), случайно вернувшись откуда-то, войдет в дом и, увидев ее висящей в петле, успеет перерезать шнур и спасти ее. И тогда соберется совет старейшин села, и они решат, что детей надо матери вернуть, и вернуть детей.

Если бы Кама знала, но она ничего не знала и, только на миг задумавшись о тайне любви, снова начала вертеть в руках праздничный зонт.

— Кама, ты мне его сломаешь, — сказала сестра и, протянув руку, взяла зонт.

Кемальчик приподнял радостно заголубевшее лицо, но тут сестра чем-то шелкнула, и зонт сжался, погас. Эсма поло-

жила его рядом с собой и стала расспрашивать у братьев о чегемских родственниках и делах Большого Дома. Разговор принял семейный характер, и гость, смущенно взглянув на Сандро, сказал:

— Я, пожалуй, пойду к своим...

— Ну, ладно, — с неприятной легкостью согласился Сандро, хотя все же добавил: — А то бы подождал геологов, и кутнули бы вместе.

— Нет, я пойду, — сказал гость, вставая и думая про себя: да будь ты проклят со своими геологами!

— Ты купатый? — вдруг спросил Кемальчик, видя, что гость уходит, и как бы в последний раз пытаюсь установить истину.

Братья, сидевшие на траве, расхотались, думая, что этот вопрос задан гостю в первый раз, а Каме было особенно смешно оттого, что они так думают.

— Что за глупости, Кемальчик? — строго спросила мать у сына, а гость, пожав плечами, почувствовал, что этот вопрос, прозвучавший из уст ребенка, сидящего на руках красивой женщины, почему-то особенно неприятен.

Все встали на ноги в знак внимания к уходу гостя, который самым поступком своего ухода несколько прояснился, хотя и не до конца. Гость, сопровождаемый Сандро, пошел к воротам.

— Что это за человек? — полюбопытствовали братья, когда Сандро вернулся и уселся на свое место.

— Да так, никчемный человечишка, — махнул рукой Сандро, как бы досадуя о потерянном на него времени, — даже о Большом Снеге толком не мог ничего рассказать...

Мать вышла из кухни, снова неся в переднике кукурузу. На этот раз она сзывала своих кур, чтобы поймать одну из них и поджарить для гостей. Она рассыпала кукурузу у самых своих ног, и, когда сбежавшиеся куры стали клевать зерна, ловко пригнувшись, поймала одну из них, которая была на вид пожирней.

— Мальчики, прирежьте мне ее, — крикнула мать, обращаясь к сыновьям и придерживая за крылья квохчущую курицу.

— Давай ты, Иса, — сказали братья, подшучивая над его излишней, как они считали, сердобольностью.

— Мне сейчас неохота, — ответил Иса, стесняясь своей сердобольности и наивно скрывая ее.

Кязым, посмеиваясь, встал, подошел к матери, взял у нее курицу и, придерживая ее за ноги, снес ей голову бердышом, положив ее на полено.

Разговор под яблоней некоторое время вертелся вокруг болезни сестры и взаимных новостей обоих сел. Навею это стало неинтересно, и он пошел читать книгу возле бабки, все еще продолжавшей щелкать челноком. Она была хоть и суровым, но все же единственным его слушателем.

Сандро тоже показались эти новости скучноватыми, но так как он никогда никакой книги не читал, кроме книги своей жизни, он решил свежим людям кое-что рассказать из нее.

— Вот ты говоришь, что любишь охоту, — обратился он к мужу сестры, хотя тот ничего такого не говорил. Он и в самом деле был хорошим охотником, но сейчас ничего такого

не говорил. — А у меня на охоте был вот такой случай, — продолжал Сандро. — Вышел я однажды из лесу на речку верстах в десяти от Чегема. И встречаюсь там с одним стариком.

— Слушай, — говорит, — ты охотник?

— Вроде бы, — говорю.

— Рыбу убить можешь?

— Смотря какую, — говорю.

— Сома, — говорит, — убить можешь? Распроклятого сома, что разорил меня?

— Не знаю, — говорю, — а чем он тебя разорил?

— Чудеса, — говорит, — да и только! Тут недалеко есть заводь, над которой растет развесистая ольха. Там коровы в полдень собираются отдыхать. Все коровы лежат или стоят в тени ольхи. А моя блудница заходит прямо в воду почти по горло и стоит там. А в этой заводи большой сом живет. И вот этот сом каждый раз подплывает к ней и — чмок! чмок! чмок! — все молоко у нее высасывает из вымени.

— А ты, — говорю, — видел его?

— Сома-то, — говорит, — я видел. Да что толку! Он же незаметно под нее подплывает. Да и видеть не надо! Корова каждый день с пустым выменем приходит домой. Даже собственного теленка вспоить не может. Понравилось ей, блуднице! Другие коровы как коровы, лежат на берегу, а моя лезет в воду. Я ее гоню, конечно, но не могу же я сюда приходиться каждый день. Разорила меня, проклятушая!

— Но когда ты ее не пускаешь в воду, — говорю, — она доносит до дому молоко?

— Точно, — говорит, — доносит. Но не могу же я каждый день приходить сюда и стеречь ее. Помогите, добрый человек, убить сома.

Интересно мне стало.

Подошли мы к этой заводи. В самом деле, над водой большая развесистая ольха и глубокая заводь. Я всматриваюсь в воду. Сверху водомерки прыгают, а в глубине ничего не видно.

— Так он тебе и покажется, — говорит старик, — он под ольхой в ямине прячется. Как только корова заходит в воду, он, подлец, немного выждет, поднырнет под нее и давай теребить сосцы, чмок да чмок! А ей, гадине, нравится, она даже жвачку перестает жевать.

— А сам ты видел, — говорит, — как он ей сосцы теребит?

— Нет, — говорит, — врать не буду. Он так хитро подныривает, что его не видно. Но он тут. Скоро полдень. Когда коровы соберутся сюда, а моя блудница полезет в воду, ты его и пристрелишь.

Посмотрим, думаю, что будет. На всякий случай ножом нарубил ольховых веток и перекрыл выход из заводи, чтобы сом не ушел, если он в самом деле здесь.

— Давай спрячемся, — говорит старик, — а то моя корова, если увидит меня, не станет лезть в воду, знает — избыю. А как только она полезет в воду, ты выходи из кустов и выжди его под деревом над яминой, тут-то он и появится.

Залезли мы в кусты лещины и стоим. И вот в самый солнцепек потянулись коровы к заводи и устраиваются под оль-

хой. А одна, между прочим, рябая, посмотрела так по сторонам и полезла в воду.

— Она, — кивает мне тихо старик.

Я выхожу из-за кустов, осторожно прохожу мимо лежащих коров, чтобы не вспугнуть их, подхожу к дереву и заглядываю в воду. Корова уже стоит почти по горло в воде. Жует жвачку. Значит, думаю, сом еще не подплыл. Заглядываю в ямину под обрывчиком. Вода темная — ничего не разглядеть. Жду. Проходит минут пятнадцать. Может, прозевал, думаю. Нет, корова жует жвачку, значит, еще не подплыл. И вдруг вижу — большая тень скользнула из-под обрывчика. Я направил в нее ружье и бабахнул медвежьим жаканом!

Коровы шарахнулись во все стороны, рябая вскачь из воды, а старик ко мне.

— Попал? — кричит.

А вода замутилась от его коровы, ничего не видно.

— Нет, — говорю, — не попал!

Старик стал ругать и сома, и корову, и свою несчастную судьбу. Я уже хотел было уйти, как вдруг вижу, там, где я перегордил выход, из воды высовывается огромная рыбина. Шевелится. Мы со стариком бултых в воду и вытаскиваем ее на берег. Оказывается, попал. Здоровенный сом пуда в два.

— Видишь, — говорит старик, — как он разъялся на моем молоке. Давай его поделим.

Мы разделили сома пополам. Я притащил свою половину домой. Дня три ели и соседей угощали. Вот такие бывают случаи на охоте.

Все посмеялись рассказу Сандро, и Кама хохотала от души, хотя несколько раз слышала эту историю. Особенно ей было смешно, что корова, перед тем как войти во воду, посмотрела по сторонам. Раньше брат, рассказывая об этом случае, почему-то забывал упомянуть, что корова посмотрела по сторонам.

— Так все-таки пил молоко твой сом или нет? — смеясь, спросил муж сестры.

— Попивал, попивал, — подтвердил Сандро, — тот старик зря бучу подымать не стал бы. Недаром он у меня полрыбины отцапал.

— А ты, брат, все такой же, — улыбнулась Эсма и потрепала Сандро по волосам.

Из кухни вышел отец. Все это время он там сидел на кушетке и чинил свои чувяки из сыромятной кожи. Починил, надел и вышел на веранду. По лицу его было видно, что он раздражен по поводу несколько упущенного времени своей власти. Первым попался ему Навей, самозабвенно читавший свою книгу.

— Ты чего тут разблеялся?! — крикнул он ему, поворачивая в его сторону свое горбоносое, с выражением стремительной воли лицо, — сам налопался, а брат твой с козами в лесу голодный сидит?! Сейчас же снеси ему поесть и можешь там до вечера преблеиваться с козами!

Братья, кивая друг на друга и посмеиваясь, слушали отца, дожидаясь своей неминуемой очереди. Отец нагнулся за своей мотыгой и, как бы спохватившись, что мотыги братьев не

в поле, а все еще здесь, хотя отлично знал, что они без него не пойдут, подхватив мотыгу, свирепо развернулся в сторону яблони:

— А вы чего там расселись?! Вы что, не видите, где уже солнце? Солнце упустили, солнце! Да и ты, дармоед, мог бы помахать мотыгой, хотя бы от скуки! Что за чудище выродила мне эта дура!

Мать Камы в это время, сидя на корточках возле кухонной веранды, потрошила над тазиком очищенную курицу, время от времени отбрасывая собакам ненужные внутренности.

— А то не твоя кровь, — вполголоса огрызнулась она ввиду явно истекшего времени своей власти и слишком большой близости ее теперешнего носителя.

Перекинув мотыгу через плечо, отец уже пересекал двор.

— Я же геологов жду, — примирительно крикнул Сандро ему вслед, — неудобно, придут гости, а в доме нет мужчины.

— Чтоб тебя врыли вместе с ними в ту яму, где они копаются и все не докопаются ни до чего! — крикнул отец, толкая ворота и не оборачиваясь. — Можно подумать, что их деды здесь клад зарыли! Пустомели!

Братья, посмеиваясь, неохотно встали и, взяв свои мотыги, отправились вслед за отцом.

— Сам высох, как черт, и детям продыху не дает, — ворчливо, не подымая головы, заметила мать, когда сыновья проходили мимо. Но по голосу ее видно было, что время власти ее надолго, до самого ужина, ушло, и тут ничего не поделаешь.

Через мгновение, подняв голову, она засмеялась, глядя в сторону тех, что сидели под яблоней.

— Ты чего, мама? — улыбаясь, спросила у нее Эсма.

Из кухни вышел Навей, неся большой котелок, наполненный тюрей из кислого молока и чурека. В другой руке он держал книгу, и в глазах его все еще тлел пламень, зажженный этой же книгой. Мать несколько опасливо, а потом облегченно взглянула, может быть, не столько вслед сыну, сколько вслед удаляющейся книге. Потом она опять рассмеялась и обратилась к тем, что под яблоней.

— Я думаю о Божьем провидении, — сказала она, продолжая посмеиваться, — я никогда в жизни не видела такой жирной курицы, как эта. И я вспомнила, что на дня заметила в амбаре много исклеванных кукурузных кочерыжек. А потом увидела, что в плетенье стены прутья в одном месте разъехались. Я тогда подумала, что сойки влетают в амбар, и задела прореху. А это, оказывается, она влетала туда. Вот она и попала теперь мне в руки.

— Да откуда ты знаешь, что это она влезала? — спросил Сандро, улыбаясь и как бы поощряя мать в сторону смешных подробностей.

Тут мать, продолжая сидеть на корточках, прямо затряслась от смеха и, бросив курицу в таз, стала отмахиваться руками, как бы прося не смешить, учитывая ее неудобную позу.

— Я давно замечала, что она заважничала, не спешит, когда я сзываю кормить кур, — сквозь смех отвечала мать, — а ку-

да ей было спешить, если весь мой амбар был в ее владении. А сегодня первая прибежала. Прореху-то я заделала. Вот и попалась, дуреха.

Подхватив таз с курицей, мать поднялась с корточек и пошла на кухню. По ее спине было видно, что она все еще смеется.

— Вот мама, — сказал Сандро, любуясь матерью и глядя ей вслед, — умеет замечать смешное. Вся в меня!

Через полчаса мать позвала их обедать. Сандро возглавил стол, как-то легко пережив отсутствие геологов. Обед был долгий и веселый.

После обеда Эсма прошла по комнатам родного дома, слушая знакомый скрип половиц, вдыхая грустный запах отчего жилья и вспоминая детские и юношеские годы. Внезапно, словно пытаясь заново слиться с его жизнью, она бодро засуетилась, распахнула все окна, подмела все комнаты, но потом вдруг как-то сникла, видимо, поняв, что прошлого не вернешь. И тогда она заторопилась, ощутив спасительную тягу к своему собственному гнезду, тягу, сдувающую с души ненужную грусть по дому детства.

— Пора, — сказала она мужу, — не забывай, нам долго ехать.

— Куда спешить, — отвечал муж, — времени еще много.

По абхазским понятиям муж, приехав с женой в дом ее родителей, должен был показывать, что не спешит уводить жену из родного дома в свой.

— Нет, нет, — заторопила жена, — седлайте лошадей.

Сандро и муж сестры поймали лошадей и оседлали их. С поля пришли прощаться отец и братья. Порывистые объятия сестры, степенные рукопожатия мужа, напутствия, приветствия родственникам и знакомым. Всадникам помогли сесть на лошадей. Кемальчика приодели, и его взял на руки отец. Над головой сестры с треском распахнулся голубой зонт.

— Не держитесь все время большой дороги, как вороны, — сказал Сандро на прощанье и разъяснил, в каких местах можно срезать путь. Всадники тронулись.

— Я провожу вас! — крикнула Кама, когда они выехали из ворот, и, рванувшись, догнала лошадь сестры и ухватила рукой за стремя. Держась за него и временами переходя на побегу, она не отставала от лошади. Над головой всадницы голубел зонт. Но сейчас он на Каму навел легкую грусть, как уходящий праздник. Кемальчик поглядывал из-за плеча отца каким-то странным, удаленным взглядом.

— Хватит, возвращайся, Кама, — сказала сестра.

— Я только до ореха! — попросила Кама, еще цепче ухватившись за стремя.

Они доехали до грецкого ореха, росшего у дороги, и сестра остановила лошадь. Муж ее тоже остановил лошадь и слегка повернул ее назад. Сестра пригнулась, и тень зонта упала на Каму. Эсма поцеловала ее и хотела разогнуться, но Кама, обхватив ее шею голыми руками, изо всех сил надолго прижалась к ее губам.

— Ну, хватит! — вздохнула сестра и, оторвавшись от нее, разогнулась.

— До свиданья, Кемальчик! — крикнула Кама, и малыш, улыбнувшись, помахал ей рукой.

Лошади тронулись и зазвякали копытами по каменистой дороге. Кама показалось, что Кемальчик вяло помахал ручкой, и ей от этого стало тоскливо. Вздрагивая и покачиваясь, над белым крупом лошади плыл зонт. За лошадьё всадницы Кемальчика не было видно, а он все дальше, и дальше, и дальше уходил от нее.

И вдруг душастий комок подкатил к горлу девочки и перекрыл его.

— Кемальчик! — прозвенел ее крик, словно она пыталась криком вышибить из горла этот комок, и, разрыдавшись, кинулась за всадниками.

Лошади остановились, и Кама, вся в слезах, но стыдливо улыбаясь, подбежала к сестре.

— Что с тобой? — строго спросила сестра, глядя на нее с высоты, как бы ставшей еще выше.

— Не знаю, — стараясь улыбнуться, отвечала Кама, — Кемальчика жалко...

— Чего это тебе его жалко, он к себе домой едет, — строго сказала сестра, — не глупи, ступай!

— Я еще немножко провожу вас, — попросила Кама, все поглядывая на Кемальчика.

Кемальчик тоже смотрел на нее из-за плеча отца своими большими темными глазами, удивляясь ее слезам и как бы стараясь ей внушить: ты же видишь, я с папой и с мамой, и мне от этого хорошо, значит, и тебе от этого должно быть хорошо.

— Бедняжка, привыкла к нашему сыну, — сказал муж сестры, поворачивая лошадь и растроганно глядя на Каму.

— Оставь, ради Бога, — сказала сестра, — что ж мне, отдать ей сына своего?

— Нет, — сказала Кама, заикаясь от волнения и стараясь уверить сестру, что она не собирается забирать у нее ребенка, — я еще немножко, вон до той алычи провожу вас.

— Ладно, — согласилась Эсма и тронула лошадь.

Теперь Кама семенила возле нее, не решаясь держаться за стремя, чтобы не раздражать сестру. А Кемальчик удивленно поглядывал из-за плеча отца, как бы силясь осознать, почему Кама не понимает, что, когда ему хорошо, и ей от этого должно быть хорошо.

Но и под алычой Кама не смогла остановиться, кстати сквозь слезы успев заметить, что на алыче еще есть плоды и это надо запомнить, и снова побежала за всадниками.

Дорога круто пошла вниз, и Кама заставила себя остановиться. В лицо ударил далекий шум Кодора, открылась пойма реки, которая, извиваясь серебристыми рукавами, бежала к морю по дымчато-голубоватой лесистой долине, упирающейся в призрачную, как сон, стену моря.

А здесь вблизи по изумрудно-зеленому косогору холма, белея беспорядочными пятнами, подымалось стадо коз, которое гнал домой ее брат Азиз. Он играл на дудке. Сзади плелся Навей. Сквозь далекий шум реки доносился прерывистый от большого расстояния и в то же время назойливо-печальный звук пастушеской дудки. Передние козы уже выходили

на гребень холма, куда спускались всадники, а задние только-только вышли из лесу.

— Ну ладно, — обернулся муж к Эсме, — вон ее братья идут. Она вместе с ними и вернется... Кама, беги к нам!

И Кама рванулась.

— Кемаль-чик! — кричит она и бежит. Босоногая девочка в цветастом ситцевом платье, вся в слезах и все-таки счастливая, бежит вслед за всадниками.

* * *

Это мама моя!

— Мама! — кричу я сквозь бездну невероятных лет, но девочка не слышит.

...Старая, старая женщина, седоглавая, с выцветшими глазами сидит на постели в ночной рубашке и покачивается от слабости.

— Ты скоро пойдешь на пенсию? — вдруг спрашивает она у меня после долгого молчания. Она забыла, что до пенсии мне еще далековато. Но мама спрашивает так, потому что сестра больна, а племяннице, присматривающей за ней, трудно, она сбилась с ног между своими детьми и больной бабушкой. Как ей объяснить, что в моем деле, в сущности, нет пенсии и нет отпусков. Впрочем, как и в деле ее жизни.

В тридцать пять лет, оставшись без мужа, она, забыв о собственной судьбе, целиком посвятила свою жизнь детям. С утра она уходила в лавку и поздно вечером возвращалась. И так

три десятка лет без отпусков, без выходных, потому что ежедневный заработок давал детям ежедневную еду. И поздней ночью за чаем она, если не слишком уставала, рассказывала нам что-нибудь смешное, случившееся за день. И мы, бывало, покатывались от смеха.

— Сегодня опять приходил этот нищий аристократ.

И она, сама смеясь, показывала, как он, надменно вытянув руку, произносит просьбу-приказ:

— Положи что-нибудь.

Или еще:

— А сегодня был такой случай. Подходит к прилавку худющий человек. «Дай, — говорит, — килограмм сухарей!» А я ему: «Зачем тебе сухари? Ты сам как сухарь!» А сама думаю: «Господи, что я сказала! Сейчас скандал подымет!» Нет, оказался хороший человек: только улыбнулся.

...В этом мире, забывшем о долге, о чести, о совести, она неуклонно вела свою великую маленькую войну с хаосом эгоизма, отчуждения, осквернения святости Божьего дара — стыда. Она не только стремилась всех нас, детей своих, поставить на ноги, но и старалась всеми средствами весь род наш удержать в теплой роевой связи. А удержать становилось все трудней и трудней.

— Ты уже три дня как приехал из Москвы и не видел своего дядю. Стыдно! Поезжай, пока он не узнал, что ты здесь, — обидится.

— Зять Заиры, ты не забыл ее? В первой городской больнице лежит. Проведай, объясни, что ты родственник, ему будет приятно.

— Поздравь их! У них сын родился!

— Помоги внуку Махаза. Он второй год поступает в институт. Так я и поверю, что его примут без знакомств! Ты же сам всю жизнь учишься, у тебя там должны быть знакомства.

— Ты же знаешь нашу Лену? Порох! У нее опять неприятности. Поговори с начальством.

— Господи, что за время! У семилетней правнучки Таты рак глаза! Устрой ее в хорошую московскую больницу, может, спасут глаз!

— Поздравь их телеграммой! У них дочь родилась. Только не спутай, дочь, а не сын!

— Он пьет каждый день! Он валяется на улицах! И это сын моего самого умного брата?! Такого позора наш род не знал! Неужели ты ничего не можешь сделать? Господи, почему вас не учат ничему такому, что нужно для жизни?!

...Старая, старая женщина, седоглавая, с широко расставленными выцветшими глазами, в длинной ночной рубашке, сидит на постели, покачиваясь от слабости. Искривленные, опухшие ладони прекрасных рук — ежедневное мытье стаканов в течение десятков лет. Ноги задубели от закупорки вен — ежедневное стояние на ногах в течение десятков лет. Изношенное любовью сердце.

Вот я и рассказал, мама, о дне твоего детства, о котором ты так часто любила говорить. Но ведь ты была счастлива, была хотя бы в тот день? Почему ты так любила вспоминать его?

...И уже нет мамы, нет ничего. Есть серое московское небо, а за окном, впиваясь в мозги, визжит возле строящегося

ся дома неугомонный движок. И машинка моя, как безумный дятел, долбит трухлявое дерево отечественной словесности, и я, поджав ноги и сгорбившись над столом, вышибаю из клавиш одно и то же слово, твое слово, мама: долг, долг, долг.

30. кутеж трех князей в зеленом дворике

Мы прикатили на трех машинах в это уединенное абхазское село по причине, которая сейчас совершенно выветрилась у меня из головы. Точнее всего, никакой причины не было. Один из участников нашей компании был приглашен к своему родственнику, а нас он просто прихватил по дороге.

Нас было человек восемь. В общем что-то вроде этого. Точно не помню. Да и какое это имеет значение? Одним словом, нас было больше пяти, но меньше десяти человек. Во всяком случае, толпы не было. Но какова память. Собираюсь рассказать о людях, с которыми кутил, а сколько их было, не помню. Нет, в процессе рассказа я их, вероятно, всех вспомню, но так сразу собрать их в голове не могу.

Чувствую, что сейчас начну признаваться в своих слабостях. Старый испытанный прием. На нем я в свое время сделал свою литературную карьеру. Я думал, что этот прием уже себя исчерпал. Но, оказывается, нет. Оказывается, этот прием вообще неисчерпаем. Читателю приятно чувствовать себя не-

сколько умнее автора. От этого он испытывает удивительный приток энергии, веселья и в конечном итоге благодарности автору. А автору, в свою очередь, приятно, что ему удалось слегка задурить голову читателя. Он от этого тоже испытывает веселье. Вот так, взаимно взбодрившись, мы, глядишь, скоро таем вечерок.

Я поражаюсь одному факту: как это я довольно прилично дожил до зрелых годов, прилично по нашим условиям, не помня ни одной даты, ни одной цифры, ни одного телефона, ни одного адреса, ни одного имени начальника, кроме Абесаломона Нартовича, с которым меня жизнь неоднократно стлкивала.

Пожалуй, из дат я помню, что в 1812 году была Отечественная война с Наполеоном. А в 1941 году началась Отечественная война с Гитлером. Еще я, конечно, помню, что в 1917 году была Октябрьская революция. Все — больше из дат ничего не помню.

Это может показаться каким-то кривляньем или кошунством, но я редко помню, в каком году я живу. Нет, в какой стране я живу, я всегда помню. А в каком году я живу, я никогда не помню. Когда почтальонша приносит мне денежный перевод, и мне приходится заполнять бланк, я всегда вынужден у нее спрашивать, какое у нас число и какой год. Иногда бывает неудобно. Правда, я всегда даю им на чай, и почтальонши обычно радостно отвечают на мой вопрос. Но иногда приходит новая почтальонша, и ты ей уже задаешь этот глупый вопрос, а она еще не знает, что ты ей дашь на чай, и она отве-

чает на твой вопрос довольно тускло. Но, ничего не поделаешь, так устроена моя голова.

Я даже придумал теорию, довольно убедительно объясняющую мое беспамятство. Я придумал такую теорию, что у разных людей голова по-разному устроена. У одних в голове большое место занимают складские помещения, а машинное отделение занимает довольно скромное место. А у других якобы, как у меня, сильно разрастается машинное отделение в голове, и оно вытесняет складские помещения. Я думаю, что это вполне солидная теория.

Сейчас я подумал: а что, если эта моя теория беспамятства есть попытка опозитизировать обыкновенный склероз? Нет, не согласен. Настоящие стихи и кое-что другое приятное моей душе я все еще неплохо запоминаю.

Скорее всего, дело обстоит так. Моя голова — последний бастион защиты от цивилизации. И она пока еще изрыгает и отбрасывает от себя ее назойливых носителей.

В бастионе моей головы последняя дюжина чегемцев (кажется, только там она и осталась) защищает ее от лезущей со всех сторон, карабкающейся, вползающей во все щели нечисти в рогатых антеннах. А я изо всех сил взбадриваю героических защитников.

— Бей их, ребята! — кричу я. — Это враги их насылают на нас! Заливай их кипящей мамалыжной заваркой! Круши им черепа кукурузной колотушкой! Протыкай их ломом! Суй им в морду горящую головешку, выхваченную из костра! Стегай их очажной цепью!

Мне говорят, цивилизация неизбежна, поэтому я ее должен любить. Но смерть тоже неизбежна, что же, я ее поэтому должен любить?! Впрочем, к этому я еще вернусь.

А теперь, поняв, в чем суть дела, и поуспокоившись, пойдем дальше. Что касается всяких там таблиц, карт, диаграмм, расписаний, так это все для меня полный хаос. Ни малейшей возможности взаимопроникновения. Я, например, своими силами никогда не мог использовать расписание пригородных поездов. Это же с ума сойти, сколько цифр идет по горизонтали и по вертикали, и среди сотен этих цифр ты должен найти одну-единственную, означающую время отхода твоего поезда.

Я лучше простою целый час возле расписания и, дождавшись, когда к нему подойдет человек с мягким выражением лица, а дождаться такого человека не всегда просто, но все-таки дождавшись его, я спрошу у него, придав собственному лицу подслеповатое выражение:

— Скажите, пожалуйста, когда отходит такой-то поезд... Я сам не могу разобраться, потому что у меня плохо со зрением...

Что касается всяких там диаграмм, схем или, как это называется, «кривой развития», так это вообще полный абсурд. Да, я ненавижу ваше развитие уже потому, что оно всегда кривое!

Или, скажем, маршрутные карты. Во время заграничных поездок иностранные гиды нарочно каждый день раздают карты, а наши наивные туристы набрасываются на них, ра-

дуюсь, что все это дается бесплатно. А я думаю: болваны, зачем вам эти карты, ведь все равно и так повезут по нужным местам?

Они не понимают, что эти самые гиды потом идут, куда надо, и докладывают там: «Эти советские туристы, никакие они не туристы. Все они, кроме одного, разведчики, потому что так и набрасываются на карты».

А буржуазия потом на этом строит свою пропаганду. После этого я спрашиваю: кто больше политически развит, я или они? Кого надо чаще посылать за границу — меня или их?

Мне иногда кажется, что здравый смысл, который я унаследовал от своих чегемских предков, предохраняет мою голову от ненужных, и даже вредных знаний. Ну, в самом деле, какое значение имеет год, в котором ты живешь, если тебе точно известно, что время в твоей стране давно остановилось и никуда не движется?!

И вот это свойство моей головы, ее полная освобожденность от житейской и схоластической чуши позволяет мне сосредоточить умственные силы на самых важных и главных проблемах. И по этим проблемам я уже сделал ряд выдающихся открытий и, вероятно, еще сделаю, если, конечно, меня не остановят.

Некоторые довольно интеллигентные люди, замечая отдельные недостатки, которые все еще имеют место в нашей стране, думают: а что, если слегка потеснить большевиков, чтобы в дальнейшем, устранив эти недостатки, перестать их

теснить? И вот таким людям я говорю: «Стоп, ребята! Это не только глупо, это хуже, чем глупо — это опасно. Вы что, не знаете, что большевики ужасно не любят, чтобы их кто-нибудь теснил?»

И тут я им выкладываю одно из своих великих открытий. Я один понял, от чего идут беды всей нашей общественной и хозяйственной жизни. Все это идет от того, что на местах и отчасти даже в центре нашим руководителям не хватает чувства юмора.

Все началось с Ленина. Великому Ленину, как он в этом признавался Горькому, и это описано в воспоминаниях Горького, и даже наша цензура ему это не вычеркнула, не хватало чувства юмора. Ленин со свойственной ему откровенностью признавался Горькому, что он хорошо чувствует чужой юмор, но сам, к сожалению, юмором не обладает. Но Ленин, благодаря своей гениальности, отчасти восполнял недостаток юмора великолепной организаторской работой.

К сожалению, после Ленина большевики, не обладая его гениальностью, по части юмора решили идти его путем. И это было крупной ошибкой. Они назначили руководителем страны самого неулыбчивого человека, ошибочно решив, что самый неулыбчивый человек и есть самый серьезный человек. И в этом уже проявился трагический недостаток чувства юмора. Нет, потом, после тридцать седьмого года, он с удовольствием улыбался себе в усы, и некоторые партийцы схватились за головы, поняв, какие именно явления жизни вызывают у него улыбку, но было уже поздно.

И вот я предлагаю всеми средствами печати и устного воздействия развивать по всей стране чувство юмора у руководителей всех рангов. Это поистине героическое занятие, вероятно, первое время не обойдется без жертв.

Вероятно, их (или нас? нет, лучше — их), юмористов, в первое время будут преследовать и даже частично сажать в лагерь. Но они (или мы? нет, лучше — они) и там не должны терять чувство юмора, а неустанно прививать его следователям, прокурорам, конвою и другим облеченным властью деятелям. Они должны поступать так, как арестованные Сталиным партийцы, которые и в самых страшных сибирских лагерях продолжали яростные, непримиримые споры по поводу стратегии и тактики мирового пролетариата.

А мы, оставшиеся на воле юмористы (или они? нет, мы!), должны, ни на минуту не теряя бодрости духа, день и ночь распространять юмор по всей стране. Мы должны учредить кафедры юмора во всех вузах и даже в высшей партшколе. В высшей партшколе заведующим кафедрой юмора можно назначить Аркадия Райкина, если он, конечно, член партии, что само по себе было бы не лишено юмора.

Юмор должен проникнуть на все собрания, на все конференции, на все пленумы, на все съезды. Нет, меня на слове не поймаете, деловая часть не отменяется. Но все доклады, например на съездах, будут пронизаны юмором. Делегаты с нетерпением ждут, какую хохму привезет представитель Одессы, а другие гадают, что скажет докладчик из Еревана. Всем

весело, Косыгин улыбается так, как будто его экономическая реформа принята. А что? Вполне возможно, в условиях юмора ее примут обязательно, товарищ Косыгин!

В условиях юмора в стране господствует прекрасное настроение, все равны и все имеют равное право смеяться и быть высмеянными. Партия смеется над интеллигенцией, интеллигенция смеется над партией, а рабочие смеются, глядя на тех и других. Социализм, господа, это хорошая шутка!

И когда наконец юмор овладевает партией, а партия овладевает юмором, мы с легким смехом избавимся от всех недостатков нашей общественной и хозяйственной жизни.

Но стоп! — останавливаю я себя. А не приводят ли мои рассуждения о юморе к некоторой опасной потере чувства юмора?

В таком случае немедленно беру свои слова назад. Или даже лучше — раскрываю карты. Эти страницы на самом деле написаны с одобрения самых высших инстанций для выявления людей, которые своими улыбками или тем более смехом тут же на месте обнаруживают свою диалектическую неблагонадежность.

Нет, так нельзя. Чувствую, что меня все время заносит, а остановиться не могу. Надо сейчас же взять себя в руки и немедленно вернуться в строгие рамки сюжета.

Итак... Мы прикатали на трех машинах в это уединенное абхазское село по причине, которая сейчас совершенно выветрилась у меня из головы. Точнее всего, никакой причины не

было. Один из участников нашей компании был приглашен к своему родственнику, а нас он просто прихватил по дороге.

Нас приблизительно было восемь человек. А между прочим, этого рассуждения о юморе не было бы, если бы я точно знал, сколько нас было человек. И теперь вы сами судите, плодотворно ли для автора в тех или иных случаях неточное знание предмета или оно его приводит к сокрушительным идейным провалам?

Сама наша компания образовалась случайно. Я ехал из Гагр в Мухус, чтобы встретиться с товарищем, которому помог выпутаться из очень нехорошей истории. В драке, навязанной ему, он вынужден был убить человека, за что ему присудили двенадцать лет лагерей строгого режима.

Он уже просидел около двух лет, когда я написал — и опубликовал, что было гораздо трудней, — статью об этом случае, где сумел доказать, что свой смертоносный удар он нанес человеку, защищаясь от не менее смертоносных ударов, которые ему наносили двое.

После напечатания статьи дело пересмотрели, и его выпустили из тюрьмы. До меня дошли слухи, что отец убитого, старый уголовник, грозит «пришить» и меня, и выпущенного из тюрьмы невольного убийцу его сына. На меня угрозы этого человека не произвели большого впечатления, он меня никогда не видел, жили мы в разных городах, и я не верил, что он будет пытаться меня разыскать.

Единственная предосторожность, которой я решил придерживаться, — это не ездить в городок, где жил этот старик.

Сделать это было нетрудно, хотя в городке этом жило несколько моих родственников, которых я не прочь был увидеть. Но если б и не увидел, не умер бы от тоски. Во всяком случае, я старался помнить об этом старике, чтобы меня в этот городок случайно не занесло.

И вот я ехал в Мухус, чтобы встретиться с другом, которого выпустили из тюрьмы, и, когда такси доехало до окраины города, нам просигналила встречная машина, и мой шофер остановился. Я увидел своего друга, вылезаящего из встречной машины. Оказывается, в этот день и в этот час он ехал со своим приятелем ко мне в Гагры, чтобы встретиться со мной. Ни он, ни я не уславливались о дне встречи. Каким образом нам обоим пришлось в голову именно в это время ринуться навстречу друг другу?

Мы с товарищем обнялись и, стоя у обочины дороги, стали вместе с его приятелем обсуждать достоинства и недостатки окрестных ресторанов.

Сейчас, отстукивая на машинке эти строки, я вспомнил, что и эту встречу, и всю предыдущую горестную историю моего друга я уже описал в одной повести, где собственный добрый поступок приписал своему герою. И вот я снова к этому поступку возвратился. В чем же дело? Или меня тянет к собственному доброму поступку, как преступника к месту преступления? Или мне жалко, что я приписал его своему герою?

Да, жизнь моя, во всяком случае, так бедна хорошими поступками, что я невольно так высветил этот сюжет, чтобы озарить и свой небогатый подвиг.

Странна жизнь писателя, то есть наблюдателя над жизнью. Кто выдумал эту должность? И почему именно я нахожусь на этой должности? Чувствую, что в один прекрасный день появится некий человек, и он скажет во всеуслышание:

«Снять его с должности наблюдателя над жизнью. Не то, чтобы следить за жизнью, пасти ее на зеленых пастбищах нашей идеологии, он у себя под носом ничего не видит».

Предчувствуя, что это рано или поздно наступит, я заранее признаю: да, я действительно очень ненаблюдательный человек. Вот довольно забавный пример моей ненаблюдательности.

Когда я был студентом, я познакомился и подружился с одной очаровательной девушкой. До меня она была влюблена в какого-то неведомого футболиста из ее города и постоянно о нем вспоминала. Горечь ее воспоминаний я старался смягчить влагой нежных поцелуев, и, кажется, мне это удавалось.

Во всяком случае, она давала знать, что, пожалуй, если это все так продолжится, она сумеет забыть про своего футболиста. Я терпеливо дождался того времени, когда она окончательно забудет про своего футболиста, а она продолжала про него рассказывать. Как только наступала пауза в ее рассказах, я тут же заполнял эту паузу поцелуем. Я старался поцелуями продлить эти паузы в ее рассказах, и она довольно благосклонно разрешала мне это делать.

Правда, переждав поцелуй, она снова принималась рассказывать про своего футболиста и всегда, не сбиваясь, про-

должала свой рассказ с того места, на котором я ее прервал. Я все ждал, когда она собьется, чтобы действовать более смелым образом, но она, не сбиваясь, продолжала рассказывать про своего футболиста. Я не терял терпения, потому что она мне очень нравилась, и целовать ее казалось мне громадным достижением. Так мы встречались с ней около двух месяцев, и я был доволен жизнью и судьбой.

В те времена у меня был друг, который жил в одной из комнат общежития напротив меня. Он был посвящен в мои сердечные дела и в горестную историю с ее футболистом.

Однажды я зашел в его комнату и увидел, что моя подружка стоит у электрической плиты и жарит моему другу котлеты. Сначала я был довольно сильно смущен, никак не ожидая ее тут встретить. Потом в голове моей возник легкий и благородный вариант ее появления в комнате моего друга. Конечно, она шла ко мне, а он, увидев ее, перехватил по дороге и заставил ее жарить ему котлеты.

Вообще-то ему была свойственна некоторая склонность использовать окружающих людей. Обо всем этом я вспомнил в одно мгновение и даже почувствовал платоническую гордость за кулинарные способности моей подружки. Некоторая тень зависти из-за того, что сам я эти ее способности никогда не использовал, тоже промелькнула у меня в голове. Но я тут же себя успокоил мыслью о том, что мне-то ей предстоит всю жизнь жарить котлеты.

Окончательно успокоенный да еще приглашенный ими за стол, я весело с ними пообедал и, ничего не подозревая, вы-

шел с ней на улицу гулять. Она опять стала рассказывать про своего футболиста, и в ее рассказе на этот раз я заметил более пессимистические нотки, чем обычно. Она выразила сомнения, что навряд ли теперь кто-нибудь в ее жизни заменит ей неудачную первую любовь. Стоит ли говорить, что я ее уверял в обратном.

Прошло недели две, в течение которых мы несколько раз бывали втроем, прежде чем я догадался, что произошла основательная перегруппировка действующих лиц.

Я был потрясен случившимся. Паршивый опыт человечества меня ничему не научил. Я никак не представлял, что между друзьями возможно такое. Мой собственный опыт говорил совсем о другом. Когда я учился в школе, я вместе со своими двумя друзьями влюбился в одну девушку. Мы тогда все втроем помогали друг другу признаваться ей в любви. И хотя каждого из нас она поочередно отвергала, дружба наша никак не распадалась. Нам очень хотелось, чтобы хотя бы одному из нас с ней повезло. Но раз никому не повезло, что ж делать, нас утешала собственная дружба.

(Невозможность осуществления самой изумительной, как правило, первой любви. По-видимому, это так задумано свыше. Что бы делал человек, достигнув счастья? Неутоленной любовью судьба дает нам понюхать счастье и, отбрасывая его в недостижимую даль, говорит, как собаке: «Ищи!» И мы ищем. Это и есть путь духовного роста.)

...А тут получилось совсем по-другому. Оказывается, он с самого начала влюбился в нее и скрывал это от меня. Ока-

зывается, он уже около двух месяцев ежедневно покупал ей коробку шоколадных конфет. Не застав ее в комнате, он оставял эти конфеты под подушкой ее постели. Так что она, если надолго куда-нибудь уходила, возвратившись в комнату, прямо шла к своей подушке и, отодвинув ее, доставала коробку. А если коробки не оказывалось, она говорила: «Так он еще не приходил?»»

Сначала она, хохоча (так говорили девушки из ее комнаты), ела сама эти конфеты и угощала ими своих подружек. А потом дрогнуло ее провинциальное сердце, и она решила нежной дружбой отблагодарить его за эти конфеты.

Так я думаю. Кроме того, на фоне этих ежедневных шоколадных конфет, я, вероятно, производил довольно невыгодное впечатление. Хотя я ей устраивал несколько скромных студенческих пирушек с пивом, к которому она пристрастилась со времен футболиста, ей, вероятно, все это должно было показаться убожеством.

Вероятно, в ее хорошенькой головке произошла переоценка ценностей. Видно, она решила так: этот меня целует и изредка угощает своим жалким жигулевским пивом. А этот меня еще не целует, а уже угощает, и притом ежедневно, коробкой шоколадных конфет. А что же будет, когда он начнет меня целовать?

Одним словом, поняв, что чаша весов явно перевешивает в его сторону, я потихоньку отделился от них и зажил самостоятельной жизнью. Никаких объяснений ни с ним, ни с ней у меня не было. Мне было ужасно неприятно вступить в ка-

кие-то переговоры, и они, слава Богу, не пытались со мной объясниться.

Случайно встречаясь с ними на улице или в институте, я сдержанно здоровался и проходил мимо. Отвечая на мой кивок, она смотрела на меня с выражением легкой грусти, как бы стараясь утешить меня, как бы внушая мне, что я сильно ошибаюсь, если думаю, что ее новое положение освободило ее от груза воспоминаний о прекрасном футболисте.

Он же здоровался со мной совсем иначе. Он здоровался со мной, как бы сосредоточенно прислушиваясь к музыке высших сфер и давая этим знать, что ему совершенно невозможно в его состоянии вникать в мелкие земные человеческие отношения.

Так длилось примерно с месяц. Однажды он зашел ко мне и сказал, что приглашает меня пообедать вместе с ними в его комнате. Я согласился, хотя мне очень не хотелось идти. Но я боялся, что, если я откажусь, мне придется объясняться с ним. А объясняться с ним мне никак не хотелось. Это что ж, так в лицо и сказать человеку, с которым дружил два года, что он поступил как негодяй? Да не в том дело, что он оказался с ней, мало ли чего не бывает в жизни. Но ведь я же знал о конфетах, которые он дарил ей, задолго до того, как дрогнуло ее сердце. Надо было делать вид, что ничего не случилось, — это устраивало обе стороны. Кстати, признаюсь в еще большем грехе. Никогда не мог не пожать протянутую руку знакомого мне человека

или не ответить на его кивок, даже если уже знал, что этот человек совершил какую-то низость. Иногда, в редких случаях, мог сказать все, что я думаю о нем, но не пожать протянутую руку не мог.

Часто после пожатия такой руки у меня возникало невероятное желание содрать со своей испакощенной ладони кожу. Однажды такое ощущение длилось два дня. Значит, я чувствовал греховность такого рукопожатия? Да, и все-таки потом снова пожимал руку подобным людям.

После появления «Козлотура» мои родные «Красные субтропики» дали разгромную рецензию о нем. Это был прямой призыв к пролитию крови автора. Кроме всех остальных грехов, статья обвиняла меня в оскорблении национальной чести.

Человек, написавший статью, и люди, стоявшие за ним, явно ожидали, что призыв к пролитию крови будет подхвачен центральной прессой. И не совсем напрасно. Позже один работник самого важного нашего органа печати рассказал мне, что вопрос этот обсуждался у них, но тогда победили люди, склонные к умеренности. Повесть не тронули.

Прочитав статью, я пришел в бешенство, которое длилось часа два. Я ходил по комнате, и тогдашний мой гневный монолог против автора статьи можно было уместить в одну фразу: «Зачем, зачем тебе, Гольба, защищать честь абхазцев от меня, абхазца?!»

Потом я махнул рукой на это дело, но на автора статьи все-таки сильно разозлился, тем более что хорошо знал его.

Через несколько лет, приехав в Мухус, я случайно на улице столкнулся с ним. Блудливо улыбаясь, он протянул мне руку, и я... и я... и я... пожал ее.

Попробуем спокойно разобраться в этом вопросе. Мне могут сказать: «Ведь от того, что ты не пожмешь руку человеку, совершившему подлость, он не умрет. Но ему это будет очень неприятно и, возможно, в следующий раз остановит его от низкого поступка».

Может быть, так, а может быть, и не так. Безусловно, что это унижение может привести его к раскаянию и самоочищению. Но, возможно, непожатие руки приведет человека, совершившего гнусность, к еще большему ожесточению и еще большей склонности совершать гнусности.

Как же быть все-таки? Пожмать руку совершившему подлость или не пожимать? Кто вообще придумал этот дурацкий обычай пожимать руку? Может, отменить его? Или, если отменять уже поздно, ввести несколько типов рукопожатий, означающих: одобряю твое существование на земле, не совсем одобряю или совсем не одобряю.

Нет, надо вернуться к самому себе. Почему я все-таки пожимаю протянутую руку, зная, что это рука человека, совершившего гнусность? Конечно, главная причина в том, что я по натуре не могу быть карающим органом. Не могу и все. Я не оправдываю себя, но и не до конца осуждаю.

А теперь рассмотрим психологию людей, которые мужественно не замечают протянутую руку. Конечно, среди них есть просто честные люди с крепкой нервной системой, и они сво-

ей рукой, не дрогнувшей навстречу протянутой руке, ясно показывают неодобрение гнусности.

Это так. Это бывает. Но, к сожалению, большинство людей, таким образом осуждающих зло, действуют совсем из других побуждений. И в силу нашей профессии мы довольно четко угадываем мотивы этих побуждений. Мотивы эти таковы: ты совершил гнусность (скажем, продался), а я изо всех сил сдерживаюсь и не совершаю гнусность, так я же должен пожимать тебе руку?! Так вот тебе — не пожму! Пусть видят, что я не совершил гнусность, пусть хоть эта малая выгода заменит мне ту, большую, о которой я скромно, но пламенно мечтаю.

Попробуем этот вопрос рассмотреть в философском плане. По-видимому, существует два типа психологии, два отношения к злу. Один тип людей, замечая зло, стремится тут же на месте с ним расправиться, чтобы восстановить гармонию мира. Другой, видя проявление зла, чувствует его бесконечную связь с мировым злом, и у него опускаются руки от понимания, что вместо отрубленной ветки зла вырастет другая или даже многие.

Первый говорит:

— Ну что ж, будем все время рубить!

Второй говорит:

— Нет, это не верно. Надо идти более долгим путем. Надо докопаться до корней и выкорчевать дерево зла целиком.

Первый:

— Да на это уйдут усилия ста поколений!

Второй:

— Хоть тыщи! Другого пути нет.

Первый:

— Надо заставить человека быть человеком!

Второй:

— Надо очеловечивать человека, и тогда он сам станет человеком.

Конечно, мое рассуждение слегка прихрамывает. Нет, я не хочу отрицать пользу тех, кто занимается исключительно отрубанием веток. Они тоже нужны, некоторое количество таких людей мы оставляем, но главные силы все-таки бросаем на раскапывание корней.

Вообще, эти отрубатели веток, то есть прямые борцы со злом, — довольно странный народ. Иногда стоишь в очереди и ждешь, когда она дойдет до тебя. А тут со стороны прут и прут к прилавку. Конечно, мелькает мысль: хорошо бы стать там у прилавка и навести порядок, чтобы очередь быстрее двигалась. Но какая-то душевная лень мешает, да и возможность схлопотать по морде учитывается. И начинаешь глубоко задумываться о том, как бы организовать торговое дело, чтобы очередей не было совсем. И иногда в голове возникают изумительные проекты, но чувствуешь, что тебе не под силу протолкнуть их через соответствующие учреждения.

И ты, тяжело вздохнув, продолжаешь ждать своей очереди, а наглецы со всех сторон прут и прут к прилавку. Ну, ладно, решаешь про себя, подумаешь, простою лишних полчаса или час.

И вдруг из очереди выходит энергичный мужчина, становится у прилавка и никого не пускает, и очередь двигается быстрее, а ему даже по морде никто не дает, до того у него энергичный и самостоятельный вид. Есть же на свете настоящие мужчины, думаешь ты, а сам я байбак. И вдруг у тебя в голове возникает великолепная мысль: надо передать свой прекрасный проект по уничтожению очередей этому энергичному мужчине. Он, только он, этот проект пробьет через все препятствия и воплотит его в жизнь! Но ты тут же угасаешь от ясного понимания того, что не будет этот энергичный мужчина возиться с твоим проектом, ему гораздо приятней здесь, на виду у толпы, наводить порядок. Ему ж даже отчасти было бы нежелательно жить при таком положении вещей, когда не надо на виду у толпы наводить порядок.

Не в этой ли роковой невозможности соединить прекрасный проект с действиями энергичного мужчины трагедия мировой истории?!

И бывает, такой энергичный мужчина так и стоит у прилавка, отбрасывая нахалов, до самого того мгновения, когда подходит его очередь. Тут он покупает свои продукты и удаляется, сопровождаемый взглядами толпы, как бы говоря: «Не надо никаких цветов, никаких благодарностей, мне достаточно вашего молчаливого обожания».

Это так. Это бывает. Но бывает, что этот энергичный мужчина некоторое время отбрасывает нахалов, а потом вдруг, не дождавшись своей очереди, сует деньги продавщице, берет

свои продукты и удаляется быстрыми шагами, как бы пораженный какой-то мыслью, которая тут его осенила, и в результате чего ему немедленно необходимо, бросив все дела, уйти в направлении этой мысли.

И вот что интересно. И продавщица знает, что он не дождался своей очереди, и очередь знает, что ему рано было отовариваться, но все уверены, что так и надо, что он должен был иметь какую-то выгоду за свой временный героизм. И очередь смотрит ему вслед долгим взглядом, одновременно и оправдывающим его поступок, и слегка тоскующим по бескорыстному кумиру, и как бы понимающим, что сама она не вполне достойна такого кумира.

Но я залез в какие-то дебри. А между тем человек, совершивший гнусность, стоит с терпеливо протянутой рукой, а я никак не могу решить, надо ее пожимать или не надо.

Ну, вот — пожал. После этого я чувствую к себе и к своей ладони омерзение. Но все-таки я пожал эту руку. Значит, если бы я не пожал ее, я бы чувствовал себя еще хуже? Из двух зол я выбираю меньшее? Почему оно меньшее?

Потому, что, не пожав эту руку, я как бы полностью отрицаю, что передо мной стоит человек, а не животное. Но такая кара все-таки не соответствует его проступку? Как же быть? Но может быть, пожимая эту руку, я признаю свою согреховность той гнусности, которую совершил этот человек? Безусловно, в этом есть правда. Ведь перед тем как совершать свою гнусность, он, подсознательно или даже сознательно, представил всех своих близких и знакомых

и почувствовал, что, в общем, все они, скорее всего, проглотят эту гнусность. А раз он так решил, значит, мы давали какой-то повод надеяться, что гнусность пройдет, значит, что-то такое в нас было? Конечно, не мы главные виновники, но и мы давали повод надеяться, что гнусность пройдет, а теперь, не подавая ему руки, всю вину сваливаем на него, хотя часть вины лежит на нас самих. Но, с другой стороны, подав ему руку, мы тем самым полностью оправдываем его надежду, что гнусность пройдет. Нет, раньше надо было быть такими, чтобы он не посмел делать гнусность. Вот где правда! Но ведь когда-нибудь надо становиться такими? И вот, не пожав ему руку, мы всем показываем, что мы в дальнейшем будем такими, чтобы никто не смел делать гнусности. Но ведь он может воскликнуть: «Это несправедливо! Почему именно с меня надо начинать? Может, я бы не решился сделать гнусность, если бы знал, что вы с меня будете начинать наказывать?!»

Господи, как же быть? И подавать руку неправильно, и не подавать руку неправильно! Может, это вообще неразрешимый вопрос? Может, всякое бегство из человеческого общества вызвано его неразрешимостью? Идея отшельничества не отсюда ли? Бежать, бежать в пещеру, в скит, там никому не придется пожимать руку!

Может, Лев Толстой именно по этой причине бежал из Ясной Поляны? Приезжают со всего мира. Знаменитый писатель. Граф. Русское хлебосольтво. Надо пожимать руки. Разговаривать. А он, великий психолог, видит, сколько

среди этих гостей пакостников. А Софья Андреевна радуется и ничего не понимает. И взрыв последнего решения: бежать! бежать!

И я бегу от этого вопроса к своим очаровательным в своей ясности изменникам, о которых читатель, наверное, подзабыл.

Придется коротко напомнить. Вообще с читателем лучше всего разговаривать коротко и громко, как с глуховатым. Громко-то у меня получается, вот коротко не всегда.

Значит, напоминаю. Во времена студенчества у меня была подружка, но ее у меня отбил мой друг. Шоколадными конфетами соблазнил. Но я с ними не стал ссориться, отчасти из ложной гордости. Надо было делать вид, что ничего не случилось. Как в песенке поется: «Отряд не заметил потери бойца».

Вот и я должен был делать такой вид. И этот мой друг пригласил меня в свою комнату пообедать с ними. Мне ужасно не хотелось идти, но я вынужден был пойти, чтобы не объясняться с ним. И вот в этом месте я отвлекся на эту проклятую руку.

Когда я вошел в комнату, она жарила картошку на электрической плите. Я поздоровался с ней и сел на стул. Она сказала ему, чтобы он пошел за пивом. Он неохотно согласился с ней и, надев пиджак, ушел. Я не знал, о чем с ней говорить, но она знала. Она начала издалека, то есть со своего футболиста, терпеть воспоминания о котором у меня не было ни малейших оснований.

Из ее слов получалось, что она сейчас сильнее, чем раньше, грустит по своему футболисту. Из ее слов получалось, что она хочет вернуться ко мне и попробовать вместе со мной перебороть свои воспоминания о первой любви.

Но я уже не хотел, чтобы она вернулась ко мне. Я не хотел помогать ей забывать своего футболиста, хотя надо сказать честно, она мне все еще нравилась. Одним словом, я не поддерживал разговора. Я только понял, что конфетная осада ни к чему не привела.

(Цепкий взгляд благотворителя, рассеянность убогатворенного.)

Внезапно распахнулась дверь, и в дверях стоял мой друг-предатель (через четверть века с трудом соединяю эти слова), глядя на нас вытаращенными глазами. Шагов его не было слышно. Он явно подкрался к дверям, чтобы застукать нас за злодейским поцелуем. Поняв, что поцелуями явно дело не пахнет, он радостно поставил бутылки с пивом на стол. Но я-то уже знал, что радоваться ему, бедняге, нечего.

Так оно и получилось. Вскоре она стала появляться в институте в обществе студента-венгра. Судя по всему, тут роман развивался стремительно. Теперь она здоровалась со мной без всякого намека на футболиста. Венгры, они церемониться не любят. Впрочем, мы с ними тоже не церемонились.

Вот так и закончилась эта история. Никогда не думал, что о ней вспомню. По-видимому, песчинка боли, застрявшая в душе, нарастила вокруг себя эту сомнительную жемчужину.

(Учредить клинику по иглоукалыванию писателей для получения искусственного жемчуга.)

Но к чему я это все вспомнил? Да, речь зашла о наблюдательности. Из этого рассказа видно, что я очень ненаблюдательный человек. Но в свое оправдание я хочу сказать пару слов.

В сущности, наблюдательных людей нет. Просто те люди, которых считают ненаблюдательными, наблюдают за каким-то невидимым для нас объектом. И самое опасное в них то, что никогда не понятно, за чем именно они в данное время наблюдают. Поэтому мой дружеский совет всем — избегать делать подлости, надеясь на ненаблюдательность ваших знакомых. Они могут вас разоблачить в самом неожиданном месте.

* * *

...О, хроническая нечистоплотность человеческого племени! И стыдно отворачиваться от тебя, и не хватает такта терпеть твое смрадное дыхание!

Этим летом один наш археолог показал мне пучок стрел, найденный им в высокогорной пещере. По его расчетам, стрелам было около тысячи лет. Я долго рассматривал этот бесценный дар нашего далекого предка, этот хорошо сохранившийся, но слегка ссохшийся букет смерти. Особенно хорошо сохранились наконечники стрел, так сказать, самая идейная часть: сердцевидные, ромбовидные, серповидные, клешне-

видные, зубчатые... Какое изобретательное многообразие форм при строгом единстве содержания — мечта пропагандиста. Глядя на эти стрелы, я почувствовал неуправляемый позыв выbleвать на историю человечества.

Чтобы выжить, человеку слишком долго важнее было развивать в себе изворотливость ума, нежели божественную энергию стыда. Так и пошло, что выработался большелобый ублодок с хилой сердечной мышцей, образовалась дурная автономия ума, оргия тупоголовой цивилизации, не слушавшая и не слышавшая тревожных окриков культуры и только сейчас, на краю бездны, слегка очнувшись, обалдело озирающая замученную местность Земли.

Где выход? Культура должна опередить цивилизацию и возглавить племя людей. Возможно ли? Не будем унывать. Дон Кихоты всего мира, по коням!

Как бы мы жили, если бы время от времени на наших дорогах не появлялся знаменитый испанский кабальеро на своем героическом коне и, обдавая нас ободряющими клубами пыли, с выражением величавой важности на лице и беспредельной уверенности в победе добра, не выезжал вперед?!

Вот он остановился у киоска и, протянув продавщице монету, снимает с своей потной головы помятый шлем, а потом наклоняется за кружкой и пьет русский квас.

Воспользуемся его передышкой, как пользуется ею этот мальчик, сующий в рот его лошади огрызок яблока. Посмотрите, как великолепен этот лысеющий шишковатый череп.

Что? Среди многих шишек вы не видите шишки мудрости? А разве вы не знаете, что одна шишка, полученная за неукротимую веру, стоит десяти шишек мудрости?! А у него все шишки получены за неукротимую веру!

Как жадно припали его губы к остужающей влаге, как отчетливо ходит в горле его рыцарский кадык, как вольно откинут его худой корпус, одетый в пыльные, потрепанные доспехи, как беззаботно расслаблена нога, отдыхающая в стремени! И каждая прореха на его старом плаще гордится собой, она счастлива грядущей наградой — латкой, пришитой ласковыми пальцами Дульсинеи. И чем больше прореха, тем она счастливей, потому что тем дольше будут возиться с ней пальцы Дульсинеи!

Но главное — глаза! В глаза поглядите! Они сейчас устремлены в кружку с квасом с такой целенаправленной зачарованностью, словно видят в ней первый оазис грядущего счастья. Да, мечта так же реальна, как эта кружка с квасом, и так же утоляет душу, как этот напиток ссохшуюся глотку.

И вот он, напившись, едет дальше. И мальчик, о чем-то догадываясь, долго смотрит ему вслед. До свидания, великий кабальеро! Но скажите, неужели и он выходец из нашего чахлого племени? Да, и он! Значит, племя его способно на что-то? Да, выходит, способно! Значит, нежность, самоотверженность, доверчивость, доброта, мужество — не пустой звук? Да, клянусь всеми четырьмя копытами его коня, не стертыми мировой пошлостью, — не пустой звук!

...Но я слишком далеко отошел от своего сюжета. Я никак не могу его сдвинуть с места. Мой сюжет буксует, как русская история. И все-таки мы его сдвинем и пойдем дальше, ибо единственный вид власти, которую мы приняли на земле, — это власть над словом.

Итак, я отпустил свое такси (если читатель помнит, я приехал на такси), и мы с другом и его приятелем, стоя на обочине дороги, неторопливо обсуждали достоинства и недостатки окрестных ресторанов. Не правда ли, великолепное занятие — стоять на обочине дороги рядом с ожидающей тебя машиной и неторопливо обсуждать достоинства и недостатки окрестных ресторанов?

Покамест мы этим занимались, рядом с нами остановилась черная «Волга», и оттуда выглянуло монументальное лицо Абесаломона Нартовича. Последняя, самая высокая должность, которую он занимал, — это председатель местного совета министров. Сейчас его сняли с этой должности, и он работает директором научно-исследовательского животноводческого института. Но лицо Абесаломона Нартовича, особенно в машине, выглядит так, как будто он все еще возглавляет местный совмин. Абесаломон Нартович вышел из машины и подробно поздоровался со всеми, как бы по инерции возвышая людей, с которыми он здоровался, до своего бывшего министерского уровня.

Вместе с ним вышли еще два человека. Один из них был дядя Сандро. Представлять его, кажется, нет необходимости. Взглянув на него, я почувствовал, что он мне порядочно надоел. Я даже мысленно сказал ему: «Ты мне надоел, дядя Сандро. Я чувствую, что мне еще попадет за тебя...»

И надо же — старый черт почувал дуновение моего робкого бунта.

— Ты мне что-то хотел сказать? — спросил он у меня с вызовом.

— Нет, нет, дядя Сандро, — сказал я, опуская глаза.

Второй спутник Абесаломона Нартовича, высокий, стройный, красивый, как бы весь хрустящий от свежести, оказался космонавтом. Он бодро пожал всем руки, словно вкладывая в рукопожатие избыток сил, которые в нем накопились в свободное от космоса время.

Казалось, Абесаломон Нартович взял себе в спутники этих двух людей для демонстрации двух исторических периодов нашей жизни. Он как бы говорил этим: вот лучшее, что создано нашим прошлым (дядя Сандро), а вот лучшее, что создано нашим настоящим (космонавт), а вот я, мирно соединивший их. Так это выглядело.

Мне Абесаломон Нартович всегда нравился за свой талант рассказчика и балагура. Талант этот он, будучи ответственным работником, вынужден был всегда маскировать, что, впрочем, ему плохо удавалось. Я ему тоже, как мне кажется, нравился, он не мог не видеть во мне благодарного слушателя. Всякий человек с артистической жилкой не может не це-

нить своих поклонников. И во мне, я думаю, он всегда ценил поклонение своему дару, развернуть который он не мог по причине своего служебного положения. Во всяком случае, не мог в полную меру своего дарования.

Да, Абесаломон Нартович мне всегда нравился, но сказать, что он нравился мне только за свои байки, будет неточно. Он нравился мне и за это и за то, что всегда таил в себе возможность самых парадоксальных поступков. Так, одному моему знакомому он, еще будучи на самом верхнем пределе своей карьеры, сказал:

— Вообще из нашей фамилии никто своей смертью не умирал...

Это признание было сделано человеком, находящимся на самой вершине своей власти. Носители этой власти, даже если иногда и задумываются о возможности своего падения, во всяком случае, не признаются в этом никогда и никому. Наоборот, главное их занятие сверху донизу — всегда подчеркивать незыблемость своей власти.

Может возникнуть вопрос, а не брал ли Абесаломон Нартович за время своего царствования (как он сам однажды сказал) подарки? На этот вопрос, если он действительно возникнет, я, как честный историограф, должен буду ответить положительно. Об этом говорили многие, и, что характерно для Абесаломона Нартовича, сам он это не слишком скрывал.

Однажды, после крупного возлияния с местными художниками, он нас повез к себе домой, где подряд два раза на двух

фортепьяно исполнил грузинскую песню «Сулико». В столовой еще стоял клавесин, если он мне спяну не примерещился. То, что в комнате было два фортепьяно, — это абсолютно точно. Это следует даже из краткого диалога, который там же состоялся между нами.

— Абесаломон Нартович, — спросил я, — зачем вам два инструмента?

— Дарят, — ответил он, сокрушенно пожимая плечами, — неудобно отказать...

В другой раз, добродушно ворча, он сказал про одного председателя колхоза, что тот зазнался и перестал приносить подарки.

Конец хрущевской эпохи оказался и концом Абесаломона Нартовича. Секретарь ЦК Грузии Мжаванадзе, чтобы облегчить свой достаточно перегруженный грехами корабль, не стал защищать Абесаломона Нартовича, а дал его на растерзание врагам.

Правда, Абесаломон Нартович получил достаточно почетную отставку. Он стал директором научно-исследовательского института. Недалеко от города, окруженный лавровыми деревьями, слоновыми пальмами, цитрусовыми насаждениями, он жил в своем институте как опальный римский сенатор в своем имени.

Здесь я его встретил в первый раз после отставки и спросил у него, как и почему Мжаванадзе отвернулся от него в решительный час, тот Мжаванадзе, который при Хрущеве столь отечески патронировал его. Неподражаемым в своем антич-

ном величии жестом Абесаломон Нартович наклонил ветку лавра, нюхая ее и одновременно увенчивая ею себя, как бы символически восстановил свое прошлое положение и, отпустив прошумевшую ветку, выдохнул:

— Старческая трусость...

Надо сказать, что опала не была громом среди ясного неба для Абесаломона Нартовича. За несколько лет до снятия с должности он защитил в Москве диссертацию и стал кандидатом биологических наук. Защита прошла блестяще. Правда, была одна забавная заминка.

Говорят, во время защиты ему был задан вопрос:

— Что такое клетка, по-вашему?

— Какую клетку вы имеете в виду? — уточнил Абесаломон Нартович, чем вызвал оживление в зале.

Таким образом, став директором института, Абесаломон Нартович, в сущности, отошел на хорошо подготовленные позиции. Уже будучи директором животноводческого института, он издал несколько книг. Наиболее интересная из них «Певчие птицы Абхазии». Оказывается, Абесаломон Нартович издавна питал слабость к певчим птицам. И он их неустанно изучал. В наше время такая сентиментальная слабость крупного ответственного работника навряд ли может поощряться. И Абесаломон Нартович не мог не знать об этом. Но, даже зная, что это может испортить ему карьеру, он, надо полагать, в условиях глубокого подполья, продолжал изучать певчих птиц Абхазии. Да, это вполне толковая книга, хотя и не имеет никакого отношения к профилю его института.

Но Абесаломон Нартович не был бы Абесаломоном Нартовичем, если бы он, написав книгу о певчих птицах Абхазии, не внес бы в нее нечто такое, от чего у специалиста глаза полезут на лоб, а знающий Абесаломона Нартовича человек только улыбнется или разведет руками. Так, в число певчих птиц Абхазии он внес попугая. Этим самым, я сейчас вспомнил, он как бы духовно осуществил мечту принца Ольденбургского, который действительно во время своего пребывания в Гаграх пытался запустить в наши леса ангольских попугаев, но их быстро переклевали местные ястребы.

Одним словом, неизвестно, по какой причине попугаи попали в число птиц Абхазии, да еще певчих. Так и вижу сановитую фигуру Абесаломона Нартовича, неожиданно легко взлетающую над землей и чисто делающую двойное сальто!

Так как в абхазском языке вообще нет слова «попугай», Абесаломон Нартович с ходу придумал ему абхазское название, и притом довольно остроумное. В обратном переводе на русский язык оно звучит примерно так: таратор. Ну, скажите, разве не трогателен этот человек?

Милый Абесаломон Нартович, если то, что я сейчас пишу, попадет на глаза читателя, то многие могут подумать, что я тебя разоблачаю. Но это величайшее заблуждение. В сущности, я люблю Абесаломона Нартовича, может быть, и несколько странною любовью, но люблю.

Всерьез говоря, в любви писателя к своей натуре есть элемент аморальности или, вернее, доморальности. Писатель не-

изменно испытывает приступ нежности, встречая в жизни своеобразную натуру. По-видимому, стремление к своеобразию — в природе художественного творчества, иначе это преклонение перед своеобразием ничем объяснить невозможно. Некоторая доморальность заключается в том, что писателю в момент встречи со своеобразной натурой практически все равно, какое это своеобразие — высокое или низкое. Но нравственное чувство писателя заключается в том, что он со всей доступной ему точностью передает истинные черты своеобразной природы, не стараясь низкое выдать за высокое или, наоборот, высокое за низкое. И чем своеобразнее своеобразие, тем сильнее его любит писатель. Тут, видимо, сказывается еще неосознанная благодарность за облегчение работы. То есть, чем меньше приходится привносить, чтобы сделать образ законченнее, тем благодарней ему писатель за близость природы к собственному идеалу.

А если высокое и низкое в человеке сочетается? Тогда своеобразие образа заключается именно в этом причудливом сочетании, и у писателя чешутся руки обязательно сохранить его.

Наивные люди думают, что великий Гоголь, создавая образы российских уродов, скорбел. Уверяю, что, описывая Ноздрева, Плюшкина, Собакевича, Гоголь испытывал самую высокую творческую и человеческую радость. Конечно, очнувшись и увидев, что он создал парад уродов, он несколько опешил и растерялся. Но, создавая их, он испытывал только радость.

Однако пора остановить высокие материи и попробовать все-таки сдвинуть с места сюжет. Итак, мы все еще стоим на обочине дороги, теперь уже в обществе Абесаломона Нартовича, и продолжаем обсуждать достоинства и недостатки близлежащих ресторанов. Кстати, строительству этих ресторанов Абесаломон Нартович уделял особенно большое внимание, когда был у власти. Ему мы обязаны рестораном в Эшерском ущелье, где в самый жаркий день царит влажная прохлада, ему мы обязаны рестораном на развалинах старой крепости, на вершине мухусской горы и многими другими. Он не только способствовал строительству этих ресторанов, но и заботился о том, чтобы они снабжались картинами местных художников.

Обсуждая с нами достоинства и недостатки местных ресторанов, Абесаломон Нартович поглядывал на проезжающие машины, и под его взглядом некоторые из них притормаживали, он здоровался с сидящими за рулем и небрежным движением руки отправлял их дальше, показывая, что в сложившихся обстоятельствах люди, сидящие именно в этих машинах, ему не нужны.

Кстати, мне ближе человек, который продолжает раболепствовать перед потерявшим власть кумиром, чем тот, что сразу же начинает ему хамить. В первом все-таки проявляется некоторое чувство ответственности за свое прошлое рабство, ему как бы стыдно сразу переходить в новое состояние, он как бы чувствует, что сам этого не заслужил еще. Тогда как второй, хамством мстя за свое прошлое ра-

болепство, выявляет готовность раболепствовать перед новым кумиром.

Наконец Абесаломон Нартович остановил машину, в которой по его гениальной догадке оказался именно тот человек, который повез нас в деревню. Сначала он вышел из машины и познакомился со всеми. Потом, услышав наши обсуждения достоинств и недостатков окрестных ресторанов, внес свое предложение.

— Слушайте, — сказал он, — чего вам выбирать ресторан? Меня в деревне ждет родственник, у которого мы посидим лучше, чем в любом ресторане. Поехали?

Все согласились ехать в деревню.

— Только заедем ко мне в институт, — сказал Абесаломон Нартович, — возьмем фейхоа.

Оказывается, дочь космонавта, которая вместе с ним отдыхает в военной санатории, болеет какой-то болезнью, от которой помогает фейхоа. А при институте Абесаломона Нартовича есть хороший фруктовый сад, где среди прочих экзотических насаждений растут и деревца фейхоа. (Семейство миртовых, кисло-сладкие, продолговатые плоды, зеленого или желтого цвета, если вам это так важно знать.)

Мы расселись по машинам и поехали в институт к Абесаломону Нартовичу. Наконец наша компания окончательно утряслась, и для любителей точности мы теперь можем пересчитать, сколько нас было человек. Я со своим другом, которому помог выйти из тюрьмы, и его приятелем — трое. Кста-

ти, мой друг при виде такого большого в прошлом начальника, как Абесаломон Нартович, совсем скис. За весь день он и пару слов не промолвил. По-видимому, кроме всех остальных прелестей, тюрьма еще развивает в человеке комплекс несовместимости с начальством. Может, я напрасно ввел его в это повествование? Он — герой совсем другой вещи. Хотя нет — в конце он понадобится.

Одним словом, можете досчитать сами. Получится восемь человек, если не забудете шофера Абесаломона Нартовича. А что я говорил с самого начала? Я говорил, нас было человек восемь. Некоторые могут подумать, что я потом все это подстроил, чтобы похвастаться неизвестно чем. Нет, конечно. С точки зрения литературного правдоподобия было бы правильной, если бы я немного ошибся.

Машины въехали на территорию института и, проехав мимо небольшой цитрусовой плантации, остановились у двухэтажного дома под сенью лавровых и камфаровых деревьев.

Все, кроме шофера, вышли из машин, поднялись на второй этаж, прошли приемную, где за столом сидела молодая секретарша, и вошли в кабинет Абесаломона Нартовича. Он уселся за свой стол, усадил нас на многочисленные стулья, стоявшие у стен кабинета, и, придав лицу руководящее выражение, нажал на кнопку звонка.

Вошла секретарша, несколько косясь и блуждающей улыбкой выражая некую застенчивую иронию, неизвестно к кому обращенную. Возможно, к самому Абесаломону Нартовичу. Если это так, мы можем только воскликнуть:

«О, время, время!» Дело в том, что еще в недалеком прошлом, на вершине своей карьеры, Абесаломон Нартович славился как легендарный любовник. По слухам (врагов? или сторонников?), ему нередко приходилось прерывать заседания совета министров (местного, конечно) и удаляться с очередной фавориткой в особую комнату, а притихшие министры переждали приступ любовного кейфа как неотвратимое и грозное явление природы или эпилептический припадок.

А между тем секретарша продолжала стоять, оглядывая нас блуждающей улыбкой, в то же время смущенно поеживаясь, сиротливо приподымая плечико и даже как бы слегка отстраняясь, словно предугадывая непристойные предложения и выражая своим телесным обликом не совсем полную готовность выполнить их. Сквозь эти многообразные чувственные маски тихо, но настойчиво проступала тайная наглость юной женщины, помнящей о своей внеслужебной власти над несколько аляповато молодящимся боссом. Во всяком случае, так мне показалось.

— Ящик фейхоа для нашего космонавта в мою машину и фрукты для гостей, — излишне строгим голосом приказал Абесаломон Нартович, как мне показалось, чтобы перекрыть впечатление от ее тайной наглости.

Восторженно узнавая космонавта, секретарша исчезла. Абесаломон Нартович вынул из стола экземпляр своей книги «Певчие птицы Абхазии» и, написав ее космонавту, стал рассказывать о некоторых достоинствах этих птиц.

Я все ждал, что он скажет, когда дойдет до попугая, но до попугая он не дошел, потому что вернулась секретарша с двумя вазами, наполненными яблоками, грушами и виноградом.

Вазы с вспотевшими от охлаждения плодами и томно свисающими гроздьями винограда были водружены на стол. Абесаломон Нартович прервал свой рассказ и, хлопнув книгу, вручил ее космонавту. Тот с таким видом прижал ее к груди, словно давал клятву в следующий же свой космический полет забрать ее с собой.

— Фейхоа поставили в багажник? — спросил Абесаломон Нартович.

— Да, — сказала секретарша, не сводя восторженного взгляда с великолепного космонавта. Взгляд этот выражал почти обрядовую готовность жрицы по первому же знаку своего идола тут же, не сходя с места, сорвать с себя все одежды. Взгляд этот почти всех смутил, в том числе и Абесаломона Нартовича. Я говорю почти, потому что космонавта этот взгляд не смутил. Не поняв ее призыва, он мельком посмотрел на нее с высоты своего отличного роста далеким, стерильным галактическим взглядом.

— Попробуйте фрукты из нашего сада, — сказал Абесаломон Нартович, все еще стараясь подчеркнуть свой полный контроль над происходящим.

Все потянулись к фруктам. Космонавт взял красное яблоко и сверкающими зубами сделал мощный образцовый надкус.

— Я сейчас хочу вам предложить, — сказал Абесаломон Нартович торжественно, — прохладительный напиток собственного рецепта... Надюша, принеси стаканы.

Не найдя отклика на свой призыв жрицы, секретарша погасла, и теперь выражение иронии на ее лице приобрело абсолютно универсальный характер, охватывающий всех находящихся в кабинете. Она повернулась и, откровенно смеясь над нами своими покачивающимися бедрами, вышла из кабинета. Абесаломон Нартович несколько удрученно посмотрел ей вслед, а потом взглянул на нас, как бы призывая не придавать слишком большого значения ее насмешливо покачивающимся бедрам. Не без некоторого уныния мы согласились проглотить это оскорбление.

— Знаменитый Логидзе тайну своих прохладительных напитков унес с собой в могилу, — сказал Абесаломон Нартович, — я в меру своих скромных сил пытаюсь создать равноценный напиток.

Интересно, подумал я, кто-нибудь в этой стране занимается своим прямым делом? Все же могучая широта природы Абесаломона Нартовича оставляла надежду, что и делам своего института он не совсем чужд.

Тут слово взял дядя Сандро и рассказал небольшую новеллу о своей встрече со знаменитым Логидзе.

Оказывается, Логидзе изготавливал лучшие в мире прохладительные напитки. Его лимонад был так прекрасен, что персидский шах и дня не мог прожить без него. Ящики с лимонадом Логидзе отправлялись в Баку, оттуда мо-

рем шли в Персию и дальше караванным путем до самого Тегерана.

Но в начале тридцатых годов у Логидзе сильно испортились отношения с Берией. Берия как будто пытался узнать у него тайну прохладительных напитков, а Логидзе не открывал этой тайны. Несмотря на интриги Берии, старик мужественно сохранял свою тайну. И Берия ничего ему не мог сделать, потому что не знал, как отнесется к этому Сталин. Он его только выжил из Тбилиси. Логидзе переехал в Мухус. Здесь он работал на лимонадном заводе, продолжая делать свои прекрасные напитки, но тайну их производства никому не открывал.

Нестор Аполлонович Лакоба решил во что бы то ни стало вырвать из него тайну, чтобы будущие поколения советских людей могли наслаждаться изумительным напитком. Это щекотливое дело Лакоба поручил дяде Сандро. Он посоветовал ему как следует тряхнуть старика, но так, чтобы вместе с тайной напитка не вытряхнуть из него душу.

Подобрав заранее ключи к дверям его квартиры и узнав, что старик в ту ночь в доме был один, дядя Сандро, прикрыв лицо маской и вооружившись пистолетом, вошел к нему в дом. Он зажег свет и приблизился к изголовью старика.

Старик проснулся, но, увидев над собой человека в маске и с пистолетом в руке, не испугался и даже не растерялся. И от этого, по словам дяди Сандро, он сам растерялся. Он совершенно не учел, что дух старика Логидзе к этому

времени был великолепно закален долгими интригами Лаврентия Берии.

— Опять бериевские штучки? — спросил он, усаживаясь на постели.

— Нет, — сказал дядя Сандро, — но ты должен открыть...

— Тайну воды Логидзе? — насмешливо спросил старик и, взяв папиросу со стула, стоявшего в изголовье, чиркнул спичкой и закурил. — Так запомните: нет никакой тайны Логидзе.

— Как нет? — удивился дядя Сандро.

— Так нет, — сказал старик, затянувшись и махнув на пистолет дяди Сандро, — убери, а то выстрелишь случайно... Нет никакой тайны Логидзе, есть любовь к делу и знания дела.

— Как так? — спросил дядя Сандро, пряча пистолет в карман.

— Ты знаешь, как готовят вашу мамалыгу? — спросил старик.

— Знаю, — ответил дядя Сандро.

— Каждая хозяйка знает, как готовить мамалыгу? — спросил старик.

— Каждая, — ответил дядя Сандро.

— И никакого секрета в этом нет? — спросил старик.

— Секрета нет, — отвечал дядя Сандро.

— Почему же есть хозяйки, которые готовят мамалыгу так, что пальцы оближешь, а другие неважно готовят? — спросил старик.

— Некоторые умеют лучше готовить, а некоторые не умеют, — ответил дядя Сандро, стараясь не дать сбить себя с толку.

— Но ведь те, кто готовит хуже, знают все, что знают те, что готовят лучше? — продолжал старик. — Или у них есть какая-то тайна?

— Нет, — сказал дядя Сандро, — какая же может быть тайна, все знают, как готовить мамалыгу.

— Так почему же, — спросил старик, — одни готовят ее прекрасно, другие похуже, а третьи совсем плохо?

— Не знаю, — сдался наконец дядя Сандро.

— Потому что в мире есть талант и любовь, — сказал старик, — чего ваши начальники никак не поймут. И женщина, в которой соединился талант и любовь, готовит мамалыгу лучше других. Любовь учит ее выбирать свежую муку на базаре, хорошо ее просеивать, а талант помогает ей правильно понять соотношение огня и того, что варится на огне.

— Так как же быть? — спросил дядя Сандро.

— Вы только уважайте талант, — отвечал старик, — а после меня придут люди, которые будут готовить прохладительные напитки не хуже меня.

— Но я обязан узнать тайну Логидзе, — напомнил дядя Сандро, что он человек тоже подневольный.

— Тебе нужна бумага? — спросил старик.

— Да, — сказал дядя Сандро.

— Хорошо, — согласился старик и, встав с постели, подошел к столу. Он взял кусок бумаги, макнул перо в чернильни-

цу и, что-то написав на бумаге, помахал ею в воздухе, чтобы написанное обсохло, и протянул ее дяде Сандро.

— Это все? — спросил дядя Сандро, удивленный краткостью формулы состава знаменитого прохладительного напитка.

— Все, — отвечал старик, — но главное я тебе сказал словами. Если природа наградит человека любовью и талантом, он будет делать воду не хуже меня и танцевать будет не хуже тебя.

Дядя Сандро, по его словам, почувствовал, что краснеет под маской: старик его узнал.

— Не обижайся, — попросил его дядя Сандро, — политика...

— Я не обижаюсь, — сказал старик, — я уже привык...

Дядя Сандро покинул старика Логидзе и на следующий день вручил Лакобе формулу знаменитого напитка. Лакоба отослал формулу не то в Москву, не то в Тбилиси, дядя Сандро точно этого не знает. Специалисты проверили формулу и через некоторое время сообщили Лакобе, что формула, которую дал старик, ничем не отличается от формулы обычных прохладительных напитков. Лакоба махнул рукой на это дело и больше не стал беспокоить старика.

Пока дядя Сандро все это рассказывал, секретарша внесла поднос со стаканами. Абесаломон Нартович открыл холодильник и вытащил оттуда графин с какой-то ядовито-желтой жидкостью.

— Все-таки старик Логидзе тогда задурил тебе голову, Сандро, — сказал Абесаломон Нартович голосом, исполненным уверенности в своей правоте, одновременно разливая свой напиток по стаканам, — он тайну своего напитка унес с собой в могилу... Но я добьюсь напитка, который будет не хуже... Пробуйте пока этот...

С некоторой неуверенностью мы потянулись к стаканам. Я пригубил ледяную жидкость и стал медленно ее отсасывать. Она была горьковатая и сильно вязала во рту. Другие тоже, как я заметил, осторожно тянули из своих стаканов. Только космонавт с присущей ему решительностью опрокинул стакан в рот и, утерев губы, сказал:

— Хвоей отдает...

Это он сказал с обезоруживающей точностью.

— Совершенно верно, — не растерялся Абесаломон Нартович, — в напиток входит сок фейхоа, и он создает этот оригинальный оттенок.

Космонавт взял из вазы грушу и сочно впился в нее, явно стараясь промыть рот после этого фантастического напитка. Остальные тоже взяли по плоду.

— Великолепная груша, — сказал космонавт, жуя и шумно втягивая в себя излишки сока.

— Дюшес, — довольный, заметил Абесаломон Нартович. — Надюша, распорядись, чтобы поставили мне в багажник ящик груш для нашего космонавта.

Надюша, усмехнувшись, пошла к дверям, продолжая насмешничать над нами своими покачивающимися бедрами.

Но после напитка Абесаломона Нартовича мы легко перенесли эту насмешку. Я, во всяком случае.

— Вы меня балуете, — сказал космонавт.

— Страна любит своих героев, — отвечал Абесаломон Нартович и, снова обращаясь к предмету своей последней страсти, добавил: — Опыты с прохладительными напитками продолжаются...

Он подошел к холодильнику и открыл дверцу. Мы увидели дюжину бутылок из-под кефира, заполненных опытными образцами напитков почти всех цветов радуги.

— Этот пока самый совершенный по вкусу, — сказал Абесаломон Нартович, указывая на графин, из которого мы пили, — недавно я им угощал министра сельского хозяйства Италии, он остался доволен... Если мне его слова правильно перевели.

Я хотел спросить, удалось ли бедному министру сельского хозяйства Италии, по крайней мере, закусить фруктами, но не решился. Мы вышли из кабинета.

— Если мне будут звонить, — обернулся Абесаломон Нартович к секретарше, — я поехал в совхоз...

— Хорошо, — сказала секретарша и в последний раз покосилась на космонавта. Она опустила глаза в книгу, которая лежала перед ней, на губах ее затрепетала блуждающая улыбка.

Когда мы подходили к машинам, кто-то из работников института втаскивал ящик с грушами в багажник автомобиля Абесаломона Нартовича. Мы сели в машины и поехали.

Наконец после долгих блужданий я снова вышел на автостраду своего сюжета. Итак, мы прикатили на трех машинах в это уединенное абхазское село по причине, которая, как оказалось, не вполне выветрилась у меня из головы. Теперь становится абсолютно ясно, что никакой причины не было. Просто один из участников нашей компании был приглашен к своему родственнику, нам для приличия предложил с ним ехать, а мы, недолго думая, приняли это предложение.

Через три часа мы остановились в маленькой деревушке перед изумрудным абхазским двориком. Пока мы входили во двор, из дома вышел человек лет тридцати с пронзительными синими глазами, следом за ним молодая женщина, судя по всему, его жена, а потом появился и седоглавый патриарх, по видимому, отец молодого хозяина.

Нас познакомили. Было видно, что хозяева обрадовались долгожданному приезду своего родственника со свитой, возглавляемой бывшим ответственным работником, слухи о снятии которого, вероятно, сюда еще не дошли, а если и дошли, они все еще перекрывались его долгой почетной деятельностью.

Кстати, Абесаломон Нартович хорошо знал этот дом и этот дворик, и он немедленно подвел нас к забору, возле которого росла старая ольха с обвивающейся вокруг нее виноградной лозой необыкновенной толщины. Он нам стал рассказывать об истории этой лозы, которой, по его утверждению, было около ста пятидесяти лет.

Я оглядел дом и двор. Молодой хозяин уже успел прирезать козу и, подвесив ее на веревке к балке кухонной веранды, быстро освежевывал тушу. Над крышей кухни подымался дым, там, вероятно, уже варили мамалыгу, готовились к нашему приему.

На веревке, протянутой вдоль веранды дома, сушились огненные связки перца и темно-пунцовые сосульки чурчхели. У крыльца, ведущего в горницу, был разбит палисадничек, где цвели георгины, вяло пламенели канны, золотились бархатцы.

Два рыжих теленка, помахивая хвостами, паслись во дворе. Процессия индюшек во главе с зобастым, клокочущим, похожим на распахнутый аккордеон, индюком прошла в сторону кухни. За забором, ограждающим двор, зеленела кукуруза с крепкими, уже подсыхающими початками на каждом столбе. Сквозь листья тутовых и алычовых деревьев, разбросанных на приусадебном участке, далеким греховным соблазном детства темнели виноградные гроздья.

И вдруг мне почудилось, что скоро я больше никогда не увижу ни этого дыма над абхазской кухней, ни этого сверкающего зеленью травы дворика, ни этой кукурузы за плетнем, ни этих деревьев, притихших под сладкой ношей созревшего винограда. Все это для меня кончится навсегда. Томящая тося охватила мою душу.

(В невольном выдохе взрослого человека в минуту душевной смуты «Господи, помоги!» и в крике ребенка «ма-

ма!»), безусловно, есть роднящая интонация, единый источник. Но крик ребенка вполне объясним повседневной реальностью материнской защиты. Не стоит ли и за возгласом взрослого человека такая же реальность, только невидимая? Та же мысль в перевернутом виде — святость материнства. Обдумать.)

Я стал прислушиваться к словам витийствующего Абесаломона Нартовича. Он рассказывал о свойствах местных сортов винограда, а космонавт записывал в блокнот названия этих сортов. Нет, сейчас это было невозможно слушать.

Я взглянул на дядю Сандро и понял, что именно он виновник моих тоскливых предчувствий. Мне захотелось отвести с ним душу, и я, взяв его под руку, отделил от компании. Мы стали прогуливаться по дворику.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Мне страшно, дядя Сандро, — сказал я ему откровенно.

— Чего ты боишься? — спросил он у меня.

— Ох, и попадет мне, дядя Сандро, ох, и попадет мне за то, что я описал твою жизнь! — воскликнул я.

— Мою жизнь? — повторил он с обидчивым недоумением. — Моя жизнь у всей Абхазии на виду. Люди гордятся мной.

— Попадет, — повторил я, — хотя бы за то, что я описал, как Лакоба в присутствии Сталина стрелял по яйцу, стоявшему на голове у повара. Попадет мне за это!

— Глупости, — сказал дядя Сандро, пожимая плечами, — во-первых, кроме меня, там было человек сто, и все это виде-

ли. Во-вторых, Лакоба был замечательный стрелок, и он всегда попадал по яйцам, а в голову повара никогда не попадал. Вот если бы он попал в голову повара, тогда об этом нельзя было бы писать...

— Не в этом дело, — пояснил я ему, — они скажут, зачем надо было об этом писать. Что за феодальные забавы, скажут они, в период строительства социализма.

— Что такое феодальные забавы? — спросил у меня дядя Сандро.

— Это значит, старинные развлечения, — сказал я ему.

— А как это одно другому мешает, — удивился дядя Сандро, — социализм происходит снаружи, а это было внутри?

— Что значит снаружи и что значит внутри? — спросил я, не совсем понимая его.

— Очень просто, — сказал дядя Сандро, — социализм — это когда строят чайные фабрики, заводы, электростанции. И это всегда происходит снаружи, а Лакоба стрелял внутри, в зале санатория. Как это одно другому мешает?

— Ах, дядя Сандро, — сказал я, — они по-другому смотрят на это. Ох, и попадет мне!

— Заладил! — перебил меня дядя Сандро. — Что, КГБ боишься?

— Да, — застенчиво признался я ему.

— Ты прав, КГБ надо бояться, — сказал дядя Сандро, подумав, — но учти, что там сейчас совсем другой марафет. Там сейчас сидят другие люди. Они сами ничего не реша-

ют. Это раньше они сами решали. Сейчас они могут задерживать человека на два-три дня, а потом...

— Что потом? — не выдержал я.

— Потом они спрашивают у партии, — отвечал дядя Сандро, — а там, внутри партии, сидят специалисты по инженерам, по врачам и по таким, как ты. По разным отраслям. И вот человек из органов спрашивает у них: «Мы задержали такого-то. Как с ним быть?» А человек из партии смотрит на карточки, которые у него лежат по его отрасли. Он находит карточку этого человека, читает ее и уже все знает о нем. И он им отвечает: «Это очень плохой человек, дайте ему пять лет. А этот человек тоже опасный, но не такой плохой. Дайте ему три года. А этот человек просто дурак! Пугайте его и отпустите». Если надо дать человеку большой срок, они туда посылают справку, чтобы документ был. А если маленький срок, скажем два года, — могут просто по телефону сказать.

— Да мне-то от этого не легче, как они там решают, — сказал я, — страшно, дядя Сандро...

— Слушайся меня во всем, — отвечал дядя Сандро, — и ты никогда не пропадешь! Ты мне найди телефон и фамилию человека, который внутри партии занимается по твоей отрасли. Мы ему приготовим хороший подарок и все уладим.

— Ой, дядя Сандро, — воскликнул я, — это идеология, там не берут!

— Глупости, — ответил дядя Сандро, — все кушают. Идеология тоже кушать хочет. Вот тебе свежий пример.

Вызывает меня недавно один ответственный человек, фамилию я тебе не называю, а то ты по дуруости вставишь куда-нибудь. И он мне говорит: «Дядя Сандро, ты всеми уважаемый человек. Прошу тебя, сделай для города такое дело. Нам очень трубы нужны, но мы их нигде не можем достать. В Москве обещали. Вот тебе пятьсот рублей на мелкие расходы, вот тебе посылки, вот тебе имена людей, которым надо позвонить, напомнить про трубы и передать посылки. Поезжай в Москву, номер в гостинице мы тебе отсюда закажем, занимай его и звони оттуда всем этим людям, напоминай про трубы и раздавай посылки». — «Хорошо», — говорю и забираю деньги. А этот человек говорит: «Теперь ты видишь, дядя Сандро, что я для города стараюсь, а люди считают, что я беру взятки для себя». — «Конечно, вижу», — говорю.

И вот нагружают мне целое купе посылок, и я еду в Москву. А что в посылках — не знаю. Раз не сказали — некрасиво спрашивать, тем более самому открывать. На вид каждая так пуда на два. Но на посылке не написано кому. Только написан номер посылки и этот же номер стоит против имени этого человека на бумаге. Хитро придумали, чтобы посторонний, если зайдет в купе, на посылке не прочитал имя какого-нибудь начальника.

И вот я звоню из гостиницы. Иногда попадаю к нужному человеку, иногда попадаю к секретарше, иногда говорят: завтра позвоните. Я им все объясняю и про трубы, и про посылки, и про номер, в котором живу. Теперь мне

интересно узнать: начальники, которым я привез посылки, очень большие или не очень? А на бумаге должность не написана — только имя и телефон. Хитрые, но я еще хитрей. И вот начинают приезжать. Нет, сам ни один не приехал. Шоферов присылают. Входит шофер, говорит, от какого человека, я смотрю на бумагу и отдаю нужный номер посылки. Но при этом разговариваю с шофером. Предлагаю выпить чачу, закусить чурчхели. Правда, пить никто не пил, но чурчхели все берут. И я так, между делом, спрашиваю у шофера: «На какой машине работаешь?» — «На „Чайке“», — отвечает первый шофер.

Ага, думаю, на «Чайку» маленького начальника не посадят. Значит, не меньше замминистра. И что же оказалось? Из шести шоферов четверо работали на «Чайке» и только двое на «Волге». А ты говоришь — идеология. Человек, который присматривает за вами, может, даже на «Волге» не ездит.

— Ой, дядя Сандро, не знаю, не знаю, — сказал я, но почему-то немного успокоился.

— Зато я знаю, — ответил дядя Сандро, — я передам ему подарок, и он скажет про тебя все, как мы хотим. Но ты против линии не идешь нигде?

— Что вы! Что вы, дядя Сандро!

— Линию никогда не нарушай — остальное ерунда! — сказал дядя Сандро. — Если ты что-то не так написал, мы ему подскажем, что говорить. Например, так: «Этого человека не трогайте, у него в голове не все в порядке, он сам не знает, что пишет».

— Что вы, что вы, дядя Сандро! — испугался я. — Так в сумасшедший дом могут посадить!

— Могут, — согласился дядя Сандро, подумав, — тогда по-другому подсказем. Например, так: «Глуповатый, но правительство любит».

— Это подходит, — сказал я, успокаиваясь от несокрушимой уверенности дяди Сандро, что мир именно такой, каким он его себе представляет.

— Запомни для будущего, — продолжал дядя Сандро, — эта власть крепко сидит, и никто ее сдвинуть не сможет. А некоторые глупые люди об этом думают. Ты знаешь, недалеко от моего дома сапожная мастерская? Шесть жалких сапожников работают там. А кто над ними заведующий? Партийный человек. И он видит все, что они говорят, что они думают и куда поворачивают. Нет, кушать дает. Сам кушает и им дает кушать. Но нарушать линию никому не позволит. И так все проникнуто, все! А некоторые дураки этого не понимают.

Однажды сижу в открытом кафе и пью кофе с коньяком. Отдыхаю. Вдруг подсаживаются ко мне два молодых парня, заказывают кофе и начинают говорить. Но о чем говорят, ты послушай. Один говорит — при демократии мы сделаем то-то и то-то. А другой говорит — нет, при демократии мы сначала то-то не будем делать, а будем делать другое. А этот с ним спорит — нет, при демократии мы сначала будем делать то-то, а другое будем делать потом.

Прямо при мне говорят, не боятся. Думают, наверное, неграмотный абхазский старик, не понимает. Но я лучше их знаю, что такое демократия. Это значит управлять государством, как в зарубежных странах. Но я про эти зарубежные страны все знаю. Многих встречал, которые там побывали. Там страны маленькие, а дороги хорошие. У нас страна большая, а дороги плохие. И от этого совсем разный марафет управления. Там, если в районе кто-нибудь взбунтовался — тррр, дороги хорошие, полиция через час приезжает, всех разгоняет и всех успокаивает. А у нас? В России есть такие места, где от района до областного города пятьсот километров или больше. И вот если в районе взбунтовались, покамест милиция приедет, чего только они не успеют сделать! Клуб сожгут, магазин разобьют, всю водку выпьют. А страна большая, дороги плохие, милиция не успевает. И поэтому такой марафет управления, чтобы люди на местах в испуге сидели. Чтобы, прежде чем бунтовать, они целую неделю между собой советовались: стоит или не стоит! И они так и делают. Один говорит: «Клуб сожжем, магазин разобьем, всю водку выпьем, консервами закусим».

Другой говорит: «Нет, клуб не надо сжигать, лучше прямо магазин разобьем».

А третий говорит: «Нет, клуб надо сжечь, потому что перед людьми стыдно. Люди подумают, что из-за водки это сделали».

И пока они так спорят, милиция все узнает, и, хотя дороги плохие, время есть, они успевают приехать.

А эти двое молодых, которые сидят напротив меня, ничего об этом не знают. И все время говорят: демократия, демократия... Тут я наконец не выдержал.

«Дураки, — говорю я им, — глупые несмышлениши. Эту власть Гитлер не смог опрокинуть со своими танками, а вы что сможете со своей болтовней? Только бедные родители ваши страдать будут».

«Ничего, — говорит один из них, — это так кажется, что они сильные, наша возьмет».

Тут я разозлился. Я ему дело говорю, а он мне нагло так в лицо отвечает! И как раз в этот момент в кофейню входит мой знакомый милиционер. «Жора, — кричу ему, — подойди сюда!»

Эти двое оглядываются, видят — подходит милиционер. Побледнели, хоть в гроб клади. Я, конечно, продавать их не собирался. Не в таком доме родился, не такой человек. Но хочу, чтобы дошло до их головы, где живут, как живут. Подходит милиционер и, улыбаясь, говорит: «Здравствуйте, дядя Сандро, что вам надо?»

«Ничего, — говорю, — хотел с тобой по стаканчику выпить».

«Извините, дядя Сандро, — говорит, — но я не могу, я на дежурстве».

«Ну, тогда, — говорю, — прости, Жора, другого дела не имею».

Милиционер отходит, эти ребята немножко оживают, и один из них говорит: «Спасибо, старина, что не продал».

«Я, — говорю, — продавать вас не собирался, потому что не в таком доме родился, не такой человек. Я хотел проучить вас, чтобы глупости не говорили, тем более в кафе. Здесь попадают старички, которые трясут головой и, кажется, ничего не понимают, потому что одной ногой стоят в могиле, но другой ногой они стоят совсем в другом месте. Так что думайте, прежде чем болтать глупости».

Ничего не сказали, ушли.

Мы с дядей Сандро продолжали прогуливаться по двору. Пока я с трудом осмысливал набросанную им грандиозную схему государственного устройства, мысль его сделала неожиданный скачок на Голду Меир. Он и раньше в разговорах пару раз упоминал о ней с некоторым скрытым раздражением. В самой идее выдвижения женщины во главу государства он, по-видимому, подозревал отдаленное, но чутко уловленное им, как великим тамадой, покушение на принцип мужевластия за абхазским столом. По-видимому, он про себя рассуждал так: сегодня женщину поставили во главе государства, а завтра поставят во главе стола. Это как понять?

— Слушай, — сказал он, — эта старуха Голда Меир все еще управляет Израилем? Она что, совсем с ума сошла? Зачем она русских евреев впускает в свое государство? Что она, не знает — они в России сделали революцию и то же самое могут сделать там?

— Да что вы, дядя Сандро, — сказал я, — ничего они там не сделают. Тогда было совсем другое время.

— Другое время, — повторил дядя Сандро, — ты его из книжек знаешь, а я его хорошо помню. Я лично с Троцким охотился...

— Как так? — удивился я, потому что он об этом мне никогда не рассказывал.

— Да, — сказал дядя Сандро, — в двадцать четвертом году он был в Абхазии. Я тогда попал в один дом, где он гостил, и мы все пошли на охоту. Он очень любил охотиться и был прекрасным стрелком. Он так проворно успевал поворачиваться и стрелять в летящую птицу, что можно было подумать — всю жизнь занимался охотой, а не революцией. Лучше него стрелял только один человек — Лакоба. Троцкий был прекрасным охотником, ученым человеком и лучшим оратором страны. В те времена проводились всесоюзные соревнования ораторов, и он каждый год брал первое место. И все-таки он был глупым человеком. Почему? Отвечаю.

Двадцать четвертый год. Великий Ленин умирает. А Троцкий сидит в Абхазии и охотится. Вождь умер, а он сидит в Абхазии и охотится. Ленин умер, поезжай в Москву, постой у гроба как близкий человек, может, сумеешь кусок власти оторвать от Большеусого, а он сидит в Абхазии и охотится. А потом, когда Большеусый все захватил, он приезжает в Москву и спорит с ним. Разве это умный человек? Но стрелок он был прекрасный, лучше него только Лакоба стрелял... А с другой стороны если посмотреть: хороши стрелки! Одного Берия отравил, а другого человек

Большеусого ломом угробил. Если ты уж такой стрелок, так знай, куда стрелять...

На этой ворчливой интонации наша беседа с дядей Сандро была прервана. Нас позвали к столу. Стол был накрыт прямо на дворе. Я столько раз описывал абхазские столы, что мне прямо совестно возвращаться к этому. Читатель может подумать, что я какой-то обжора. Нет, я, конечно, любил поесть и выпить, но с годами уходит аппетит к застолью да и к шуткам тоже. Одним словом, стол был прекрасный, и я только бегло опишу то, что было на столе, никак не обнажая своего личного отношения к яствам.

Главное блюдо — молодая козлятина — дымилась на нескольких тарелках. Свежая мамалыга, копченый сыр, фасоль, сациви, жареные куры, зелень (зеленый лук — амурная стрела вегетарианца) — все это теснилось на столе. Как видите, ни малейшего гастрономического восторга.

Абесаломон Нартович был посажен в середину стола, направо от себя он посадил космонавта, а налево дядю Сандро. Может быть, он все еще настаивал на демонстрации высших достижений нашего прошлого и настоящего. А возможно, он без слов старался нам внушить, что сам преемник идей дяди Сандро, а космонавт отпочковался от его собственных идей. Расселись и мы.

Дядя Сандро был избран тамадой. Но я не буду описывать, как он вел застолье. По-видимому, это вообще не поддается описанию. На протяжении всего романа я избегал такого рода сцен, тем самым создавая в воображении

читателя мифический образ великого тамады, который только и соответствует величию лучшего дирижера кавказского застолья. В этом деле он божество, а пытаясь зафиксировать реальность божества, мы неизменно ослабляем его божественную реальность. Бог, расчесывающий бороду на наших глазах, это уже маленькая победа атеизма, господи!

Чтобы уберечь нас от солнца, все еще высоко стоявшего в небе, молодой хозяин нарубил в ольшанике большую охапку зеленых веток и втыкал их в землю, с болезненным вниманием вглядываясь в нас, чтобы степень густоты тени, отбрасываемой листьями на наши лица, строго соответствовала духовной значимости каждого из нас.

Вообще, это был довольно странный человек. Его синий, пронзительный, взыскующий взгляд, с одной стороны, как бы забрасывал нас на неведомую нам, но приятную высоту, но, с другой стороны, он как бы обещал нас немедленно покарать, если мы окажемся недостойными ее. Поэтому было не совсем ясно, как себя вести.

Лучшую, самую густолиственную ветку он сначала воткнул напротив Абесаломона Нартовича, но потом, после некоторых колебаний, понял, что космонавт — фигура покрупней, а поняв это, он с патриархальной прямоотой вытащил из земли эту лучшую ветку и вонзил ее напротив космонавта. Во время этой операции Абесаломон Нартович одобрительно кивнул головой, показывая, что хозяин только исполняет его не успешшее слететь с губ пожелание.

Следующая по густоте листвы ветка досталась Абесаломону Нартовичу, а потом дяде Сандро. Остальные ветки хозяин распределил между нами, оставшимися, все еще взыскующе вглядываясь в каждого из нас, но уже не столь болезненно. Он как бы успокаивал себя мыслью, что ничего страшного не произойдет, если он тут немного и ошибется.

Так как мы за столом сидели очень долго, и солнце за это время прошло по небу немалый путь, хозяин еще дважды пересаживал ветки, чтобы тень от них падала на наши лица. Но и пересаживание веток производилось далеко не формально, а с учетом более обогащенного понимания нашей духовной сущности, которая раскрывалась ему в процессе застольной беседы.

Не говоря о более мелких ветках, предназначенных нам, после двух, на наш взгляд, невинных высказываний космонавта, произошла решительная переоценка самой густолиственной ветки, и молодой хозяин при последней пересадке своей искусственной рожи снова отдал предпочтение Абесаломону Нартовичу, как бы возвращаясь к своему первому интуитивно-правильному душевному порыву.

Все было хорошо за этим столом, но ради полноты истины надо сказать, что вино было паршивым. Вино портится вместе со временем, а точнее говоря, вместе с моими милыми абхазцами. Сейчас сплошь и рядом к вину подмешивают сахар и воду, и получается в результате какая-то бурда, хотя и довольно крепкая, но малоприятная.

В середине застолья космонавт попросил слова у дяди Сандро, и тот ему дал его.

— Дорогие друзья, — лучезарно сказал космонавт, — я хочу, чтобы мы за этим прекрасным столом выпили за комсомол, воспитавший нас...

Молодой хозяин, услышав этот тост, застыл, как пораженный громом. Произошла небольшая заминка, которую Абесаломон Нартович тактично прикрыл, поддерживая тост и сказав, что сам он начинал карьеру с комсомольской работы.

Тост космонавта прозвучал, конечно, несколько странно для этой глухой деревушки. Но ничего особенного в нем не было. Просто этот молодой хозяин с самого начала настроился не принимать от нас ничего, кроме перлов.

К счастью, сам космонавт ничего не заметил. Но молодой хозяин остановил на нем свой пронзительный, взыскующий взгляд. Потом взглянул на дядю Сандро таким же пронзительным, но еще более взыскующим взглядом, как на тамаду, несущего полную ответственность за все, что говорится во время тоста. После этого, выходя из оцепенения и приобретая дар речи, он с выражением мучительной догадки вымолвил по-абхазски:

— Уж не глуп ли он часом?!

— Нет, их так учат, — по-абхазски же строго поправил его дядя Сандро, как бы намекая на таинственную, но неизбежную связь между тостом космонавта и подготовкой к космическим полетам. Этим пояснением он одновремен-

но отбрасывал и дерзостное, хотя и смехотворное предположение, что он мог ошибиться как тамада, предоставив слово космонавту.

Заговорили о деле моего друга и потом не очень тактично, но и не имея в виду обидеть его, перешли на рассказы о смертоубийствах вообще. И тут Абесаломон Нартович нам выдал, на мой взгляд, хорошую новеллу. И что особенно ценно, новелла эта была выдержана в реалистическом духе, что говорит об удивительной многогранности его дарования рассказчика. В широких кругах нашей интеллигенции он был известен как автор фантастических рассказов. Передаю то, что услышал, по памяти, безусловно обеднив многие подробности и интонации.

— В нашей деревне, — начал Абесаломон Нартович, — недалеко от нашего дома жил пастух по имени Гедлач. Это был человек маленький, как подросток, с горящими совиными глазами и очень диким нравом. Связываться с ним считалось очень опасным, хотя он никому ничего плохого не сделал. Но все понимали, что он может сделать все, что придет ему в голову.

Он был пастухом, как я сказал, и заядлым охотником. Каждое лето он пропадал на альпийских лугах и не только убивал медведей и туров, но и прославился тем, что сумел подкрасться к живой косуле и поймать ее за ногу. Кажется невероятно, но так оно и было. Косуля проволочила его с километр, пока он не изловчился нанести ей ножом смертельный удар.

У него было прозвище Железное Колено, данное ему за неутомимость. Во время охотничьих походов за турами никто не мог угнаться за ним, и в конце концов он всех оставлял позади, а сам докарabкивался до самых недоступных турьих пастбищ на самых крутых склонах Кавказа.

Между прочим, в детстве у меня были способности хорошо подражать голосам людей, зверей и птиц. Отсюда мой интерес к певчим птицам. Если б я развивал этот талант, я сейчас, наверное, был бы народным артистом. Но я пошел на комсомольскую работу, а там этот талант оказался не нужен.

И вот, когда умер отец Железного Колена, меня подговорил мой товарищ, с которым я пас домашних коз, попугать Железное Колено, подражая голосу его отца, который я хорошо помнил. И я стал время от времени, находясь недалеко от дома Железного Колена, на их семейном кладбище, звать его голосом отца.

— О, Гедлач, — кричал я, — иди сюда, иди!

Обычно под вечер, прокричав так несколько раз, я замолкал, а потом гнал свое стадо домой. Дорога моя проходила мимо дома Железного Колена, и я иногда видел его, неподвижно стоящего на взгорье посреди двора и удивленно прислушивающегося к чему-то.

— Ты проходил мимо наших могил? — спрашивал он у меня.

— Проходил, — отвечал я.

— Ничего не видел?

— Нет.

— Ничего не слышал?

— Нет, — отвечал я, — а что?

— Голос отца слышится, — отвечал он, — не пойму, что ему надо... Поминки провели как надо, сороковины устроили хорошие, придет годовщина, и годовщину отметим... Не пойму, чем он недоволен...

Вскоре вся деревня узнала, что отец Железного Колена призывает его к себе.

— Наверное, медведь тебя пригрызет или сорвешься с какого-нибудь склона, — говорили ему односельчане.

— Ну что ж, — отвечал он, не переставая сверкать своими совиными глазами, — если пришел мой срок — никуда не денешься...

Я, конечно, кричал далеко не каждый день, а так, в неделю раз или два. Нам забавно было смущать этого дикого человека. И я, конечно, никак не ожидал, что он при своей дикости обладает звериной хитростью, о которой никто тогда не подозревал. Оказывается, он заметил некоторую связь между зовом отца и моим через некоторое время появлением со стадом на дороге, проходящей мимо его дома.

И вот однажды, когда я стоял возле могил их семейного кладбища и, поднеся руку ко рту, осторожно прокричал: «О Гедлач, иди сюда, иди!» — «Ах, это ты, сукин сын!» — услышал я вдруг его голос и увидел его самого, выскочившего из-за чинары, росшей на кладбище. Как он за нею смог притаиться, не могу понять.

В первую секунду я замер от ужаса, увидев его искаженное гневом лицо и желтые глаза разъяренной совы. В руках он держал ружье. В следующую секунду я покатился вниз с обрывистого склона, поросшего кустами сассапарилля. Вслед за мной грохнул выстрел, я услышал, как пуля свистнула над моей головой. Я вскочил на ноги и бежал до самого дома. Хотел он меня убить или хотел напугать — до сих пор остается для меня неясным.

В тот день отец мой привел брошенное мной стадо домой и договорился с Железным Коленом, что сам меня накажет. Но отец, зная, что Железное Колено в меня стрелял и я был смертельно перепуган этим выстрелом, не стал меня наказывать.

В один из ближайших дней, когда я возвращался домой со стадом коз и проходил мимо дома Железного Колена, тот окликнул меня.

— Чтой-то отец перестал меня звать, — спросил он, — не знаешь ли отчего?

— Не знаю, — сказал я, опустив голову, чтобы не смотреть в его свиные глаза.

— Не пролети пуля мимо твоей дурной башки, — сказал он, — в самый бы раз тебе спросить у моего отца: не надо ли ему чего от меня?

— Прости, Железное Колено, — ответил я, — я пошутил.

— Вот и я в шутку стрельнул в тебя, — сказал он и повернулся к дому.

Года через два Железное Колено женился и на удивление всем из соседнего села привез очень красивую девушку. Труд-

но было понять, почему она согласилась выйти замуж за Железное Колено. Ни привлекательной внешности (почти урод), ни особого достатка в доме у него никогда не было. Может, она соблазнилась его охотничьими подвигами или что-то другое — не знаю.

Тем не менее он женился на этой красивой девушке, сыграл свадьбу, а примерно через две недели после женитьбы собрался в горы, потому что начиналось лето. Односельчане в шутку говорили ему, как это он не боится бросать без присмотра молоденькую жену, когда она только-только вошла во вкус. А в доме у него жена оставалась одна. Но он этих шуток не понимал. Он отвечал, что слишком привык проводить лето на альпийских лугах, а в жаркой и потной деревне он никак не может оставаться на лето. Одним словом, он так и уехал в горы. Но он не только летом, он и зимой надолго отлучался, собираясь в многодневные охотничьи походы.

Бог знает, как он там жил со своей молодой женой, но детей у них не было. Года через два-три в деревне стали поговаривать, что жена Железного Колена подживает со своим соседом. Там жил парень лет тридцати, холостяк, красавец, богатырь. Он жил один со своим племянником и работал в сельмаге. Ну, поговаривали, конечно, об этом шепотом, и никому в голову не приходило открыть глаза Железному Колену. Во всяком случае, среди наших родственников.

Однажды мы сидели на кухне перед очажным огнем. Мама готовила обед, а отец, сидя у огня и разговаривая с дядей

Михелом, время от времени поглядывал в открытую дверь кухни, где виднелась его лошадь, привязанная уздечкой к всаженному в землю лому. Когда лошадь объедала всю траву вокруг лома на радиусе вытянутой уздечки, он выходил из кухни, подходил к лому и всаживал его в другое место, чтобы лошадь поела свежей травы. Просто пустить ее пасть было нельзя, потому что во дворе росли саженцы фруктовых деревьев.

И вот отец в третий раз вышел во двор, чтобы вынуть из земли лом и всадить его в новое место. Вдруг он остановился посреди двора, прислушиваясь к чему-то.

— Тише! — крикнул он в кухню и застыл, прислушиваясь. Потом обернулся в сторону кухни и крикнул дяде: — Поди-ка сюда, Михел. Сдается мне, что кто-то дурным голосом кричит...

Мы все высыпали во двор и стали слушать. Сначала ничего невозможно было разобрать, а потом я услышал далекое:

— ...Кто-нибудь... Беда... Беда...

У дяди Михела слух был острый, как у оленя. Он не только услышал слова, но и определил, кто кричит.

— Это племянник нашего завмага, — сказал он, вслушиваясь...

— Беда, беда... — снова в тишине раздался еле слышный голос, — кто-нибудь, кто-нибудь...

— Там что-то страшное случилось! — крикнул отец и, сняв уздечку с лома, влез на неоседланную лошадь. Он погнал ее к дому завмага.

— А ты, Михел, крикни братьев и приходите туда, — сказал он, обернувшись, и, открыв ворота, выехал на дорогу.

Минут через двадцать мы все подошли к дому завмага, где уже было несколько соседей во главе с моим отцом.

Все толпились на кухне. Я заглянул в двери и увидел завмага, лежавшего возле кухонной кушетки на спине. Его запрокинутая голова лежала в огромной луже крови, и я вздрогнул от ужаса, увидев черную, зияющую щель перерезанной глотки. Одна рука его сжимала окровавленный нож. Брюки почему-то были расстегнуты, и пряжка пояса лежала в крови. Вот что я успел увидеть. В следующую минуту отец оглянулся и выгнал нас, нескольких детей, стоявших в дверях.

Через некоторое время стали прибывать и другие соседи. Слышно было, как по деревне перекликаются люди, сообщающая друг другу страшную весть. Все больше и больше людей приходило во двор завмага, и уже целая толпа стояла во дворе, а племянник его снова и снова рассказывал, как он пришел домой и застал дядю в кухне в луже крови. Так прошло часа два. Вдруг со стороны дома Железного Колена раздался его крик.

— Беда, беда, — кричал он, — на помощь!

Голос его был очень хорошо слышен, и все очень удивились его голосу. Все знали, что он сегодня отправился в горы на летние пастбища, а некоторые просто видели, как он часа три тому назад с навьюченной лошастью и ружьем за плечами проходил в сторону гор.

Многие ринулись к его дому, и мы, мальчишки, тоже туда побежали. Дом его был расположен близко, метров двести от дома завмага. Когда мы вошли к нему во двор, он стоял у кухни и развьючивал свою лошадь. Мы подошли к нему. Он снял мешок с лошади и, придерживая его двумя руками, кивнул в сторону кухни:

— Моя хозяйка повесилась...

Все обомлели, а он втащил мешок в кухню. Поставив мешок и утерев со лба пот, он кивнул нам:

— Здесь...

Мы вошли в кухню. Она висела на закопченной кухонной балке, склонив голову и тихо-тихо покачиваясь. Скамейка, которую она, по-видимому, оттолкнула, перевернутая, валялась в нескольких метрах от ее тела.

— Как ты здесь очутился, — спросил один из односельчан, — я же видел, как ты в горы уходил?

— В том-то и дело, что ушел, — сказал Железное Колено, — да по дороге вспомнил, что забыл соль. А что за охота без соли? Убьешь косулю, а мясо-то без соли попортится... Вот я и вернулся, а она тут висит... А чего это люди бегут к дому завмага, чего там стряслось?

— Он горло себе перерезал, — сказал один из соседей.

— До смерти? — спросил Железное Колено.

— Да, мертвый, — отвечали ему.

— Чудно как-то, — вдруг сказал Железное Колено, — эта повесилась, а тот глотку себе перерезал... Вроде чего-то не поделили промеж собой...

Всем стало как-то не по себе. Как-то неловко стало даже нам, детям. Было похоже, что он что-то знал про них и даже как бы слегка насмеялся над их участью. Вот что я тогда почувствовал, а больше ничего не почувствовал.

— Надо же, — вдруг сказал Железное Колено, полыхнув своими совиными глазами, — не вернись я за солью, так бы и не узнал об их смерти до самой осени, пока с гор не спустился бы.

— Отчего же, — сказал один из соседей, — послали бы за тобой горевестника.

— Разве что горевестника, — сказал Железное Колено, — да и то неизвестно, застал бы он меня в балагане или нет... Я ведь на много дней ухожу на охоту...

— Да, — сказал мой отец, — это удачно получилось, что ты соль забыл.

— Вот и я говорю, — отвечал Железное Колено, — не вернись я домой, может, провисела бы здесь до самой осени... Детки-то не плачут, а ближайший сосед, кому бы приметить, что ее не видать и не слышать, сам глотку себе перерезал...

Помнится, мне тогда очень не понравились его слова, но я сам не знал почему. Мне показалось, что он вроде намекает на их близкие отношения и вроде бы издевается над мертвыми.

— Снять ее или будем ждать судебных? — спросил Железное Колено, обращаясь к отцу как к самому старшему и уважаемому всеми человеку.

— Будем ждать судебных, — ответил отец.

Потом мы все разошлись по домам, дверь на кухне, где жил завмаг, прикрыли, а с мальчиком в доме остались двое родственников.

Вечером братья отца собрались у нас на кухне и обсуждали эти две страшные смерти. Братья принялись было гадать, отчего они покончили самоубийством, но отец сразу же перебил их и сказал, что это убийство.

Он сказал, что Железное Колено, видно, заподозрив, что она ему изменяет с завмагом, и сделав вид, что уезжает в горы, скрылся в леске, привязал там лошадь, тайком возвратился к дому завмага и, застукав их там, видно, в самое время их близости, подкрался сзади и перерезал ему глотку. Если уж он смог подкрасться к косуле, к этим, да еще занятым любовью, он мог запросто подойти.

— Но она-то ведь повесилась? — сказал один из братьев отца.

— Повесилась, — усмехнулся отец, — а ты видел узел, на котором к балке привязана веревка? Ни одна женщина в мире не знает таких узлов, такие узлы вяжут только бывалые пастиухи. Может, она со страху и сама полезла в петлю, но узел-то завязывал он и больше никто. Он убил их обоих, снова тайно ушел в лес, переждал пару часов и вернулся домой. Вот как было, я думаю... Только, чтобы все вы язык за зубами держали, нам ни к чему связываться с этим бесноватым...

На следующий день из города приехал начальник районной милиции, доктор и еще какие-то люди. Во дворе завмага

толпились соседи, окружив начальника милиции и его помощников. Вместе с ними был и Железное Колено.

Я стоял на кухонной веранде с полотенцем, перекинутым через плечо, и с кувшинчиком воды в руках. Мне сказали, что доктор после осмотра трупа должен вымыть руки, а я ему буду поливать.

Поэтому я один стоял на кухонной веранде и видел, как доктор возится с трупом. Сначала он щупал, как мне показалось, перерезанное горло завмага, а потом разжал его ладонь, вытащил оттуда кровавый нож, осмотрел его и положил на кухонный столик.

Когда доктор положил нож на стол и уже хотел выходить из кухни, вдруг туда юркнул Железное Колено и, сверкнув своими желтыми совиными глазами, нагло сунул что-то доктору в карман. Я не знаю, что это было, — золото или деньги. Когда он ему сунул в карман то, что сунул, он бросил снизу вверх на доктора — доктор был солидный, крупный человек — такой взгляд, что мне стало за него страшно. Я уверен, что доктору тоже стало не по себе. Все это произошло в какую-то секунду, а через мгновение Железное Колено уже стоял в толпе перед кухней и слушал одного из соседей, который что-то рассказывал начальнику милиции. Ни один человек не обратил внимания, что Железное Колено вошел в кухню и вышел, хотя он сделал это открыто. Но главное, как он посмотрел на доктора! Это был дикарский взгляд, полный уверенности, что доктор не посмеет его послушаться.

— Ну как? — спросил начальник милиции, когда доктор с окровавленными руками появился на веранде.

— Самоубийство, — сказал доктор.

Он стал мыть руки, а я поливал ему. Потом он снял с моего плеча полотенце и тщательно вытер руки.

Одним словом, так и было решено, что жена Железного Колена и завмаг покончили жизнь самоубийством. Мертвых похоронили как положено, и постепенно в деревне перестали вспоминать об этом случае. Железное Колено больше не женился. Через несколько лет, охотясь на туров, он сорвался со скалы и утонул в горном озере.

Так закончил свой рассказ Абесаломон Нартович. Все его слушали с большим вниманием. Особенно внимательно его слушал космонавт. К сожалению, выслушав рассказ Абесаломона Нартовича, он решил внести в него поправку, которая роковым образом сказалась на судьбе его самой густолиственной ольховой ветки.

— Абесаломон Нартович, — сказал космонавт, — вы знаете, как я вас уважаю, и вы прекрасно изложили нам эту историю. Но я уверен, что наш советский доктор не мог, покрывая убийцу, взять деньги или еще что-то. Вам это просто показалось.

— Я рассказал так, как я видел, — отвечал Абесаломон Нартович миролюбиво, как бы не совсем отказываясь и от своей версии.

— Да, да, — повторил космонавт, — вам это показалось. Там и начальник милиции был, так что ему нечего было бояться...

— Да что он, с неба свалился! — воскликнул по-абхазски молодой хозяин, неимоверно страдая своим взыскующим взглядом.

— Ну, конечно, — шутливо заметил по-абхазски приятель моего друга, — он же космонавт.

— Их так учат! — еще более строго заключил дядя Сандро. И хотя за эту поправку космонавта он как тамада не нес никакой ответственности, но признание ее нелепости, безусловно, могло бросить тень и на гост космонавта, который дяде Сандро раньше удалось нейтрализовать.

Несмотря на разъяснение дяди Сандро, молодой хозяин стал непреклонно пересаживать свою рощицу, якобы повинуюсь движению солнца на небе, а на самом деле явно для того, чтобы самую густолиственную ветку ольхи снова воткнуть в землю перед Абесаломоном Нартовичем. Отчасти это выглядело и как вручение пальмы первенства за лучший застольный рассказ. Во всяком случае, движение солнца на небе не играло никакой роли, оно уже настолько приблизилось к закату, что никому не мешало.

Через некоторое время мы поднялись из-за стола и перед уходом разбрелись по двору.

Я стоял у козьего загона, примыкавшего ко двору, и смотрел, как старик, присаживаясь на корточки, доил коз.

Звук молока, струящегося в подойник, внезапно побрякивающий колоколец на шее зачесавшейся козы, топотание и бляение козлят в соседнем загоне, нежность закатного солнца, зелень двора, далекий дедушкин дом, затухающая печаль примирения.

Мы попрощались с хозяевами и выехали из деревни. Через полчаса мы были в городке, где когда-то мой друг совершил невольное убийство. Наши автомобили остановились для заправки у бензоколонки, и я решил выйти и пройтись.

Я направился в сторону сквера на противоположной стороне улицы, где надеялся найти уборную. Когда я вышел из машины, приятель моего друга стал шутливо кричать мне, что я забываю, где нахожусь, что жизнь моя в опасности и он требует моего немедленного возвращения. Улыбнувшись ему, я махнул рукой, давая знать, что я понимаю всю неправдоподобность такой встречи со стариком, тем более что старик никогда меня не видел в глаза и не мог узнать, что я это я.

Так думал я, переходя дорогу и раздвигая стриженные кусты туи, ограждающие сквер. Когда я углубился в него по песочной дорожке, обсаженной пампаской-травой, деревьями мушмулы, спрутоподобными агавами, напоминание приятеля моего друга показалось мне не столь уж смехотворным. Возможно, я еще был под впечатлением рассказа Абесаломона Нартовича о страшной мести Железного Колена.

Уборная все не попадалась, и я все дальше и дальше отходил от наших автомобилей, а сквер был до удивления пуст. Я уже думал пренебречь общественным порядком и воспользоваться этим малоприятным безлюдьем, но тут я увидел очертания общественной уборной, слегка прикрытой зарос-

лями бамбука и в этом прикрытии напоминающей небольшую заброшенную пагоду.

Я зашел внутрь. В раковине из крана с обломанной ручкой хлестала вода. Раковина, по-видимому, была засорена, потому что вода лилась через край и весь пол был от этого мокрый. В уборной никого не было. В воздухе пахло не только хлоркой, но какой-то непонятной тревогой, запустением, опасностью.

Закончив свое нехитрое дело, я хотел было повернуться и выйти, как вдруг услышал шаги человека, который подошел к уборной. Внезапно шаги заглохли, и я почувствовал, что человек этот остановился в дверях и явно ждет меня.

И сразу же меня заполнил дикий, с каждым мгновением возрастающий нечеловеческий страх. Зачем обычному посетителю уборной останавливаться в дверях, когда он ясно видит, что здесь только один человек, а свободных мест много?!

Он дожидается меня! Это сам старик или один из его людей! И молнией мелькнула догадка, как именно он мог узнать о нас. Во время застолья, когда речь шла о невольном убийстве моего друга, к столу подходил один из соседей хозяина. Тот мог передать другим, те могли оказаться родственниками этого старика, и они могли поехать в городок и все рассказать старику. Я мгновенно вспомнил, что какая-то «Победа» стояла недалеко от поворота, где была расположена бензоколонка. Не нас ли она там дождалась?

Страшась обернуться и посмотреть в глаза своей смертельной опасности, я продолжал стоять спиной к неведомому человеку, терпеливо дожидавшемуся меня. И чем дальше мы пребывали в этом странном положении, тем страшнее мне становилось, потому что тем более я делался уверенным, что ждет он именно меня и это единственная цель, с которой он стоит в дверях.

Мне очень хотелось обернуться, но какой-то инстинкт самосохранения диктовал мне, что оборачиваться нельзя, что пока я не обернулся, он сам еще может позволить себе мешкать, но как только я обернусь, он должен будет стрелять или идти на меня с ножом.

Нельзя сказать, чтобы мысль об обороне не приходила мне в голову. Я подумал, что если это будет нож, то надо во что бы то ни стало выставить руку вперед и постараться принять удар ножа рукой, а там, если можно, бежать. Но я совершенно не знал, что я могу сделать, если у него в руке пистолет. Я представил себя лежащим здесь, прижавшись щекой к мокрому, грязному, холодному цементу, и это был образ смерти, дополнительно отталкивающий своей оскверненностью. Окажется, человеку не все равно, где он превратится в труп.

Может быть, отчасти из-за этого я решил обернуться и пойти. Я говорю отчасти, потому что была и другая настойчивая мысль. Кроме того, что раненым или смертельно раненым приятней было вырваться в сквер и упасть на зеленый газон, чем на грязный, мокрый пол общественной уборной, я почувствовал, что дальнейшее мое пребывание здесь

как бы утверждает мое согласие с предстоящей карой. Мне подумалось, что человеку, пришедшему казнить меня, показывать свою готовность быть казненным — это морально облегчить его дело. Разумеется, я заботился не о его морали. Просто мне подумалось, что если он не абсолютно готов к убийству, то мои шансы на жизнь должны увеличиться от моей неготовности принять убийство. Ведь моя готовность принять убийство утвердит его, может быть, не совсем окончательное решение убить. Никто не знает, сколько убийств замысливалось в мире, потому что статистики готовившихся, но несовершенных убийств не существует.

Все это промелькнуло у меня в голове, и я решил, что дальше оставаться в уборной слишком опасно. Но легко сказать, а как трудно перейти в другое состояние, как трудно привести в движение оцепеневшее тело, взглянуть в глаза человеку, который собирается отнять у тебя жизнь. И я сделал половинчатое решение.

Я повернулся не к дверям, а к раковине и стал мыть руки, что должно было означать некоторую последовательную естественность моих движений и как бы замаскировать мое слишком долгое пребывание здесь. Я мыл руки, стараясь придать своим движениям бодрую беззаботность. Я как бы кричал ему: «Я совершенно не готов быть убитым, потому что меня незачем убивать!»

Не буду длить этого отрывка описанием того, как я тщательно вытирал руки платком и что я тогда думал. Сам факт, что я об этом пишу, говорит о том, что я остался жив.

Положив в карман платок, я решительно, излишне решительно повернулся к дверям и как бы прямо посмотрел на человека, стоявшего в дверях. Я именно как бы прямо посмотрел. Я видел очертания его фигуры, но мои глаза сознательно не хотели смотреть в его глаза. Преодолевая оцепенение, я прошел мимо него, думая о том, что, если он сейчас вырвет из кармана нож, надо во что бы то ни стало выбросить руку вперед.

Я заметил с некоторым облегчением, что он не спешит сунуть руку в карман и вытащить оттуда оружие, и, стараясь юркнуть в этот просвет надежды, проскользнул мимо него и в то же мгновение почувствовал оголенность своего холодящего затылка.

Прошло несколько окрыляющих мгновений, я шагал по дорожке сквера, не чувствуя под собой ног, и чем дальше я шел, тем очевидней становилось мое спасение, и я двигался вперед ликующими шагами. Но ведь я чувствовал всей шкурой, что он стоит в дверях и ждет меня, так что же ему было надо?!

Я понял, что только один человек в мире может мне объяснить таинство случившегося. Конечно, этим человеком был дядя Сандро! И я ринулся к машине Абесаломона Нартовича, где сидел дядя Сандро. Я сел в машину, чувствуя в себе неумеренную, постыдную радость жизни. Хотелось прижаться к кому-нибудь и притихнуть. Почему-то больше всего хотелось прижаться к космонавту, не только потому, что он мощный выразитель жизни, но и потому, что в нем

чувствовался ясный, безыскусный строй души. Именно к такой душе и хотелось прижаться сейчас. Ведь он, в сущности, отличный парень! Конечно, он слегка придурается и понятно почему. Он попал в элиту, он счастлив, и ему страшно было бы из-за какой-нибудь случайной глупости выскочить из нее. Вот он и прижимается к идеологии. Мне тоже захотелось прижаться к идеологии, угреться возле нее, помурлыкать.

Я рассказал дяде Сандро о пережитом мною страхе.

— Дуралей, — улыбнулся в ответ дядя Сандро, — так и буду тебя всю жизнь учить. Этот человек был настоящий абхазец, еще не порченный. А настоящий абхазец никогда не покажет свою оголенную плоть другому человеку и не будет смотреть на его оголенную плоть. Это считается оскорблением. Вот он и ждал, покамест ты выйдешь.

Точно! С необыкновенной ясностью я вдруг увидел фигуру этого человека, фигуру абхазского крестьянина в рубашке навыпуск, подпоясанного тонким кавказским поясом, в галифе и азиатских сапогах.

Абесаломон Нартович, сидевший рядом с шофером, вельможно откинувшись, переждав наш разговор с дядей Сандро, продолжал еще начатую в деревушке, по-видимому, бесконечную, тему о свойствах местных сортов винограда.

— Вообще молодое вино из винограда «качич», — сказал он космонавту, — прошу запомнить, очень коварный напиток.

Фраза эта мне показалась необыкновенно уютной и милой, и я, ощущая в своем теле нежные вздрогы, повторял про себя: коварный напиток, коварный напиток. И дай нам, Господь, не знать другого коварства!

Машины тронулись в обратный путь.

31. джамхух — сын оленя, или евангелие по-чегемски

Теперь мы расскажем легенду о Джамхухе — Сыне Оленя, похожую на правду, или правду о жизни Джамхуха, обросшую легендами. Как хотите, так и считайте. Чегемцы, например, считают, что все это было на самом деле. Если даже сейчас, в наше время, говорят они, иногда случаются чудеса, то в те далекие незлопамятные времена чудеса происходили чуть ли не каждый день.

И в этом есть доля истины. В самом деле, даже в наше время, когда в мире редко что случается, в Абхазии нет-нет да что-нибудь и случится. Говорят, будущему Джамхуху было, вероятно, месяца два-три, когда он очутился в зарослях леса неподалеку от Чегема. Там его нашла олениха. Как он там очутился, никто не знает.

Вот что чегемцы говорили по этому поводу. Они говорили, что, вероятно, какое-то семейство шло по лесной дороге, где на него напали разбойники. Мать ребенка успела отбросить его в заросли, прежде чем разбойники учинили свой крова-

вый разбой или просто связали путников и продали их в рабство в другие земли.

В Абхазии за рабов тогда не давали никаких денег, потому что держать рабов считалось у абхазов признаком дурного вкуса. Впрочем, некоторые рабов и тогда ухитрялись держать, потому что во все времена находятся люди с дурным вкусом и дурными наклонностями. Одним словом, так считают чегемцы, а как это было на самом деле — никто не знает.

...Мальчик, к счастью, упавший на мягкую травку в зарослях папоротника, проголодавшись, стал плакать. Долго плакал мальчик, пока голос его не услышала олениха, которая вместе с двумя оленятами паслась в этих местах и, пощипывая траву, приближалась к мальчику.

Раздвинув грудью стебли папоротника, олениха увидела плачущего младенца. Она поняла, что ребенок голоден, что собственную мать он почему-то потерял, и стала подставлять ему свое вымя. Но ребенок был так мал, что, конечно, никак не мог достать до вымени. Тогда олениха осторожно легла возле него и приладила свои добрые сосцы к мордочке младенца.

Тут ребенок догадался, что делать, и, поймав ртом добрый сосец оленихи, стал, радостно причмокивая, высасывать из него вкусное теплое молоко. Ничего, думала олениха, прислушиваясь к своим двум оленятам, пасшимся рядом на лужайке, выкормим младенца, хватит молока на троих. Только придется, думала она, жить в этих местах, потому что мальчик мал и ходить еще не умеет.

Обо всем этом олениха рассказала мальчику, когда он изучил олений язык. Оказывается, олени разговаривают глазами. Ну, а мальчик впоследствии, когда он стал жить с чегемцами, пересказал им то, что узнал от матери-оленихи.

Так олениха стала выкармливать младенца, который быстро рос и набирался сил на добром оленьем молоке. Теперь мальчик умел ходить, и олениха уже не ложилась, чтобы накормить его молоком, а только становилась на колени, чтобы мальчик достал до вымени. По вечерам, когда оленья семья укладывалась спать, мальчик, уютно устроившись на животе оленихи, всегда засыпал, держа во рту один из материнских сосцов, что смешило его молочного братца и особенно сестренку.

Вскоре мальчик стал бегать с оленятами и стал понимать олений язык, что требует необыкновенной чуткости души и сообразительности ума. Ведь олени разговаривают между собой глазами, и только глупые люди думают, что животные лишь мыкают да блеют! Они все понимают и разговаривают между собой глазами, а иногда подают знаки головой или ушами. Особенно хорошо ушами разговаривают ослы.

Прошло шесть лет. Мать-олениха рожала новых оленят, и мальчик вместе с новыми оленятами пил молоко, и, хотя ему давно было пора переходить на траву и листья, он предпочитал молоко или иногда, делая вид, что пасется возле кустов, на самом деле ел ягоды облепихи, черники, малины.

— Забаловала я его, — говорила иногда олениха, — но что делать, ведь он сирота.

По вечерам, когда мать-олениха со своим найденышем и новыми оленятами укладывалась спать, мальчик просил ее рассказать, как она его кормила, становясь на колени, и он, слушая ее, каждый раз заходился от хохота и говорил:

— Мама-олениха, неужели я был такой маленький?

— Конечно, — отвечала мать-олениха, продолжая жевать жвачку, потому что разговаривали они глазами, — ты тогда был совсем маленький. Только не гогочи, ради Бога, а то волки нас услышат.

— Надо же, — говорил мальчик, — я тогда был такой маленький, что бедной маме приходилось на колени становиться, чтобы я достал до вымени. А теперь я такой большой, что сам становлюсь на колени, чтобы удобнее было пить молоко.

— Баловень, — ворчала мать-олениха, — пора переходить на траву.

— А я сегодня много травы съел, — отвечал мальчик, — у меня от нее даже оскомины на зубах!

— Вот и неправда! — вставляла тут сестричка-оленичка. — Я видела, сколько ты травы съел. Ты делал вид, что кушаешь траву, а сам землянику рвал.

— Правда, правда, — уверял мальчик, — я травы тоже много съел. Просто ты не заметила.

— Да?! Не заметила?! — горячилась сестричка-оленичка. — Тогда почему ты никогда жвачку не жуешь?

— Сам не пойму, — отвечал будущий Джамхух, — у меня почему-то никогда не получается жвачка из травы, которую съел.

— Из молока нельзя сделать жвачку, — не унималась сестричка.

— Молоко в желудке превращается в сыр, — важно изрек в этом месте олень-отец, — от теплоты внутренностей. Я сам видел, как пастухи ставили на огонь котел с молоком, а после вытаскивали оттуда большой белый ком, который они называют сыром, потому что он сырой. Так что и выпитое молоко можно прожевать, если его вовремя вернуть в рот, когда оно уже превратилось в сыр, но еще не ушло в тело. И на этом хватит болтать... А ты, дочурка-оленьчурка, никогда не выдавай своего братца. Это у нас, оленей, не принято, это принято у плохих людей.

Так или немножко по-другому они разговаривали по вечерам, а потом укладывались спать, и оленята вместе с мальчиком засыпали, прижавшись к животу матери-оленихи. Об этих днях Джамхух нежно вспоминал и охотно рассказывал о них друзьям.

...Однажды старый охотник Беслан из села Чегем увидел на лесной лужайке удивительную картину. Он увидел, что на ней пасутся олень-самец, олениха, два олененка и голый загорелый мальчик.

Охотник так обомлел, что в первое мгновение не мог дрожащими пальцами вытащить стрелу из колчана, чтобы поразить самца, потому что в те далекие времена настоящие охотники никогда не убивали самок.

А в следующее мгновение самец его почуял, семейство сгрудилось, и стрелять уже было невозможно, потому что охотник мог попасть в олениху, в оленят или мальчика.

А еще через миг странное оленье семейство рванулось в лес, и мальчик, почти не отставая, бежал за оленятами. Охотник, пораженный увиденным, как бы очнувшись, бросился вслед и, конечно, никогда бы не догнал мальчика, но тот, споткнувшись о лиану, упал на землю, и, пока выпрастывал ногу из лианы, подбежавший охотник схватил его.

Мальчик изо всех сил стал вырываться из рук охотника, он даже укусил его, но старый Беслан крепко держал его в своих объятиях. И тогда мальчик, поняв, что навсегда расстается с матерью-оленихой, закричал с невыразимой тоской, и этот крик расставания был первым звуком его человеческого голоса. Мать-олениха издали ответила ему трубным рыданием, ведь она любила его, как собственного олененка, и даже сильнее, потому что дольше, чем любого из своих оленят, кормила его молоком.

Старый Беслан принес мальчика к себе домой, крепко привязал его веревкой к тяжелой кухонной скамье, чтобы он не сбежал, но поближе к очагу, чтобы он не зябнул. Стояла осень, а мальчик был голым, и старому Беслану казалось, что мальчик может замерзнуть.

Со всего Чегема приходили люди полюбоваться ребенком, жившим с оленями. Мальчик ужасно тосковал по своей оленьей семье и ничего не ел целых пять дней. Старый Беслан давал ему хлеб, мед, сыр. Он приносил ему свежей травы,

просяной соломы, но мальчик ничего не ел — ни человеческой еды, ни еды травоядных.

А люди приходили, рассаживались на скамьях вокруг него, гадали, откуда он, кто он и что все это предзнаменует. К вечеру пятого дня старый Беслан принес ему охапку ореховых веток, шелестящую желтеющими листьями, и бросил ее у ног мальчика, надеясь, что, может быть, он соблазнится этим козым лакомством. И тут мальчик вдруг заговорил человеческим голосом, потому что человек ко всему привыкает, он привыкает даже к людям.

— Ты бы мне еще охапку папоротников принес, — сказал он старому охотнику. — Лучше дай мне молока... козьего, раз у вас нет оленьего...

Тут чегемцы страшно удивились, что мальчик заговорил по-человечьи, хотя до этого не уставали удивляться, что он ничего не говорит человеческим языком.

Старый охотник дал ему большую глиняную кружку молока, мальчик выпил его и стал говорить с людьми.

— Сначала отвяжите меня, — сказал мальчик, — я теперь никуда не убегу. Видно, судьба мне жить с вами, с людьми.

— Чей ты сын? — спросили чегемцы. — Давно ли ты попал в лес?

— Не знаю, — сказал мальчик, — я людей никогда не видел. Меня мать-олениха ребенком нашла в кустах и выкормила.

— Как?! — удивились чегемцы. — Ты никогда не видел человека, а сам разговариваешь с нами, да еще на нашем, абхазском языке? Разве такое слыхано?

— Слыхано, раз слышите, — сказал мальчик. — Вы за пять дней мне здесь все уши прожужжали. К концу второго дня я уже все понимал, что вы говорите. Дело в том, что олени говорят глазами. И я понимаю язык глаз. И вы, люди, когда говорите ртом, одновременно говорите глазами. И хотя не все то, что вы говорите ртом, совпадает с тем, что вы говорите глазами, я, сравнивая то и другое, научился понимать значение слов, которые вы говорите.

— Чудо-мальчик! — воскликнули чегемцы. — Божий сын!

— Придется мне наказать своего пастуха-грека, — вдруг сказал один из чегемцев. — Он у меня целый год пастушит и до сих пор не может говорить по-абхазски!

— Глупец, — мальчик поглядел на него своими большими оленьими глазами, — он же не знает языка глаз, потому ему трудно быстро заговорить на чужом языке.

— Откуда ты узнал, что он глупец?! — поразились чегемцы, переглядываясь. Они в самом деле считали этого своего земляка самым глупым человеком Чегема.

— Сначала по глазам, — пожал плечами мальчик, — а потом и по его словам.

И тут вдруг старый охотник Беслан расплакался.

— Чегемцы, — сказал он, — вы знаете, как погибли трое моих сыновей. Жена моя умерла от горя, оплакивая их. Наш Бог, Великий Весовщик Нашей Совести, послал мне этого мальчика в утешение, чтобы было кому радовать меня на старости лет и было кому закрыть мне глаза в смертный час.

— Не плачь, — сказал мальчик и, подойдя к старому охотнику, прижался к нему, отчего тот еще сильнее расплакался. — В прошлом году, — добавил мальчик, — когда волк зарезал моего брата-оленика, мама-олениха долго плакала. Мне ужасно больно, когда кто-нибудь плачет. Я буду утешать твою старость, но дай мне слово никогда не охотиться на оленей!

— Клянусь моими погибшими сыновьями, — воскликнул старый охотник, — я никогда не буду больше охотиться на оленей!

— Хорошо, — сказал мальчик, — я всегда буду жить с тобой... Дайте мне одно из человеческих имен, раз вы без этого не можете.

— Нарекаю тебя Джамхухом, — произнес старый охотник, — в честь моего младшего сына.

— Джамхух — Сын Оленя, — сказали чегемцы, — так будет лучше.

Они еще долго сидели в доме старого охотника, а потом разошлись, разнося весть о мальчике, воспитанном оленихой и овладевшем человеческой речью в пять дней. На самом деле он овладел ею в два дня.

Так Джамхух — Сын Оленя зажил в доме старого охотника, и не было сына добрей и мальчика понятливей и сообразительней. Он в один месяц усвоил все обычаи абхазов, а обычаев этих так много, что абхазы и сами иногда путаются в них.

В первое время ему трудно было привыкнуть к одежде, и он все норовил бегать голым, но потом и к одежде приучил-

ся. Играть он тоже в первое время любил с козлятами и телятами, а с детьми не играл. Он с ними начинал говорить о разных мудрых вещах, которых дети не понимали. Но потом, поняв, что дети его не понимают, он стал с ними играть, как с телятами и козлятами.

Мальчик только долго еще не мог привыкнуть к виду человека, сидящего верхом на лошади. Сначала он принял верхового человека за какое-то диковинное животное, но потом и к этому постепенно привык.

Однажды, когда чегемцы стали разбегаться перед взбесившейся буйволицей, он спокойно подошел к ней и вынул у нее из глаза кусочек коры, разъяривший буйволицу.

— Откуда ты узнал, — спрашивали чегемцы, — что она разъярилась из-за этого?

— Язык буйволов очень похож на олений, — сказал мальчик, — примерно так, как язык убыхов похож на абхазский.

Через десять лет о Джамхухе — Сыне Оленя уже знала вся Абхазия. Он жил со своим старым отцом, хорошо хозяйствовал, щедро давал людям мудрые советы и довольно точно предсказывал погоду и разные события. К этому времени он уже, кроме абхазского языка, знал язык греков, картвелов, лазов, черкесов, скифов. Кто к нему ни обратится, он всякому давал совет независимо от его происхождения.

Хотя советы его иногда оказывались не самыми правильными, а предсказания порой не сбывались, люди не слишком унывали. Люди, обдумывая и обсуждая советы и прорицания

Джамхуха, всегда убеждались, что ошибки Сына Оленя были следствием его излишнего благородства.

Например, если он, рассчитывая поступки подлеца, предсказывал его дальнейшие подлости, то они нередко оказывались подлее, чем думал Джамхух. А если он предсказывал поведение доброго человека, то и доброта этого человека, увы, оказывалась ниже той зарубки, которую сделал Джамхух.

Постепенно люди, приходящие за советом или предсказанием Джамхуха, стали подправлять его слова.

— Если Сын Оленя, — говорили они, — предсказывает, какую подлость учинит подлец, подбавь от себя немного подлости и попадешь в самую точку.

— Если Сын Оленя, — говорили другие, — предсказывает доброе дело добряка, убавь от себя доброты и попадешь в самую точку.

Однако скоро выяснилось, что от этого прибавления и убавления предсказания Джамхуха стали еще реже сбываться. Дело в том, что люди, прибавляя подлости подлецу и убавляя доброту добряка, очень уж усердствовали, и получалась полная неразбериха.

— Этот Джамхух — Сын Оленя совсем нас запутал, — злились самые глупые. — Уж лучше бы он сам нам ничего не предсказывал.

— Нет, — говорили более благоразумные, — лучше будем делать так, как он говорит, ничего не прибавляя и не убавляя.

И люди в большинстве своем стали придерживаться советов и предсказаний Сына Оленя, чувствуя, что к его сове-

там и предсказаниям не мешало бы немного прибавить огорчения или убавить надежды. Однако, боясь запутаться, не решались.

— Ох, и разорит меня этот Джамхух, — бывало, говорил какой-нибудь скупердьяй, получив от него хозяйственный совет. Все же он поступал так, как велел Джамхух, боясь, что иначе будет еще хуже.

До двадцати лет, несмотря на всякие мелкие огорчения, вызванные хронической глупостью многих людей, Джамхух жил счастливо. Он был хорош собой, силен, ловок, имел легкую оленью походку и был мудр, как сто мудрецов, собранных в одном месте и согласных друг с другом. Но так как сто мудрецов, собранных в одно место, начинают спорить и отрицать друг друга, Джамхух был мудрее, чем сто мудрецов.

Порой, когда Джамхух слишком уставал от человеческой глупости и жестокости, он уходил в лес, разыскивал там маму-олениху и садился рядом с ней, припав к ее груди и обняв ее за шею.

— Мама, — говорил Джамхух, — я так устал от них. Люди мешают любить себя.

Если он не находил маму-олениху, он находил других оленей и спрашивал у них о том, как живет мать-олениха и как она себя чувствует. Другие олени ему рассказывали, что мать-олениха жива-здоровая, и Джамхух, утешенный, возвращался в Чегем.

К этому времени чегемцы в благодарность за мудрость Джамхуха отказались от охоты на оленей, и олени очень близ-

ко подходили к селу. Так что Джамхух, отправляясь в лес, если не встречал маму-олениху, все равно встречал какого-нибудь оленя и передавал ему весточку для нее.

Отец Джамхуха, старый Беслан, не мог нагордиться своим сыном, и закатные дни его старости были озарены тихим счастьем. Но всему приходит срок, и пришел срок жизни старому Беслану.

Он стал умирать. Чегемцы вызвали лекаря из Диоскурии, и тот, важно осмотрев старика, сказал, что у него слишком стугилась кровь и ему надо отворить жилы.

— Глупец, — вздохнул старый Беслан, — зачем мне отворять жилы? Я же умираю не от болезни, а от старости. Разве от старости есть лекарство?

— Ну, знаете! — оскорбился лекарь из Диоскурии, в свое время отворявший жилы константинопольским купцам и гордившийся этим. — Тогда зачем вы меня позвали?

— Для людей, — объяснили чегемцы, дежурившие у постели больного. — Люди скажут, что Джамхух загордился и даже лекаря не вызвал к умирающему отцу. Лучше волоки в Диоскурию причитающихся тебе трех баранов и там отворяй им жилы.

— Ну, знаете! — повторил лекарь, однако, сев на ослика, поволок на веревке в Диоскурию трех заработанных баранов.

Перед самой смертью старый Беслан велел всем выйти из комнаты и, оставшись один на один с Джамхухом, сказал:

— Сын мой, я тебе должен открыть одну тайну, потому что покидаю этот мир, как и положено всякому отжившему

человеку. Я хочу уберечь тебя, сын мой, от страшной опасности. В нашем доме есть комната, закрытая на три замка. Я никогда ее не открывал, и ты, зная, что я не хочу тебе о ней говорить, никогда не спрашивал. Теперь пришло время рассказать о тайне закрытой комнаты. Множество лет тому назад, на мою беду, в дом ко мне пришел бродячий художник и стал умирать от лихорадки. И он мне сказал перед смертью: «Я нарисовал портрет самой красивой девушки, которая когда-либо жила на свете. Это заколдованная, вечно юная красавица Гунда, сестра знаменитых семи братьев-великанов. Они живут на самом западном краю Абхазии, недалеко от села Пшада. Я прошу тебя, сохрани этот портрет и никому никогда не показывай его, потому что каждый, кто увидит портрет, влюбится в красавицу и попытается жениться на ней. А свирепые братья-великаны каждому жениху обещают отдать свою сестру только в том случае, если он выполнит все испытания по сноровке ума и тела, которые они придумали. А если жених не справится со всеми испытаниями, они его убивают. Такие у них условия. Черепа неудачливых женихов нахлобучены на колья изгороди вокруг двора великанов. Два неудачливых жениха погибли, пока я рисовал портрет юной красавицы. Я в нее не влюбился, потому что перенес влюбленность на портрет, который рисовал. Этот портрет должен остаться в веках, чтобы люди видели, как красива может быть девушка и каким божественным мастером был я, художник Нахар. Клянись нашим Богом, Великим Весовщиком Нашей Совести, что ты на-

всегда сохранишь мой портрет, чтобы он дошел до потомков!» — «Клянусь!» — сказал я ему. И художник умер. Я его предал земле со всеми полагающимися почестями. Потом, перебирая его бедные пожитки, нашел портрет, завернутый в леопардовую шкуру, и, не разворачивая шкуры, отнес его в комнату и запер дверь на три замка. С этого начались мои беды. Оказывается, все три мои сына, поочередно выкрадывая у меня ключи, проникали в запертую комнату, смотрели на портрет, влюблялись в красавицу и тайно уходили из дому попытать счастья. Трое моих сыновей в одну неделю были убиты братьями-великанами. Но я тогда об этом не знал, я думал, что они погибли на охоте. Пытаясь найти их следы, я ходил по всей Абхазии. В конце концов, расспрашивая людей, встречавшихся с ними, я понял, что все они шли в сторону дома братьев-великанов. Жена моя умерла от горя, оплакивая своих детей. Но вот на старости лет Великий Весовщик Нашей Совести сжалился надо мной и послал мне тебя. Я молю тебя никогда не входить в комнату, где лежит портрет этой красавицы. После гибели сыновей я его развернул и снова завернул уже в три шкуры. Пусть он там лежит, пока не умрут великаны или пока не найдется джигит, который выполнит все их условия, и пока она наконец не выйдет замуж.

— Значит, отец, ты видел портрет? — спросил Джамхух. Ведь ему было двадцать лет, и он уже мечтал о необыкновенной девушке.

— Да, — ответил старый Беслан.

— Ну и как она? — не удержался Джамхух.

— Не знаю, сынок, — вздохнул старый охотник, — я не заметил ее красоты, потому что на ней была кровь моих сыновей.

Джамхух дал слово отцу никогда не входить в комнату с портретом красавицы, и старик умер. Джамхух помог ему унять последние судороги тела, мучающегося от необходимости расстаться с душой, как помогают роженице. И когда душа ушла из тела, Джамхух прикрыл веками опустевшие глаза отца.

Джамхух похоронил старого Беслана со всеми почестями и стал жить один в своем доме. День и ночь он думал о портрете красавицы, но не смел открыть комнату, где он хранился.

Сердце Джамхуха разрывалось, его жгло любопытство, но он не мог нарушить слово, данное отцу. Может быть, Джамхух и нарушил бы данное слово, но боялся, что, если влюбится и его попытка жениться на красавице Гунде кончится неудачей, он не сможет справить годовщину смерти отца. Джамхух был благочестивый сын и хотел, чтобы мертвый отец получил все, что положено по абхазским обычаям.

Через год, справив годовщину смерти отца, Джамхух открыл комнату, где лежал портрет. Запах затхлости и гнили от плохо обработанной кожи ударил ему в ноздри.

Портрет, завернутый в леопардовую шкуру, лежал на столе в пустой комнате. Джамхух развернул леопардовую шкуру и увидел, что под ней шкура дикой свиньи. Джамхух развер-

нул шкуру дикой свиньи и увидел, что под ней шкура осла. Джамхух развернул шкуру осла и увидел портрет. Он повернул его к окну и, пронзенный нежной красотой золотоголовой девушки, потеряв сознание, упал.

Придя в себя, он еще долго рассматривал портрет девушки, продолжая сидеть на полу и потирая ушибленную голову. Боль в ушибленной голове смягчала впечатление от головокружительной красоты девушки.

Наконец, насмотревшись на портрет, он встал, бережно завернул его на этот раз только в леопардовую шкуру и положил его на стол. Удивляясь отцу и не понимая, зачем он завернул портрет в три шкуры, Джамхух вынес шкуры осла и дикой свиньи, запер комнату на три замка и бросил обе шкуры в огонь очага. Джамхух уже был влюблен.

«Какая же она в жизни? — думал он, глядя, как коробятся, словно корчатся в огне, шкуры дикой свиньи и осла. — Я умру, — думал Джамхух, — или освобожу ее от братьев-извергов, которые погубили столько невинных людей».

На следующий день рано утром Джамхух пошел в лес, чтобы встретиться с матерью-оленихой и рассказать ей, что он хочет жениться на красавице Гунде, которая живет на краю Абхазии, недалеко от села Пшада, вместе со свирепыми братьями-великанами.

Но маму-олениху в окрестностях Чегема он не нашел, зато встретил других оленей и передал им, чтобы они рассказали матери о его решении. Вернувшись домой, он надел свою лучшую черкеску с серебряным поясом и кинжалом и натя-

нул на ноги мягкие чупяки. Он перекинул через плечо плотно скатанную бурку, увязанную ремнем. Через другое плечо перекинул хурджин, в котором лежали круг сыра, кусок вяленого мяса и дюжина чурчхелин. Попросив соседей, чтобы они присматривали за его скотом, он, никому ничего не говоря, двинулся в путь.

К полудню второго дня своего пути он вышел на тропу, которая проходила мимо пахоты. И тут вот что предстало его глазам. Остановив быков на борозде, пахарь, нагнувшись, ел землю большими ломтями, то и дело приговаривая:

— До чего же вкусная, черт подери, до чего жирная земля!

И хотя земля в самом деле была сочная и жирная, Джамхух, конечно, очень удивился такому необычайному зрелищу. Джамхух постоял-постоял, глядя на пахаря, улетающего землю, а потом не удержался и окликнул его.

— Приятного тебе аппетита, пахарь! — крикнул Джамхух. — Хотя я впервые вижу, чтобы человек ел землю!

— Здравствуй, путник, — отвечал пахарь, сглатывая большой ком земли. — Дело в том, что та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным, запаздывает с обедом. Вот я и решил подкрепиться...

— О ком это ты говоришь? — не понял его Джамхух.

— Ну, конечно, о женушке своей, — пояснил пахарь, — о ком же еще!

— И много ты можешь земли съесть? — спросил Джамхух.

— Ну, как тебе сказать, путник, — ответил пахарь, утирая рот рукавом. — Я могу съесть примерно столько земли,

сколько ее выбрасывают наверх, когда роют колодец глубокой в сто локтей. А если глубже — не могу. Ну, разве что через силу.

Джамхух внимательно оглядел пахаря. Это был плотный, упитанный, но не слишком толстый человек.

— Ничего себе, — сказал Джамхух, — хотя, с другой стороны, человек и так ест землю, потому что питается ее плодами, а потом земля ест человека, потому что питается его останками. Но чтобы так прямо, я никогда такого не видел.

— Это все пустяки, — возразил пахарь. — Вот если бы ты увидел Джамхуха — Сына Оленя, вот кому бы ты подивился. Он самый мудрый человек в Абхазии, а значит, считай, и во всем мире. Ни разу не слыша человеческой речи, он, услышав ее, выучил наш язык за пять дней! Слыхано ли такое?

— Я и есть Джамхух — Сын Оленя, — сказал Джамхух, — и я в самом деле выучил абхазский язык, только не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения. Но я, признаюсь, и ломтя земли не смог бы съесть.

— Ты Джамхух — Сын Оленя?! — воскликнул пахарь. — Тогда возьми меня с собой! Меня зовут Обьедало, авось я тебе где-нибудь пригожусь!

Джамхух рассказал ему о цели своего путешествия и предупредил об опасностях, связанных с ним.

— Ничего, — сказал Обьедало, — с тобой я готов идти на все!

— Ну что ж, Обьедало, идем, — согласился Джамхух. Обьедало жил неподалеку и крикнул брату, чтобы тот пришел и допахал за него поле.

— У вас в семье все такие? — поинтересовался Джамхух.

— Нет, — сказал Обьедало, — я один Обьедало. Но я могу насытиться и как обычный человек — от цыпленка до барашка. А если, бывает, проголодаюсь, как сейчас, могу землицей подкрепиться. Со мной в дороге легко.

— Ну что ж, идем, — сказал Джамхух, и они пошли.

К полудню следующего дня они выбрались к водопаду и увидели странное зрелище. Под водопадом стоял человек. Он ловил ртом белопенную струю, жадно пил ее, время от времени переводя дыхание, и повторял:

— Господи, до чего я изжаждался! Никак не могу напиться!

Долго следили Джамхух с Обьедалой, как пьет воду этот человек, стоя на дне ручья, в который стекал водопад. Сейчас ручей до того обмелел, что было видно, как бьется в мелких заводях серебристая форель в золотых накрапинках.

— Да ты лопнешь, черт тебя подери! — наконец не выдержал Джамхух.

Тут пьющий водопад обернулся к ним и гордо сказал:

— Скорее дятел умрет от сотрясения мозга, чем я, Опивало, упьюсь этим хилым водопадиком... Рыб жалко, а то б еще пил...

— В первый раз вижу, чтобы человек столько воды пил, — проговорил Джамхух. — Я в самую жаркую погоду могу не больше трех кружек выпить.

— Это все ерунда, — сказал Опивало, выходя на берег, — недаром же меня зовут Опивалой. Вот если б вы увидели

Джамхуха — Сына Оленя, вы бы подивились настоящему чуду! Он всем дает бесплатные советы и делает предсказания, которые сбываются даже раньше, чем он предсказал. Впервые шестилетним мальчиком, услышав человеческую речь — я, конечно, имею в виду абхазскую речь, — он выучил наш язык за пять дней! Вот это чудо!

— Я и есть Джамхух — Сын Оленя, — сказал Джамхух. — В твоих словах немало правды, хотя есть и преувеличение. Ну, а насчет абхазского языка, то я его выучил не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения.

— Спасибо Великому Весовщику, — воскликнул Опивало, — что он меня надоумил пить из этого водопада! Возьми меня с собой, Джамхух, авось я тебе пригожусь в пути.

— Ну что ж, Опивало, идем, — сказал Джамхух, — только знай...

И он ему рассказал о цели своего путешествия и о многих опасностях, связанных с ним.

— Ничего, — успокоил Опивало, — с тобой я готов на все! А если дело дойдет до выпивки, то скорее дятел, долбящий дерево, умрет от сотрясения мозга, чем эти великаны меня перепьют!

— Слушайте, а вы похожи друг на друга, — сказал Джамхух, оглядывая упитанную, но не слишком толстую фигуру Опивала.

Опивало и Обьедало были в самом деле похожи друг на друга. Только у Обьедалы волосы были черные, как жирная

земля, а у Опивалы были волосы светло-золотистые, как вода на зорьке.

— Да-а, — сказал Опивало, ревниво взглянув на Обьедалу, — пусть становится под водопад, и тогда посмотрим, на что он способен.

— Да-а, — сказал Обьедало, — пусть меня повесят на шею моей жены, если ты способен съесть хотя бы мысок, на котором мы стоим. Съешь, а потом запьешь водопадом.

Опивало очень удивился такому предложению, но тут Джамхух поведал ему о способностях Обьедалы, и они втроем пошли дальше.

Они пошли дальше по дороге, и Джамхух им рассказывал поучительные истории, чтобы они мудрили на ходу, а также делал попутные замечания, разглядывая окружающую природу.

Однажды Обьедало сказал:

— Меня вот что удивляет, Сын Оленя. Я как-то заметил орла, который — высоко! высоко! высоко! — летал в небе и вдруг камнем опустился на землю. Я думал, он сейчас схватит зайца или дикую индюшку, а он сел на дохлого осла и стал его клевать. И я подивился: зачем было так высоко летать, чтобы потом сесть на дохлого осла?

— Чем выше летает птица, тем вернее она питается падалью, — сказал Джамхух. — Чем разумнее живое существо, тем вонючей его дерьмо... Понятно я говорю, Обьедало?

— Первая часть понятна, — проговорил Обьедало, подумав, — а вторая часть не совсем.

— По-моему, ты намекаешь на человека, — сказал Опивало.

— Но ведь у свиньи тоже очень нехороший запах помета, — сказал Обьедало, ревнуя Опивало за то, что тот понял намек, а он не понял.

— К сожалению, ты прав, — согласился Джамхух, — это только доказывает, что у свиньи много сходства с дурным человеком или у человека много общего со свиньей.

— Но, Джамхух, — воскликнул добрый Обьедало, — может, хотя бы в будущем человек отойдет от свиньи!

— Будем надеяться, — улыбнулся Джамхух, — отчасти в этом смысл нашей с вами жизни.

— Или свинья отойдет от человека, — пошутил Опивало.

— Я вижу, друзья, — сказал Джамхух, — наше путешествие идет вам впрок.

Когда они вечером, расстелив бурку, поужинали у костра, Джамхух решил познакомить своих спутников с поэзией. Оказалось, что ни Обьедало, ни Опивало никогда не слышали настоящих стихов. Правда, они оба любили народные песни. Особенно много застольных песен знал Опивало.

— Нет, — сказал Джамхух, — я имею в виду совсем другое. Вот я вам прочту стихи древнеабхазского поэта, а вы догадайтесь, о чем они. — И он прочел им такие стихи:

Скорпион

Влез на белый цветок

И умер от неожиданности.

Опивало посмотрел на Обьедалу и сделал вид, что он понимает, о чем эти стихи, но не хочет говорить. Обьедало тоже посмотрел на Опивалу и сделал такой же вид.

— Так что же? — спросил Джамхух.

— Я-то догадываюсь, — сказал Опивало, который был похитрей Обьедалы. — Но если я скажу, Обьедало тут же станет уверять, что и он так думал.

— И не собираюсь, — обиделся Обьедало, — подумаешь, умник-водохлаб! Считай, Джамхух, что я не знаю, о чем эта притча.

— Ну, а ты? — спросил Джамхух у Опивалы.

— Я думаю, — произнес Опивало, — что скорпион влез на белый цветок, а цветок-то оказался ядовитым! Вот он и умер!

— Нет, — сказал Джамхух, — я вижу, вам пока нужно объяснить смысл поэзии. Вот что хотел сказать поэт. Скорпион сам черный, мысли у него черные, и дела у него черные. И он думал, что все на свете черное. И вдруг он увидел белый цветок и понял, что вся его жизнь неправильная, и он от этого умер.

— А-а-а, — протянул Опивало, — вот оно как! Здорово придумано.

— Но не сразу допрешь, — добавил Обьедало, довольный, что Опивало тоже, оказывается, не понимал стихотворения, как и он.

— Ничего, — сказал Джамхух, — постепенно привыкнете.

С этим они улеглись у костра на расстеленной бурке и уснули.

На следующий день Джамхух и его друзья шли по цветущей весенней долине. Дикие груши и алычовые деревья под легким ветерком осыпали нежно-розовые лепестки. Каждое деревцо алычи, опушенное цветами и брызжущей свежестью зелени, напоминало Джамхуху о любимой девушке и о доблести подвига, наградой за который и будет прекрасная Гунда, сестра свирепых и хитрых братьев-великанов.

— Вот я вам все рассказываю да рассказываю, — спохватился Джамхух, — а теперь, друзья, расскажите вы что-нибудь из своей жизни. Например, удалось ли кому-нибудь из вас совершить подвиг! Мне, к сожалению, еще не удалось.

— Да, — сказал Обьедало, подумав, — был у меня в жизни подвиг.

— Конечно, — подтвердил Опивало, — если у меня что хорошо получается, так это подвиг.

— Хочу быть повешенным на шее моей любимой жены, — сказал Обьедало, — если мой подвиг не лучше твоего.

— Скорее дятел, долбящий дерево, умрет от сотрясения мозга, — воскликнул Опивало, — чем твой подвиг окажется лучше моего!

— Не спорьте, друзья, — сказал Джамхух, — лучше расскажите каждый о своем подвиге. Ты начинай, Опивало!

Вот что рассказал Опивало. Оказывается, в одном абхазском селе было озеро, откуда люди брали питьевую воду. И в этом озере завелся дракон. И он почти каждый вечер хва-

тал одну из женщин, которая приходила туда за водой или постирать. Никто не мог убить дракона, потому что он прятался в глубине озера и, неожиданно поднырнув, хватал зазевавшуюся женщину.

Узнав о безобразиях дракона, Опивало сам пришел в это село и предложил свои услуги. Он велел всем мужчинам села с копьями и стрелами в руках стоять вокруг озера. А сам прилег у воды и стал пить, время от времени поглядывая, чтобы дракон не поднырнул к нему. Опивало пил озеро четыре дня и четыре ночи подряд и выпил почти всю воду, так что дракон к утру пятого дня заметался на мелководье. Тут мужчины, окружившие озеро, стали осыпать его стрелами и копьями. Дракону оставалось только одно — сдохнуть, что он и сделал.

Жители села в честь своего освобождения от дракона устроили пир и пригласили на него Опивало. Опивало поблагодарил их и сказал: «Садитесь за стол, друзья. Я подсяду к вам попозже. Раз я пил озеро четыре дня и четыре ночи, я должен, извините, что об этом говорю, но я должен шесть дней и шесть ночей избавляться от воды. А потом я подсяду к вам и догоню вас».

«Ладно, — ответили жители, — мы сядем за столы, а ты иди вон к тому ручью, потому что мы из него все равно воду не берем, он мутный. А потом приходи к нам. Небось догонишь».

«Думаю, догоню», — сказал Опивало и, найдя укромное место у ручья, принялся, как говорят абхазы, сливать воду.

Может, это выражение появилось у абхазов именно с того времени.

К несчастью, ни сам Опивало, ни жители села на радостях не учли, что он слишком много воды выпил. Как-никак целое озеро. К концу шестого дня ручей вздулся и смыл дом, стоявший над ним. Три козы, не успевшие удрать из загона, и сам хозяин дома были унесены потоком.

Хозяина пытались спасти, но это не удалось, потому что он был слишком пьян.

«Тут бы и пожить!» — успел он крикнуть напоследок, уносимый разбушевавшейся, так сказать, стихией.

Оказывается, накануне прихода Опивалы дракон сожрал жену этого человека. По такому серьезному поводу он стал пить, хотя было неясно — пьет он с горя или от радости. Пил он, не выходя из дому, поэтому о нем подзабыли и не пригласили на пиршество. И теперь, когда человека унес вздувшийся ручей, все гадали, что бы означали его последние слова, то ли: «Тут бы и пожить» — без дракона, то ли: «Тут бы и пожить» — без жены.

— Без дракона, — сказал Джамхух как человек, еще не постигший затейливое многообразие радостей семейной жизни.

— Неплохой подвиг, — согласился Обьедало, выслушав Опивалу, — но должен сказать: я был в этом селе. То, что ты назвал озером, правильней было бы назвать озерцом. К тому же у тебя погибли человек и три козы. Человек — это человек, а три козы — это неплохая закуска.

— Рассказывай про свой подвиг, — рассердился Опивало. — Может, ты съел полгоры, да людям от этого какая польза?

— А вот какая, — отвечал Обьедало и рассказал о своем подвиге.

Оказывается, на их село напали лазы, перебили многих мужчин, а тех, кто не успел сбежать, связали и вместе со скотом перегнали в свое село. Там их, то есть людей, а не скот, поместили в крепостной тюрьме, собираясь их, то есть людей, а не скот, продать в рабство.

И тут Обьедало совершил подвиг. Он вместе со своими односельчанами начал делать подкоп, чтобы вылезти из крепости. Но лазы тоже не дураки: они каждый день проверяли свою крепостную тюрьму, чтобы посмотреть, нет ли там откопанной земли. Но откопанной земли не было, ведь Обьедало ее всю утрамбовывал в животе.

И это был труднейший подвиг, потому что земля из-под тюрьмы самая невкусная в мире. Все же Обьедало давился, но ел. До этого он ел жирную землю пахоты, душистую землю огородов, ел сладостную, слоистую, как халва, землю речных обрывов, но земля под тюрьмой была самая невкусная, сама мертвая в мире.

Однако Обьедало старался и, сделав подкоп, сбежал из тюрьмы вместе со своими односельчанами.

— Всякая крепость — всегда тюрьма, — сказал Джамхух, выслушав Обьедало. — Эту нехитрую мысль любил повторять один наш древнеабхазский поэт. И в самом деле, ес-

ли побеждают те, кто осаждал крепость, они делают из нее тюрьму для тех, кто ее защищал. Если побеждают те, кто защищал крепость, они сажают в крепость тех, кто ее осаждал, как бы говоря: «Вы стремились в нее? Вот и посидите в ней».

Так, разговаривая о всякой всячине, они шли по дороге.

На следующий день они оказались на широком горном склоне, радуящем глаза доброй мощью весеннего цветения. Кусты боярышника, густо усеянные белыми цветочками, издавали волнующий горько-миндальный запах и напоминали влюбленному Джамхуху стыдливых девушек.

И все округлости травянистых холмов, и все округлости цветущих кустов, и все округлости густолиственных деревьев напоминали Джамхуху о празднике встречи с возлюбленной Гундой.

И тут, на этом цветущем склоне горы, Джамхух и его товарищи увидели пастуха, пасшего множество длинноухих зайцев. Пастух был высоким, стройным молодым человеком. На его ноги у самых щиколоток были надеты небольшие жернова. Чуть какой заяц запрыгает в сторону, пастух его мигом нагоняет и поворачивает назад.

— Что за чудо! — удивился Джамхух, поздоровавшись с ним. — Впервые вижу человека, который пасет зайцев да еще так проворно бегаёт с жерновами на ногах.

— Да ерунда все это! — махнул рукой пастух. — Вот если бы вы увидели Джамхуха — Сына Оленя...

— Я, я Джамхух, — сказал Джамхух, — только ни слова о моей мудрости...

— Ты Сын Оленя! — изумился пастух и подпрыгнул от радости. — Так, значит, это ты делаешь предсказания, которые сбываются даже раньше, чем ты предсказал! Так это ты выучил наш язык всего за пять дней!

— Да, я, — сказал Джамхух, — только люди кое-что преувеличили, а кое-что преуменьшили. Так, например, я абхазский язык выучил в два дня, но дело не в этом...

— Великий Весовщик Нашей Совести! — воскликнул пастух. — Ты утолил мою мечту. Я увидел Сына Оленя! Джамхух, возьми меня с собой. Я Скороход. Авось где-нибудь понадобится тебе моя скорость!

— А как же твои зайцы? — спросил Джамхух.

— Ну, — сказал Скороход, — дальше этого хребта они не убегут. Когда надо будет, я сниму жернова и соберу их.

Тут Джамхух объяснил ему цель своего похода и связанные с ним опасности. Скороход слушал его и, предвкушая радость, прыгал на месте так, что искры сыпались из жерновов, задевающих друг друга.

И они двинулись дальше. На следующий день друзья вышли на альпийские луга, где травы были по пояс, а вершины гор на жарком полуденном солнце сверкали свежим, аппетитным снегом, а крутые склоны прорезывали величавые водопады.

— Нет большего удовольствия, — сказал Опивало, — как в жару поустойчивей стать под ледниковым водопадом, что-

бы струя не сбила тебя с ног, разинуть рот и часа два попить горной воды.

— А по-моему, — сказал Обьедало, — нет большего удовольствия, как в жару подняться на снежную вершину и вылизать ее всю, пока под языком не зашершавятся ее каменистые склоны.

— Сын Оленя, — начал Скороход, — я обычно пасу своих зайцев в горах и, сколько ни люблюсь альпийскими лугами и снежными вершинами, никак не могу налюбоваться. Горы — самое красивое место на земле, или мне так кажется, потому что я очень чувствительный?

— Думаю, вот в чем дело, — сказал Джамхух. — Горы — это место, самое приближенное к небу. Земле хочется, чтобы первым делом бросалась в глаза ее лучшая часть. Опять же, когда Бог посылает на землю своего ангела, лучше, если он приземлится в самом красивом месте, а потом уже постепенно привыкает к некоторым некрасивостям земной жизни.

— Точно, — сказал Обьедало, — вот так и люди в деревне всегда встречают гостя хлебом-солью, хотя не всегда они добры и гостеприимны.

Они шли по горной тропе, а вокруг на склонах дымились пастушеские шалаши, паслись табуны коней, стада овец, коз и коров.

В одном месте тропинка проходила мимо пастушеского шалаша, где пастух, стоя на коленях возле открытого очага, раздувал огонь.

— Обратите внимание, — сказал Джамхух, — на этого пастуха. Какое у него красивое лицо! Всегда, когда человек раздувает огонь, у него красивое лицо.

— Точно! — воскликнул Обьедало. — Я это тоже часто замечал. Когда та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным, раздувает огонь, она мне кажется очень красивой женщиной. А когда она меня ругает, она мне кажется ужасной уродкой. И тогда я не хочу быть повешенным на ее шее и вообще не хочу быть повешенным...

— До чего же мне надоело слышать о твоей жене, — перебил его Опивало. — Чтоб вас обоих, тебя и твою жену, повесили на одной перекладине.

— Нет, — сказал Обьедало, — так я не согласен. Если нам обоим суждено быть повешенными, я хотел бы, чтобы сначала меня повесили на ее шее, а потом ее, голубку, на моей шее. Вот как я хотел бы!

— Да кто у тебя, дубина, будет спрашивать твоего согласия? — горячился Опивало. — Если царь велит вас повесить, то вас и повесят на одной перекладине!

— Так я не согласен, — возразил Обьедало, — только на моих условиях я согласен быть повешенным.

— Джамхух, он сведет меня с ума! — воскликнул Опивало. — Да кто у тебя будет спрашивать, болван, если сам царь велит!

— Остаюсь при своем мнении, — сказал Обьедало, подумав, — и при той, на шее которой...

— Джамхух, — взмолился Опивало, — я больше не могу!

— Друзья, не ссорьтесь, — сказал Джамхух, — лучше продолжим беседу о раздувающем огонь. У раздувающего огонь всегда красивое лицо, потому что раздувание огня — угодное Богу дело. Душа человека тоже огонь, который нам надлежит раздувать.

— На душу Опивалы, — вдруг сказал Обьедало, — лилось столько воды и вина, что она у него давно погасла.

— Вот это дурень! — хлопнул в ладоши Опивало. — Он думает, что, когда вода и вино проходят через горло, они задевают душу. Конечно, душа человека находится там, где горло переходит в тело, но она не имеет выхода к пищеводу, хотя расположена близко. Это видно хотя бы из того, что, если душа от гнева раскалена, стоит выпить холодной воды — и ты успокаиваешься. Но прямо пищевод с душой не связан. Иначе б ты, землеед, давно похоронил свою душу в съеденной земле.

Пока они так горячились, пастух раздул огонь, пододвинул полешки и оглянулся на путников. Он привстал, поздоровался с ними и пригласил их в шалаш.

— Нет, — сказал Джамхух, — нам останавливаться некогда. Мы в пути. Но не кажется ли тебе, что пора спуститься в село и принести соли-лизунца твоим овцам и коровам?

— Правда, — согласился пастух, — давно пора, да все некогда было. Завтра собираюсь. Подождите немного. Я подымусь к своему стаду и через полчаса буду здесь с овцой. Заре-

жу ее и угощу вас молодым мясом, которое мы заьем кислым молоком из бурдюка.

— Спасибо, — сказал Джамхух, — но мы спешим по делу.

— Да и за полчаса баранчика сюда не пригонишь, — пошутил Скороход, подмигивая друзьям.

— Да и баранчика мы впятером не одолеем, — подхватил шутку Обьедало.

— Да и свежий бурдюк с кислым молоком не стоит открывать, — добавил Опивало. — Мы его до конца не выпьем, а оно тогда забродит.

— Не беда, — сказал простодушный пастух, — забродит, собакам сольем. Доброго вам пути, раз вы спешите.

— До свидания, — попрощались друзья и двинулись дальше.

— Пойдите! — вдруг окликнул их пастух. Друзья оглянулись. Лицо пастуха выражало растерянность и удивление.

— Путник, — обратился он к Джамхуху, — как это ты узнал, что у меня кончились запасы лизунца? Ведь ты и в шалаш ко мне не заходил?

— Очень просто, — сказал Джамхух, — я видел, как две твои коровы и несколько овец лизали белые камни.

— Точно! — ударил пастух ладонью себя в лоб. — Ты мудр, почти как Джамхух — Сын Оленя.

— А он и есть... — начал было Обьедало, но тут Джамхух незаметно толкнул его, и Обьедало замолчал.

— Что «он и есть»? — спросил пастух.

— Он и есть то, что он есть, — сказал Опивало.

— А-а-а, — закивал головой пастух и стал насаживать вяленое мясо на вертел.

Объедало тайком облизнулся, и друзья пошли дальше.

Вечером Джамхух со своими спутниками развел костер на живописной лесной лужайке, они поужинали чем Бог послал и, сидя у костра, разговаривали о всякой всячине.

— Друзья мои, — сказал Джамхух, — не скрою от вас, что я волнуюсь перед встречей с прекрасной Гундой. Я чувствую, что великанов я, пожалуй, одолею, но я ничего не знаю о семейной жизни людей. Я знаю, как мама-олениха жила со своим оленем, но к своему отцу я попал, когда тот уже был вдовцом. Расскажите мне о ваших женах. Какие у них нравы, как с ними надо обращаться. Начнем с тебя, Скороход.

Скороход в это время, сняв жернова со своих ног, смазывал в них отверстия бараньим жиром, чтобы они не слишком терли ноги.

— С меня, Джамхух, — сказал Скороход, — как начнешь, так и кончишь, потому что я ужасно чувствительный и от этого ужасно влюбчивый. А оттого, что я влюбчивый, я никак не могу жениться. Только я хочу жениться на полюбившейся мне девушке, вернее, только она захочет меня женить на себе, как мне начинает нравиться другая девушка и я даю стрекача от прежней. Однажды даже пришлось снять жернова — до того крепко вцепилась в меня одна из них, чуть не догнала. Так что, Сын Оленя, мне и рассказать нечего о семейной жизни.

— Легкий ты человек! — сказал Джамхух.

— Оттого-то и хожу в жерновах, — не совсем впопад ответил ему Скороход, продолжая смазывать бараньим жиром отверстия своих жерновов.

— Лучше я расскажу о той... — охотно начал Обьедало, но тут его перебил Опивало.

— Сын Оленя! — взмолился он. — Если Обьедало скажет сейчас о той, на шее которой он хотел бы быть повешенным, я уйду от вас или огрею его головешкой! Выбирайте одно из двух!

— Ладно, — сказал Сын Оленя, — он обещает нам не говорить так.

— А он уже все сказал, — примирительно вставил Обьедало. — Ну так вот, — продолжал он после небольшой остановки, — моя жена, то есть та... Ну, которая моя жена, очень хорошая женщина. Мы с ней живем уже десять лет и нажили пятерых детей, по которым я уже скучаю... Не говоря о той, на шее которой...

— Джамхух, он опять! — вскричал Опивало.

— ...висят бусы, — продолжил Обьедало, очень довольный, что перехитрил Опивалу, — которым, значит, бусам, я сейчас завидую. Мы живем дружно, мирно, она все умеет делать по хозяйству. Иногда, если она и завозится в огороде или с детьми... Ну да, копуша она у меня... Так вот, если она завозится и не успеет приготовить ужин, то кричит мне: «Обьедало, я тебе не успела ужин приготовить! Возьми в кухне соли и перцу и накопай себе за домом свежей земли». Я иду на вы-

гон, окапываю большой цельный кусок дерна, густо солю его, густо перчу и съедаю. А в это время дети мои кружатся вокруг меня, хохочут и кричат: «Папа-землеед! Папа-землеед!» А в остальном у меня все как у людей. Одним словом, я очень доволен той...

— Опять начинаешь? — вздрогнул Опивало.

— Я очень доволен той, — твердо продолжал Обьедало, — на шее которой...

— Сын Оленя! — закричал Опивало.

— ...на шее которой бусы... сердоликовые, — закончил Обьедало, обрадованный тем, что сумел подразнить Опивалу.

— Спасибо, Обьедало, — сказал Джамхух, — мне очень понравилась твоя семейная жизнь. А теперь ты, Опивало, расскажи о своей.

— Хорошо, — согласился Опивало, и кадык у него так и заходил от воспоминаний о семейной жизни. — Я, конечно, человек пьющий, что следует из самого моего имени. То есть, я пью, следуя за своим именем. Скорее дятел...

— Джамхух, умоляю, останови его! — вскричал Обьедало. — Если он сейчас начнет про дятла, который умрет от сотрясения мозга, я так его трахну вот этой головешкой по голове, что он сам умрет от сотрясения мозга! А перед смертью у него столько искр посыплется из глаз, что они затмят звездное небо, не говоря об искрах, которые посыплются из головешки.

При этих словах Обьедалы все посмотрели на головешку, потом на голову Опивалы, а потом на небо, как бы ста-

раясь представить, может ли из глаз Опивалы и из головешки высыпаться столько искр, чтобы они затмили звездное небо. Пожалуй, может, решили все, в том числе и сам Опивало.

— Успокойся, Обьедало, — сказал Джамхух, — будем надеяться, что Опивало, как и его знаменитый дятел, обойдется без сотрясения мозга.

— Ну так вот, — снова начал Опивало, — можно было бы сказать, дятел...

— Джамхух, он опять за свое! — закричал Обьедало.

— Можно было бы сказать, дятел, — упрямо продолжал Опивало, — от стукотни спятил, если б на меня, великого Опивалу, нашли Перепивалу! Но стукач-дятел пока еще не спятил. У меня семейная жизнь тоже неплохая. Детей у меня всего трое, тут Обьедало меня обскакал. А почему? А потому, что я, Опивало, великий тамада и меня все наше село приглашает в гости, чтобы я перепивал чужаков. Что я и делаю. А пиршества, как у нас водятся, затягиваются далеко за полночь, и у меня редко остается время на семейную жизнь, за что меня жена, конечно, ругает. Она мне говорит, что я целую ночь пью, а целый день дрыхну.

— Выходит, ты дармоед?! — завопил Обьедало. — Кто же смотрит за твоим полем и за твоим скотом?

— Соседи, — неохотно признался Опивало и добавил: — По-моему, лучше быть дармоедом, как я, чем землеедом, как ты.

— Нет, — вскричал Обьедало, — дармоедом быть намного хуже! Правда, Джамхух?

— Конечно, — согласился Джамхух, — дармоедом быть очень плохо.

— Да-а? — язвительно сказал Опивало. — А засухи!

— Что засухи? — изумился Обьедало.

— Кто в засухи, — сказал Опивало, — выпивает полручья, а потом ходит по всем полям нашей деревни и опрыскивает их, при этом, учтите, ртом?

— Это совсем другое дело, — сказал Джамхух, — ты просто народный герой.

— Да, — скромно согласился Опивало, — народ так и говорит обо мне... иногда. А жена ругает за то, что я так много вина пью. Но в остальном мы живем хорошо. Иногда в солнечный день я напиваюсь чистой родниковой воды, прихожу к своим детям и выбрызгиваю эту воду прямо в небо. Разумеется, ртом. Если не с первого раза, так со второго или третьего получается великолепная радуга, и детки кружатся вокруг меня и визжат от восторга. И я говорю своим деткам, показывая на радугу: «Рады дуге?» — «Рады радуге! — кричат мои детки. — Папа, еще раз рыгни и радугни!» И я, конечно, радугую, пока хватает воды. Вот так и живем мы с женой и детьми.

— Хорошо живете, — порадовался за друзьями Джамхух, — я бы мечтал о такой жизни!

— Да ты будешь жить еще лучше, — вскричали друзья Джамхуха, — ты ведь самый мудрый человек Абхазии!

— Право, не знаю, — сказал Джамхух. — Я так волнуюсь перед встречей с золотоволосой Гундой. Ведь я грохнулся на пол только от взгляда на ее портрет! Что же будет, когда я ее увижу живой?

Друзья успокоили Джамхуха и легли спать перед догорающим костром. Джамхух долго лежал, глядя на огромное звездное небо и чувствуя в груди сладостную грусть.

На следующий день они отправились дальше и долго шли сквозь буковый лес. Вдруг на небольшой прогалине увидели они человека, который лежал, приложив ухо к земле и внимательно прислушиваясь к чему-то.

— Ты чего? — спросил Опивало.

Но человек только замахал рукой, чтобы ему не мешали. Друзья некоторое время следили за ним, а потом человек встал, отряхнул одежду и проговорил, улыбаясь:

— Огласили наказание.

— Какое наказание? — удивились друзья.

— Потеха, — снова блаженно улыбаясь, сказал человек. — Два муравья поспорили в муравейнике. Один сказал, что эту дохлую однокрылую осу притащил в муравейник он. Другой сказал, что он. Первый говорит: «Как же ты, если у нее оторвалось крыло, именно когда я ее тащил». Тогда второй говорит: «Хорошо, назови место, где у нее оторвалось крыло». Первый говорит: «Места не помню, но помню, что у нее оторвалось крыло, когда именно я ее тащил». Тогда второй говорит: «Зато я хорошо помню место, где оторвалось у нее крыло». Муравьиный вождь послал гонца на это

место, и тот в самом деле притащил осиное крыло. Ученые муравьи приладили крыло к дохлой осе и признали, что это крыло от этой осы. Первый муравей был посрамлен и признал, что присвоил чужую добычу. Муравьиный вождь в наказание за присвоение чужого труда присудил лгунишку к тяжелым работам по расчленению и переноске в муравейник трех трупов майских жуков. Вот какие дела случаются в муравейнике.

— Надо же, — удивился Джамхух, — я в двух шагах не могу различить шепот людей, а ты слышишь спор муравьев под землей.

— На то меня и зовут Слухачом, — сказал Слухач. — Но что я! Вот если бы вы знали...

— Знаем, знаем, — перебил его Джамхух.

— Что знаете? — спросил Слухач.

— Знаем, что ты хочешь сказать о мудрости Джамхуха — Сына Оленя, — сказал Обьедало.

— Как ты догадался?! — поразился Слухач и вдруг, внимательно вглядываясь в Обьедалу, воскликнул: — Разрази меня молния, если ты сам не есть Джамхух — Сын Оленя! Кто бы еще мог угадать мои мысли!

Услышав эти слова, Обьедало покраснел и опустил голову.

— Как же, Сын Оленя, — с большим ехидством заметил Опивало, — прямо от травы его не оторвешь... Носом в землю дышит... Вот Джамхух — Сын Оленя, рядом стоит!

— Путники, это правда?! Путники, вы меня не разыгрываете?! — вскричал Слухач.

— Да, я Джамхух — Сын Оленя, — сказал Джамхух.

— Ты Джамхух — Сын Оленя! — воскликнул Слухач. — Уж не ослышался ли я?! Но было бы странно, если б именно я, Слухач, ослышался! Так это ты?! Тот самый?! Наш язык за пять дней?! Предсказания! Даже раньше, чем предсказано?!

— Да нет, — сказал Джамхух, — кое-что преувеличено, а кое-что преуменьшено. Так, например, абхазский язык я выучил не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения.

— Возьми меня с собой! — взмолился Слухач. — Уж я не пропущу ни одного твоего мудрого слова.

Джамхух объяснил ему цель своего путешествия и связанные с ним опасности, а Слухач радостно кивал головой, показывая свою готовность идти за ним и одновременно затыкая уши особыми пробками-глушилками.

— Без глушилок я бы умер от грохота, — объяснил он друзьям свои действия.

Джамхух взял с собой Слухача, и они пошли дальше.

— Джамхух, — сказал Слухач по дороге, — я столько наслушался о твоей мудрости, что уши мои умирают от голода, предвкушая лакомства твоей мудрости.

— Слухи о моей мудрости преувеличены, — сказал Джамхух, — но кое-что я рассказать могу. Слушайте притчу. Один человек имел в доме буханку хлеба. К нему пришел другой человек и сказал: «Дай мне этот хлеб, у меня дети умирают от голода». И владелец хлеба отдал свой хлеб это-

му человеку, потому что пожалел его голодных детей, хотя у него самого в этот день дети остались без хлеба. Но на самом деле человек, попросивший хлеб, никаких детей не имел, он обманом взял у него этот хлеб. И другой человек имел буханку хлеба. Но в его дом ночью пришел вор и тихонько забрал этот хлеб. И третий человек имел буханку хлеба, но к нему пришел человек и, убив его, забрал буханку хлеба. И вот теперь я у вас спрашиваю: кто из трех, взявших чужой хлеб, хуже всех?

— Конечно, тот, кто убил, Джамхух! — хором воскликнули друзья. — Нам даже удивительно, что ты у нас это спрашиваешь!

— Нет, — сказал Джамхух, — это ошибка. Хуже всех сказавший, что у него дети умирают с голоду, тот, что обманом захватил чужой хлеб. Он не постыдился нагадить в душу человека и растоптать доверие человека!

— Но, Джамхух, — возразил Слухач, — изгадить душу человека — это все же не то, что убить человека!

— Истинно говорю вам, стократ хуже, чем убить, — ответил Джамхух. — Человек, способный изгадить душу человека, еще более способен убить человека, чем тот убийца. Просто пока ему не надо убивать, пока ему достаточно обмануть! И вор и убийца, хотя и были разбойники, все же учиняли свой разбой, потому что в них оставалась капля стыда! Один воровал, а другой убивал, чтобы не иметь дела с душой владельца хлеба. Этот же не постыдился обмануть душу!

— Правильно говорит Джемхух! — воскликнул Обьедало. — Вот я чувствую, что правильно, а почему — объяснить не могу!

— Значит, врать хуже, чем убивать? — грустно спросил Скороход, потому что, будучи человеком ужасно чувствительным, иногда кое-что привирал, особенно девушкам.

— Не врать, но обманывать, — сказал Джемхух, — это разные вещи.

— Значит, врать можно? — осторожно, чтобы не вспугнуть надежду, произнес Скороход.

— Нет, — сказал Джемхух, — врать нельзя, но в редких случаях человек имеет право на ложь.

— Только в редких? — спросил Скороход. — А нельзя ли участить редкие случаи?

— Нельзя, — сказал Джемхух, — вот вам притча об оправданной лжи. Один мудрец ехал через лес на своем муле. В лесу его схватил разбойник и привязал к дереву, чтобы, мучая его, выведать, где он держит свои деньги. А к седлу мула были приторочены бурдюк с вином и жареная баранья ляжка — дорожная снедь мудреца. «Куда спешить, — решил разбойник, — сначала выпью и закушу, а потом начну пытаться мудреца, чтобы узнать, где он прячет свои деньги». Разбойник выпил бурдюк вина, закусывая его бараньей ляжкой, и опьянел. Опьянев, он забросил в кусты ежевики свою секиру и заснул... Часа через три он проснулся трезвый и стал спрашивать мудреца: куда, мол, я дел свою секиру? Мудрец, привязанный к дереву, отвечал: «Не

знаю!» — хотя, конечно, видел, куда он забросил свою секиру. Они долго спорили. И тут, на счастье мудреца, добрые люди проезжали поблизости и, услышав их спор, схватили разбойника и связали его. А мудреца развязали. Мудрец рассказал им обо всем случившемся и достал секиру разбойника из зарослей ежевики. Добрые люди увезли связанного разбойника в Диоскурию, чтобы там его посадить в крепость, а он при этом кричал на всю дорогу: «Нет правды на земле! Мудрец меня обманул!» Но мудрец в своей беззащитности имел право на этот обман. Вот в каких случаях ложь оправдана.

— Джамхух просто чудо! — воскликнул Слухач и аккуратно заткнул уши своими глушилками в знак того, что он наелся мудрости своими ушами и не хочет переждать.

Друзья шли, шли, шли и вскоре увидели живописное село, расположенное над живописной рекой Гумиста. У входа в село их встретили взволнованные старцы.

Путники поздоровались со старцами, а старцы поздоровались с путниками.

— Говорят, в нашу сторону идет Джамхух — Сын Оленя, — обратился к ним один из старцев, — вы его случаем не встречали по дороге?

— Я и есть Джамхух, — сказал Джамхух. — Чем вы взволнованы, старцы?

— Великий Весовщик Нашей Совести прислал тебя к нам, — ответил один из старцев, — у нас несчастье. Старейшему старейшине нашего села муха влетела в ухо. А он у нас

и без того глухой на одно ухо. Так она, разрази ее молния, ухитрилась влететь в здоровое ухо. Если б в глухое влетела, мы бы не беспокоились, он бы все равно ее не слышал. Так она, мерзавка, жужжит у него в здоровом ухе целую неделю и мучает его. И умирать не умирает и вылетать не хочет. За мучился наш старейшина, а как ее выманить — не знаем. Вот какое у нас горе, Сын Оленя!

— Не беда, — сказал Джамхух, улыбаясь старцам, — такое дело не стоит вашего волнения. Поймайте паучка, привяжите к его лапке конский волос и впустите его в ухо. Паучок поймает муху, и вы обоих вытащите оттуда.

— Спасибо, Сын Оленя! — обрадовались старцы. — Мы сейчас же велим сделать, как ты сказал.

Джамхуха и его друзей привели в дом одного из старцев, накрыли стол, и когда они там пили и закусывали, прибежал человек с благой вестью.

— С первой же попытки паучок достал муху! — крикнул он ко всеобщей радости.

— Пусть он пробками, как я, затыкает уши, — сказал Слухач, — тогда ни одна муха не влетит.

— Пробками, конечно, можно, — отвечали старцы, — да ведь он и так глух на одно ухо, куда же он будет годиться с пробками...

— А я и с пробками все хорошо слышу, — совершенно неизвестно зачем похвастался Слухач.

И друзья, уложив в хурджины дорожные припасы, двинулись дальше.

В тот вечер они устроили привал над шумной горной речушкой и долго сидели у костра, искры которого время от времени взвивались в небо, словно стараясь стать звездами.

— Джамхух, — сказал Скорород, лежа на спине и глядя в звездное небо, — ты же знаешь, до чего я чувствительный человек. Ученые из Диоскурии говорят, что через тысячи или сотни тысяч лет на земле не будет людей. Они вымрут. И мне ужасно тоскливо бывает от этой мысли. Неужели наступит такое время, думаю я, что солнце все так же будет вставать на небе, весна будет все так же приходиться на землю, ливни все так же будут шуметь в листве, а на земле не будет ни одного человека. Объясни ты мне ради Великого Весовщика: правду говорят ученые из Диоскурии или они ошибаются?

— Ты интересный вопрос задал, Скорород, — ответил ему Джамхух, придвигая головешки к середине костра, отчего новый рой искр, пыхнув, ринулся в небо. — Я об этом, конечно, думал. Но ты не слушай рассказы ученых-словоблудов. Спорить с ними бесполезно: резцы им заменяют зубы мудрости. Эти себялюбцы, зная, что они умрут, успокаивают себя мыслью, что жизнь все равно рано или поздно кончится на земле. Но жизнь человека на земле вечна, и я вам сейчас это докажу. Только прежде ответьте мне на такой вопрос: верите ли вы в бессмертие души?

— Какой же абхаз не верит в бессмертие души?! — воскликнул Обьедало.

— Правильно, — сказал Джамхух, — душа наша бессмертна. Теперь подумайте, для чего Великий Весовщик создал нашу бессмертную душу?

— Должно же от человека что-то оставаться, — произнес Опивало, поглядывая на водопад, бледной полосой струящийся с горы. — Человек жил, жил, жил... Случалось, пивал, и не только воду, — и вдруг он умирает, и от него ничего не остается. Обидно как-то, Сын Оленя, честно скажу тебе, ох, как обидно!

— В общем правильно, — сказал Джамхух, — но Великий Весовщик ничего случайно не сотворяет. Он придумал нашу бессмертную душу для нашей земной жизни. Для чего? Для того, чтобы человек ужасался от мысли, что его загрязненная душа будет вечно смердеть в вечности, как горящий навоз.

— Да убережет нас от такой судьбы Великий Весовщик! — испугался Обьедало.

— Итак, — продолжал Джамхух, — Великий Весовщик Нашей Совести создал нашу бессмертную душу для того, чтобы живые люди все время думали об этом и чтобы их души в наиболее чистом виде попадали в вечность. Но если душа бессмертна для пользы земной жизни, разве не ясно, что и земная жизнь бессмертна? Разве наш Бог, Великий Весовщик Нашей Совести, мог бы сотворить такую бессмысленность, при которой людей на земле уже не будет, а их бессмертная душа, созданная именно для поддержания земной жизни, продолжает пребывать в бессмысленном бессмертии?!

— О, как мудро придумал все Великий Весовщик! — воскликнул Скороход, вскакивая с бурки и радостно хлопая в ладоши. — И как ясно все объяснил Джамхух! Теперь я спокоен за людей: люди будут вечно жить на земле!

— Счастье — это мед мудрости пить ушами, — сказал Слухач, — и этот мед ежедневно вливается в мои уши из уст Сына Оленя.

Сказав эти слова, он заткнул уши глушилками в знак того, что насытился сладостью мудрости и не хочет пресыщаться. Хотя Слухач все прекрасно слышал и с пробками в ушах, речи Джамхуха он всегда слушал с открытыми ушами. «Мудрость, — любил говорить он, — надо слушать в непроцеженном виде».

— Друзья, не надо меня хвалить, — сказал Джамхух настоятельно, — а то вы меня можете испортить... Я ведь тоже человек.

Тут они улеглись спать у костра, а Джамхух долго лежал с открытыми глазами, думая о своей золотоволосой Гунде. Чувствуя телом тепло костра, обнимая глазами звездное небо, он всей душой ощущал, что ничто так не согревает человека во вселенском холоде, как добрый костер человеческой дружбы.

Поэтому он с нежностью прислушивался к дыханию своих друзей.

По дыханию каждого из них можно было понять, как они живут, когда бодрствуют.

Слухач спал тихо, словно и во сне прислушиваясь к чему-то.

Объедало мощно и ровно храпел, так что вместе с его дыханием покачивалась простиравшаяся над ним ветка каштана.

Опивало издавал горлом такой звук, словно из кувшина в кувшин переливали вино и никак не могли до конца перелить.

На следующий день друзья долго шли каштановым лесом, а к полудню оказались на огромной зеленой лесной поляне, которую прорезал щебечущий на камнях ручей.

Только они дошли до ручья, как увидели, что навстречу им идет человек могучего сложения и несет на плечах дом. Правда, небольшой, но все же дом, с верандой, с крыльцом, с курятником, приколоченным к боковой стене, и с дюжиной куриных гнезд, подвешенных вокруг дома, в которых сидели курицы, кудахтаньем извещающие, что им мешают нестись.

На вершине крыши сидел золотистый петух и, громко клопоча, укорял кур за их слишком шумное поведение. К довершению всех этих странностей на веранде дома стояла женщина и, держась руками за перила, пыталась заглянуть под дом, чтобы высмотреть того, кто его нес. Судя по словам, которые она старалась добросить до него, это была жена человека, несущего дом.

— Остор-рожней, дубина! — кричала она. — Кур-р распугаешь, балбес! Мягче ступай! Кур-рам трудно нестись!

— Вот это силач! — сказал Джамхух, когда несущий дом, перейдя ручей, поравнялся с ними. — Такого чуда я никогда не видел.

Несущий дом после таких слов Джамхуха остановился, как бы прислушиваясь, не замолкнет ли жена, ругавшая его, и, убедившись, что не замолкнет, обратился к Джамхуху:

— Да, меня в самом деле зовут Силачом. Но разве это чудо! Вот если б вы встретили Сына Оленя, вы бы подивились настоящему чуду!

— Что стал как дерево, дурень! — продолжала ругаться его жена. — Бродяг не видел, что ли! Видишь, колодник с колодками на ногах! Небось беглые разбойники.

— Я Джамхух — Сын Оленя, — сказал Джамхух.

— Ты Джамхух — Сын Оленя?! — воскликнул Силач и теперь в самом деле не очень осторожно грохнул дом на свайные подпорки и вышел из-под него, потирая затекшую шею. — Дай же тебя расцелую, Джамхух! — Силач крепко обнимал Джамхуха. — Ну и молодчага ты! Ну и мудрец!

— Доверчивый дуралей! — кричала в это время его жена. — Пусть покажет царскую грамоту, что он Сын Оленя! Джамхух небось только с князьями да с царскими визирями якшается! Станет он бродить с этими голодранцами да колодниками! Кур-р раскрадут они, кур-р!

— Ошибаешься, женщина, — сказал Джамхух, — я всегда со своим народом, а не с князьями да визирями.

— Вижу, с каким ты народом, вижу! — закричала женщина, показывая рукой на ни в чем не повинного Скорохода. Она по глупости приняла жернова на его ногах за каторжные колодки.

Но тут петух, громко кукарекнув, слетел с крыши, а за ним из курятника и из гнезд повылетели остальные куры, а за ними с радостными криками, топоча босыми ногами, выскочили из дому четверо малышей и окружили Джамхуха и его товарищей. Жена Силача тоже слетела с крыльца и, громко вопя, помчалась за своими курами.

— Не кажется ли тебе, Джамхух, — сказал Обьедало, — что все это плохое предзнаменование для твоей женитьбы?

— Не кажется, — отвечал Джамхух, с нежностью глядя на маленьких босоногих крепышей, окруживших Скорохода и теребивших его со всех сторон.

— Дяденька! — кричали они. — Ты что, мельница, что ли? Почему у тебя жернова на ногах?

— Нет, — отвечал Скороход, — я Скороход!

— Он Скороход! — восторженно закричали дети. — Дяденька Скороход, поскороходь, а мы посмотрим.

— Ладно, — сказал Скороход и, осторожно отцепившись от детей, несколькими прыжками догнал разлетевшихся по поляне кур, согнал их в стаю и пригнал к дому.

— Дяденька Скороход, — завизжали дети, — теперь поскороходь без жерновов!

— Нет, — возразил Скороход, — без жерновов я делаюсь слишком легким, боюсь улететь!

— Ничего, — шумели дети, стараясь вытащить ноги Скорохода из жерновов, — наш папа тебя поймает!

А в это время Силач, разговаривая с Джамхухом, узнал, куда он идет, и попросился идти с ним.

— А как же жена? — спросил Джамхух.

— Да пропади она пропадом со своими курами, — отвечал Силач. — Надоело таскать ее вместе с домом из села в село. Ни с кем из соседей ужиться не может. Пусть пока поживет среди леса, а я за это время отдохну от ее ругани.

Тут к дому подошла жена Силача, бегавшая за курами.

Узнав, что муж уходит с Джамхухом, она неожиданно легко согласилась с этим.

— Ладно, ступай, — сказала она, — только пусть этот колодник здесь останется. Оказывается, он хорошо кур сгоняет.

— Ну нет, — возмутился Скороход, — если вы меня с ней оставите, я скину жернова и через полчаса окажусь возле своих зайцев.

— Слушай, Обьедало, — вдруг сказал Опивало, — съел бы ты ее вместе с ее курами, и дело с концом! Освободил бы Силача от этой ведьмы!

— Что я, людоед, что ли? — обиделся Обьедало и, помрачнев, отвернулся от Опивалы.

— Вот Обьедало шуток не понимает! — громко засмеялся Опивало.

— Такими вещами не шутят, — сказал Обьедало, взглянув на Опивалу, и снова отвернулся.

— Зато вот такими шутят! — воскликнул Опивало и, припав к ручью, за несколько минут выпил около пяти амфор воды.

После этого он распрямился, приподнял голову и — фырк из себя длинную струю воды, которая, описав дугу на высоте хорошего дерева, превратилась в радугу, медленно тающую и осыпающуюся водяной пылью на землю.

Дети Силача завизжали от восторга, запрыгали на месте и закричали:

— Дяденька, еще раз рыгни и радугни!

— Рады дуге? — улыбаясь, спросил Опивало.

— Рады радуге! — хором отвечали дети, прыгая на месте от нетерпения.

— Кур-р распугаете! — не унималась жена Силача, а в это время Опивало выфонтанил в небо несколько радуг.

— Эх, была не была! — крикнул Скороход, снимая с ног жернова. — Прыгаю через радугу! А ты лови меня, Силач!

Он поставил Силача по одну сторону радуги, разогнался с другой и под радостный визг детей прыгнул через радугу.

Несколько раз прыгнув через радугу, Скороход надел свои жернова.

И тут Обьедало, наконец забыв про свою обиду, тоже решил позабавить детей.

— Внимание, — сказал он, — сейчас я буду есть пироги с травяной начинкой!

С этими словами он вытащил нож из чехла, висевшего у него на поясе, вырезал на поляне два больших куска дер-

на, сложил их внутрь травой и стал есть, на радость детям Силача.

— Пирог с травяной начинкой! — хохотали дети, окружая Обьедалу, который ел свой пирог, делая вид, что шутливо преувеличивает аппетит, а на самом деле с истинным удовольствием.

— Ребенок — чудо! — сказал Джамхух, глядя на сияющих от радости детей Силача. — Чудо ребенка в том, что он уже человек, но еще чистый.

— Сладчайший мед мудрости выпили мои уши! — воскликнул Слухач, услышав слова Джамхуха.

— Неужели только я один не могу чуда сотворить! — сказал Силач, разводя руками.

— Сила, если она служит добру, — сказал Джамхух, — это самое великое чудо! Ты сейчас совершишь его. Есть у вас в запасае яйца?

— Конечно, — сказал Силач.

— Вынеси, — попросил Джамхух.

Силач поднялся в дом и, не слушая криков жены, вынес из дому корзину с яйцами.

— Сейчас вы увидите чудо! — сказал Джамхух и, обращаясь к Силачу, добавил: — Подбрасывай яйца как можно ближе к солнцу. Только осторожно, снизу подбрасывай!

Силач начал вынимать из корзины яйца и осторожным, но сильным движением стал забрасывать их высоко в небо, и они, просверкнув на солнце, таяли в бездонной синеве.

Минут пятнадцать яйца не возвращались — так высоко их забросил Силач, — и в наступившей тишине только раздавалось завывание жены Силача и удивленное кудактанье кур, которые тоже видели, что яйца брошены в небо, и сейчас, выворачивая шею, они то и дело поглядывали вверх.

И вдруг — чудо!

Золотой дождь цыплят, взмахивающих слабыми крылышками и трепещущих в воздухе, посыпался на поляну.

И тут не только дети, но и все друзья Джамхуха завизжали от восторга! Да что друзья Джамхуха, даже куры радостно закудахтали и побежали к цыплятам и вскоре, разобравшись между собой, какие из них вылупились из их собственных яиц, разделились и стали учить своих щебечущих детей искать корм в траве.

И только жена Силача была недовольна.

— Неправильное чудо! Неправильное чудо! — кричала она. — Яиц было сто, а цыплят прилетело только девяносто!

Оказывается, пока цыплята приземлялись на поляну, она успела их пересчитать.

— Значит, десять яиц были тухлыми, — сказал Джамхух. — Никакое чудо не заставит вылупиться цыпленка из тухлого яйца.

— Никакое чудо не заставит вылупиться цыпленка из тухлого яйца! — восторженно повторял Слухач слова Джамхуха, одновременно затыкая уши глушилками. — Такого шербета мудрости уши мои никогда не пили!

Слухач все время следил за Джамхухом, чтобы, прежде чем он раскроет рот, успеть вытащить из ушей пробки, потому что обычные речи ему приходилось приглушать, а мудрость он хотел слышать только в непроцеженном виде.

Друзья собрались в путь. Силач, слегка потрянув дом, поставил под сваи камни, чтобы дом стоял поустойчивей.

— Папа, чего-нибудь вкусного принеси! — кричали на прощание дети Силача.

Часа через два, когда они углубились в лес, Опивало подмигнул Слухачу.

— А ну, послушай, что, интересно, говорит жена Силача?

— Это мы можем. — Слухач вытащил из ушей глушилки, слегка повел головой, ища нужный источник звука. Найдя, замер. — «Кур распугаете! Цыплят передушите!» — сказал он. — Вот что она кричит.

— Послушай, Слухач, — вдруг застенчиво попросил Обьедало, — узнай, о чем сейчас говорит та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным.

— Начинается! — раздраженно сказал Опивало.

Слухач недоуменно посмотрел на Обьедало.

— Ты бы у меня еще спросил, — процедил он, — о чем спорят торговки рыбами на константинопольском базаре? Я знаменитый Слухач, я могу расслышать человеческую речь за двадцать тысяч шагов, но ведь всему есть предел.

Обьедало покраснел от своей неловкости.

— Прости, Слухач, — сказал он, — просто я соскучился по той...

— Заткнись! — перебил его Опивало. — Знаем, по ком ты скучаешь! Сами семейные, но блюдем абхазские обычаи — о своих чувствах к жене молчим.

— Друзья мои, не спорьте, — сказал Джамхух, — лучше я вам расскажу притчу о трех карманщиках.

— Это другое дело! — воскликнул Слухач, поспешно вытаскивая пробки из ушей.

— На диоскурийском базаре, — начал Джамхух, — где бывает очень много народу, особенно когда показывает фокусы индусский факир или когда торговец сцепится с покупателем, в толпе так и шныряют карманщики. Всех карманщиков я разделяю на три вида. Для ясности понимания я буду говорить о них как о трех карманщиках, которые залезли в мой карман и чью воровскую руку я поймал в своем кармане. Первый карманщик, пойманный с рукой, сунутой в мой карман, говорит: «Джамхух, клянусь Великим Весовщиком, больше никогда не буду лезть в карманы! Не зови стражника!» Ты можешь пожалеть его и не позвать стражника, но он, конечно, нарушит клятву и снова полезет в чужой карман. Второй карманщик, пойманный с рукой, сунутой в твой карман, бледнеет от гнева и говорит: «Сегодня ты меня опозорил, Джамхух, но завтра я тебя опозорю!» И если у него будет возможность, он тебя опозорит и отомстит. Такие бывают гордые карманщики. Но есть еще один вид карманщика, самый зловредный. Когда ты

ловишь его за руку, сунутую в твой карман, он кричит: «Как тебе не стыдно, Джамхух! Неужели ты не понимаешь, что я случайно залез в твой карман!» — «Как же можно случайно полезть в чужой карман?» — спрашиваешь ты его. «Очень просто, Джамхух, — убеждает он тебя, — мы стояли, стиснутые толпой, я хотел полезть к себе в карман и случайно попал в твой». Тогда я, продолжая сжимать его руку, сунутую в мой карман, говорю ему: «Хорошо, ты случайно полез в мой карман. Но почему ты взял оттуда три серебряные монеты, которые ты сейчас стискиваешь в своем кулаке? Значит, у тебя в кармане тоже были три серебряные монеты и ты их можешь показать?» Тут он на миг задумывается и говорит: «Нет у меня в кармане трех серебряных монет. Но именно поэтому, приняв твои карман за свои, я очень удивился, что там лежат монеты, и думаю: дай-ка я посмотрю, что это за монеты оказались в моем кармане! — И тут он вдруг начинает кричать на весь базар: — Люди города, послушайте, что говорит Джамхух! Он говорит, что я, как вор, полез к нему в карман! Люди города, подойдите и послушайте, что говорит Джамхух!» И тут ты уже не выдержишь и думаешь: наверное, он в самом деле случайно полез к тебе в карман. Не может быть, чтобы он злонамеренно полез к тебе в карман и сам же звал свидетелей. И тебе становится стыдно, и ты стараешься скорее от него избавиться и уходишь, а он еще кричит тебе вслед: «Что, бежишь, Джамхух? Стыдно стало доброго человека чернить! То-то же!» Вот так еще бывает на свете

в нашем благословенном краю. Все карманщики плохи, но этого, последнего, истинно говорю вам, бойтесь больше всех остальных! Он вас ограбит и опозорит на весь мир!

— До чего противный, — сказал Силач, — я бы его прихлопнул, как комара!

Так они шли, разговаривая о всякой всячине, а к вечеру очутились возле села, жителей которого Джамхух не уважал, потому что это было единственное село Абхазии, где люди до того испоганились, что, не стыдясь друг друга, держали у себя рабов. У самого входа в село Джамхух со своими друзьями свернул с дороги, чтобы даже не встречаться с людьми этого села. Но как раз поблизости от того места, где они сворачивали, стоял, постругивая ножом палочку, один из жителей села.

— Путники! — окликнул он их. — Что это вы обходите наше село? Уж не брезгуете ли вы нами?

— Брезгуем, — ответил Джамхух, — и сам знаешь почему. Весовщику Нашей Совести нечего взвешивать, когда он занимается людьми вашего села.

— Надо же ему на ком-то отдохнуть, — дерзко бросил житель этого села, — вот он и отдыхает за наш счет. А то мы все боимся, как бы он не надорвался, взвешивая вашу совесть. Ха! Ха! Ха!

— Джамхух, — сказал Силач, потирая руки, — можно я его как следует прочучу?

— Не надо, — остановил Джамхух, — они сами от безделья скоро перережут друг друга.

Так они миновали это село, стоявшее на караванной дороге и развращенное работорговцами, провозившими здесь рабов с Северного Кавказа в Рим и Византию.

К полудню следующего дня друзья вышли к большому абхазскому селу под названием Дал. Это было во всех отношениях хорошее село, но здесь жил молодой князь, приторговывавший рабами. Он был племянником бездетного абхазского царя и уже привык к своей безнаказанности.

У входа в село их встретили старейшины.

— Добро вам, путники! — сказали они. — Кто вы и куда держите путь? Не встречался ли вам Джамхух — Сын Оленя? Говорят, он идет в нашу сторону.

— Я и есть Джамхух — Сын Оленя, — признался Джамхух. — Знаю, зажиточно ваше село и трудолюбиво. Лучшие винограды Абхазии созревают в ваших виноградниках. Но также знаю, что ваш молодой князь приторговывает рабами. А это позор! Образуйте его, пока не поздно!

И тут совестливые старейшины покраснели и опустили головы.

— Правда твоя, — сказал самый старший из них, — тайно, по ночам приторговывает рабами наш князь. Но торгует он рабами из чужеземных народов. Ну разве что иногда его люди прихватят зазевавшегося эндурца.

— Неважно, кем торгует, — рассудил Джамхух, — абхаз, продающий раба, — это уже порченный абхаз. Сегодня он торгует зазевавшимся эндурцем, а завтра возьмется за своего абхаза.

— Ох, и не верю я, — сказал Опивало, — в зазевавшегося эндурца. Скорее весь мир зазевается, прежде чем найдется хоть один зазевавшийся эндурец.

— Нет худшей заразы, чем рабство, — продолжал Джамхух. — Представьте такое: скажем, моя пересохшая обувь давит ногу. Можно сказать — стопа моей ноги в рабстве. Оттого, что стопа моей ноги в рабстве, все тело мое чувствует неудобство. Оттого, что тело мое чувствует неудобство, у меня портится настроение, и, значит, душа моя теряет равновесие и правильное отношение к людям. Вот точно так же, если червоточина рабства завелась в деревне, душа ее жителей теряет равновесие и справедливое отношение к людям.

— Ты прав, Джамхух, — сказали старцы, — твоя мудрость — наша опора. Но наш царь ради племянника обещал построить в нашем селе храм Великому Весовщику Нашей Совести. Ради добра, которое принесет храм людям нашей деревни и окрестным деревням, мы терпим баловство князя работорговлей.

— Мудрегато, да внутри вата, как говаривал один проезжий скиф, — отвечал Джамхух. — Храм, воздвигнутый на лукавстве, — это лавка менялы, и больше ничего. Неужели вы думаете, что Весовщик Нашей Совести этого не знает? По старым законам высшая власть села — народная сходка. И если она осудит князя, он должен ей подчиниться. Народ царю платит подать и отдает сынов для войска. Больше народ царю ничем не обязан. Высшая власть села — народ-

ная сходка. Если абхазы забудут об этом, они будут наказаны провидением.

— И уже, кажется, наказаны, — сказал старейший из старейшин. — Странное чудо случилось в нашем селе. Ни один прорицатель не может разгадать его значения. И мы всем этим опечалены. У нашего односельчанина, почтенного торговца вином, в двадцативедерном кувшине завелась рыба. Она плещется в кувшине и иногда, высовывая голову, поет застольную песню «Многие лета». Ну, то, что она поет, это понятно. В кувшине с вином она, конечно, опьянела и поет. Но нас удивляет и печалит, как — как?! — рыба могла попасть в кувшин с вином. Такого отродясь ни один абхаз не слышал.

— Ладно, — сказал Джамхух, немного успокоившись, — пойдем посмотрим.

— Не означает ли рыба, плещущаяся в кувшине, — спросил один из старцев, когда они шли к дому виноторговца, — что нас враги покорят и сбросят в море к рыбам?

— Не означает, — сказал Джамхух. — Но кто слышал, как она поет?

— Как она поет, кое-кто слышал, — отвечали старейшины. — Но как она плещется в кувшине, видели мы сами своими глазами.

Они пришли к хозяину самых богатых виноградников села, и тот повел их в сарай, где у него были зарыты в землю кувшины. Хозяин открыл крышку одного из них, и Джамхух вместе с друзьями заглянул в него. Темно-красная поверх-

ность вина колебалась. Чувствовалось, что в кувшине ходит какое-то живое существо.

— Может, перелить вино из кувшина, — сказал хозяин, — чтобы поймать рыбу?

— А зачем переливать, — развел руками Опивало, — я сейчас приналягу и доберусь до рыбы.

Не успел хозяин опомниться, как Опивало лег перед кувшином и, сунув туда голову, стал пить вино, постепенно углубляясь в кувшин, что явно не нравилось хозяину, хотя он вместе со старейшинами был поражен такими способностями Опивалы.

— Зачем было выпивать? — бормотал хозяин, стараясь из-за головы Опивалы заглянуть в кувшин. — Можно было перелить в амфору.

А между тем Опивало, усердствуя, уже наполовину влез в кувшин, и было похоже, что он скоро свалится в него.

— Сдается мне, — сказал один из старейшин, обращаясь к Джамхуху, — что этот твой человек сам скоро заплещется в кувшине и запоет с рыбой в два голоса!

— Зачем было вообще выпивать, — сказал хозяин, уже даже не пытаясь заглянуть в кувшин через голову Опивалы, — вон у меня сколько пустых амфор.

— Ничего, — заметил Джамхух, — он не свалится в кувшин. Силач, поддержи его за ноги.

Силач схватил за ноги Опивалу, продолжавшего углубляться в смысл кувшина и легко одолевавшего этот смысл.

Вдруг из кувшина раздалось пение застольной песни «Многие лета».

— Кто поет? — спросили сверху.

— Вино поет, — загадочно ответил Опивало, продолжая углубляться в смысл кувшина.

— Можно было перелить, — в последний раз сказал хозяин и безнадежно махнул рукой.

— Допил! — наконец раздался голос Опивалы из глубины кувшина.

— Лови рыбу! — крикнул Силач, сидя на корточках перед кувшином.

Он держал за щиколотки обе ноги Опивалы одной рукой и равномерно двигал ею, чтобы тот мог достать дно кувшина в любой части.

— Поймал! — загудел Опивало, и Силач мигом вытащил его наверх.

В руках Опивалы билась большая, порозовевшая от пребывания в вине форель.

— Форель?! — удивились все, словно ожидали совсем другую рыбу.

— Сейчас она у меня запоет! — воскликнул Обьедало и, выхватив форель у Опивалы, откусил ее до хвоста, а хвост почему-то протянул Опивалу.

— Я выпил, а ты закусил? — слегка обиделся Опивало и почему-то вручил хвост хозяину вина.

— Зачем? — спросил хозяин, вовсе ничего не понимая, потому что все еще горевал по поводу опустевшего кувшина.

— Да, — сказал Обьедало, с видом знатока дожевывая форель, — оказывается, форель, вымоченная в вине, даже в сыром виде очень вкусна.

Говорят, именно с тех пор ценители вкусной еды стали жарить форель, предварительно вымочив ее в вине.

— Все ясно, — сказал Джамхух, обращаясь к хозяину, — форель — речная рыба. Только вместе с речной водой она могла попасть в кувшин. Ты подливаешь воду в вино. Скорее всего, ты это делаешь ночью. Ночью ты черпанул в амфору воду из реки вместе с форелью и, не заметив этого, перелил в кувшин.

— Земляки, не взывайте! — взмолился виноторговец, продолжая держать в руке хвост форели. — Я это вино только диоскурийцам продаю. Своих я им не поил...

— Так начинается порча, — сказал Джамхух. — Там, где один по ночам приторговывает рабами, другой по ночам начинает подливать воду в вино.

— А ты докажи, что я продавал рабов! — вдруг раздался голос молодого князя. Оказывается, он незаметно подошел к ним, пока Опивало добирался до дна кувшина.

— Вроде рыба запела, — сказал Опивало, озираясь. Он сначала вопросительно посмотрел на Обьедалу, съевшего форель, а потом на князя. Опивало был явно под хмельком.

Джамхух тоже оглянулся и увидел князя. Он сразу определил, что лицо князя отмечено печатью молодости, печатью красоты, однако не отмечено печатью мудрости.

Через много лет время стерло с его лица печать молодости и печать красоты, но снабдить его отсутствующей печатью мудрости времени не удалось.

— Кажется, я не называл имени того, кто торгует рабами, — сказал Джамхух, оглядывая собравшихся, — или я назвал имя того, кто торгует рабами?

— Нет, не называл, — ответили старцы, взглянув сначала на Джамхуха, а потом на князя.

— Ясно, что ты намекал на меня, — сказал князь и добавил: — Всем известно, что ты выучил абхазский язык за пять дней, а не за два, как ты утверждаешь. Какой же ты праведник после этого и какое ты имеешь право нас учить?

— Лучше бы избавил нас от эндурцев, — взбодрился вино-торговец и наконец отшвырнул хвост форели, — чем заглядывать в чужие кувшины и приводить сюда каких-то чудищ-выпивох.

— Словооблуды, — сказал Джамхух. — Ты их обвиняешь в одном, а они оправдываются в другом. Продающий раба — сам раб власти! Продающий нечистое вино — сам раб нечистоты! Запомните, что рабство уже тем плохо, что создает труса, связанного цепью, чувство равенства с героем, связанным цепью. И не только чувство равенства! Чувство превосходства! Когда и трус и герой одинаково беспомощны, трус приписывает себе все, что мог бы сделать герой на свободе. Потому что оба беспомощны, а герой молчит. Герой в цепях всегда молчит, трус в цепях всегда говорит. Когда ему еще поговорить о своих геройствах,

как не в цепях! Но лев, сидящий в клетке, — это все-таки лев, а не шакал!

С этими словами Джамхух — Сын Оленя вместе со своими друзьями покинул село, не отведав хлеба-соли и оставив старейшин в печальном недоумении.

Сын Оленя был так разгневан, что долго не мог прийти в себя и не разговаривал с друзьями.

— Лев, сидящий в клетке, — это не то, что шакал, сидящий в клетке, — шепотом сказал Опивало Обьедало. — А ты что думаешь, землеед?

— Отстань, — отмахнулся Обьедало, — я тоже так думал.

— Знаю, знаю, что ты думал, — не отставал от него Опивало. — Ты думал, раз уже в клетке, все равно, что шакал, что лев, что лиса.

— Уж не опьянел ли ты? — спросил Обьедало.

— Да, — признался Опивало, — малость захмелел. Оказывается, когда пьешь вниз головой, быстро хмелеешь. Хмель сразу же стекает в голову.

— Ах, вот оно что, — сказал Обьедало и успокоился.

— То-то и оно, — кивнул Опивало и добавил: — Только не имей привычки выхватывать из рук чужую рыбу.

— Я думал, ты сырую не будешь есть, — примирительно сказал Обьедало, — а у меня желудок привычный.

— Уж как-нибудь сами разберемся, — ответил Обьедало, — как нам быть с рыбой, пойманной на дне кувшина.

На этом они окончательно примирились. Тут тропа, по которой шли друзья, привела их под сень грецкого ореха, где си-

дели несколько человек и закусывали, привязав лошадей к веткам самшитника, растущего рядом. По обличью это были городские люди. Подошедшие поздоровались с сидящими на бурках. Те, встав со своих мест, пригласили их разделить с ними трапезу. Друзья присели.

— Путники, куда путь держите? — спросил Джамхух.

— Мы из города Питиунта, — ответили путники, — отцы города послали нас искать Джамхуха — Сына Оленя. У нас очень важное дело.

— Считайте, что вы его нашли, — сказал Джамхух, улыбувшись путникам.

— И не ошибетесь, — добавил Обьедало, двумя пальцами подымая жареную курицу и со сдержанной деликатностью, отправляя ее в рот.

Путники из Питиунта посмотрели на Обьедало, удивляясь такому сочетанию мощи аппетита и сдержанной деликатности.

— Если перед нами Джамхух — Сын Оленя, — сказал старший из путников, — то мы сразу же выложим нашу просьбу, а заодно наши запасы еды и питья, которые мы взяли на неделю, чтобы искать тебя.

— И не ошибетесь, выкладывая, — согласился Опивало, когда рядом с ним поставили бурдюк с вином.

— Вот что, Сын Оленя, — сказал один из путников, — наш город издревле прославлен своими базарами, банями, портом, крепостью, храмом Великому Весовщику и многими другими радующими глаза делами рук человеческих.

Здесь всегда жили абхазы, убыхи, гениохи, картвелы, мингрелы, греки и люди многих других племен. Ну, и эндурцы, само собой. Они торговали с Византией, с Римом, со скифами и хазарами. Они ловили рыбу, рубили самшит, выращивали фрукты, выделывали кожу, чеканили и занимались всяческими другими ремеслами. Если им иногда и доводилось ссориться, то ссорились ненадолго. И мы не знаем теперь, что с нами со всеми случилось. Каждое племя тянет в свою сторону, а раньше только эндурцы этим занимались. И человек одного племени теперь смотрит подозрительно на человека другого племени, хвалит все свое и чернит все чужое. И жить с каждым днем становится все скучней и опасней. Отцы города встревожены. Объясни ты нам, ради Великого Весовщика, что же случилось со всеми нами и как помочь людям нашего города снова обрести мир и доброжелательность между племенами.

— Порча пришла к вам, — сказал Джамхух, — а может быть, и не только к вам. Люди потеряли главную цель человека — быть угодным нашему Богу, Великому Весовщику Нашей Совести. Его весам часто нечего взвешивать, и он грустит на небесах. Народ не может жить без святынь, — рассуждал Джамхух, — вера в главную святыню порождает множество малых святынь, необходимых для повседневной жизни: святыню материнства, святыню уважения к старшим, святыню верности в дружбе, святыню верности данному слову и тому подобное. И когда теряется главная святыня, постепенно утрачиваются и все остальные, и на людей нисхо-

дит порча. Люди начинают ненавидеть друг друга и угождать только себе или тем, кто сильнее их, чтобы еще лучше угождать самим себе. Когда корабль в море дает течь, — продолжал Джамхух, — люди, находящиеся на корабле, ведут себя по-разному. Всех их можно разделить на три части по тому, как они себя ведут на корабле...

— Джамхух, — вдруг спросил Обьедало, — отчего у тебя все на три части делится?..

— Не перебивай, — ответил Джамхух, — потом я тебе все объясню. Так вот, всех, кто находится на корабле, можно разделить на три части по тому, как они себя ведут, когда корабль дал течь. Слепые духом на оба глаза думают только о том, как себя спасти, не ведая, что без спасения корабля невозможно себя спасти вдали от берега. Это самые худшие. Если они окажутся сильнее всех остальных, корабль потонет и никто не спасется. Другие, слепые духом на один глаз, думают только о том, как спасти себя и свою семью. И эти плохи потому, что, если они окажутся сильнее всех, корабль все равно потонет. И только зрячие духом на оба глаза думают, как спасти всех. Это настоящие люди, любимцы Великого Весовщика. Если они окажутся сильнее всех, корабль будет спасен. И вы передайте отцам города, чтобы они приблизили к себе этих и зывали к совести остальных.

— Спасибо, Джамхух, — сказали люди из Питиунта, — мы передадим отцам города твои слова. Над твоими словами, как над всякими мудрыми словами, надо думать и думать.

— Пусть думают, — согласился Сын Оленя, — это еще никому не повредило.

На этом они расстались.

Путники сели на своих лошадей и направились в Питиунт, а Джамхух с друзьями пошел своим путем. Вдалеке перед их глазами вставала стена голубого моря, растворяющегося на горизонте в голубизне неба. Оно тогда называлось не Черным морем, как сейчас, а Гостеприимным морем, или, как говорили греки, Понтом Эвксинским.

— В людях, — сказал Джамхух, кивнув на море, — много дикарского. Не удивлюсь, если они в один прекрасный день переименуют Гостеприимное море и назовут его как-нибудь иначе. Людям кажется, что, если они переименуют древние названия гор, рек, морей, они будут могучими, как боги! Жалкие себялюбцы! Народ должен чувствовать, что его страна не вчера началась и не завтра кончится. Так ему уютнее жить в вечности и легче защищать свою землю.

— Джамхух, — напомнил Обьедало, — ты обещал объяснить, почему ты все делишь на три части.

— Да, — сказал Джамхух, — сейчас я вам все объясню. Три — это священное число, и не я его придумал. Вспомните народные сказки, где всегда три дороги, три брата и многое другое. Три — священное число и намекает нам на то, что у человека три жизни. Начальная жизнь — это жизнь до рождения. Серединная жизнь — это наша жизнь, в которой мы живем в этом мире. И последняя жизнь — это

жизнь, в которой мы будем жить после смерти. О начальной жизни мы знаем только то, что одни люди приходят в мир со склонностью к добру. Другие люди приходят в мир со склонностью ко злу. И третьи люди — видишь, опять три — приходят в этот мир, немного склонные к добру, а немного склонные ко злу. Кто как жил в первой жизни, таким и приходит в этот мир. Наша земная жизнь — срединная, и она самая важная для человека. Тот, кто жил добром в первой жизни, должен постараться в этой жизни сохранить свою доброту. Тот, кто жил в первой жизни во зле, имеет возможность исправиться, и тогда ему простятся грехи первой жизни. А те, кто колебался в первой жизни от добра ко злу, имеют возможность окончательно определиться в добре. Вот почему наша срединная жизнь самая главная для человека. Больше в вечности никогда не будет возможности что-либо исправить. Строг Великий Весовщик, но и милость его огромна! Шутка ли, целая жизнь дана нам для собственного испытания, и даже если мы ее плохо начали, есть время все исправить! Теперь вам ясно, почему число три священно и почему в народе так часто говорят о трех дорогах, трех братьях, трех судьбах и тому подобное? Это намек Великого Весовщика.

— Да, — сказал Обьедало, — теперь нам все ясно. Но отчего это, Джамхух, когда ты говоришь о чем-нибудь непонятном, оно сразу делается простым и понятным? И тогда становится непонятно, почему ясное теперь раньше было непонятно.

— Это оттого, — отвечал Джамхух, — что я думать научился раньше, чем говорить человеческим языком. И с тех пор у меня привычка мысли облекать в слова, а не из слов лепить подобие мысли. Да, я поздно научился говорить и потому говорю яснее многих. Так кошка рождается слепой, чтобы потом видеть в темноте.

— О, воронки моих ушей! — воскликнул Слухач. — Подставляйте себя всегда под сладостную струю речей Сына Оленя. И да не слетятся мухи пустословия на мед его мудрости!

И, словно торопясь опередить этих прожорливых мух, он быстро вынул из кармана глушилки и плотно ввернул их в свои уши.

Так они шли по дороге и вдруг на опушке леса увидели вот что. На ветке дикой хурмы, прячась за ее ствол, стоял человек и тянулся рукой к трем голубям, сидевшим на соседней ветке.

Один голубь был сизым, другой голубь был черным, а третий белым. Человек этот выдергивал перо из оперенья одного голубя и тут же вживлял его в оперенье второго, а перо второго в оперенье первого. Делал он это настолько ловко, что голуби, ничего не замечая, спокойно сидели на ветке, безмятежно поводя головками в разные стороны.

На глазах у изумленного Джамхуха и его друзей все три голубя стали черно-сизо-белыми.

Мало того, что человек менял перья с необыкновенной ловкостью, он это делал со вкусом, с чувством цвета и соразмерности.

И только в последний раз, когда человек вживил бывшему белому голубю черное перо, голубь что-то почувствовал и стал клювом почесывать то место, куда он вставил перо.

Человек спрыгнул с нижней ветки хурмы на землю. Тут голуби его заметили и взметнулись в небо, рябя на солнце и как бы удивляясь новому оперению друг друга.

Человек из-под руки следил за взмывающими в небо голубями.

Одно черное перо слетело и, трепыхаясь в воздухе, медленно падало на землю.

— Видите, — промолвил человек, обернувшись к Джамхуху и его друзьям, — слетело как раз то перо, которое я вживлял в последний раз. Рука устала, бывают и у меня промашки.

— Чудо, — сказал Джамхух, — как это ты ухитришься незаметно для голубя выдернуть перо и вживить его другому голубю!

И тут человек, вместо того чтобы, в свою очередь, подивиться чудесам Джамхуха, вдруг воскликнул:

— Да, такого ловкача, как я, поди поищи!

— Я, например, Джамхух — Сын Оленя, — сказал Джамхух, — но ни о чем таком даже помыслить не могу.

— Неудивительно, — отвечал Ловкач, — я же сказал, что второго, как я, ловкача во всей Абхазии не найдешь!

Тут воцарилось неловкое молчание. Объядало попытался прервать его.

— С тобой говорит, — сказал он Ловкачу, — тот самый знаменитый Джамхух — Сын Оленя.

— А с вами говорит, — отвечал Ловкач, нисколько не смутившись, — тот самый знаменитый Ловкач, сын Ловкача...

— Неужели ты не слышал про знаменитого Джамхуха — Сына Оленя? — спросил Слухач.

— Неужели вы не слышали про знаменитого Ловкача, сына Ловкача? — ответил Ловкач вопросом на вопрос.

— Ну, это уж слишком, — сказал Силач и, грозно потирая руки, подступился к Ловкачу.

— Если уж Силач потирает руки, — заметил Скороход, обращаясь к Ловкачу, — лучше бы ты был Скороходом, как я.

— Стойте, друзья! — сказал Джамхух, становясь между Силачом и Ловкачом. — Я чувствую, что слава начинает меня портить. Это так, хотя и не совсем так. Джамхух от славы, видно, портится, но не совсем портится, потому что знает, что портится. И оттого, что я чувствую, что начинаю портиться, я перестаю портиться. Однако, перестав портиться, я перестаю следить за собой и начинаю снова портиться. К сожалению, такова жизнь. Жизнь — это бесконечная склонность к порче, но, что особенно важно, друзья, и бесконечная склонность удерживаться от порчи.

— Ой, что-то мудреное ты сказал, — промолвил Ловкач и вдруг, быстро сунув руку за пазуху, поймал там блоху и протянул ее Силачу. — На, — сказал он ему.

— Зачем мне блоха? — растерялся Силач.

— Ты же, говорят, Силач, вот и убей ее.

— Да ты никак смеешься надо мной! — вспыхнул Силач.

— Шутка, — сказал Ловкач и, отщелкнув блоху, спросил у Джамхуха: — А это правда, что скифы умеют блоху подковать?

— Да, — кивнул Джамхух, — слухи о том, что скифы могут подковать блоху, подтверждались много раз очевидцами. Скифы — удивительный народ. Они умеют подковать блоху, но лошади у них часто ходят неподкованными. Лошадей подковывать им неинтересно.

— Слушай, Джамхух, — сказал Ловкач, — я пойду с тобой. Оказывается, с тобой занятно.

— Еще бы! — в один голос воскликнули друзья Джамхуха.

Джамхух объяснил ему цель своего путешествия и предупредил об опасностях, связанных с ним.

Ловкач охотно присоединился к друзьям Джамхуха, и они пошли дальше.

На следующий день на лесной лужайке они увидели охотника. Тот стоял с луком в руке и, задрвав голову, смотрел в небо. Джамхух и его спутники тоже стали смотреть в небо, но ничего там не заметили.

— Что ты видишь, охотник? — спросил Джамхух.

— Разве вы не видите, — отвечал охотник, взглянув на Джамхуха и его спутников, — что орел загнал на седьмое небо трех голубей? Голубей с таким необычным оперением я никогда не видел. Я их пожалел и поразил орла стрелой. Сейчас он падает и уже опустился до шестого неба.

— Это голуби Ловкача, — сказал Джамхух, — и это знак Великого Весовщика, что человек может быть творцом природы, если он делает это с добрыми намерениями. Но какво зрение охотника! Я дальше первого неба ничего не вижу, а он видит, что делается на седьмом небе!

— Ничего особенного, — пожал плечами охотник, — я всего лишь Остроглаз... Вот если б вы увидели...

— Больше ни слова, — сказал Джамхух, — я и есть Джамхух — Сын Оленя... Ради Великого Весовщика ни слова о моей мудрости.

— Но хотя бы то, что за пять дней, это правда? — спросил Остроглаз.

— Не за пять, а за два, но не в этом дело, — сказал Джамхух.

— Я пойду с тобой, Джамхух, — проговорил Остроглаз, — я не буду дожидаться, пока упадет орел с моей стрелой. У меня в колчане достаточно стрел, авось я тебе пригожусь.

Джамхух рассказал ему о цели своего путешествия, и Остроглаз присоединился к друзьям Джамхуха.

На следующее утро они вышли из леса и оказались вблизи дома великанов.

Дом был огорожен частоколом, на колья которого были нахлобучены человеческие черепа.

Друзья остановились, удрученные этим мрачным зрелищем. Вдруг чья-то рука со стороны двора стала деловито снимать с кольев изгороди черепа. Сняв восемь черепов, рука эта больше не появлялась над изгородью.

— Ох, не нравится мне, — сказал Обьедало, — что освобо-
дилось восемь кольев, как раз по числу наших голов.

— Да и черное перо, потерянное голубем, ничего хорошего
нам не сулит, — добавил Опивало.

— В случае чего троих-то я возьму на себя, — сказал Си-
лач. — Но с остальными как быть?

Джамхух понял, что спутники его подавлены этой хитрой
уловкой великанов.

— Друзья мои! — бодро воскликнул Джамхух. — Видно,
они за нами следят из-за изгороди. Они заранее пугают нас.
Но если они нас пугают, значит, они не уверены в себе. По-
этому смелей! Единственное, чего я боюсь, — это плюхнуть-
ся при виде красавицы Гунды. Силач, стой рядом со мной
и незаметно поддерживай меня, если я не выдержу красоты
Гунды. Вперед, и да хранит нас Великий Весовщик Нашей
Совести! Будьте все начеку! Слухач, снимай глушилки со
своих ушей!

Только друзья приблизились к воротам, как они со
скрипом распахнулись и оттуда вышли семь братьев-ве-
ликанов. Они были огромны, а на их свирепых лицах по-
чему-то посверкивали маленькие хитрые глазки злых
карликов.

— Кто вы? — загудел страшным голосом старший из
великанов. — Куда путь держите?

— Я Джамхух — Сын Оленя, — сказал Джамхух, —
а это мои друзья. Я пришел сватать вашу сестру, красави-
цу Гунду.

— Сватать, конечно, можно, — опять загудел старший брат, — только знаете ли вы условия?

— Примерно знаем, — сказал Джамхух.

— Условия такие, — продолжал старший брат, — три вопроса по сноровке твоего ума. Эти вопросы нам составил византийский мудрец. А потом испытания для тебя и твоих друзей по телесной сноровке. Сами понимаете, нам, братьям-великанам, нелегко расстаться со своей единственной любимой сестрой. Да и знать мы хотим, что она вышла замуж за достойнейшего из женихов.

— Постараемся выполнить ваши условия, — сказал Джамхух.

— Тогда добро пожаловать, — показал старший брат рукой на ворота, что отчасти выглядело и как приглашение на чае-токол.

Они вошли в широкий зеленый двор, посреди которого высился длинный гладкий шест неизвестного назначения. Недалеко от шеста лежала гранитная глыба. В остальном двор был как двор, только очень большой.

Джамхух сильно волновался и в то же время жадно искал глазами красавицу Гунду.

Вдруг в доме отворилась дверь, и оттуда вышла девушка изумительной красоты.

Улыбаясь Джамхуху, она спустилась с крыльца и села на стул, поставленный посреди двора одним из братьев, который до этого успел войти в дом. К ногам сестры он придвинул корзину, наполненную красными древнеабхазскими помидорами.

— Здравствуй, Джамхух — Сын Оленя! — сказала прекрасная Гунда, улыбаясь Джамхуху. — Я много наслышалась о тебе. Надеюсь, твое сватовство будет удачней, чем у этих горемык, что скалятся с нашего частокола. Я знаю о твоей мудрости, но у тебя и походка красивая, недаром ты Сын Оленя! И сам ты такой приятненький, что я тебя прижала бы к себе и съела, как помидор.

— Почему как помидор? — радостно удивился Джамхух. Она была очаровательна. Красота ее волновала Джамхуха, но все же не так сильно, как портрет. Во всяком случае, терять сознание он не собирался.

— Потому что я больше всего на свете люблю наши древнеабхазские помидоры, — отвечала золотоголовая Гунда. — Братья меня кормят соловьиными мозгами и русалочьей икрой, но я больше всего люблю помидоры. Тебя это не будет смущать, если ты женишься на мне?

— Нет, — воскликнул Джамхух, восхищаясь милым простодушием Гунды, — ешь себе помидоры, сколько тебе хочется.

— Спасибо, Сын Оленя, — сказала Гунда и, достав из корзины помидор, надкусила его. — А то во-он тот жених, чей череп торчит на четвертом колу справа от ворот, угрожал мне: «Я хазарский князь. Как только женюсь на тебе, я отучу тебя от этой грубой привычки». А я ему говорю: «Ты сначала выполни условия моих братьев, а потом будешь помыкать мной...» Сын Оленя, ты, говорят, мудрый, ты приятный, и я хочу выйти за тебя замуж. Пожалуйста, постарайся все

сделать как надо. Мне так надоело жить вечной девственницей, окруженной черепами своих женихов!

— Для тебя, любимая Гунда, я сделаю все, что могу, — сказал Джамхух и, обращаясь к своим друзьям, смущенно переминавшимся посреди двора, добавил: — Интересное наблюдение. Когда я увидел портрет прекрасной Гунды, я потерял сознание. А когда увидел живую сладкоглазую Гунду, я не потерял сознание, хотя она мне очень понравилась. Значит, искусство сильнее жизни. Так и должно быть. Оно показывает человека в этой жизни и намекает на будущую и предыдущую его жизни. И когда мы смотрим на портрет человека, нарисованный настоящим художником, мы как бы видим его во всех трех жизнях. Потому впечатление от портрета должно быть сильнее, чем от самого живого человека...

— Ну что, — перебил тут его старший великан, — мы будем твои проповеди слушать или начнем испытания?

— Начнем, — сказал Джамхух, глядя на золотоголовую Гунду и наслаждаясь ее красотой.

— Прежде чем задавать вопросы, — предупредил старший великан, — я хочу дать моим братьям несколько распоряжений по хозяйству.

— Пожалуйста, — сказал Джамхух, глядя на Гунду, стыдливо уплетающую помидор и от этого еще больше хорошеющую, — так я готов ждать целую жизнь.

— Братья мои! — воскликнул старший великан. — Я, наверное, до конца испытаний уйду, неотложное дельце ждет

меня. Так что слушайте мои распоряжения. Запомните, в какой очередности нахлобучивать на изгородь черепа. У самых ворот нахлобучьте череп Джамхуха: мудрой голове первое место. Остальных в порядке присоединения к Джамхуху. Так будет справедливо. Череп Скорохода поместите между его жерновами. Так будет забавно. А вот этого стрелка с луком пока не трогайте. Мы приспособим его почесывать нам спины своими стрелами.

Братья дружно расхохотались, а друзья Джамхуха заметно приуныли.

— Друзья мои, — крикнул Джамхух, — выше головы! Неужели вы не понимаете, что он нарочно так говорит, чтобы ослабить наш дух!

— Нарочно-то оно нарочно, — сказал Обьедало, кивая на частокол, — но слова его кое-чем подтверждаются, Джамхух!

— Начинаются испытания на умственную сноровку! — крикнул старший великан. — Какой порок души самый подлый?

Все притихли, и даже золотоголовая Гунда перестала есть помидоры.

— Самый подлый порок души, — сказал Джамхух, — это нечистоплотность души, потому что в условиях этого порока возможны все остальные пороки.

— Правильно, правильно! — Гунда захлопала в ладоши. — Хотя я не понимаю, почему это так, но я все ответы знаю заранее!

— Ты не вмешивайся, — заметил старший великан. — Да, ответ правильный. У нас все честно. Второй вопрос, — сказал старший великан. — Какое животное самое стыдливое в мире?

Воцарилось напряженное молчание. Друзья Джамхуха страшно волновались за него.

— Из тех животных, что водятся в наших краях, или вообще? — не выдержал Обьедало.

— Какое животное самое стыдливое в мире? — повторил великан, не устаивая вниманием Обьедалу и в то же время показывая, что он задает глупые вопросы.

— Овца, — наконец сказал Джамхух, — самое стыдливое животное. Она прикрывает свой зад чадрой собственного курдюка.

— Правильно, Джамхух! — воскликнула Гунда и снова захлопала в ладоши. — До чего же ты умный! Так бы я тебя и расцеловала!

— Гунда, веди себя прилично, — сказал старший великан и стал шептаться с братьями.

Спутники Джамхуха явно повеселели, а Силач, потирая руки и воинственно поглядывая на братьев-великанов, подмигнул друзьям:

— Четверых беру на себя.

— Какого человека в мире следует считать самым храбрым? — прозвучал наконец третий вопрос. Братья-великаны на трудность этого вопроса возлагали самые большие надежды.

Но как раз этот вопрос для Сына Оленя оказался очень легким.

— Самый храбрый в мире человек, — сразу же ответил Джамхух, — это такой человек, кто выбросил из своей жизни всякую хитрость.

— Правильно, — мрачно согласился старший из великанов, и по его глазам было видно, что сам он из тех, которые если что и выбрасывают из своей жизни, то уж никак не хитрость. Старший великан, пошептавшись с братьями, сказал: — Мы и так знали о мудрости Сына Оленя... Переходим к телесной сноровке. Вот перед вами гранитная глыба. Или Джамхух одним ударом кинжала перерубит ее, или наши кинжалы перережут ваши глотки.

Прекрасная Гунда от волнения перестала есть помидор. Она прошептала одними губами:

— Бедный Джамхух, если б ты знал, что достаточно волоском из моих кос провести по лезвию кинжала, как камень расколется от его прикосновения.

Слухач уловил ее шепоток и мгновенно передал его Ловкачу. Ловкач прошел мимо Гунды и, словно отмахиваясь от комаров, незаметно вырвал волосок из ее косы и, подойдя к Джамхуху, незаметно провел волоском по лезвию кинжала. Джамхух подошел к гранитной глыбе и с такой вдохновенной силой ударил по ней кинжалом, что искры посыпались из гранита, и глыба раскололась на две части, сверкая на разломе вкрапинами кварца. Джамхух, сам пораженный силой своего удара, замер над

распавшейся глыбой, а потом, всовывая кинжал в ножны, сказал:

— Видно, в человеке заложены неимоверные силы, о которых он не подозревает. Надо обдумать это.

— Ну что ж, — помрачнел старший великан, — видно, дело идет к свадьбе. Попробуем вас на обжираловке и на опиваловке.

— Это мы можем, — сказал Обьедало, облизываясь.

— Горло пересохло, пить хочется, — добавил Опивало.

И тут братья-великаны зарезали двух быков, развели огонь посреди двора, целиком зажарили быков на огромных вертелах, вынесли столы и поставили на них зажаренных быков. По одну сторону сели хозяева, по другую — гости. Одного быка разделили и разделили всем поровну, а другого оставили про запас. Только все приступили к еде, как Обьедало, дожевывая свою порцию, подсел ко второму быку. Отрезая ножом огромные ломти мяса от туши быка, он за час целиком его съел, и лишь начисто обглоданный скелет быка остался на столе. Взглянув на великанов сквозь ребра обглоданного быка, Обьедало сказал:

— Ку-ку! Не будет ли добавки?

— Добавки?! — удивились великаны и стали переглядываться.

— С обжираловкой у вас все в порядке, — объявил старший великан, — посмотрим, как у вас с опиваловкой.

Два брата-великана вынесли из винного подвала тридцативедерную амфору с вином, прислонили ее к столу и сказали:

— Пробуйте, вино будем пить по вашему выбору. Это красное. Не понравится — вынесем амфору с белым вином.

Опивало подошел к амфоре и подмигнул Силачу:

— Подсоби-ка, браток!

Силач приподнял амфору, осторожно наклонил ее и начал вливать вино в разинутый рот Опивалы. Минут через пятнадцать, к великому изумлению великанов, Силач запрокинул амфору, и последняя струйка вылилась в рот Опивалы. Силач откатил опустевшую амфору, а Опивало, утираясь, посмотрел на великанов и сказал:

— Ну что? Красное вино неплохое. Попробуем теперь белое.

— Тридцативедерную амфору на пробу?! — воскликнул старший великан. — Нет, у них с опиваловкой обстоит еще лучше, чем с обжираловкой.

— Протестую, — вскинулся Обьедало, — обжираловка ни в чем не уступает опиваловке.

Братья-великаны заметно погрустнели и стали о чем-то перешептываться. Друзья Джамхуха окончательно взбодрились.

— Если что не так, — громко сказал Силач, — считайте, друзья, что пятерых великанов я рядком уложил посреди двора. Ты, кажется, спешил, — напомнил он старшему брату великанов, — не пора ли тебе уходить?

— Я откладываю свои дела, — мрачно ответил тот.

Он уснул куда-то одного из своих братьев, и тот через некоторое время возвратился с древней старухой. Старший великан представил ее друзьям.

— Это старуха по прозвищу Страусиная Нога, — сказал он. — Сейчас мы проверим вас на проворство. Пусть ваш Скорород побежит наперегонки с нашей старухой.

— Но где же мы будем бежать? — засмеялся Скорород, добродушно глядя на старуху.

— Вот южные ворота, — сказал старший великан, — до самого моря здесь открытое место. Двадцать тысяч шагов туда и столько же обратно.

— Нехорошо, — возразил Джамхух, — старую женщину заставлять бегать, как девчонку.

— Это не ваша забота, — ответил старший великан, и все пошли к южным воротам.

— Прямо-таки мне жалко эту старушеницу, — сказал чувствительный Скорород, когда они вышли за ворота. — Она похожа на мою бабушку, а я должен с ней бежать наперегонки.

По знаку старшего великана старуха Страусиная Нога и Скорород побежали. Безобразно вскидывая мускулистые ноги, старуха мчалась за Скорородом, при этом, к удивлению друзей Джамхуха, не очень от него отставала. Правда, Скорород то и дело оборачивался, не в силах скрыть улыбки при виде столь престарелой, но все еще очень бодрой соперницы. Вскоре бегуны скрылись из глаз, и оставшиеся, поглядывая на солнце, стали их дожидаться. Но они что-то слишком долго не возвращались.

А между тем вот что случилось с бегунами.

Скорород, добежав до моря, сел на песок в ожидании старухи. Наконец она прискакала, уселась возле Скоророда и, тяжело дыша, проговорила:

— Уморилась я, сынок, пожалей меня. Все равно ты проворней. Давай лучше посидим на теплом песочке, и я поищу у тебя в волосах. А потом побежим назад.

— Хорошо, Страусиная Нога, — сказал Скороход, — недаром я заметил, что ты похожа на мою бабушку. В детстве я так любил полежать на коленях у бабушки, а она в это время искала у меня в волосах. Но бедная моя бабушка умерла...

— Вот и полежи, — ласково промурлыкала Страусиная Нога, придвигаясь к нему поближе, — а я поищу у тебя в волосах.

Скороход разлегся на песочке, положив голову на колени старухе, и она стала искать у него в волосах. Пригретый солнцем, под мерный шум волн Скороход уснул. Этого-то Страусиной Ноге и надо было. Оказывается, под фартуком у нее были припрятаны курица и зерна проса. Она достала пару пригоршней и густо посыпала ими голову Скорохода. А потом вытащила курицу, и та стала склевывать зерна с его головы. Старуха осторожно переложила голову Скорохода на песок. Он себе спит, а курица поклевывает зерна у него в голову, и ему во сне кажется, что это Страусиная Нога ищет у него в волосах.

И вот Страусиная Нога припустила назад, вскидывая свои безобразные мускулистые ноги, а Скороход все спит, а старуха уже настолько приблизилась к дому великанов, что ее стало хорошо видно, а Скороход все спит.

Великаны громкими, радостными криками начали приветствовать и взбадривать ее.

— Ну еще немного поднажми! — орали они и свистели.

— Слухач! — воскликнул Джамхух. — Послушай, что там случилось?

Слухач приник головой к земле.

— Я слышу храп, который доносится с моря. Остроглаз, поставив козырьком ладонь над глазами, сказал:

— Да, он лежит на берегу, а курица что-то склевывает у него с головы. А что — не могу разобрать.

— Дело за тобой! — крикнул Джамхух, видя, что старуха уже совсем приблизилась.

Остроглаз быстро вынул из колчана стрелу, приладил ее к тетиве, натянул тетиву, тщательно прицелился и пустил стрелу. Стрела, просверкнув в воздухе, долетела до моря и вонзилась в курицу. Курица забилась и ударами крыльев по голове Скорохода разбудила его. Скороход вскочил, не понимая, куда делась старуха, откуда взялась пронзенная стрелой курица и почему его голова посыпана зернами проса. Он замотал головой, стряхивая зерна и остатки сна. Тут он понял, что Страусиная Нога его обманула.

— Хайт!!! — вырвалось у него гневное абхазское восклицание. Он сдернул с ног жернова, вскочил и с быстротой ветра помчался назад.

Через несколько мгновений он обогнал старуху и так разогнался, что чуть не перелетел через ворота, но тут Силач схватил его на лету и, ставя на землю, сказал:

— Друзья, считайте, что пятеро уже рядком лежат посреди двора, а остальные сбежали.

Вскоре, тяжело дыша, прибежала и старуха.

— Молодец, Страусиная Нога, — зло прошипел старший великан, — на таких состязаниях и второе место почетно.

— Я сделала все, что могла, — сказала старуха, с трудом переводя дыхание.

— Ах ты, старая обманщица! — крикнул Скороход. — Сейчас же пойди и принеси мои жернова, раз мне из-за тебя пришлось их бросить.

Тут старуха стала ругаться, что Скороход не чтит абхазские обычаи, по которым старого человека надо уважать, а не держать его на побегушках. Но Сын Оленя вступился за Скорохода.

— Абхазцы потому и чтут старость, — сказал он, — что старость, по нашим понятиям, возраст мудрости, справедливости, несуетности. А старость, сама не уважающая себя, не достойна уважения других. Раз ты суетилась и обманывала нашего Скорохода, пользуясь его доверчивой чувствительностью, посуетись еще немного и принеси его жернова.

Старуха посмотрела на братьев-великанов.

— Ступай, ступай, — сказал старший, — раз ты ни на что другое не пригодна.

И старуха Страусиная Нога, ворча, поплелась в сторону моря.

— Где только вы ее выкопали? — спросил Обьедало.

— Да здесь в лесу живет, — морщась, сказал один из братьев, — местная ведьма. Иногда помогает нам по хозяйству, иногда по ведьминским делам. Но толку от нее мало, совсем из ума выжила.

Братья-великаны вместе с Джемхухом и его друзьями вошли во двор.

— Ладно, — сказал старший великан, кивая на длинный шест, стоявший посреди двора, — пусть теперь Джамхух напоследок покажет свою телесную сноровку. Этот шест длиной в сто локтей. Если Джамхух взлезет на вершину шеста, держа на голове горшок, наполненный кипятком, а потом слезет с шеста, не пролив ни капли, — отдаем сестру.

Вскипятили воду, перелили ее в глиняный горшок и поднесли Джамхуху, который, разувшись, стоял у шеста. Джамхух поплевал на руки, поставил на голову поверх войлочной шапки горшок и осторожно стал карабкаться к вершине шеста. А великаны сгрудились под шестом и, выставив ладони, ожидали, не капнет ли сверху.

— Сын Оленя, не облейся кипятком! — крикнула снизу золотоголовая Гунда. — А то у моего мужа будет некрасивое лицо! Но с другой стороны, если ты прольешь кипяток, то ведь не сможешь быть моим мужем? Ой, Джамхух, что-то я запуталась. Объясни мне, в чем моя ошибка!

— Милая Гунда, — сказал Джамхух, продолжая осторожно карабкаться наверх, — ты, сама того не желая, отвлекаешь меня.

— Ну, тогда я съем еще один помидор и пожелаю тебе удачи! — воскликнула очаровательная Гунда и вонзила свои жемчужные зубы в красную мякоть помидора.

— Клянусь той, — шепнул друзьям Обьедало, — на шее которой я хотел бы быть повешенным, эта Гунда не отличается большим умом.

— Большим умом! — язвительно подхватил Опивало. — Да скорее дятел достучится до сотрясения мозга, чем наш Джамхух достучится до ее ума!

— Все-таки она не крикунья, как моя жена, — примирительно сказал Силач, — а лицом куда красивей!

— При этом учтите, — добавил Остроглаз, — она ничего хорошего в своей жизни не видела, кроме оскаленных черепов этих горемык.

— Оказывается, даже великий мудрец, — с горечью вздохнул Слухач, — гложет от любви. Все, что ни брякнет Гунда, нашему Джамхуху кажется милым.

— Ничего, — сказал Ловкач, — если она окажется плохой, я ему так подменю жену, что он даже не заметит.

— Друзья мои, вы совсем не правы! — заволновался Скороход. — Гундочка такая хорошенькая, такая миленькая, такая очаровушечка, что я счастлив за нашего Джамхуха! А ум женщине только во вред! У Джамхуха ума хватит не только на Гундочку, но и на всю нашу Абхазию.

Когда Джамхух добрался до вершины шеста, вдруг раздался его тоскливый крик, а через несколько мгновений великаны, с вытянутыми ладонями стоявшие под шестом, стали приплясывать от радости.

— Закапало! Закапало! — кричали они. — А небо синее, так что на дождик не свалишь!

Друзья Джамхуха помрачнели.

Сын Оленя слез с шеста, отдал горшок великанам и молча, ни на кого не глядя, стал обуваться.

— Ты пролил воду, — сказали братья-великаны, протягивая ему свои ладони.

— Нет, — ответил Джамхух с неимоверной печалью, — я ничего не пролил. Я только увидел с вершины шеста, как волки растерзали мою мать-олениху. И я закричал и заплакал от боли.

Великаны лизнули ладони и убедились, что влага на них соленая.

— Да, — сказал Джамхух, — слезы — это кровь души, и потому они соленые, как кровь.

— Что же делать, милый Джамхух, — проговорила прекрасная Гунда, надкусывая помидор, — у оленей такая судьба. Или их волки задирают, или убивает охотник.

— Да, но эта олениха была моя мама, — сказал Джамхух, — она выкормила меня в лесу. Она становилась на колени, когда я был так мал, что не мог достать до ее вымени... А ты, любимая Гунда, могла бы отложить помидор по случаю такого несчастья...

— Но, милый мой Джамхух, — воскликнула золотоголовая Гунда, — какое имеет отношение одно к другому? Я жалею твою маму-олениху, но ведь, если я перестану есть помидоры, она не оживет?

— Любимая Гунда, ты еще так неразвита душой... Но ничего, я тебе помогу, — промолвил Джамхух и посмотрел на Гунду долгим печальным взглядом.

Гунда тоже посмотрела на него недоумевающим взглядом, как бы спрашивая, может ли она теперь есть помидоры, и если не может, то до каких именно пор.

— Да, не оживет моя мать-олениха, — грустно сказал Джамхух, — можешь есть свои помидоры, милая Гунда.

— Ну что ж, — объявил старший великан, — ты все выполнил. Наша сестра — твоя. Теперь мы должны устроить пиршество по случаю расставания с нашей единственной радостью, нашей любимой сестрой.

Но старший великан, впрочем, как и все остальные, был коварен и вероломен. Он шепнул братьям, чтобы они во время пиршества поставили Джамхуху и его друзьям отравленные блюда. Нет, не хотели братья-великаны расставаться с любимой сестрой!

Слухач, который ни на минуту не затыкал своих ушей глушилками, все услышал и передал Ловкачу. Ловкач перед началом пиршества все отравленные блюда переставил великанам, а великаны переставил друзьям.

Старуха Страусиная Нога, принеся жернова Скорохода, пыталась помочь накрыть столы, но братья-великаны, рассерженные на нее за неудачный забег, прогнали ее.

Печально сидел Джамхух рядом со своей очаровательной невестой. В глубоком раздумье он не замечал ничего, что делается вокруг.

— Одного я никак не пойму, — сказал он, думая о своем, — как моя мать-олениха могла оказаться здесь? Ведь она всегда паслась только в окрестностях Чегема.

К середине пиршественного обеда братья-великаны стали замертво валиться. Одни навзничь, другие головой на стол.

Джамхух оглядел их грустным взглядом, все понял и, посмотрев на Ловкача, сказал:

— Грубовато!

— Уж как мог! — самолюбиво вспылил Ловкач, решив, что, по мнению Джамхуха, он недостаточно ловко переставлял блюда.

На самом деле Джамхух имел в виду самую расправу с братьями-великанами.

— Наверное, моих братьев Бог наказал, — пожаловалась золотоголовая Гунда, вовсе ничего не понимая, — за то, что они так долго не выдавали меня замуж.

— Не надо так говорить о своих братьях, — сказал Джамхух, — хотя они и были настоящими злодеями. Люди их сами осудят. Не дело сестры осуждать братьев, тем более когда они мертвы. А нам, друзья, не годится есть за этим столом! Пусть мертвых похоронят живые, которых мертвые хотели сделать мертвыми, когда сами были живыми!

Друзья Джамхуха похоронили братьев-великанов там, где посреди двора лежала надвое расколотая гранитная глыба. Дом великанов Джамхух велел разрушить. Силач ударом ноги вышиб из-под дома две каштановые сваи, и дом рухнул, подняв над собою тучу пыли.

Часток с черепами женихов Джамхух велел оставить как вечный памятник человеческой жестокости. По прошествии нескольких веков часть его обрушилась и сгнила, но часть осталась, и византийские ученые спорили, какому ис-

чезнувшему племени принадлежит этот необычный способ захоронения.

Но вернемся к Джамхуху. Друзья раздобыли лошадь в ближайшей деревне, посадили на нее золотоголовую Гунду и пустились в обратный путь.

Скороход, конечно, немножко влюбился в Гунду. Он выпросил у Джамхуха право нести корзину с помидорами рядом с лошадьёю. И каждый раз по ее просьбе он подавал ей помидор, предварительно вытерев его о гриву лошади.

Когда они проезжали мимо села, где жил молодой князь и знаменитый виноторговец, Гунда, зардевшись, вдруг сказала Джамхуху:

— А ты знаешь, милый Джамхух, меня почти что сватал князь.

— Почему почти? — спросил Джамхух, чувствуя укол ревности и удивляясь ему.

— Потому, что он со свитой подъехал к нашему дому на верблюде, — отвечала Гунда, — на верблюде он подъехал, чтобы из-за высокого частокола увидеть меня. Братья его пригласили во двор, они даже сказали, что облегчат ему условия сватовства, учитывая его высокое происхождение. Но он так и не въехал, хотя я ему очень понравилась, да и он красавец! «Я единственный племянник бездетного царя, — сказал он. — Когда я буду царем, я и так возьму ее силой!» — «Силой мы ее тебе не отдадим», — сказали братья, и он уехал. Братья мои тогда очень удивились такой его откровенности.

— Иногда человек бывает в чем-то очень откровенным, — проговорил Джамхух, — чтобы в чем-то другом иметь возможность быть очень скрытным.

— Абхаз, который не постыдился сесть на верблюда, — заметил Опивало, — не постыдится и сесть на трон незаконным путем.

— Хочу быть повешенным на шее той, которая сейчас дома тоскует обо мне, — сказал Обьедало, — если Опивало на этот раз не прав!

— А что тут постыдного? — вступилась за князя Гунда. — Он это сделал, чтобы увидеть меня. А ты, Опивало, просто ревнуешь верблюда, потому что он может выпить воды больше тебя!

— Верблюд — больше меня?! — задохнулся от возмущения Опивало. — Да скорее дятел, долбящий дерево...

— Не спорьте, друзья, — остановил их Джамхух, — но должен сказать, что мой друг Опивало проявил немалую проницательность в понимании души властолюбцев.

— Оставьте князя, — вздохнула Гунда. — Он женился в прошлом году. Жена у него, правда, знатная, но совсем даже не красивая... Все говорят...

Тонкий слух Слухача ужасно покорило неуместное на поминание Гунды о сватовстве князя. Он был возмущен, — ведь это же ясно как божий день: не приди Джамхух со своими друзьями, Гунда была бы навеки обречена жить без мужа!

— Что такое неблагодарность, Джамхух? — спросил Слухач, по этому поводу вынимая глушилки из ушей. Он твердо

придерживался своего правила, что мудрость надо выслушивать в непроцеженном виде.

— Неблагодарность, — сказал Джамхух, — это роскошь хама.

— Или хамки, — добавил Слухач.

— Или хамки, — согласился Джамхух, не понимая намека.

— А что такое благородство?

— Благородство, — сказал Джамхух, — это взлет на вершину справедливости, минуя промежуточные ступени благородия.

— Та птица, о которой я думал, — продолжил Слухач, — так высоко не летает, если летает вообще.

— Да, — грустно произнес Джамхух, — благородство не слишком часто встречается.

— А что такое скромность, Джамхух? — не унимался Слухач.

— Скромность, — сказал Джамхух, немного подумав, — это очерченность границ достоинства. Нескромных, крикливых, как базарные зазывалы, людей, хвастающихся обилием своих достоинств, мы вправе заподозрить в отсутствии всякого достоинства. Запомните, друзья, несуществующие достоинства легко преувеличивать... Но скромность должна быть скромной. Скромность, слишком бьющая в глаза, это вогнутая наглость.

— А вот что такое грубость, Джамхух? — вдруг спросил Обьедало, при этом многозначительно косясь на Опивалу.

— Грубость — это забвение вечности, — сказал Джамхух и замолк, словно погрузившись в эту самую вечность.

— О, мои уши! — воскликнул Слухач. — Вы внюхиваетесь в речь Джамхуха, как в розы Хоросана, и при этом сами расцветаете, как розы!

И, будто опасаясь, что розовое масло мудрости выльется из его ушей, он осторожно и тщательно закупорил их глушилками.

— Наконец-то мне ясно, Опивало, — укоризненно сказал Обьедало, — почему ты так часто грубишь мне. Ты забываешь о вечности, а это с твоей стороны очень даже некрасиво.

— Это я забываю о вечности? — как громом пораженный, воскликнул Опивало и даже остановился от возмущения. — Да если ты хочешь знать — думать о вечности это мое любимое занятие. А после хорошей выпивки я прямо чувствую, что вечность внутри меня. Не скрою — приятное, бодрящее чувство.

Такое панибратское, сокувшинное отношение к вечности вывело из себя даже добродушного Обьедало.

— Вы послушайте, что он говорит, — хлопнув в ладоши, закричал он. — Это ты должен быть внутри вечности, а не вечность должна быть внутри тебя! Правда, Джамхух?

— Ты прав, — отвечал Сын Оленя. — Опивало, конечно, шутит. Но многие из сильных мира сего и в самом деле так важничают, как будто бы они проглотили вечность, а не вечности предстоит их поглотить.

— Вот землеед, — почти запрокидываясь от хохота, воскликнул Опивало, — опять шутки не понял! Здорово же я тебя подцепил.

— Нет, ты не шутил, — взволнованно возразил Обьедало. — Я же точно знаю, что ты не шутил! Клянусь...

Но тут Опивало перебил его и с притворным ужасом прикрыл уши.

— Слухач, — взмолился он, — подай мне свои глушилки скорей! А то он сейчас поклянется той, на шее которой, и я умру на месте. С хорошеньким подарком вы придете тогда на свадьбу Джамхуха!

— Нет уж, не надо нам таких подарков, — вдруг сказала прекрасная Гунда и, с лошади посмотрев на Скорохода, добавила: — Выбери-ка мне помидор покрупней. Убей меня Великий Весовщик, если я понимаю, о чем они тут спорят...

Скороход достал из корзины большой помидор, вытер его о гриву лошади и преподнес Гунде.

— Вот и я как раз хотел поклясться Великим Весовщиком, а не моей женушкой, — обратился Обьедало к своему насмешнику. — Так что очень даже глупо ты смеялся надо мной. Глупо и невпопад!

— Ага, — не унимался Опивало, — на этот раз ты хотел быть повешенным на шее Великого Весовщика! Мало всяких нечестивцев висят на его шее! Только тебя там и не хватало!

— Я так считаю, — вдруг вмешался Силач, — что у Великого Весовщика шея куда крепче моей. Вы думаете, я Силач? Нет! Это он — настоящий Силач!

Через неделю друзья пришли в Чегем, где Джамхуху была устроена замечательная свадьба, длившаяся три дня и три ночи. На ней пировали, пели и плясали все чегемцы. К концу третьей ночи уже и Обьедало не мог съесть ни кусочка мяса, а Опивало просто упился.

Джамхух одарил своих друзей подарками и положил им в дорожные хурджины всякие сладости для тех, у кого были дети.

И вот пришло время расставаться. У Сына Оленя и его друзей были слезы на глазах. Скороход откровенно рыдал. Джамхух крепко обнимал своих друзей и по три раза (опять почему-то три раза!) целовался с каждым из них. Сначала он целовался с Обьедалой, потом с Опивалой, потом со Скороходом, потом с Силачом, потом со Слухачом, потом с Ловкачом, а потом наконец с Остроглазом.

— Довольно целоваться с друзьями! — кричали чегемцы. — А то на жену не хватит поцелуев!

— Это совсем другое дело, — отвечал Джамхух — Сын Оленя. — Мне кажется, дни путешествия к моей возлюбленной Гунде были самыми счастливыми в моей жизни с людьми. До свиданья, друзья!

— До свиданья, Сын Оленя, — отвечали друзья, — счастливой тебе жизни с золотоголовой Гундой! Если что — дай знать! Чем можем — поможем!

— Джамхух! — крикнул напоследок Скороход. — Можно, я вас буду навещать? Я ведь быстрый — одна нога здесь, другая там! Я буду приносить Гундочке помидоры. Помидоры идут к ее золотым волосам!

— Конечно, приходи, когда можешь, — отвечал Джамхух, и друзья, то и дело оглядываясь и размахивая руками, скрылись на верхнечегемской дороге.

Итак, Джамхух стал жить с прекрасной золотоголовой Гундой. Джамхух горячо любил свою жену, и счастье его казалось безоблачным. В первый год их жизни в Чегеме каждую неделю к ним приходил Скороход и приносил большую корзину, наполненную румяными древнеабхазскими помидорами. Так что Гунда не замечала, что в горном Чегеме помидоры не вызревают.

Через год чувствительный Скороход влюбился в черкешенку, жившую за Кавказским хребтом, и стал все реже и реже приходиться с помидорами. И Гунда возроптала.

— Меня братья кормили русалочьей икрой и соловьиными мозгами, — говорила она Джамхуху, — а ты даже помидорами не можешь меня обеспечить.

— Что же делать, милая Гунда, — отвечал ей Джамхух, — если у нас в Чегеме помидоры не вызревают.

— Тогда давай жить в долинном селе, — сказала Гунда.

— Нет, — не соглашался Джамхух, — я не хочу покидать дом моего отца Беслана. Да и люди, приходящие за советами и предсказаниями, привыкли видеть меня здесь.

Впрочем, Гунда довольно скоро приспособилась брать подарки в виде корзин с помидорами у людей, приходящих к Джамхуху за мудрым советом. Об этом, как водится, знали все, кроме самого Джамхуха. Он думал, что эти помидоры люди приносят из преклонения перед красотой Гунды.

Джамхух очень любил детей, но Гунда почему-то не могла родить.

— Как ты, мудрец, не понимаешь, — говорила она, — что у самой красивой женщины и самого умного мужчины не может быть детей. Природа не может соединить в одном ребенке твой ум и мою красоту. Это ей не под силу.

— А я бы хотел обыкновенных детей, — задумчиво отвечал Джамхух, — вроде тех, что у Силача моего я видел...

— Мало ли что нам хочется, — ворчала Гунда, — надо примириться с тем, что мы неповторимы.

Джамхуху ничего не оставалось как примириться. Он все же очень любил свою золотоголовую Гунду.

Много людей приходило к Джамхуху иногда с забавными просьбами, иногда с горестным недоумением, иногда с мудрым советом, а иногда просто черт знает за чем! С годами Гунде стали ужасно надоедать бесконечные посетители Джамхуха.

— Ну что, что приперлись опять? — говорила она ходокам, когда Джамхуха не было дома.

— У нас мулица ожеребилась, — случалось, говорили ходоки, — к чему бы это?

— Великий Весовщик! — кричала Гунда. — Они меня опломят! Ожеребилась — ну и хорошо!

— Нет, не хорошо, — сдержанно, но твердо отвечал один из ходоков, — не положено по природе. Хотим узнать, что предзнаменует?

— Великий Весовщик! — надрывалась Гунда. — Ходоки замучили! Оставьте корзину с помидорами и убирайтесь в котловину Сабида, он там коз пасет!

Но так как число людей, приходивших к Джамхуху, намного превосходило ее потребность в помидорах, Гунда частенько пилила Джамхуха, что он мало времени с ней проводит.

Однажды, когда она его так ругала, пришел человек посоветоваться, как ему быть с пчелиным роем, который вылетел из улья и прицепился к высокой ветке орехового дерева.

Выслушав ходока, Джамхух ему доверительно сказал:

— Женщина хочет, чтобы время любви превосходило странство жизни. Но ведь это нелепо?

— Нелепей и не придумаешь, — поспешно согласился посетитель и ушел, решив, что Джамхух слегка спятил.

— Где мой рой и где женщина, которая хочет любви? — удивлялся он, разговаривая с односельчанами, и те, пожилая плечами, высказывали разные соображения по этому поводу.

Так они жили четыре года и четыре месяца, и тут вдруг случилось необычайное событие. Абхазский царь, приехавший в село Дал на праздник открытия Храма Великому Весовщику Нашей Совести, внезапно скончался в доме своего племянника, где он гостил.

Молодой князь сел на престол. И хотя его звали абхазским именем Кобзач, он, подражая византийским императорам, нарек себя Феодорием Прекрасным.

Года два народ присматривался к нему, называя то старым именем, то новым, а потом прозвал его Тыквоголовым Красавчиком и больше никак его не называл.

В один прекрасный день дюжина придворных людей во главе с визирем приехала к Джамхуху. Кто-то из придворных держал за поводья лошадь с богатым женским седлом. Джамхух сразу все понял, душа у него сжалась от боли, но делать было нечего, гости спешили и вошли в дом.

— Джамхух, — сказал визирь, — наш царь Феодорий Прекрасный давно любит золотоголовую Гунду. Только необходимость блюсти себя для абхазского престола не позволяла ему сразиться с братьями-великанами. Теперь пришел его час. Ты должен отдать царю прекрасную Гунду, иначе царь пойдет войной на Чегем. Неужели ты, вечно призывающий всех к миру, будешь способствовать тому, чтобы лилась абхазская кровь?

— Но ведь царь женат, — изумился Джамхух, — я даже слышал, что у него недавно родился сын.

— Да... — сказал визирь. — У него родился сын, и он наречен Георгием. Но какое это имеет значение? Разве ты не знаешь, что византийские императоры женятся столько раз, сколько хотят? А мы должны учиться у нашего великого соседа Византии, самого культурного государства в мире.

Джамхух задумался. Потом долгим взглядом посмотрел на Гунду. Он понял, что она хочет уйти к царю. Душа у Джам-

хуха обливалась кровью. Но он был горд, Сын Оленя, и хотел, чтобы Гунда сама предпочла его царю.

— Что ж, берите ее, — сказал Джамхух, — раз она так хочет.

— Но разве я говорила, что хочу покинуть тебя, Джамхух? — воскликнула Гунда и вся разругалась.

— Милая Гунда, — сказал Джамхух, — ты забыла, что я Сын Оленя, я знаю язык глаз... Твои медоносные глаза мне все рассказали...

— Ради интересов Чегема, — прошептала Гунда и опустила свою прелестную головку.

— Да, — подтвердил визирь, — интересы народа превыше всего.

— Тебе останется мой портрет, — сказала Гунда, — ты будешь жить с моим портретом.

— Да, — согласился визирь, — портрет можешь оставить. У нас много придворных художников.

— Хорошо, — сказал Джамхух, — я буду жить с твоим портретом.

На прощание Гунда поцеловала Джамхуха, и не было поцелуя горше, потому что Джамхух почувствовал его благодарную нежность.

Гунде подвели чистокровного арабского скакуна, и, когда визирь подставлял ее ноге стремя, он не удержался и кивнул на стремя:

— Чистое золото.

— Сын Оленя, не скучай, — сказала Гунда, удобнее усаживаясь в седле, — почаще смотри на мой портрет.

Придворные вместе с Гундой скрылись на нижнечегемской дороге. Джемхух постоял, постоял посреди двора, а потом вздохнул и зашел в дом.

Чегемцы долго обсуждали это событие, жалея Джемхуха и высказывая разные предположения.

— Вообще, — говорили они, — ввести в дом рыжую — все равно что поджечь его. Уж лучше прямо сунуть горящую головешку под крышу, чем вводить в дом рыжую...

— Надо было повоевать с Тыквоголовым, — говорили другие, — напрасно наш Джемхух ее уступил...

— Как же воевать, — говорили третьи, — если Джемхух сам приторочил корзину с помидорами к ее седлу.

Это было явной выдумкой. Никакой корзины с помидорами Джемхух не приторачивал к седлу Гунды. Он, конечно, тосковал по своей Гунде, но никогда ни один человек не услышал от него ни одной жалобы.

Только однажды, сидя перед очажным огнем в кругу чегемцев, он вдруг подумал вслух:

— Оказывается, пустую душу нельзя ничем заполнить. Пустота духа — это вещество, которое нам неизвестно. И если вещество пустоты заполняет душу, душа заполнена. А заполненное уже ничем нельзя заполнить.

— Не убивайся, Сын Оленя, — сказал старый чегемец, — ты еще совсем молод, у тебя все впереди.

— Маму-олениху жалко, — ответил Джемхух, — она хотела меня догнать и остановить, но, забыв об осторожности, погибла... — Он вспомнил своего приемного отца, старого охот-

ника Беслана, и, вздохнув, добавил: — Когда все, кого мы любим, на том свете, время работает на нас: мы приближаемся к любимым.

Больше Джамхух никогда не проговаривался о том, что у него на душе. Время, конечно, великий лекарь, но лечит оно кровопусканием, как тот диоскуриец, которого пригласили к отцу Джамхуха.

Три года Сын Оленя жил с портретом золотоголовой Гунды. Но от портрета даже самой красивой девушки дети, как известно, не рождаются.

В один прекрасный день Джамхух созвал чегемцев, развел костер посреди двора и бросил в огонь портрет прекрасной Гунды.

— Красота лица, — сказал Джамхух, — должна быть равносильна красоте душе, иначе красота — ложь и художество — суета.

— Это он так говорит, — высказался наиболее догадливый чегемец, — потому что жениться хочет.

И в самом деле, через полгода Джамхух женился на простой чегемской девушке, и у него со временем родились трое детей. Сначала у него родилось два мальчика, потом родилась девочка. Старшего мальчика нарекли Эснатом, младшего Гидом. А потом пришла в мир ненаглядная утешительница Джамхуха в минуты грусти, хохотушка Тата.

С годами слава Джамхуха все росла и росла. Он не только давал советы и делал проорицания, но иногда мирил враждую-

щие роды и даже племена. Ему удавалось силой мудрости то, что не удавалось силой оружия царю.

Царь Феодорий, конечно, злился на него, но сначала скрывал, что может завидовать простому пастуху. Он решил прославить себя военным подвигом и снарядил большой флот для завоевания Лазии. Однако флот не достиг берегов Лазии, в открытом море его сокрушила буря.

Царь Феодорий Прекрасный, узнав о гибели флота, пришел в великий гнев. Он метался по дворцу, громко крича:

— И это море называют Гостелюбивым?! Это плохое море! Проклятое море! Отныне я его переименую! Оно будет называться Черным морем! Пусть гонцы разъедутся по всей Абхазии и велют народу отныне называть это море Черным!

И гонцы разъехались по всей Абхазии и во всех городах и селах объявили народу новое название моря. Но люди смеялись над царем.

— Тыквоголовый совсем спятил! — говорили они, хохоча. — Разве море можно переименовать? Тогда уж пусть заодно он переименует и небо!

Новое название моря было нелепым потому, что каждый видел — море синее, а он его называет Черным. Сначала люди, живущие на побережье, в шутку, смеясь над Тыквоголовым, повторяли:

— Ну, как там Черное море — не посинело? Не пора ли выходить рыбачить?

Люди смеялись, смеялись, шутили, шутили и до того дошутились, что сами привыкли и уже всерьез стали называть море Черным. На этом основаны многие победы глупости.

Царь Феодорий был очень доволен, что новое название моря принято народом.

— Переименовать море, — говорил он, — еще не удавалось ни одному царю. На такое способен был только бог Посейдон, и то в древнегреческие времена.

А между тем с другой стороны моря — там, где была Византия, — его продолжали называть Понтом Эвксинским, то есть Гостелюбивым морем. Византия восприняла новое название моря как удар по своему престижу и затаила гнев на царя Феодория Прекрасного. Но он этого не понял и, как принято было среди абхазских царей, воспитывал своего сына при дворе византийского императора.

А слава Джамхуха — Сына Оленя росла и росла, и это отравляло жизнь Тыквоголового. Он искал способа, как бы опозорить Сына Оленя, и наконец вот что придумал. Он созвал придворных и сказал:

— Народ считает Сына Оленя мудрым и праведником. Но может ли считаться мудрецом человек, который, просыпаясь, каждое утро по своей дикой оленьей привычке начинает жевать жвачку? Мы об этом узнали от нашей возлюбленной царицы, которая ушла от него не только потому, что любила меня, но и потому, что не сумела оту-

чить его от этой привычки. Разошлите гонцов по всей Абхазии, и пусть люди знают, чем занимается лжемудрец, просыпаясь по утрам.

Все гонцы, кроме главного гонца, разошлись по всей Абхазии. Главным гонцом в это время был Скороход. Его привлекла ко двору золотоголовая Гунда. Скороход, прекрасно зная, что Джамхух никакой жвачки не жует по утрам, и любя Джамхуха, не мог распространять такую ложь. Но и правду говорить не осмеливался. Поэтому он притворился, что жернов на его правой ноге натер ему щиколотку и он не может покинуть дворец.

Разосланные по всем городам и селам Абхазии гонцы рассказывали народу, что Джамхух — Сын Оленя, просыпаясь, по утрам жует жвачку. Но народ спокойно отнесся к этому известию.

— Да врет она все, — говорили одни, выслушав гонцов, — тоже еще царица! Мы же помним, как она взятки брала помидорами.

Другие, выслушав гонцов, говорили:

— Мы знаем, что у мудрецов бывают странности. Он и абхазский язык выучил за пять дней, а говорит, что за два. Но какое это отношение имеет к его мудрости? Пусть себе жует жвачку на здоровье, лишь бы помогал нам советами и предсказаниями.

Однажды Скороход явился к Джамхуху и сказал:

— Сын Оленя, Гунда клянется всеми святыми, что она никогда не говорила царю таких глупостей.

— Я рад, что у Гунды появились святыни, — ответил Джамхух, — и я верю ей. А слухи, которые распускает Тыквоголовый, меня нисколько не беспокоят. Передай царскому двору: «Те, что жуют жвачку, в тысячу раз лучше тех, что пережевывают собственную глупость».

— Вплоть до царя? — спросил Скороход.

— Начиная с царя, — поправил Джамхух.

— Ой, боюсь я за тебя, — вздохнул Скороход. — Не буду я этого говорить.

— Страх и любовь к истине несовместимы, — сказал Джамхух. — Признак зрелости мыслящего — готовность пожертвовать жизнью ради своих мыслей. Признак незрелости царствующего — готовность принять эту жертву. И не надо говорить, что трусость — это храбрость в девичестве. Такому девичеству быть в старых девах. А тебя, мой милый Скороход, я все еще люблю и потому предупреждаю: человек, который слишком боится стражников, незаметно сам становится стражником.

Скороход побежал во дворец, сверкая своими золочеными жерновами, которые многие принимали за чистое золото. Он думал, как бы во дворце не сказать лишнее и тем самым не повредить Сыну Оленя.

Ах, Джамхух — Сын Оленя! Конечно, страх и любовь к истине несовместимы. Но в жизни любовь к истине нередко бывает несовместимой с самой жизнью.

Через год царь Феодорий решил расправиться с Джамхухом. Он долго думал, как это сделать, чтобы не вызвать ропот

народа, и наконец придумал. Несмотря на глупость, а вернее, благодаря глупости, царь Феодорий был хитер, ибо хитрость — единственная форма ума, доступная глупцам. Но именно потому, что она единственная форма, глупцы ее неустанно совершенствуют.

Он тайно вызвал во дворец одного из самых опытных воинов. Таким людям царь Феодорий присуждал звание Воина с Облегченной Походного Типа Совестью. Было замечено, что у вояки, который всю жизнь убивал чужих, в конце концов возникает естественное желание попробовать своего. Особенно в годы перемирия с враждебными племенами.

Вот такого воина царь и вызвал к себе.

— Ради безопасности родины тебе придется убить Джамхуха — Сына Оленя, — сказал царь.

— Как так, — удивился воин, — я слышал, что он мудрец, он — наша гордость.

— Это верно, — отвечал царь Феодорий, — и мы его всегда приветствовали за мудрость. Но ведь он проповедует, что все народы равны перед Великим Весовщиком Нашей Совести. А это губительно для нашего народа.

— Как так? — опять удивился воин.

— Ты в каких краях воевал? — спросил царь.

— Я воевал, — отвечал воин, — на западе, в хазарских степях, где в летний полдень нет тени, кроме тени собственного коня. Я воевал на востоке, где вместо воды из-под камней бьет кровь земли, горящая, как хворост. И я воевал на севере,

где зимой реки мертвоют от холода и по мертвой воде можно проехать верхом. Я воевал везде.

— Так видел ты где-нибудь край, который был бы красивой нашей родины? — спросил царь.

— Нет, — покачал головой воин, — я не видел такого края. Я даже думаю, что лучше нашего края нет края на свете.

— В том-то и горе наше, — сказал царь, — а Джамхух проповедует, что все народы равны. Но ведь если все народы равны, значит, они одинаково угодны Великому Весовщику, а если они одинаково угодны Великому Весовщику, значит, и все лучшие земли надо между народами разделить поровну.

— Как так? — опять удивился воин.

— Так получается, — сказал царь. — Представь себе, что Великий Весовщик Нашей Совести — наш хозяин. А мы, народы земли, его работники. Если хозяин одинаково доволен всеми работниками, он должен или нет их одинаково кормить?

— Это — первое дело, — согласился воин, — я сам, уезжая воевать, всегда наказываю жене, чтобы она следила за работниками, которых нанимает. Следила, чтобы они одинаково хорошо работали и чтобы она их одинаково хорошо кормила.

— Вот об этом и речь, — закивал царь. — И нам уже некоторые народы говорят: «Потеснитесь на вашей прекрасной земле, дайте и нам ее немножко. Ваш мудрец Джамхух — Сын Оленя сам проповедует, что все народы равны».

— Вон чего захотели! — вскрикнул воин и, подумав, добавил: — А ты прикажи Джамхуху, чтобы он больше так не поповедовал.

— Ты хороший воин, — отвечал царь, — но слишком добрый и простой человек. Много, много раз я Джамхуха предупреждал, но он не слушает меня. Кончится тем, что все народы пойдут на нас войной и уничтожат наш народ или превратят всех в рабов. Выбирай — или ты убьешь Джамхуха и тем самым сохранишь наш народ, который в будущем даст нам нового мудреца, или ты не убьешь Джамхуха, и враги в конце концов уничтожат наш народ вместе с Джамхухом.

— Получается — лучше убить Джамхуха, — сказал воин.

— Так получается, — согласился царь и протянул ему стрелу с раздвоенным наконечником. — Вот этой стрелой ты его убьешь. Эту стрелу придумал один засекреченный перс. Но наши лазутчики выкрали ее у персов. Ты — первый воин Кавказа, который ее испытает. И для спокойствия народа будет правильней, если он решит, что Джамхух убит чужеземной стрелой чужеземца. Так что стрелу можешь оставить в теле, мы уже приступили к изготовлению таких стрел. Ваш царь еще порадует своих воинов кое-какими новинками. Но пока это тайна.

Воин, взяв в руки стрелу, оживленно пробовал пальцами ее клешнятый наконечник, а потом вдруг задумался, почесывая затылок тем же наконечником.

— Что задумался, мой воин, — спросил царь, — разве тебе не все ясно?

— Ясно-то оно ясно, — отвечал воин, — продолжая думать о своем, — но мне чего-то неприятно убивать Джамхуха, хотя и очень интересно испытать новую стрелу... Двойной втык — это, конечно, чудо... Но все-таки Джамхуха как-то жалко...

— Послушай, — сказал царь, внимательно взглядываясь в него, — разве ты не Воин с Облегченной Походного Типа Совестью?

— Звание-то у меня есть, — вздохнул воин, — но все-таки как-то неприятно...

— А мне, думаешь, приятно поручать тебе это? — сказал царь. — Но так нужно для сохранения нашего народа. Я и награды тебе не сулю. Не для меня стараешься — для родины.

— За награду я и сам не стал бы убивать Джамхуха, — проговорил воин. — Все же почему-то неприятно его убивать, хотя и очень интересно испытать новую стрелу.

— Ты же пьешь лекарство, когда болен, — сказал царь, — хотя тебе и неприятна его горечь?

— Да, — согласился воин.

— Так и это, — сказал царь, — неприятно, но надо, как лекарство.

— Надо так надо. — И воин, простившись с царем, покинул дворец.

Через три дня Сын Оленя погиб.

Утром он, как обычно, отправился пасти коз в котловину Сабида, а вечером козы домой пришли без него. Он был най-

ден в лесу со стрелой, торчащей из спины. Джамхух был еще жив. Когда его внесли в дом, чегемский знахарь осторожно вытащил из его спины стрелу с невиданным в этих краях раздвоенным наконечником. Но спасти Джамхуха уже не могли. Незадолго до смерти он вдруг сказал:

— Кто приходит вовремя, всегда приходит слишком рано...

Потом он забылся, а через некоторое время прерывистым, угасающим голосом произнес:

— ...Холод жизни... Общий костер... Или раздать дрова... Не пойму...

Голос его замолк, словно говорящий, размышляя вслух, скрылся за поворотом тропы. Джамхух — Сын Оленя был мертв.

А во дворе уже толпились опечаленные и ропщущие чегемцы. Одни говорили, что Джамхуха убил неизвестный чужеземец, другие говорили, что убийца очень хотел, чтобы его считали чужеземцем.

Оплакивать Сына Оленя съехалась чуть ли не половина Абхазии. И конечно, пришли его верные друзья Обьедало, Опивало, Силач, Слухач, Остроглаз, Ловкач и Скороход. Они больше всех рыдали у гроба Джамхуха, особенно убивался Скороход. На них люди обращали внимание.

— Что это за родственники Сына Оленя? — спрашивали они. — Мы думали, у него нет родственников...

— Это его товарищи, — отвечали пожилые чегемцы, — они помогли Джамхуху жениться на его первой жене, нынешней царице. А вот этот, который в золотых жерновах, каждую не-

делу бегал сюда. Помидоры таскал Гунде, а сейчас он первый царский гонец.

После похорон Джамхуха Скороход, чьи рыдания разрывали душу, вдруг на глазах у всех снял со своих ног золоченые царские жернова и швырнул их с такой силой, что они закатились в котловину Сабида.

Друзья Джамхуха — Сына Оленя посидели за поминальным столом, рассказывая друг другу о житье-бытье. Опивало пожаловался на своего старшего сына, который, оказывается, чрезмерно увлекается выпивкой.

— Мы тоже в свое время пивали, — говорил он, — но меру знали. Сегодняшняя молодежь меры ни в чем не знает.

— Это ты точно заметил, — сказал Слухач, уже и без глушилок ставший туговатым на ухо. — Я раньше, бывало, муравьиный язык понимал. А нынче молодежь говорит на такой тарабарщине, что ничего разобрать невозможно. Недавно к моему сыну приходят друзья, а он им говорит: «Ну что, кейфарики, гуднем в амфу?» — «Гуднем!» — радостно отвечают они. А я ничего не понимаю. Потом они мне объяснили, что к чему. Оказывается, «кейфарики» — это люди, которые кейфуют. «Амфой» они называют нашу амфору. До чего разленились, а? «Амфора» они уже не могут сказать! Им «амфу» быстрее подавай! Гуднуть в амфу — значит опустошить ее, чтобы она загудела, если в нее потом крикнуть. Как хотите друзья, но за этой тарабарщиной я чувствую не тот, не тот наклон мысли. А в наше время все было просто, благородно. Бывало — эх, времечко! — забре-

дут в гости друзья, а ты им: «Сокувшинники, уважим мою лозу?» — «Уважим, — отвечают они, дружно рассаживаясь. — Ох как уважим!» И сразу все ясно, красиво. И вы как бы не пьете, а как бы воздаете дань благодарности богу виноградарства и плодородия. И тут, конечно, совсем другой наклон мысли. А эти: «Кейфарики, гуднем в амфу!» А чего гудеть?! Гудеть-то, я спрашиваю, чего?! Ну, выпили, порезвились — и по домам! Если уж амфора опустела, гуди не гуди — ничего из нее не выгудишь!

— Друзья, — сказал Силач, — надо правде в глаза смотреть. Мы постарели. Мне и то сейчас не верится, что я когда-то мог пятерых великанов рядом уложить посреди двора.

— Какое время было, — вздыхали друзья, вспоминая свой поход, — как мы были молоды и счастливы шагать рядом с Джамхухом.

Старые чегемцы, помнившие, как пил Опивало, поставили перед ним кувшин с вином, но он велел его убрать, хотя и выпил пару кружек. Обьедало тоже едва съел свою порцию мамалыги.

— Эх, время, в котором стоим... — говорили старожилы Чегема, рассказывая молодым о застольных подвигах Опивалы и Обьедалы на давней свадьбе Джамхуха.

Друзья посидели за столом, сладко погрустили, вспоминая прошлое, и разъехались по домам. Хорошо, когда есть еще с кем сладко погрустить, вспоминая молодые годы, а бывает, друзья, и хуже, бывает, что и погрустить не с кем, вспоминая молодые годы.

Говорят, Скорохода больше никогда не видели при царском дворе. По слухам, он ушел за Кавказский хребет и там наконец женился на своей черкешенке.

После смерти Джамхуха по Абхазии прокатились народные волнения. Многие считали, что в убийстве Джамхуха замешан царь.

— Эх, потрясти бы Тыквоголового, — говорили некоторые, — так, чтобы у него из ушей повыскакивали тыквенные семечки! Он бы тогда признался, кто убил нашего Джамхуха!

— Ну да, — язвили по этому поводу другие, — остается самая малость: найти человека, который его потрясет.

— Джамхух и был таким человеком, — убеждали самые умные, — да не уберегли мы его.

Но царь сумел успокоить народ. Гонцы передавали его слова во всех городах и селах.

Вот эти слова:

— Величие царя, переименовавшего море, равно величю народного мудреца, нашего любимого Джамхуха. Отныне и навсегда мы даем своему первому придворному мудрецу звание Сына Оленя. А наша возлюбленная царица в знак траура на сорок дней отказывается есть помидоры.

И гонцы постепенно успокоили народ. Как ни смеялся народ над Тыквоголовым Красавчиком, все-таки он не подозревал в нем такого коварства, чтобы и убить и одновременно дать придворному мудрецу звание Сына Оленя.

Но недолго после этого царствовал и сам Феодорий. Из Византии вернулся его двадцатилетний сын Георгий. Заручившись поддержкой византийского императора, он устроил заговор и ночью, ворвавшись к отцу в спальню, зарубил его секирой. «Привет от дедушки», — говорят, сказал он при этом.

Мало того, что он сел на престол убитого им отца, он через год женился на золотоголовой Гунде, лицо которой все еще хранило немало следов былой красоты. Согласно известному учению, он должен был, убив своего отца, жениться на родной матери, но все византийские источники подтверждают, что он женился именно на Гунде, второй жене своего отца.

В годы царствования Георгия Свирепого — так прозвал его народ — жестокие войны, недороды и черная оспа косили людей. Дошло до того, что обыкновенная козлятина стала доступна только приближенным ко двору семьям.

В разгар всех этих неисчислимых бед Гунда вдруг забеременела и родила сына. После первого сына она в течение девяти лет рожала каждый год и иногда рожала сразу двойняшек. И были даже три таких года из этих девяти, когда она ухитрилась родить четыре раза.

— Породой сошлись, — говорили по этому поводу абхазцы, но уже далеко не так громко, как при Тыквоголовом.

А между тем, несмотря на все бедствия, постигшие Абхазию, ее международный престиж укрепился.

Особенно возвысился престиж Абхазии после того, как Византия в знак вечной дружбы с Абхазией переняла назва-

ние Черного моря и запретила своим подданным произносить старое название — Понт Эвксинский.

Народ, потрясенный бедствиями, постигшими страну, часто говорил:

— Это Великий Весовщик Нашей Совести разгневался на нас за то, что мы не уберегли Сына Оленя.

Ну что ж, может быть, народ был прав в своем позднем покаянии. Долг мудреца — помогать народу чтить свои святыни, не давать ему разнародиться в бессмысленную толпу. Долг народа — оберегать своего мудреца. Джемхух — Сын Оленя выполнил свой долг.

* * *

Вот что я слышал в детстве о Джемхухе — Сыне Оленя и теперь своими словами пересказываю здесь. Эта легенда или, может быть, правда, обросшая легендами, известна во всей Абхазии.

Но особенно чегемцы любили рассказывать о Сыне Оленя. Они гордились своим земляком, тем более что здесь сохранился зеленый бугорок, который все называют могилой Джемхуха — Сына Оленя.

Он расположен на чудном лугу недалеко от табачного сарая нашего выселка. Это ровный травянистый гребень холма, слева от которого начинается тропинка, ведущая в котловину Сабиды, а справа проходит верхнечегемская дорога.

Холм кончался обрывом, поросшим кустами держи-дерева, бирючины, ежевики. На краю холма рос огромный каштан, слегка наклоненный в сторону обрыва.

Сейчас там наше семейное кладбище. Но я еще помню то время, я был тогда совсем маленьким, когда на этом лугу — трудно поверить! — не было ни одной могилы.

Тут мы в начале лета собирали землянику, и я, случалось, красные ягоды срывал прямо с могилы Сына Оленя.

Здесь иногда устраивались сельские игрища. Мальчики-подростки и более взрослые парни с ножами в руках разгонялись изо всех сил и, вскакивая на слегка склоненный ствол каштана, делали несколько безумных шагов по стволу и с размаху, стараясь как можно выше, всаживали нож в ствол, а потом с какой-то звериной грацией успевали, обернувшись, оттолкнуться и спрыгнуть на край обрыва.

Потом бегали наперегонки от табачного сарая до каштана и обратно. Бегали и мальчики, и девушки, и мы, малышня, иногда с криками гонялись за ними.

Среди девушек нашего выселка была одна, которая легко обгоняла всех девушек и почти всех мальчиков. Она и сейчас перед моими глазами бежит, бежит, бежит, и высокая трава с голубыми колокольчиками, сизовой полынью, веерками папоротников хлещет по ее голым босым ногам, а она все бежит какой-то особой, порывисто-плавной побегой, словно захочет — и быстрее припустит. И на чистом ее лице, на бессмертном, как я теперь уже знаю, ее лице, никакой гримасы

напряжения, а только сияние радости, словно сама скорость обращается в сияние радости и сама радость благодарно подхлестывает скорость.

Тогда у меня в душе, десятилетнего мальчика, возникла таинственная догадка, что она дальний потомок Сына Оленя. Но я об этом никому не говорил, стыдясь, что меня засмеют.

Однажды, когда она бежала, я вдруг почувствовал какой-то пронзительный, холодящий горло восторг, желание схватить ее хищнеющими пальцами и заново вылепить, что ли, придав ее побежке окончательную прочность. Вероятно, это был первый, еще не осознанный порыв к творчеству.

Но сейчас в моей памяти порой странно, как во сне, сдвигаются времена, и я одновременно вижу бегущих от табачного сарая до каштана и обратно и вижу печальные и скромные могилы, в которых уже лежат некоторые из бегущих — и огнеглазый Адгур, и сестра его, гордая скромница Люба, и милая Софичка.

А они пробегают мимо своих могил, не замечая их, притормаживают у каштана, шлепают мелькающей ладонью по стволу и назад, назад в порыве азарта, снова не замечая своих могил, уже убегая от них все дальше и дальше, радостно закинув головы, победно, невозвратно!

32. дерево детства

Я люблю деревья. Мне кажется, дерево — одно из самых благородных созданий природы. Иногда я думаю, что дерево

не просто благородный замысел природы, но замысел, призванный намекнуть нам на желательную форму нашей души, то есть такую форму, которая позволяет, крепко держась за землю, смело подниматься к небесам.

Миролюбивая мощь дерева учит нас доброте и бескорыстию. Если дерево не плодоносит, если оно, так сказать, принадлежит к холостяцкому роду, то оно, по крайней мере, дарит нам свою тень в летнюю жару. Само понятие о плодоносности деревьев связано с нашими эгоистическими соображениями. В сущности, все деревья плодоносны, просто не всякий плод съедобен для человека.

В жизни мне нравились многие деревья, и я, дойдя до зрелого возраста, храню о них самые нежные воспоминания.

Я хорошо помню деревья из нашего городского, зажатого домами полугорода-полусада. Помню большую, медленно усыхающую (на детство хватило) грушу, с которой однажды я падал и, летя вдоль ствола, хватался за ветки, которые хотя и обламывались, но настолько притормозили мое падение, что я все-таки перед землей ухватился за крепкую ветку и удержался на ней.

Помню большое дерево дикой хурмы, которое росло в этом же огороде, помню айву — крепкую, маленькую, узловатую, как мускулистый старичок, помню персиковое деревце, со стволом слабым и гибким, как девичий стан, помню инжирное дерево с лопухими листьями и с плодами, сладкими, как первородный грех.

Но больше всех остальных деревьев я любил ореховое дерево, росшее в котловине Сабиды. Это было огромное дерево с огромным дуплом, опаленное снизу наивными деревенскими комсомольцами тридцатых годов. Они хотели его уничтожить, но сделали это достаточно безалаберно, а может быть, само дерево было слишком стойким и сильным и не поддавалось огню.

Кстати, задолго до этого его ударила молния и, опалив, убила часть его ветвей, обращенных к востоку, но зато остальные ветки по-прежнему цвели и плодоносили и не только орехами, но и виноградом «изабелла», лоза которого сначала прямо подымалась до первой ветки, а потом могучими витками тянулась к вершине, по дороге разбрасывая свои плети со свисающими с них плотными виноградными гроздьями.

Было похоже, что убить этот могучий орех не смогли ни земные, ни небесные силы. Он продолжал жить и плодоносить, и крестьяне, жившие поблизости, называли его молельным деревом и устраивали ему жертвоприношения, то есть резали козленка или барана у его подножия и тут же, разделав шкуру, варили мясо, съедали его всей семьей, а иногда и со случайными путниками, оказавшимися на нижнечегемской дороге.

В предвоенные годы я каждое лето проводил в доме душишки. И каждый раз в конце августа, когда мы уезжали из деревни, чегемский виноград только начинал румяниться, и это было тогда обидно до слез. Особенно было обидно от то-

го, что, спускаясь из Чегема, мы видели, как по дороге вниз виноград чуть ли не с каждым шагом делается все зрелей и зрелей, а внизу, поблизости от реки Кодор, он делается совершенно черным.

Когда виноград начинал розоветь на деревьях Чегема, я ходил, задрав голову, вглядываясь в розовеющие кисти и чуть ли не до галлюцинации ища среди них поспевающие гроздья. Иногда прошлогодний пожухлый лист, случайно застрявший в сплетении ветвей и лозы, я принимал за почерневшую гроздь винограда, сердце радостно екало, но этого хватало только на несколько мгновений, потому что, вглядевшись, я неизменно обнаруживал свою ошибку.

Тем не менее я неустанно продолжал оглядывать деревья, на которых вился виноград, как юноша, готовый влюбиться, оглядывает девушек, проносящихся мимо него.

Однажды я все-таки заметил, что виноград, свисающий с одной из верхних ветвей молельного ореха, почти спелый. Черно-розовые гроздья, соблазнительно высвечиваясь, выделялись в густой зеленой листве могучего дерева.

В тот миг я почувствовал порыв вдохновения, может быть, самый сильный за всю мою жизнь. Я подошел к подножию дерева и стал по лозе, как по канату, подниматься вверх. Другого пути не было. Обхватить дерево руками или ногами было совершенно невозможно.

С большим трудом я добрался до первой ветки. Усевшись на ней верхом, я передохнул и стал соображать, как

быть дальше. По лозе дальше подыматься было невозможно, потому что здесь она закручивалась вокруг ствола. Сам ствол был еще слишком толстым, чтобы карабкаться по нему.

Я оглядел ветку, на которой сидел, и заметил, что вершина ее почти упирается в следующую ветку, которая растет метров на пять выше. Сидя верхом на нижней ветке, я докарабкался до того места, где она приближалась к следующей ветке, и, привстав на свою ветку, ухватился за верхнюю и стал изо всей силы пригибать ее к себе, чтобы почувствовать, не сломается ли она потом, когда я на ней повисну. Я почувствовал, что она меня выдержит, хотя все еще боялся, что она обломится.

Все еще испытывая сильный страх, я уцепился за нее руками и ногами и сумел, подтянувшись, сесть на нее. В этом месте ветка пружинила и качалась, и каждое ее движение вызывало во мне волну тошнотворного страха. Но чем ближе я подбирался к стволу, тем меньше она качалась, и постепенно страх прошел. В том месте, где ветка отделялась от ствола, я уселся отдохнуть, опершись спиной о ствол.

Внезапно, рябя крыльями и крича дребезжащим голосом, в крону ореха влетела сойка и уселась недалеко от меня на той же ветке.

Заметив меня, она просидела еще некоторое время, вероятно, для того, чтобы показать, что она меня не испугалась. Затем, снова издав безобразный крик и задев крыльями листву, она вынырнула из кроны и улетела.

Здесь лоза прямо подымалась до следующей ветки, и я, отдохнув, стал карабкаться по ней. Хотя лоза здесь была потоньше и потому удобней обхватывалась руками, а расстояние, на которое надо было передвинуться, было меньше, чем то, которое я прокарабкался в первый раз, страх, вызванный высотой, сковывал мышцы, и я с трудом дополз до следующей ветки и долго там отдыхал, вытряхивая из-за пазухи вышелушенный моими ладонями сухой мусор лозы.

Чем выше я подымался, тем меньше оставалось просветов между ветками, в которые можно было разглядеть землю. Наконец земля полностью исчезла, скрытая густой зеленью веток, и стало почти не страшно. Исчезло ощущение глубины возможного падения.

Вдруг я услышал где-то над моей головой знакомый скребущий звук: крр... Я много раз слышал этот звук в лесу и никогда не мог понять, откуда он берется. В конце концов я решил, что звук этот возникает при трении какой-то сухой ветки о сухую ветку. Бывало, когда услышу этот звук, стараюсь связать его с порывами ветра, прошумевшего в листьях деревьев. Иногда он и в самом деле совпадал с порывами ветра, но чаще всего не совпадал, но так как я не мог найти другого объяснения, то продолжал считать, что это ветка трется о ветку.

Снова раздался знакомый, близкий звук: кррр! Я поднял голову и увидел прижавшегося к стволу красноголового дятла. Трудно было поверить, что эта маленькая птица

может вызвать такой громкий, далеко идущий звук скрежещущего дерева. Я замер, стараясь остаться незамеченным, и дятел, несколько раз посмотрев по сторонам, вдруг ударил клювом по стволу дерева и раздался знакомый звук: кррр... Казалось, после первого удара клювом о ствол остальные удары получаются по инерции. Как будто после первого удара дятел просто не может остановить трясушейся головы, и она, сотрясаясь, еще несколько раз долбит клювом по стволу.

Звук этот ничего общего не имеет с деловитым стуком, который обычно слышится, когда дятел долбит кору дерева в поисках пищи. Сейчас он явно ее не искал, и звук мог означать какой-то сигнал или песню торжества.

Заметив меня, он некоторое время проследил за моим поведением и, найдя его довольно безопасным, несколько раз извлекал из усохшей части ствола этот странный звук.

Я подумал, что птицы, видя человека на дереве, меньше его боятся, чем тогда, когда его видят на земле. Он как бы делается обитателем их среды, и часть их страха, вероятно, поглощается усилившимся любопытством. Так, бывало, и в море во время ныряния я замечал, что рыбы иногда без особого страха с любопытством разглядывают тебя.

Но вот красноголовый дятел улетел, и я продолжил свое путешествие вверх по стволу. Наконец я добрался до ветки, на вершине которой провисали виноградные гроздья, начинавшие поспевать. Как эти гроздья заворажива-

ли взгляд: розовые, красные, особенно черно-лиловые, уже поспевающие!

Но добраться до них все еще было нелегко. Надо было пройти до конца ветки и уже там, ухватившись за виноградную плеть, подтянуть к себе эти гроздья.

У основания ствола я сел верхом на ветку и стал медленно приближаться к ее концу. Двигаться было не очень страшно, потому что земля была полностью скрыта зеленью нижних веток.

Добравшись почти до конца ветки, я осторожно приподнялся и схватил рукой верхнюю ветку, которая здесь довольно близко подходила к ней. Я почувствовал, что стою достаточно устойчиво; мои босые ноги упираются в слегка пружинящую ветку, а руками я держусь за верхнюю. Проверив в достаточную устойчивость своего тела, я потянулся одной рукой к виноградной кисти и дотянулся до нее с великим трудом. Она сопротивлялась, пружинила, и мгновеньями казалось, что рука, которой я держался за верхнюю ветку, вот-вот не выдержит, и я, сорвавшись, полечу вслед за изогнутой, как тугой лук, виноградной плетью. В конце концов я подтянул ее к себе, и вот перед самым моим лицом покачиваются гроздья винограда, на которые я, облизываясь, любовался с земли.

Но теперь обнаружилось новое препятствие: обе мои руки были заняты. Одной рукой я продолжал держаться за верхнюю ветку, а другой напряженно удерживал все еще старающуюся оттянуться виноградную плеть.

В отчаянье я наклонился и стал выкусывать из гроздей наиболее спелые виноградины, хотя было это очень неудобно, и иногда в рот попадали вместо зрелых совсем зеленые.

Наконец я догадался подтянуть виноградную плеть к верхней ветке и, продев в нее правую руку (мгновенье дикого страха), снова схватился за ветку, и моя левая рука теперь была свободна.

Я выщипывал из сочных гроздей самые спелые виноградины и отправлял их в рот. Я торопился, чувствуя, что ноги мои уже подрагивают от напряжения и правая рука, вцепившаяся в ветку и еще держащая в локтевом сгибе туго натянутую виноградную плеть, тоже начинает уставать.

Но какое это было блаженство есть недозрелый виноград, пахнувший так, как может пахнуть только «изабелла», чувствовать, как сладостно проскальзывает в горло его кисло-сладкая плоть, слышать, как звучно шлепаются на листья ореха выплунутые шкурки виноградин, прислушаться к далекому звону колоколец коровьего стада, к гулкому биению в тишине собственного сердца. Не знаю, сколько длилось это блаженство, но его внезапно оборвал грубый окрик:

— Ты куда залез?! Сейчас же слезай!!!

На гребне горки, с которой начиналась котловина Сабида, стоял дядя Кязым.

До сих пор не могу понять, почему я так испугался его голоса. В ужасе, что я застигнут на дереве, я бросился слезать

с него. Когда я отпустил виноградную плеть, она с шумом вырвалась из моих рук, и виноградный дождь, хлопая по листьям, посыпался вниз.

Мой панически быстрый обратный путь сопровождался несколькими выкриками его, которые я не мог разобрать за шумом моего спуска. По-видимому, он мне кричал, чтобы я спокойнее спускался, но я не расслышал его слов.

В тот вечер я услышал от дяди самую приятную похвалу, которую я когда-либо слышал в свой адрес. Он сидел в кухне перед очажным огнем и, кивнув в мою сторону, сказал маме:

— Этот твой сегодня на такое дерево взобрался, куда ни один горожанин не посмел бы, хоть соберись они гурьбой под этим орехом...

Мама, конечно, стала меня ругать, но я был счастлив, что дядя Кязым, обычно такой насмешливый, меня похвалил.

* * *

Я вспоминаю дождливый вечер сорок второго года. Мы сидим и ужинаем у горящего очага. Дяди нет, он мобилизован рубить дрова. Вдали от дома, на самом косогоре, нависающем над котловиной Сабида, лают собаки — наши, соседские. Но мы на это не обращаем внимания, мало ли что собаки могут учуять в котловине Сабида.

— Ша, — вдруг говорит тетушка и, перестав есть, прислушивается к ночной темноте, к распахнутой двери кухни.

Мы перестаем жевать и прислушиваемся вместе с ней, но ничего, кроме шума дождя, отдаленного лая собак и еще более отдаленной, где-то там за перевалом, артиллерийской канонады, ничего не слышим. В распахнутой двери стоит тетушка и, неподвижная от напряжения, прислушивается к чему-то.

— Вроде что-то послышалось, — говорит она и, возвратившись в кухню, усаживается за наш низенький столик. Все продолжают есть.

— Ша, — вдруг снова она останавливает нас и теперь выходит на открытую веранду, — вроде чей-то голос слышится...

Мы снова перестаем жевать и прислушиваемся к ночи. Но ничего, кроме шума дождя, лая собак и отдаленной канонады с перевала, нельзя различить.

— Вроде чья-то корова мычит, — говорит тетушка, но мы ничего не слышим. У тетушки самый острый слух.

Мы все, нас четверо детей, выходим на веранду и слушаем. В кухне остается только дедушка.

Сначала мы ничего не слышим, но через некоторое время, когда собачий лай становится едва различимым, собаки побежали вниз к котловине Сабида, мы слышим, до нас доносится жалобное мычание:

— М-му-уу!

— Чья-то корова застряла в лесу, — говорит тетушка, — видно, ее широколапый терзает...

Мы снова прислушиваемся. Сквозь порывы ветра шум дождя то усиливается, то слабеет. В свете молнии я замечаю в соседнем доме одинокую фигуру нашей двоюродной сестры Лилиши. Она тоже стоит на веранде и слушает ночь. Мать и отец ее давно умерли, единственный родной брат ее Чунка, служивший где-то на западной границе, видимо, погиб, от него нет ни письма, ни весточки с начала войны.

Мы снова прислушиваемся к ночи. И теперь вдруг отчетливо доносится жалобное, как бы зовущее людей:

— М-му-уу!

— Вернули бы мне молодость хоть на день, — говорит из кухни дедушка, — я бы показал ширококолапому..

— Да помолчи ты! — отмахивается от него тетушка, и мы снова прислушиваемся к ночи, к шуму дождя, сквозь который снова доносится:

— М-му-уу!

— Пропала, бедняга, — говорит тетушка, — как жаль, что хозяина нет..

Она имеет в виду не хозяина коровы, а своего мужа дядю Кязыма. Он бы обязательно спустился с ружьем и, наверное, убил бы медведя, но его сейчас нет дома, он в селе Атара рубит лес. Я представляю себе, как в эту жуткую темень, дождь дядя спускается с ружьем в котловину Сабида, и мне становится не по себе. Я чувствую, что я бы ни за что не осмелился это сделать: ночь, жуткий дождь, крутая тропинка, ведущая в котловину, и там где-то в глубине ее разъяренный медведь убивает корову...

Из козьего загона, он отсюда не виден, доносится бряканье колокольца и глухой шум. Уж не напал ли кто на коз?

— Беспокоятся, чувуют... — говорит тетушка, глядя в темноту.

— Эгей, Адгур, — кричит тетушка в темноту, — вы что-нибудь слышите?!

Она кричит в сторону дома Исы, одного из братьев мужа. Там сейчас живут только брат и сестра. Остальные — отец, мать, старшая сестра — все умерли от туберкулеза. Болен и Адгур, и только Зарифа, его сестра, не тронута болезнью.

— Слышим, слышим! — кричит оттуда Зарифа. — Корова из котловины Сабида.

— Ваш скот на месте? — кричит тетушка в темноту.

— На месте, на месте! — доносится голос Зарифы.

— Эй, вы, что там случилось? — кричит тетя Маша, услышав перекликающиеся голоса.

Тетя Маша со своим семейством живет в низинке, недалеко от родника, и туда звуки, доносящиеся из котловины Сабида, не доходят.

— Чью-то корову терзает широколапый, — кричит тетушка Нуца, — ваш скот на месте?

— На месте! На месте! — хором вместе с тетей Машей отвечают ее дочери.

На несколько минут все смолкает, и только слышен шум дождя и далекая с перевала канонада. Потом снова из козьего

го загона доносится лихорадочное бряканье колокольца и шум встревоженного стада.

— Боятся... чувят... — говорит тетушка. Потом козы смолкают, и из котловины Сабиды снова доносится мучительный рев:

— М-му-уу!

— Да что это он так долго с нею возится? — говорит Ремзик, самый младший из нас.

— Значит, корова сопротивляется, — отвечает ему сестричка.

— Разве может корова сопротивляться медведю, — спрашивает Ремзик, — дедушка, разве может?

— То-то же она сопротивляется, — говорит дедушка из кухни, — мне бы на один часок вернуть молодость, я бы показал этому широколапому...

— Да тише вы, — прикрикивает на них тетя Нуца, — и так ничего не слышно.

В фиолетовой вспышке молнии высвечиваются наклонные струи дождя, огромная крона грецкого ореха и одинокая фигура Лилиши на веранде ее дома.

Раздается резкий удар грома, и словно от этого удара в небе появились новые прорехи, оттуда устремились новые струи дождя.

— Совсем лопнуло, — кивает тетушка на небо, — гори оно огнем...

— Масло льется, масло, — как бы отвечает на ее слова дедушка, имея в виду, что дождь очень нужен сейчас полям и огородам.

Сейчас сквозь шум дождя доносится далекий голос человека. Голос подымается из низины, где живут ближайшие соседи нашего выселка. Кто-то оттуда кричит, но здесь у нас невозможно разобрать слов. Тетя Маша живет к ним ближе всех, она и отвечает.

— Чью-то корову медведь терзает, медведь! — кричит им тетя Маша.

— Корова не может сопротивляться медведю, — тихо говорит Ремзик, — сопротивляться медведю может только буйвол.

— Буйвол не может, — отвечает ему сестричка, — может буйволица, и то, если у нее есть маленький буйволенок...

— Эй, Нуца, — доносится из соседнего дома голос Лилиши, — я боюсь ночевать одна, я к вам приду...

— Конечно, приходи, — отвечает ей тетушка.

Лилишу все любят, потому что она добрая, услужливая девушка и к тому же совсем без родных. Она не верит, что ее брат погиб, она думает, что он в партизанском отряде или, в крайнем случае, попал в плен.

В свете молнии видно, как Лилиша перебегает двор, прикрыв голову мешковиной. У самого дома ее настигает гром, и она, громко ойкнув от страха, вбегает на веранду, где все, кроме дедушки, стоят и слушают стон коровы, доносящийся из котловины Сабида.

— Пошли ужинать, — говорит тетушка, — все равно ничем тут не поможешь...

— Я уже ужинала, — говорит Лилиша и, оставив свою мешковину на веранде, вместе со всеми входит в кухню.

— Не лопнешь, — говорит ей тетушка Нуца, — поешь с нами хотя бы мамалыгу с кислым молоком...

— Нет, нет, — отвечает Лилиша, — я совсем не хочу есть.

— Ну, ладно, как знаешь, — говорит тетушка и дает всем кислое молоко в железных мисках. Я сразу же кладу остатки моей мамалыги в миску и, помешивая костяной ложкой, превращаю эту смесь в невероятно вкусную кашу. Несмотря на тревогу и жалость к неведомой корове, терзаемой медведем, я чувствую предательский аппетит и с наслаждением ем мамалыжную кашу. Остальные дети тоже с таким же аппетитом едят мамалыгу с кислым молоком. Никто не оставляет ни крошки, потому что порции мамалыги уменьшены: война, не хватает кукурузы.

— Пойдем со мной, — говорит мне тетушка, — посмотрим коз.

— Хорошо, — отвечаю я.

Тетушка зажигает керосиновый фонарь, накидывает на себя дядин старый плащ, я набрасываю на себя дядин ватник, и мы выходим во двор. Впереди тускло мерцает прикрытый полой плаща фонарь. Мы выходим со двора и на пути к козьему загону осматриваем подножие орехового дерева, где обычно ночью располагаются коровы. Здесь почти сухо. У подножия ореха стоят все три коровы, и видно, что они прислушиваются к тому, что происходит в котловине Сабида. Ни одна из них не жует жвачки. Обычно

в такое время они лежат у подножия грецкого ореха и жуют свои жвачки.

Мы проходим коров и подходим к строению из плетеных ветвей рододендрона. Это загон для коз, примерно на полтора метра приподнятый над землей. Здесь живут козы почти круглый год, за исключением нескольких самых холодных зимних месяцев, когда их держат в сарае. По звону колокольцев и шуму, доносящемуся оттуда, видно, что козы ведут себя беспокойно.

По наклонному мостику, сделанному из того же плетеного рододендрона, мы поднимаемся к дверям загона, и тетушка приподымает фонарь. Увидев нас, козы перестают волноваться и неподвижно смотрят в нашу сторону. Все козы стоят, и вид у них растерянный, и понятно, что они обеспокоены тем, что происходит в котловине Сабида. В свете фонаря, высвечивающем из темноты то одну, то другую группу коз, они смотрят на нас с какой-то робкой надеждой. Тетушка проверяет, крепко ли закрыта дверь, и, несколькими ласковыми словами успокаивая коз, мол, не бойтесь, дурочки, вам ничего не угрожает, идет вниз, и я следую за ней.

Дойдя до веранды, она гасит фонарь и, отряхнув с плаща дождевики, вешает его на кухне. Я тоже вешаю дядин ватник и усаживаюсь на скамью возле огня. Стол уже убран, и все дети и Лилиша сидят возле очага. Дедушка лежит на своей лежанке. Тетушка ставит возле огня кувшинчик с водой, потом достает таз, ставит его у наших ног и приказывает:

— А ну-ка, ноги мыть!

Мы поочередно моем ноги, влезаем с ногами на скамью и сушим их. Моя ровесница, старшая девочка Ризико, ухаживает за нами: подливает воду в тазик, сливает ее, греет кувшинчик. Последней она сама моет ноги, и мы, что попало надев на ноги, переходим в чистую половину дома. Ремзика мать переносит на руках.

Мы останавливаемся на веранде и снова прислушиваемся к ночи. Через некоторое время сквозь шум дождя снова доносится стон коровы. Мы продолжаем прислушиваться, и снова сквозь шум дождя, сквозь далекий надрывный лай собак, сквозь приглушенный шум канонады доносится стон коровы. Я заметил, что промежутки между ее стонами все время медленно увеличиваются. Сейчас между ними прошло не меньше десяти минут.

Мы покидаем холодную веранду и входим в дом. Ремзика с сестричкой укладывают в одной комнате со мной. Старшая сестра с Лилишей ложатся в комнате, где обычно спят дядя и тетя. Тетя сейчас спит в большой комнате, в зале. Всем остальным там спать было бы страшно: на стенах портреты умерших родственников, сами стены время от времени почему-то потрескивают, а тут еще медведь где-то корову терзает...

Дождь стучит о крышу, изредка погромыхивает гром. Под одеялом уютно и страшно. Ремзик и Зина, положенные валетом, никак не угомонятся, шуршат одеялом, тихо спорят.

— Я вот сейчас тебя в зале уложу! — грозит мать из другой комнаты.

— Она у меня все одеяло стаскивает, — жалуется он.

— Бессовестный, он врет, — говорит сестричка.

Постепенно они угоманиваются, затихают. Из маленькой комнаты слышно, как шепчутся Лилиша и Ризико. Из залы слышится, как тетушка несколько раз дует в лампу, и полоска света в дверной щели исчезает. Из маленькой комнаты все еще доносится шепот Ризико и Лилиши.

Дождь стучит о крышу, порывы ветра то как бы приближают шум дождя, то отдаляют. Под одеялом необыкновенно уютно, тепло, и дремота охватывает меня.

На следующее утро солнце сверкает на мокрых листьях деревьев, на траве, на стеблях ожившей от обильной влаги кукурузы. Мы, дети, спускаемся в котловину Сабида. Конечно, взрослые здесь уже побывали раньше нас. На крюках, вбитых в ствол молельного ореха, повешено несколько кусков мяса, видимо, все, что осталось от коровы.

Отсюда сверху видна большая площадка, вытопанная среди зарослей папоротника. Здесь, видно, он напал на нее, а она пыталась вырваться, а он волочил и терзал ее.

На этом же склоне пасутся коровы. Время от времени от стада отделяется корова, подходит к молельному ореху и, вытянув голову и жалобно промычав на подвешенные остатки коровы, проходит мимо. Потом она начинает пастись, словно как-то неохотно обрывает пучки травы, а потом, словно захваченная привычным делом, начинает с ровным усердием рвать траву. А в это время другая корова, отделившись от стада, подходит к молельному ореху, чтобы, вытя-

нув голову, с прощальной скорбью промычать над останками погибшей... Пораженные этим странным зрелищем, мы долго стоим и смотрим.

* * *

О том, что у меня начинается приступ малярии, я смутно догадывался еще под сенью молельного ореха, когда сбивал палкой неспелые орехи в толстой зеленой кожуре с мягким незрелым ядрышком. Сегодня эти ядра казались безвкусными, даже отдавали горечью.

Стараясь убедить самого себя, что никакой малярии у меня нет, я залез в кусты ежевики и стал есть спелые, чернильного цвета ягоды, но они тоже казались мне безвкусными, отдавали запахом каких-то неведомых насекомых.

К тому же я начинал дрожать от холода, хотя в летний полдень стоял на солнцепеке. Я все еще старался внушить себе, что это не малярия, что это мне только так кажется, что у меня начинается приступ.

Чтобы вернуть себе полноценное ощущение вкуса спелой ежевики, я набрал себе полную горсть и высыпал ее в рот. В самом деле на этот раз я почувствовал сладость ежевики, хотя несносный запах каких-то насекомых, садившихся на ягоды, все-таки остался.

Внизу за молельным орехом в чащобах ложбины раздавался звук колокольца. Там паслись козы. Я понимал, что ес-

ли и в самом деле начнется приступ малярии, то мне лучше всего быть дома. Я решил выгнать стадо из чащобы и вернуться домой.

Я спустился вниз и стал сгонять коз, рассеявшихся в кустах ежевики, мелкого лесного ореха, в зарослях кизила, лавровишни и папоротников. «Хейт! Хейт!» — кричал я, иногда бросая камни в самые непроходимые заросли, откуда упрямо не хотели выходить козы, зная, что я не могу проникнуть туда. На самом дне котловины журчал водопадик, стекающий по деревянному желобу из скальной расщелины. Вода здесь была ледяная. Сейчас, наткнувшись на него, я вспомнил рассказ одного пастуха, который говорил, что, если в самом начале малярийного приступа вымыться в ключевой воде, малярия может покинуть твоё тело.

Я бросаю свой топорик, раздеваюсь догола и после некоторых колебаний, сжав зубы, становлюсь под туго бьющую в спину, в затылок, в голову ледяную, долбящую болью холода струю. От нестерпимого холода у меня перехватывает дыхание, воздух застревает в груди, и я выскакиваю из-под струи.

Передохнув, я снова лезу под струю и снова выскакиваю. С каждым разом тело мое все больше и больше осваивается с ледяной струей, и на четвертый или пятый раз вода мне не кажется такой уж холодной.

В самом деле, ключевая вода так меня взбудрила, что я поверил в то, что малярия покинула мое тело. Я решил не идти

домой, а оставаться здесь с козами до вечера. Обед мне должны были принести сюда.

Я почувствовал такой прилив сил, что решил срубить небольшое деревце бука, росшее рядом. Я решил угостить коз свежими буковыми листьями. Я взял в руки топорик и стал рубить деревце. Услышав звук топора, козы стали собираться вокруг меня, поглядывая на деревце и нетерпеливо ожидая, когда оно свалится. Через некоторое время ствол заскрипел и медленно повалился. Козы облепили его со всех сторон, жадно объедая его листья.

Я оделся и, стоя возле коз, с удовольствием следил, как они жадно объедают свежие буковые листья. Через некоторое время я снова почувствовал озноб и, выбрав место, где солнце пробивало крону деревьев, сел там, чтобы погреться.

— Эй ты, — услышал я голос своей двоюродной сестрички, той, что была помладше меня, Зиночки, — я тебе принесла обед.

По голосу ее понятно было, что она стоит у подножия молельного ореха.

— Иди сюда, я здесь! — закричал я в ответ.

— Я боюсь, — закричала она, — ты будешь прятаться!

В самом деле я ее часто пугал тем, что прятался от нее в лесу, и ей становилось страшно.

— Не бойся, я не буду! — кричу я ей в ответ.

— Поклянись! — кричит она сверху. Я чувствую, что она от меня не отстанет, пока я не поклянусь.

— Клянусь всеми! — кричу я.

— И теми, что на фронте? — уточняет она, подумав.

— И теми, что на фронте! — кричу я в ответ.

Время от времени окликая меня, чтобы увериться в том, что я никуда не переместился, она спускается вниз. Хотя меня колотит озноб, все-таки мне жалко терять такую возможность поугаать ее, но я никак не могу решиться, неохота сдвигаться с места, покидать солнечное пятно, и она появляется из-за кустов, озираясь и осторожно поводя своим круглым, румяным лицом.

Она принесла мне кусок вареной тыквы и небольшую бутылку молока. Я вижу, что она не удержалась и по дороге отъела от моей тыквы порядочный кусок, да и молоко явно отпила.

Она смотрит мне в глаза, чтобы определить, догадался я или нет, что она отъела кое-что от моего обеда. Но мне сейчас совсем неохота есть, и я делаю вид, что ничего не заметил. Я начинаю есть тыкву и, запрокидывая бутылку, отпиваю из нее несколько глотков. Молоко кажется невкусным, а тыква горчит. Я насильно заставляю себя есть. Сестричка следит за мной и догадывается, что мне не хочется есть.

— Если тебе противно, давай я за тебя доем, — говорит она.

Я еще некоторое время стараюсь есть, зная, что надо есть, чтобы не ослабнуть. Но в конце концов у меня не хватает силы воли.

— На, — говорю я и отдаю ей остатки молока и тыквы.

— А почему ты не хочешь? — говорит она, сначала взяв у меня бутылку с молоком, а потом кусок недоеденной тыквы.

— Наверное, у меня малярия, — говорю я, — что-то меня знобит.

— Правда, — соглашается она, отгрызая кусок тыквы и запивая ее молоком, — ты стал желтым, как эта тыква...

Мне почему-то неприятно это ее замечание, особенно потому, что я мысленно сравниваю ее румяное хорошенькое личико и всю ее здоровую, крепкую, босоногую фигуру со своим, должно быть, жалким видом.

— Гляди, у тебя и ногти посинели! — вдруг говорит она, тыча на мои пальцы. В самом деле, у меня от озноба посинели ногти.

— Я пойду домой, — говорю я, — а ты оставайся с козами.

— Я ни за что здесь не останусь одна! — говорит она, быстро озираясь и придвигаясь ко мне. Я оглядываюсь и как бы многозначительно киваю неким потусторонним силам, с которыми я в сговоре и которые могут с нею расправиться.

— Я же знаю, что там ничего нет! — говорит она, быстро взглянув в ту сторону, куда я смотрел. — Я же знаю — это ты нарочно пугаешь меня!

Она еще ближе придвигается ко мне и смотрит мне в глаза, стараясь уловить мгновенье, когда я буду переглядываться с этими ненавистными ей, хотя, может быть, и выдуманнами мной существами.

Но я себя до того скверно чувствую, что мне толком даже подразнить ее неохота. Я встаю и, взяв в руки топорик, начинаю гнать коз наверх. Козы медленно, время от времени слегка разбредаясь, поднимаются наверх. Моя сестричка, стараясь держаться недалеко от меня, собирает по пути ежевику и часть ягод заталкивает в бутылку. Ежевики так много, что, покамест мы доходим до подножия молельного ореха, у нее полна бутылка ягод. Она встряхивает ее изо всей силы, чтобы ягоды истекли соком, а потом запрокидывает бутылку, пьет из нее ежевичный сок.

— Хочешь? — предлагает она мне, с трудом переводя дыхание. Губы у нее измазаны соком ежевики.

— Нет, — говорю я и гоню дальше коз. Все, что она сейчас делает, кажется мне выражением силы и здоровья. В сущности, так оно и есть. Мне это и приятно видеть и в то же время завидно, потому что сам себе я кажусь жалким и бессильным.

Через полчаса, пригнав коз к дому, я вхожу во двор и вижу тетушку, выходящую из кухни. Слух ее привлекло бряканье колокольцев, и она, увидев меня, не знает, что и подумать.

— У него малярия началась! — выпаливает Зина, стараясь опередить меня и первой рассказать новость.

— Малярия? Ай, бедняга, — говорит она, и я чувствую, как сейчас сразу раздвоилось ее внимание: она и жалеет меня и в то же время думает, что же делать с козами, их ведь кто-то должен пасти до вечера.

Тетушка укладывает меня в залу, кладет на меня сразу два одеяла. Меня продолжает колотить озноб, но постепенно я согреваюсь. Мне делается все жарче и жарче, и уже голова наполняется тяжелым огнем, и я боюсь ею шевельнуть, потому что боль усиливается, разгорается от каждого движения.

Я сбрасываю с себя тяжелые одеяла, и меня накрывают простыней. Мне дают градусник, я сую его под мышку. Через некоторое время выясняется, что у меня температура сорок один и пять десятых.

Я слегка горжусь своей температурой, тем более что тетушка и все остальные ее пугаются. Они не знают, что у меня во время малярии всегда бывает очень высокая температура. Они думают, что при температуре сорок два градуса человек умирает. Я-то уверен, что я не умру и при такой температуре, но мне приятно, что они так обеспокоены моей приближенностью к смертельной черте.

На голову мне кладут мокрое полотенце, которое сменяют каждые десять—пятнадцать минут. Старшая девочка Нуцы, моя сверстница Ризико, сидит возле меня и обмахивает меня яблонево́й веткой, облегчает мне дыхание, отвеивает духоту.

Часа через два я в каком-то полубредовом состоянии и иногда путаю людей, которые входят и выходят из комнаты, где я лежу. Я вижу в распахнутые двери, как человек входит в наш двор и приближается к дому, потом всходит на крыльцо, проходит веранду и входит в комнату. И пока он

проделывает все это, я на него смотрю и вижу, как облик его несколько раз меняется. То он похож на одного человека, то на другого, потом на третьего, и только, пожалуй, когда он входит в комнату, где я лежу, облик его окончательно устанавливается. Так бывает только во сне, и состояние мое похоже на сон, только с открытыми глазами.

Ночью я сильно потею, и мне делается легче. Температура тридцать девять. Я слышу голоса на веранде и узнаю среди них сладкогласую знахарку. Она предлагает: напоить меня мочой козы без единого черного волоска. По ее уверению, эта моча разрушит в моем желудке гнездовье малярии.

Мне дают сменить трусы и майку, меняют насквозь промокшее постельное белье, я выпиваю, приглядевшись, чтобы мне чего не подсунули, большую кружку кислого молока с водой и засыпаю тяжелым сном.

На следующий день приступ не возобновляется, но я, весь разбитый, с чугунной головой, лежу под яблоней на коровьей шкуре. Тетушка предлагает мне выпить мочу козы без единого черного пятнышка (у нас почти все козы такие), но я отказываюсь.

На следующий день снова начинается приступ, и тетюшка наконец меня уговорила выпить мочу белой козы. Собственно, меня и не пришлось особенно уговаривать. Предчувствуя ужас позавчерашних страданий, я готов сделать все, чтобы облегчить свою участь.

Меня почему-то занимает технология добычи мочи, и я правильно догадываюсь, что это легче всего сделать в узком загоне,

где козы, сгрудившись, близко стоят друг от друга. Скорей всего мочу берут у коз, потому что они, привыкшие к доению, легко подпускают к себе человека.

Тетушка приносит мне примерно половину поллитровой банки, и я, зажав дыхание, выпиваю несколько больших глотков. Таз, заранее приготовленный, стоит у моей постели. Как только я ставлю банку на стул, из желудка у меня подымается со страшной силой рвотная спазма. Я наклоняюсь над тазом, и из меня выхлестывается содержимое желудка.

— Давай-ка еще! Еще! — говорит тетушка радостно, по-видимому, уверенная, что я выблеываю свою болезнь. После третьего или четвертого выворота внутренностей из явно опустевшего желудка стала идти какая-то слизь с кровавыми пятнами.

— Ага, — говорит тетушка удовлетворенно и даже злобно, — добрались наконец до тебя, до дьяволицы! Посмотрите! Посмотрите, какая она! Вот теперь-то еще раз надо выпить...

Она подносит мне банку. Снова, зажав дыхание, я проделываю то же самое. Снова рвотные спазмы. Я совсем обессилел. Из пустого желудка выжимается в капельках крови какая-то слизь, и всем кажется, что это из разрушенного гнездовья самой малярии выливается ядовитая жидкость.

Потом мне дают чистой воды. Я долго ополаскиваю рот и пью чистую, холодную родниковую воду. Я чувствую, как

она проходит по горлу и дальше вниз, очищающим холодом прикасаясь к моему желудку.

Несмотря на то, что мы разрушили грозную цитадель малярии в моем желудке, в этот же день все повторяется, как в первом приступе, только я переношу все это гораздо трудней, потому что ослаб.

В разгар приступа я слышу, как тетушка в другой комнате разговаривает с дядей. Она говорит, чтобы он поехал в деревню, где тогда жила моя мать, и привез ее сюда. Дядя говорит, что это излишне, что не стоит беспокоить мою маму. Тетушка возражает и говорит, как бы я не умер на их руках. Хотя мне очень плохо, я никак не могу поверить, что могу умереть.

На следующий день дядя уезжает в деревню, где есть доктор и больница, и привозит мне оттуда хинных таблеток. Все-таки через день у меня повторяется третий приступ, и малярия оставляет меня на полгода.

Когда на следующий день после третьего приступа я приковылял под тень яблони, чтобы полежать на прохладном ветерке, там сидело несколько колхозниц, отдохавших во время обеденного перерыва. Среди них была моя двоюродная сестра, пышущая здоровьем девушка Зарифа. Увидев меня, она сказала, улыбаясь:

— Посмотрите, на что он стал похож... Голова перевешивает туловище...

В самом деле, после каждого приступа малярии я страшно быстро терял силы и превращался в ходячую тень, но, правда, потом почти с такой же быстротой все восстанавливалось.

Удивительно, что до сих пор осталась обида: почему она все-таки так сказала. Ну, ладно, подумала, но ведь могла бы все-таки не говорить...

Осень. Примерно конец сентября. Мы с дядей Кязымом спускаемся в котловину Сабида. У меня в руке большая корзина, а у него закинутый за плечи остроносый топорик, имеваемый в наших краях цалдой. Мы идем собирать орехи с модельного дерева.

Мы подходим к подножию ореха. Дядя внимательно оглядывает его, видимо, присматривая ветки, наиболее богатые плодами. Потом он спускается вниз, влезает в колючие заросли и вырубает там довольно длинный, метра на четыре, ствол мелкого лесного ореха. Это он готовит палку для сбивания грецких орехов. Я вижу, как он очищает ее от веток, потом, тряхнув в руке, пробует ее на упругость и на крепость. Поднявшись к подножию ореха, он вдруг вытаскивает из кармана бумагу величиной с промокашку школьной тетради.

— А ну, прочти, что тут написано, — говорит он и протягивает мне листик.

— Где ты его взял? — спрашиваю я, уже догадываясь, что это такое.

— Да там в кустах висела, — отвечает он.

Я читаю немецкую листовку. В ней написано, что немцы войну уже все равно выиграли, а кавказские народы, угнетенные Советской властью, должны перестать бороться против немцев. В конце листовки нарисовано ружье, упершееся

штыком в землю, как бы наглядно показывающее, что надо делать и тем неграмотным, кому придется держать листовку в руках.

— Так что там они пишут? — спрашивает он.

— Они говорят, чтобы наши против них не воевали, — перевожу я листовку, написанную по-русски.

— Ха! — усмехается он и берет у меня из рук листовку. Он пробует ее на ощупь и, видимо, решив, что она на курево не годится, рвет ее на мелкие части и отбрасывает в сторону.

Мне интересно посмотреть, как он будет влезать на моельное дерево. Он подходит к нему, берется за лозу, но, в отличие от меня, он ее ногами не обхватывает, а, упираясь ими в ствол, удивительно быстро достигает первой ветки.

Тут он просит меня подать ему палку. Я ее протягиваю и с трудом дотягиваюсь до его ног. Он ее ловит и, зажав между ступнями ног, подтягивает ноги и достает палку руками.

С какой-то необыкновенной великанской быстротой он подымается по дереву, и через несколько минут я слышу удары палки по веткам, усеянным грецкими орехами.

Первые орехи падают на землю. Некоторые уже очищенные от кожуры, другие, ударившись о землю и сверкнув своей скорлупкой, вылупляются из кожуры. Несмотря на травянистый косогор, где стоит моельное дерево, некоторые орехи катятся вниз, в глубину котловины Сабида. Я стараюсь стоять ниже того места, где падают орехи, чтобы хоть часть из тех, что катятся вниз, успеть остановить.

Когда дядя кончает сбивать орехи с какой-нибудь ветки и перелезает на другую, я использую этот промежуток, чтобы полакомиться вкусными плодами могучего дерева. Я выбираю из корзины самые красивые по форме орехи с самой чистой, еще мокрой от кожуры скорлупой, разбиваю их, вынимаю нежную, покрытую бледно-желтой пленкой сердцевину ореха и съедаю ее. Трудно передать, до чего это вкусно, да еще в те голодноватые времена!

Я уже собрал почти полную корзину, как вдруг прямо над собой услышал голос:

— Хороших вам трудов!

Рядом со мной, повыше на косогоре, стоит незнакомый мне лейтенант с двумя бойцами истребительного батальона. Они стоят чуть подальше от него и одеты в обычную крестьянскую одежду. У всех троих за плечами по карабину.

Один из этих крестьян, человек лет пятидесяти или больше, наш дальний родственник. Раньше он жил в Чегеме, а потом переехал в другую деревню.

— Здравствуйте, — отвечаю я на чуть насмешливое приветствие, исходящее от лейтенанта. Так здороваются у нас с людьми, застигнутыми за работой. То, что я делаю, трудно назвать работой, тем более у меня полный рот орехов, и приветствие его отчасти звучит, как намек на работу моих челюстей.

— Как жизнь, как мама? — спрашивает у меня бывший чегемец.

— Ничего, — отвечаю я и, распахнув корзину, предлагаю, — пробуйте...

Бойцы истребительного батальона никак не отзываются на мое предложение, они даже садятся на траву, а лейтенант подходит и, взяв несколько горстей орехов, кладет их к себе в карман. Потом он вынимает из кармана два ореха и, зажав их между ладонями, без труда раздавливает один из них, вытирает оттуда нежную мякоть ядрышка, отправляет ее в рот и смотрит вверх, стараясь разглядеть сквозь ветки того, кто там наверху.

— Не Сандро ли там?! — кричит он наверх.

— Так Сандро и загощишь на дерево, — отвечает дядя с усмешкой, — а это ты, Расим?!

— Пока я, — отвечает лейтенант, и новый орех ломает между ладонями, — так это я тебя не узнал, Кязым?! Не боишься, что божество тебя стряхнет с ветки?

— Нет, — смеется дядя, — наше божество своих не трогает... Вот если б ты залез...

— Да я с такого дерева и без божества грохнусь, — отвечает лейтенант, посмеиваясь и продолжая есть орехи.

Я чувствую, что, как только мы покончим со сбором орехов, дядя возьмет их к себе и угостит чем Бог послал. Во всяком случае, обед будет гораздо обильней, чем обычно... Это ясно, они будут у нас обедать, и нам, детям, тоже перепадет кое-что от праздничного обеда.

Эта мысль необычайно веселит меня, и у меня уже заранее текут слюнки в предчувствии курятины с ореховой подливой или вяленого мяса, поджаренного на вертеле и капающего жиром в жар огня...

— А что вас привело в наш край? — слышится сверху голос невидимого дяди. Он сейчас перебирается веткой выше.

— Мало ли что, — отвечает лейтенант, — время плохое... Бродят в горах всякие.

— Прячьтесь, — говорит дядя и начинает бить палкой по ветке. Через несколько секунд на землю стали падать орехи как раз на том месте, где стояли я и лейтенант. С шутливой испуганностью он втянул голову в плечи и пробубнил:

— Господи, пронеси! Господи, пронеси!

С первой же минуты своего появления этот лейтенант сразу мне понравился. Он понравился мне своим бравым видом, медалями, позвякивавшими на груди, и своей шутливой настроенностью.

Когда он стал причитать, якобы испугавшись падавших сверху орехов, я улыбнулся и поднял голову, показывая, что понимаю и ценю его шутку.

Подняв голову, я заодно посмотрел на бойцов истребительного батальона, сидевших на косогоре выше того места, куда бы могли долететь сбитые орехи. Оба они, улыбаясь, смотрели на своего командира. Возможность близкого застолья была отмечена и на их лицах блуждающей улыбкой доброжелательности.

И вдруг я увидел, что выше них по гребню горки, справа и слева от которой две котловины, одна Сабида, а другая безымянная, по крайней мере для нас, так вот по гребню этой горки в двадцати—тридцати шагах от нас шли двое в солдатской форме с автоматами за плечами.

Они шли очень быстро, и было странно, что они не заметили или не захотели взглянуть в нашу сторону. Но самое странное, хотя я это не сразу осознал, но сразу почувствовал (осознал я это гораздо позже, но почувствовал сразу), было то, что они идут не туда, куда можно было бы идти солдатам. Они шли по тропинке, ведущей в лес, в глухомань. Туда никто, кроме пастухов, не ходил, и делать там военному человеку решительно нечего, если он не собирается от кого-то прятаться. Вот что я почувствовал, хотя и не осознал, когда увидел двух на тропинке, идущих мимо нас по гребню горки.

Видно, что-то в моих глазах отразилось из того, что я почувствовал, потому что лейтенант вдруг обернулся и замер. Он несколько секунд следил за идущими по тропе бойцами, и рука его, державшая недоеденный орех, разжалась и выпустила то, что было в ней, и карабин медленно, точно сам, без его усилий, сполз с плеча и оказался у него в руках.

А наверху дядя бил палкой по веткам, и орехи падали вниз, но я их уже не собирал. Глядя на своего командира, все еще сидя, обернулись и оба бойца истребительного батальона. Сначала они ничего не увидели, потому что сидели, а потом, встав, увидели и тоже сняли свои карабины.

Лейтенант быстро прошел вперед и, показывая своим следовать за ним, вышел на косогор. Когда все они вышли на гребень горки, тех уже не было видно с того места, где я стоял. Они явно пошли по тропе, которая вела в лес. Больше им некуда было деться.

— Эй, стойте! — раздался зычный голос лейтенанта. Тут орехи перестали падать, видно, дядя заметил наконец, что внизу что-то случилось.

Уже невидимые солдаты, наверное, ничего не ответили. Лейтенант и несколько отстающие от него бойцы истребительного батальона пошли быстрыми шагами по гребню горки, и даже на этом сравнительно небольшом отрезке пути было видно, что бойцы истребительного батальона все больше и больше отстают от своего командира.

— Эй, стойте! — снова раздался голос лейтенанта. Теперь уже никого не было видно.

И вдруг — тра-та-та-та! — отчетливо и дико раздалась автоматная очередь. В ответ ей послышалось несколько одиночных выстрелов из карабина. И снова тра-та-та-та-та! И снова несколько одиночных выстрелов из карабина. И опять сразу две длинные автоматные очереди.

Потом все стало тихо, тихо. И страшная тишина длилась несколько минут, но мне показалось, что прошло полчаса, а может, и больше. С шумом пронзая листву, сверху, как копье, слетела палка дяди и, ударившись концом о землю, упала. Дядя быстро спускался с дерева. Через минуту он уже был на земле.

— Стой здесь! — сказал он мне, а сам стал быстро подыматься по кособогу, прихватив с собой свой остроносый топорик.

Он поднялся на гребень и остановился. Некоторое время он глядел в ту сторону, куда ушли все. Мне показалось,

что он туда смотрит бесконечно долго. Потом он вдруг обернулся ко мне бледным лицом и кивнул, чтобы я поднялся.

Я не знал, брать мне корзину или нет. Все-таки я взял довольно тяжелую для меня корзину, наполненную сырыми грецкими орехами, и потащил ее наверх. Когда я выбрался наверх и стал рядом с дядей, я увидел, что два бойца истребительного батальона что-то тащат в плащ-палатке. А где же лейтенант, подумал я, неужели погнался за этими солдатами? И только в следующее мгновение, увидев за плечом одного из бойцов истребительного батальона два карабина, я понял, что это они тащат его.

— Может, жив? — спросил дядя, когда они подошли к нам. Один из них скорбно покачал головой, а другой сказал:

— Чтоб твои враги так были живы, как он...

Оба они были очень бледными. Лица убитого лейтенанта я не видел. Оно было прикрыто фуражкой. Я только заметил, что тело лейтенанта сильно продавливало плащ-палатку, на которой оно лежало. Казалось, смерть внесла в его тело какую-то дополнительную тяжесть.

Мы подымались наверх. Впереди дядя со своим легким топориком за плечом, за ним два бойца истребительного батальона со своей печальной ношей, а сзади я с корзиной, отдавливающей мне то правое, то левое плечо. И хотя мне никто не велел идти, не отставая от остальных, я шел и шел, обливаясь горячим потом и временами раздраженно поглядывая на дядю, который и не подумал помочь мне.

Перед самым выходом из котловины Сабида, где наиболее крутой подъем и где особенно трудно было идти, я вдруг заметил, что впереди меня на тропинку выкатился откуда-то грецкий орех и покатился вниз. Потом другой, потом третий... И вдруг я догадался, что они выпадают из кармана мертвого лейтенанта.

Наверху у самого края котловины стояла тетушка со всеми своими детьми и еще несколько крестьян, оказавшихся поблизости. Они, конечно, слышали выстрелы.

— Что случилось? — спросила тетушка глухим голосом.

— Немцы убили нашего командира, — ответил один из бойцов, и они осторожно положили на землю свою ношу.

— Немцы или какая другая чума, — поправил его дядя, — теперь никто не узнает...

— Это, конечно, были парашютисты, — заметил второй боец, — опытные диверсанты...

— Да, опыта у них хватило, — сказал дядя, словно насмехаясь над бойцами истребительного батальона.

— Несчастливая его мать, несчастная его мать, — запричитала тетушка.

— Вы проводите их до сельсовета, — сказал дядя Кунте и еще одному крестьянину. Те кивнули и вместе с бойцами истребительного батальона приподняли плащ-палатку с телом лейтенанта. Срезая путь, они пошли в сторону верхнечегемской дороги.

— Что ж ты не позвал их в дом, — сказала тетушка, — хоть бы воды напились.

— Обойдутся, — жестко отрезал дядя, — я все видел...

Оказывается, по его словам, они оба струсили, а преступники и в самом деле оказались опытными людьми. После первого оклика лейтенанта они не остановились, по словам дяди, потому что впереди в десяти шагах была яма. Они дотянули до этой ямы и, когда лейтенант окликнул их второй раз, оба мгновенно прыгнули в эту яму и стали оттуда стрелять из автоматов. Сначала один стрелял, потом оба.

Как только они прыгнули в яму, лейтенант тоже бросился на землю и стал стрелять, но он по сравнению с ними был в невыгодном положении, и они последней автоматной очередью достали его. Видя, что лейтенант убит, а двое остальных бойцов, как упали на землю, так и ни разу не подняли головы, эти двое вышли из ямы и, пятась, шли по тропе, пока она через десять шагов не углубилась в лес. И только потом, убедившись, что преступники ушли в лес, бойцы истребительного батальона подошли к своему убитому командиру.

Мы уже подходили к дому. Корзину мою несла тетушка.

— Дядя, — спросил я, — я одного никак не пойму, почему он их сразу не окликнул, а дал им уйти?

Я вспомнил, как отчетливо они были видны на гребне горки и как трудно им было бы сражаться с лейтенантом, если бы он залег у моельного ореха.

— Думаю, что из-за тебя, — ответил дядя.

— Почему? — не понял я.

— На всякий случай, — сказал дядя, — он не хотел рисковать лишними людьми.

— А что теперь будет с этими двоими? — спросил я, имея в виду бойцов истребительного батальона.

— Ничего, — ответил дядя, — думаю, дюжину патронов они выбросят по дороге.

— Почему? — спросил я.

— Ну чтоб видно было, что они сражались, — сказал дядя насмешливо.

— Оставь этих несчастных, — перебила его тетушка, меняя корзину в руке, — куда им сражаться, они всю жизнь ничего, кроме мотыги, не держали в руке.

— Вот я и говорю об этом, — ответил дядя, вынимая из кармана кусок газеты и отрывая от нее на сигарку, — а ты думала, о чем я говорю?

— Ради Бога, оставь, — сказала тетушка.

* * *

Из колхозного табачного сарая исчез тюк табака. Взял его, по общему мнению, пастух Кунта. И хотя никто не видел, как он его брал оттуда, все решили, что на такое глупое воровство только он и способен.

Во-первых, он украл табак самого низкого сорта «дип», как его именуют по старинке чегемцы. Сорт этого табака получается из самых нижних листьев табачного стебля. Они всегда недоразвиты, в них мало соку и потому, вероят-

но, после сушки в них мало аромата и других табачных достоинств.

Зато в них есть одно неоспоримое достоинство, с них начинается ломка и сушка табака, они первые. Так что те, у кого кончились прошлогодние запасы, могут начинать курить этот табак.

Обычно крестьяне запасались табаком, когда он еще сушился на рамах. Брели понемногу, чтобы незаметно было. Но воровать табак, когда он уложен в тюки и учтен в сводках, — бессмысленно и глупо. И на такую глупость только Кунта и способен. Так считали чегемцы.

Завтра или послезавтра из правления колхоза приедет арба и надо будет сдавать табак — тут-то и обнаружится пропажа. В те грозные военные годы за такие дела запросто сажали в тюрьму.

В тот день дядя Кязым, бригадир полеводческой бригады, решил во что бы то ни стало разоблачить Кунту и заставить его вернуть табак до того, как этим займутся следственные органы. Дядя Кязым за себя не боялся. Каждый дурак поймет, что ему незачем было воровать этот паршивый тюк с этим паршивым табаком, который разве что чуть получше ольховых листьев. Но эти умники из Кенгура (как бы семейная связь с городом дает нам право называть его то полным именем Кенгурск, то усеченным, простонародным, Кенгур), так вот умники оттуда (кстати, никогда не усекающие название городка) вполне могут засадить человека ни за что ни про что.

Не говоря о простой человеческой жалости, которую дядя Кязым испытывал к этому бедняге, они, эти районные умники, не понимали, что, если арестуют Кунту, некого будет приставить к этим чесоточным козам.

Умникам в чесучовых кителях от этого зарплата не прибавится и не убавится. А может, и прибавится, кто его знает. Может, у них тоже план, который надо выполнять и перевыполнять. Нет, решил дядя Кязым, как хотите обходитесь, но нашего Кунту я вам не дам.

Так думал дядя Кязым, подходя к дому пастуха. Высокий, легкий, он шел, стараясь не задевать ногами мокрой травы, тяжело набрякшей над тропинкой.

Он еще не знал, что́ будет говорить и как заставит Кунту вернуть табак, пока дело не дошло до правления колхоза, но он знал, что вернуть табак надо, и потому он найдет способ его вернуть.

Вчера он с ним говорил об этом по-хорошему, потом пригрозил ему, но Кунта уперся и твердил одно и то же, мол, не брал, а если кто видел, пусть докажет. Он нарочно повторял одно и то же, потому что чувствовал, дай он волю своему языку, и дядя Кязым его запутает и перехитрит.

Над глупыми и смешными чудачествами Кунты дядя Кязым любил посмеяться за хорошим застольем, и иногда трудно было определить, где фантазия Кязыма, а где истинная правда. Во всяком случае, Кунта давал столько реальной пищи для фантазии, что разобраться, где правда, а где выдумка, было совершенно невозможно.

Так, дядя Кязым утверждал, что однажды, когда он уезжал в город и спросил у Кунты, не надо ли ему чего-нибудь привезти, тот попросил дядю Кязыма привезти ему его, Кунты, фотокарточку. Ну, разве такое можно придумать?

Одним из любимых рассказов дяди Кязыма был рассказ том, как Кунта, работая почтарем, заблудился во время зимней метели в двух шагах от собственного дома. По словам дяди Кязыма, он набрел на его сарай, где он хранил чалу, то есть кукурузную солому, зарылся в ней и переждал метель чуть ли не сутки.

Когда на следующее утро дядя Кязым пришел взять несколько снопов чалы для скота, он очень удивился, увидев Кунту, зарывшегося в сухие кукурузные стебли. Еще больше удивился Кунта, увидев дядю Кязыма.

— Ты что здесь делаешь? — спросил дядя Кязым у Кунты.

— А ты что, тоже заблудился? — ответил Кунта вопросом на вопрос.

— Кой черт я заблудился, — ответил ему дядя Кязым, — я в собственном сарае...

Таких историй из жизни Кунты дядя Кязым знал множество. А вот еще одна грустно-комическая история, которую мы узнали помимо дяди Кязыма.

В годовщину десятилетия Советской власти в Абхазии многие участники Гражданской войны были награждены грамотами и орденами. Бедняга Кунта пришел в сельсовет и стал просить награду за погибшего на Гражданской войне сына.

Через участников знаменитого сражения на Кодоре в сельсовете легко установили, что погибший его сын сражался против большевиков, а не наоборот, как думал бедняга Кунта.

Судя по всему, ход его мысли был такой: во главе государства стоит Сталин. Сталин — грузин. Сын Кунты сражался вместе с теми, кто наступал со стороны Грузии. Раз сам Сталин и все его люди, стоящие у власти, себя называют большевиками, значит, те, что наступали со стороны Грузии, и были большевики.

В сельсовете сначала пытались втолковать ему более сложную диалектику Гражданской войны, но он так ничего и не понял, и наконец его отпустили домой, высмеяв за темноту, но не наказав.

...Дядя Кязым подошел к дому Кунты, открыл ворота и вошел во двор. Над крышей кухни подымался клокастый медленный дым, словно с неохотой выползая из теплого помещения в этот мокрый, по-осеннему моросливый день. Давно не заходил дядя Кязым к Кунте и, наверное, не скоро зашел бы, если бы не такое дело.

Навстречу ему с лаем выбежала собака, но он даже не посмотрел в ее сторону. Она полаяла немного и залезла под дом.

Жена пастуха, услышав лай собаки, вышла из кухни и, стоя в дверях, из-под ладони смотрела на него, словно стараясь разглядеть, кто идет. Она не прикрикнула на собаку, не сделала хотя бы символической попытки отогнать ее, как это исполнено хозяйке, и дядя Кязым понял, что Кунта успел ей рассказать о вчерашней стычке.

Но все-таки жена Кунты не хотела откровенно ссориться с дядей Кязымом или показывать ему, что она сердится на него, и потому продолжала вглядываться в него из-под ладони, словно не узнавая его и не унимая собаку, как бы опасаясь чужого, незнакомого человека. Дядя Кязым сразу же понял эту наивную хитрость и усмехнулся про себя.

— А где твой хозяин? — спросил он, когда прошли на кухню. Дядя Кязым уселся у костра на низенькой скамейке.

— Должен подойти, — отвечала жена Кунты, стоя с другой стороны костра и помешивая деревянной лопаточкой завар для мамалыги в котле, висевшем над огнем.

Не обращая внимания на враждебную молчаливость хозяйки, дядя Кязым оглядел кухню.

В углу была навалена горка из кукурузных початков, еще не очищенных от кожуры. Рядом с этой горкой стояла большая корзина с фасолью в стручках. Возле нее стоял мешок с кукурузным зерном. Кухня была захламлена вылушенными кукурузными кочерыжками и пустотелыми стручками фасоли. У изголовья открытого очага стоял мокрый и грязный теленок, покачиваясь и щурясь от дыма.

Может, спрятал на чердаке, подумал дядя Кязым, оглядывая кухню, вроде больше нигде. В единственной комнате, примыкавшей к кухне, он спрятать ничего не мог, потому что там все было открыто, и, кроме двух кроватей и сундука, ничего не стояло. Или на чердаке, или где-нибудь в лесу в малодоступном месте, подумал дядя Кязым. Но где?

За домом раздался звук колоколец, суетливый шум пригнанных коз.

— Куда ты?! Куда ты, чтоб тебя заготовка! — слышался голос Кунты, кричавшего на козу.

— Эй, теленка не вижу, — крикнул он жене, не меняя интонации в голосе, — чтобы глаза твои повылазили — опять сбежал к коровам!

— Здесь он! Ждет твоих поминок! — спокойно загремела в ответ жена, однако в огонь подбросила кукурузных кочерыжек, чтобы завар мамалыги быстрее вскипел.

Дядя Кязым подумал, что необязательно было пригонять стадо, чтобы пообедать, потому что поля повсюду убраны и можно было не бояться потравы. Но Кунта все делал по привычке, как пригонял стадо летом, когда приходило время обедать, так и сейчас пригоняет его к дому.

Грохнув вязанкой дров у порога, в дверях появился Кунта. Он постоял в дверях несколько мгновений, маленький, длиннорукий, длинноногий, держа топорик на своем горбике и посясывая свою вечно вонючую трубку.

Увидев дядю Кязыма, он замешкался в дверях, словно собирался уходить. Но потом вошел в кухню, прислонил топорик к стене и, похлупывая трубкой, сел напротив дяди Кязыма. Он сел, растопырив перед огнем руки и помаргивая, молча уставился на огонь своими жидкими голубыми глазами.

Дядя Кязым подумал, что слабый цвет его глаз как-то связан с его слабым умом. Мокрая одежда на нем густо

задымилась паром, потому что он слишком близко сел к огню. Но Кунта и не думал менять позы. Он сидел все так же неподвижно, помаргивая маленькими птичьими веками, посасывая свою похлюпывающую трубку, огонь которой, словно застеснявшись большого пламени костра, имел намерение полностью погаснуть, чему мешал Кунта своими неустанными хлюпающими затяжками. В конце концов он гребанул трубкой жару от костра, после чего она густо задымилась и завоняла запахом самого низкосортного табака «дип».

— Пришел узнать, не собираешься ли на мельницу, — сказал дядя Кязым, вспомнив про мешок с кукурузой и давая знать пастуху, что он не пытается продолжать вчерашний разговор.

В сущности говоря, у дяди Кязыма так и задумано было: большой план — вернуть украденный табак и послать пастуха на мельницу. Маленький план — просто послать пастуха на мельницу.

— Надо бы... — протянул Кунта и взглянул на дядю Кязыма своими слабыми глазами, стараясь понять, куда он гнет.

— Можешь взять моего ослика, а заодно и мою кукурузу, — сказал дядя Кязым.

— Хорошо, — покорно ответил пастух, даже не радуясь, что ему не придется тащить кукурузу на собственном горбу. Хотя мельница была в трех километрах от деревни на дне ущелья, он не чувствовал большой разницы — что самому тащить, что с осликом топать. И так и так идти.

Раньше Кунта жил рядом со своим братом Омаром, который на правах лесника и участника «дикой дивизии» не только заставлял его работать на себя, но и женой его, по наблюдениям чегемцев, пользовался время от времени.

Кунта несколько раз в жизни отделялся от него, чтобы зажить с окончательной самостоятельностью, но потом судьба его смывала с места и подволакивала его к дому брата, и все начиналось снова.

По уверению дяди Кязыма, Кунта на этот раз зажил в полукилометре от их выселка, чтобы быть поближе к мельнице, при этом забыв, что он стал слишком далеко жить от родника, единственного источника чистой воды.

Таким образом, сократив свой ежемесячный путь на мельницу, он в несколько раз удлинил своей жене ее ежедневный путь за водой, за что она, в свою очередь, ровно на столько удлинит проклятья в адрес своего мужа, особенно когда она с кувшином на плече, из-под которого торчал пучок папоротника, возвращалась с родника.

...Сейчас Кунта настороженно ожидал, не начнет ли дядя Кязым спрашивать про табак, но тот все молчал, и Кунта в конце концов решил, что все это обошлось как-нибудь, хотя как-нибудь обойтись ничего не могло.

На самом деле дядя Кязым решил сначала пообедать с пастухом, а потом поговорить. Он почувствовал, что сладить с мокрым и голодным, а потому упрямым пастухом будет гораздо трудней. Дядя Кязым чувствовал, что ему надо кое-что обдумать, прежде чем начинать разговор.

Жена Кунты, худая горбоносая женщина, сейчас, напрягаясь изо всей силы, месила лопаточкой крутой замес мамалыги. Дядя Кязым сам их когда-то женил, но они оба давно забыли об этом. Да и хорошего, видно, было слишком мало, чтобы помнить.

В другое время дядя Кязым навряд ли бы сел за стол в этом доме, потому что жена Кунты была грязнуха и готовила хуже нельзя. Но сейчас это надо было для дела, и он решил пообедать с Кунтой.

Вымыв руки, они сели за низенький столик, поставленный прямо у огня. Они ели мамалыгу, макая ее в соус из фасоли. Дядя Кязым сразу же заметил, что мамалыга недодержана на огне, а фасоль слегка пригорела.

Голодный Кунта ел со спокойной жадностью. Почти не жуя, он проглатывал огромные куски мамалыги с медленным, трудным удовольствием. Чувствовалось, что ему дополнительное удовольствие доставляет именно то, что еда с трудом проходит в горле.

— Принесла бы вина, — вдруг вспомнил он среди обеда, неуверенно взглянув на жену. Жена молча вышла и принесла вина в замызганном чайнике. Потом она откуда-то достала два стакана, тоже довольно грязные, правда, догадавшись тот, что почище, поставить рядом с дядей Кязымом, разлила вино.

Много ли нужно ума, подумал дядя Кязым неприязненно, чтобы вымыть стаканы. Все зависит от корня, от которого идет человек... Нет, не только от корня...

Дядя Кязым почувствовал, что он не совсем прав, хотя и от корня много зависит, но тут еще что-то. Они сами привыкли на себя так смотреть, потому что на них так смотрят...

Он не дал себе додумать эту мысль, потому что она мешала ему думать о главном. Он взял в руки стакан, стараясь не думать о том, какая в нем кислятина.

— Благодати вашему дому, — сказал он обычный в таких случаях первый тост.

— Спасибо, — сказал Кунта, стараясь изобразить бывалого хлебосола, и, выждав, когда выпьет дядя Кязым, выпил сам.

Вино оказалось еще более кислым, чем ожидал дядя Кязым. Никакая новая власть и никакое равенство не заставят Кунту делать хорошее вино, какое делает его отец или некоторые другие крестьяне, подумал дядя Кязым, поставив на столик свой стакан. А если кто-нибудь один будет делать за всех? Тогда оно будет лучше, чем у Кунты, но хуже, чем хорошее вино, и люди в конце концов забудут о хорошем вине. Так подумал дядя Кязым.

— Что слышно про вашего парня? — спросил он, вяло закусывая.

— Пока ничего, — отвечал Кунта, вздыхая. Горб его горестно приподнялся.

— Еще не прошел срок, — вмешалась его жена в разговор.

Кроме одного сына, погибшего в гражданскую войну, у Кунты не было своих детей. Дважды он брал ребенка на воспитание и оба раза неудачно. Первый, еще будучи несовершеннолетним, украл у него корову и сгинул на веки вечные.

Последние семь-восемь лет он воспитывал мальчика, родственника жены.

С месяц назад мальчик удрал из дому, выкрав у Кунты деньги, которые тот получил за продажу свиней. Узнав о краже, Кунта был потрясен. Деньги он прятал у себя в матрасе. Больше всего его огорчило то, что собирался прятать их в лесу, но потом каким-то образом передумал и сунул их в свой матрас. Он всегда лесу доверял больше, чем своему дому. Но вот смягчился к своему дому и потерял деньги.

Кунта давно охладел к своему воспитаннику, потому что тот часто на людях смеялся над ним, чтобы показать людям, что он Кунту не считает своим отцом, и раз он смеется над ним, то ему не обидно, когда другие смеются.

Конечно, думал Кунта, если бы малого отдубасить как следует, то, вероятно, можно было бы сделать из него человека, да кто отдубасит такого верзилу.

И вот теперь он удрал из дому, прихватив восемьсот рублей денег, которые Кунта прятал в матрасе.

Две недели он ожидал от него вестей, но, так и не дождавшись, отправился в соседнее село, где жил мулла, давно уже почти безработный. Сначала он хотел отправиться в Кенгурск и пожаловаться в суд. Но потом вспомнил, сколько всяких бумаг нужно для суда, вспомнил, что дорога туда во много раз длинней, чем в соседнее село, и отправился к мулле.

Так как жена его родом из той самой деревни, где жил мулла, она отправилась вместе с ним, чтобы легче было сторговаться с муллой.

Немного поторговавшись с муллою, они стоворились, что мулла проклянет бывшего воспитанника за три пуда кукурузы нового урожая.

Условия проклятия были такими: если в течение двух месяцев мальчик не возвратит денег или, в крайнем случае, не пришлет их почтой, у него отсохнет та самая рука, которая вынула деньги из матраса.

Мулла предлагал накинуть еще пуд кукурузы и сделать клятву более жестокой, то есть насладиться усыханием на обе руки.

Но Кунта не согласился, и не потому, что ему было жалко кукурузы. Он считал, что лишать парня двух рук будет многовато. Кунта не был злым, он хотел только справедливости.

Мулла положил руку на священный камень, похожий на обыкновенное точило, и пробормотал заклятие на арабском языке. Кунта хотел, чтобы он перевел заклятие на абхазский язык, но потом догадался, что этого делать нельзя, потому что так каждый проникнет в тайну его ремесла.

Все же ему хотелось, чтобы заклятие было подлинней. Он смутно чувствовал, что на три пуда кукурузы оно не тянет. Все же он и здесь промолчал, а на обратном пути жена его совсем успокоила. Мулла был из ее деревни, и она считала своим долгом хвалить все, что связано с ее деревней.

— А вы не отдавайте кукурузу, если не сбудется проклятье, — сказал дядя Кязым, делая вид, что верит в эту затею.

— Он уже напоминал через человека, — вздохнул Кунта.

— А сколько дней осталось? — спросил дядя Кязым, продолжая делать вид, что верит в эту затею.

— Еще две недели и понедельник, — сразу же ответила жена Кунты. Видно, что она подсчитывала каждый день.

— А как вы узнаете, что проклятие настигло его, если вы не знаете, где он? — спросил дядя Кязым.

— Я думаю так, — сказал Кунта, — что он вернется, как только рука начнет усыхать... Кому он нужен с усыхающей рукой...

— Не скажи, — заметил дядя Кязым, — вон Колчерукий и с усыхающей рукой живет себе покрикивая...

— Все в руках Аллаха, — вздохнул Кунта.

— Уже немного осталось, потерпите, — сказал дядя Кязым.

Он повеселел. Только сейчас он понял, что пастух после такого случая не стал бы держать табак у себя дома, а, видно, спрятал его где-то в лесу. Где же он мог его спрятать? Конечно, где-то в тех местах, где он пасет коз. Скорее всего, в котловине Сабида, в каком-нибудь недоступном месте.

Он чувствовал, что доходит до какой-то точки, какой-то мысли, скорей всего, вопроса, при помощи которого он прихлопнет пастуха и вынудит его открыть это место.

На скалистой вершине горы за котловиной Сабида много пещер. Наверное, в одну из них он и сунул этот тюк. Или все-таки на чердаке? Так или иначе табак он держит в малодоступном и сухом месте... В малодоступном и сухом... Дядя Кязым чувствовал, что нужен еще один толчок, чтобы капкан защелкнул этого простачка.

Дядя Кязым еще больше повеселел, и они выпили еще по два стакана вина, которое теперь ему не казалось таким уж кислым.

Кунта тоже повеселел. Он согрелся у огня, от выпитого вина кровь его задвигалась в теле легко и свободно. Он решил, что и вправду, если не сбудется проклятие, мулле можно не отдавать кукурузу.

Жена Кунты убрала столик и выбросила остатки мамалыги собаке, которая, стоя в дверях, терпеливо и молча дожидалась своего часа.

Кунта достал трубку из кармана, куда он ее сунул перед обедом. Он пересел на свое старое место, вытряхнул пепел из трубки, набил ее табаком и, приподняв дымящуюся головешку, прикурил.

Дяде Кязыму тоже захотелось покурить. Он достал из кармана кусок газеты, аккуратно оторвал от нее на сигарку, промял бумагу на пальцах, чтобы она стала помягче, и протянул ее Кунте, чтобы тот насыпал ему табака. Кунта вынул из кармана щепотку и сыпанул дяде Кязыму на сигарку. Дядя Кязым никогда не курил такой табак, но он почувствовал, что так сейчас будет лучше. Действие его должно было означать для Кунты: раз он просит у меня табак, значит, он примирился с потерей и больше не будет разговаривать на эту тему и уговаривать Кунту.

Насыпая ему табаку, Кунта искоса следил за его глазами: не смеется ли над ним дядя Кязым? Но нет, он вроде не смеялся.

Они оба закурили, сидя друг против друга, разделенные уютным огнем домашнего очага и как бы объединенные единым табаком, который они курили.

Кунта окончательно успокоился. Он все время ждал, что дядя Кязым начнет вчерашний разговор, но тот все не начинал и, видимо, не собирался говорить об этом. Он решил, что все это уладилось само собой, и ему теперь захотелось узнать, как все это уладилось.

— Ну как, нашли табак? — спросил он после особенно хорошей, успокоительной затяжки.

— Да, нашли, — неожиданно ответил дядя Кязым и посмотрел на Кунту смеющимися глазами.

— Где нашли? — спросил Кунта упавшим голосом и понял, что никогда в жизни не сможет перехитрить дядю Кязыма.

— Там, где ты положил, — ответил дядя Кязым задумчиво, словно припоминая место, где он нашел спрятанный табак, — одного не пойму, как ты не сверзился, когда залезал туда...

— Я же по лозе поднялся, — покорно вздохнув, отвечал Кунта.

Дядя Кязым сразу понял, что имеет в виду Кунта. Конечно, он вскарабкался на моельное дерево и сунул табак в дупло. Когда-то отец Кунты полез собирать дикий мед в этом дупле и погиб там. А сейчас Кунта спрятал туда свой табак.

— Ваш род так и тянет согнуть через этот орех, — сказал дядя Кязым, усмехнувшись, — но как ты его туда поднял?

— Веревкой, — горько вздохнув, отвечал Кунта.

Он вспомнил, как долго он карабкался по лозе, как трудно было втащить туда этот тюк, потому что он все время раскачивался и цеплялся за сучья. И все напрасно. Видно, ему никогда не перехитритить этого Кязыма. Ему и в голову не приходило, что он сам себя выдал.

Дядя Кязым еще немного посидел, а потом встал и, уходя, просто, как бригадир, дающий задание колхознику, сказал:

— Занеси табак в сарай... Да смотри, не промочи, когда будешь спускать его.

— Сейчас занести или потом? — спросил Кунта, вставая и провожая его до дверей.

— Поближе к вечеру, а то еще кто-нибудь увидит...

Дядя Кязым бросил эти слова, не оборачиваясь, чтобы скрыть улыбку. Он думал о том, как будет рассказывать друзьям об этом деле, когда все уляжется. Он был доволен собой. Ему казалось, что он перехитрил не только Кунту, но и тех людей, которые рады были сграбастать его в тюрьму.

К вечеру Кунта, загнав коз в колхозный загон, шел на мельницу, погоняя ослика, груженного двумя мешками кукурузы — один свой, один дяди Кязыма.

Табак он вернул в колхозный сарай, слегка общипав тюк по дороге. И теперь он об этом больше не думал. Он думал, как быть с кукурузой, которую он тоже должен мулле. Он думал: не скажется ли на исполнении проклятия то, что он решил не давать кукурузу, если оно не сотворится. Он мысленно пытался внушить исполнителю проклятия, что он не вообще отказывался давать кукурузу, он отказывается отдавать ее,

только если проклятие не сотворится. Он старался как можно четче думать об этом, чтобы тот, кто ведает или приставлен выполнять проклятие, правильно его понял.

Но если проклятие не сотворится, решил Кунта, он не только не даст мулле кукурузу, но и пожалуется на него в сельсовет.

Кунта знал, что таких людей в сельсовете не любят, и жалобе, если только он пожалуется, дадут ход. Точно он не знал, почему таких в сельсовете не любят, но смутно чувствовал, что сельсовет не хочет делить с ними власть над людьми.

Кунта набил трубку табаком. Он выбил кресалом огонь из кремня, поднес к табаку тлеющий трут и раскурил трубку. Трубка задымилась, но он тянул и тянул, сладостно всхлипывая вонючим табаком «дип», пока не уверился, что она не погаснет.

Он ускорил шаги, потому что ослик ушел вперед, пока он прикуривал.

Через тридцать лет после описываемых событий мы с дядей Сандро приехали в Чегем на лошадях, которых раздобыли в соседнем селе Джгерды, куда мы прибыли на автобусе.

Я знал, что никого из близких здесь уже нет: кто умер, кто переселился в город, кто в долинные, более зажиточные села.

Там, где лесная тропа, по которой мы ехали, входила в Чегем, стоял трактор. Возле него валялось огромное бревно, чудовищный обрубок букового ствола. Чуть пониже этого места, уже в пределах нашего выселка, на верхушке ста-

рой ольхи, обвитой виноградной лозой, сидели два человека и ели виноград. Шкурки винограда, шлепая по листьям, падали вниз.

— Кто вы? — спросил я, подъехав к подножию дерева.

— Мы лесорубы, — отвечали с дерева.

— Из каких краев? — спросил дядя Сандро.

— Мы гуцулы, — был ответ.

Дядя Сандро не понял, что это за гуцулы, и, когда я ему объяснил, он подивился дальности края, откуда приехали лесорубы, и спросил меня:

— Неужто им надо было ехать до самого Чегема, чтобы набрести на лес?

— Видно, так оно и есть, — отвечал я.

Мы уже поблизости от дедушкиного дома, и я почувствовал, что волнуясь. Вот она, старая яблоня, уже видна с дороги... Вот два гигантских грецких ореха, одно дерево, чуть повыше, стоит на взгорье за дедушкиным домом, а другое, пониже, у самого скотного двора.

Но нет ни скотного двора, ни дедушкиного дома, остался зеленый пустырь, на котором паслись чьи-то коровы. Мы подъехали к яблоне, спешили и привязали лошадей к толстой виноградной лозе, поднимающейся по яблоне.

От дедушкиного дома не осталось ни досточки, ни следа. Там, где раньше стоял дом, — ровный травяной покров, как и везде. И только в одном месте трава была погуще и поярче, и можно было догадаться, что это место бывшего кухонного очага.

После смерти дяди Кязыма в этом краю Чегема уже больше никого из наших не оставалось. Жена его, тетя Нуца, переселилась в город к своим сыновьям.

Когда у дяди Кязыма мухусские врачи заподозрили рак, я его отвез в Москву. Там в течение нескольких дней ему делали всевозможные анализы, просвечивали рентгеном, и наконец женщина-профессор приняла нас у себя в кабинете и, перелистывая страницы анализов, сказала, что беспокоиться не о чем, самые тяжкие подозрения не подтвердились.

Я радостно переводил дяде Кязыму все, что она говорила, но на его прекрасном суровом лице ничего не отразилось. Конечно, он был доволен ее словами, но считал недостойным откровенно радоваться за собственную жизнь.

Когда мы выходили из кабинета, вторая докторша, до этого молча сидевшая рядом с профессором, каким-то образом незаметно меня оттеснила, дядя вышел, а я остался в кабинете...

— К сожалению, все подтвердилось, — сказала женщина-профессор, — жить ему осталось не больше полугода...

Потрясенный этим перепадом от надежды к смертному приговору, я вышел из кабинета и присоединился к дяде. Не знаю, догадывался ли он о чем-нибудь. Во всяком случае, я делал вид, что ничего не случилось.

Мы проходили мимо киоска, где продавали арбузы. Мы купили один арбуз, зашли в сквер и, разрезая его дядиным ножом, съели.

В Москве дядя со свойственной ему сдержанностью ничему не удивлялся, все принимал как должное, только удивлялся полному отсутствию гор и терпеливо дожидался нашего отъезда.

Через полгода его не стало. Я любил этого человека и с детства восхищался им, не особенно понимая природу своего восхищения. Я его видел у себя в деревне, в родной ему среде, видел в городе среди чужих людей, и везде он был самым собой — ни перед кем не заискивающий, всегда доброжелательно-насмешливый. Сейчас, пытаюсь найти слова, чтобы обозначить его сущность, я могу сказать, что в нем чувствовалась необычайная духовная значительность.

В городском застолье, среди малознакомых людей, он не только не тушевался, как это бывает с крестьянами, но, наоборот, казалось, что переодетый король Лир сидит среди убогих мешан.

И откуда что бралось! Это всегдашнее легкое презрение к еде (к любой еде), это умение слушать собеседника, не высказывать вперед, это благородство пропускать мимо ушей общие места, которые высказывает собеседник, ухватывать и развивать крупницы остроумия, наблюдательности в чужих речах и эта всегдашняя мягкая настойчивость, с которой он утверждал то, что считал правильным.

Однажды при мне он плотничал в табачном сарае, когда из-за перевала прямо над нами низко-низко со страшным грохотом пролетел самолет.

— Как это летчик от него не оглохнет, — сказал крестьянин, стоявший рядом, — когда нас и то он оглушил?

— Видно, самолет обгоняет собственный звук, — сказал дядя, подумав, — поэтому летчику не так слышно.

Пусть тогда не было самолетов, обгоняющих собственный звук, но это сказал неграмотный человек, ставивший крестик вместо подписи, никогда не знавший железа в более сложном сочетании, чем обыкновенный плуг.

— Ведь каждая травинка — это скот, — с пронзительной горечью сказал он в другой раз. Через эту пронзительную горечь и запомнилась мне эта фраза. И сейчас, взрослым, вспоминая ее, я догадываюсь о причине, по которой она была сказана, догадываюсь, сколько пережитого и передуманного стоит за ней.

...Мы с дядей Сандро спустились к нашему знаменитому роднику. Струя воды толщиной с человеческую руку, некогда бившая из-под скалы, превратилась в еле заметный ручеек. Чтобы напиться из него, приходилось губами дотрагиваться до камешков на дне. А вода! Разве это та ледяная кристальная струя?!

Можно понять, что родник зачах без присмотра, задохнулся, но почему вода стала теплой, этого я никак не могу понять.

Благодаря этому роднику, который дедушка здесь открыл, он и выбрал это место для жизни и зажил здесь когда-то.

Мы снова поднялись наверх и решили спуститься в котловину Сабида, заглянув по дороге на наше семейное кладбище. Но сделать это нам не удалось, потому что кладбище обросло

непроходимой стеной колючих зарослей. С какой хищной быстротой возвращает себе природа отвоеванные у нее когда-то земли!

С того места, где мы стояли, хорошо был виден обросший плющом кусок крепости, обломок Великой Абхазской стены. У этой крепостной стены мы в детстве, играя, откапывали древние кости каких-то людей, захороненных когда-то в этом месте.

И кто его знает, кто снова явится откуда-нибудь в Чегем, как когда-то наш дедушка. И он очистит участок земли, где сейчас расположены наши могилы, от которых к тому времени не останется и следа, и только дети этого человека, играя, как мы когда-то, будут откапывать в пахоте кости наших близких, удивляясь и гадая, что за люди здесь когда-то жили.

Мы спустились в котловину Сабиды. Травянистый склон, где некогда стоял молебельный орех, сейчас оброс почти доверху молодым ольшаником. Молебельный орех рухнул, должно быть, от старости. Его гигантский ствол уходил вниз, на самое дно котловины, во мглу кавказских джунглей.

Я взобрался на ствол и стал спускаться по нему вниз, кое-где огибая его толстые ветки. Так я прошел метров пятьдесят, и чем дальше я шел, тем трудней становилось идти, потому что колючие заросли облепляли его со всех сторон.

Вокруг меня плотной стеной вставали обвитые лианами и заколоченные ежевикой стволы каштанов, буков, грабов, дикой хурмы. В воздухе стоял щебет птиц и могучий запах одновременно цветущей и гниющей плоти лесов.

Где-то совсем недалеко раздалось тревожное и короткое блеяние косули. Я снял с плеча карабин и стал вглядываться в непроглядную зеленую мглу, откуда раздался голос косули. Еще несколько раз тревожно, дурным голосом проблеяла косуля, но спуститься со ствола и пробраться сквозь эти опутывающие и стреноживающие заросли не представлялось возможным. Я повернул и снова поднялся по стволу к подножию молельного ореха, где ждал меня дядя Сандро.

Мы поднялись наверх и снова вошли в дедушкин двор. Посреди двора все еще паслись неведомые коровы. Одна из них побрякивала колокольцем. Библейский звук жизни и запустения.

Я снял с плеча карабин, положил его на землю, разулся и полез на яблоню рвать виноград. Дядя Сандро ушел на родник поить лошадей. Через некоторое время я услышал, что меня кто-то окликает снизу. Это был Кунта. Меня он, конечно, не узнал. Небольшое стадо коз вливалось во двор.

Не очень уверенным голосом Кунта просил меня не трогать виноград, так как колхоз передал ему право собирать его с этого бывшего приусадебного участка. Я отвечал ему, что винограда не убудет от того, что я съем несколько гроздей, а он говорил, что от винограда ничего не останется, если каждый мимоезжий путник будет рвать его.

Так мы мирно проспорили некоторое время, и, наконец наевшись винограда, я слез с дерева. Кунта сидел у подножия яблони. Рядом с ним стоял очаровательный мальчу-

ган в живописных лохмотьях, такой черноглазый восточный Христосик.

— Не узнаешь, Кунта? — спросил я у него.

— Не осуди, не признал, — отвечал Кунта, вглядываясь в меня своими слабыми светло-голубыми глазами.

Я назвал, и он, признав меня, был несколько смущен тем, что запрещал мне рвать дедушкин виноград. Самое удивительное, что за последние пятнадцать лет он не только не изменился, но даже стал выглядеть лучше. Исчезла острая худоба, и лицо его слегка округлилось и стало приятней для глаза.

— Сколько тебе лет? — спросил я у Кунты.

— Сто три, — отвечал он мне.

— А брат жив? — спросил я у него.

— Жив, — отвечал Кунта, — а что с ним делается!

— А брату сколько? — спросил я.

— Брату сто шесть, — отвечал он.

— Ты с ним живешь? — спросил я.

— Нет, — отвечал он не без гордости, — я уже десять лет, как отделился от него.

— Чей это мальчик? — спросил я, глядя на мальчишку, прятавшегося за спиной Кунты и следившего оттуда за мной темными глазищами.

— Взял на воспитание, — отвечал Кунта, — родственник жены.

Я поманил ребенка к себе, но он, мотнув головой, остался за спиной Кунты. Тогда я вынул из кармана пятирублевую

бумажку и, по обычаю наших краев дарить детям деньги, протянул ему.

Мальчик осмысленно встрепенулся. Губы его, и без того яркие, вспыхнули, и он, посапывая, медленно приблизился ко мне, цапнул деньги чумазой ручонкой и снова спрятался за спиной своего воспитателя.

— Хоть бы спасибо сказал, — заметил ему Кунта, но мальчик молчал, выглядывая из-за его спины своими темными глазами.

— Что слышно? — застенчиво спросил Кунта после некоторого молчания. — Того, Кто Хотел Хорошего, но не успел, предали земле?

— Нет, — сказал я.

Поднялся дядя Сандро с лошадьми. Кунта поздоровался с ним и сказал, чтобы мы спускались вниз к дому его брата, а там он и сам, подогнав своих коз, не замедлит явиться.

Через полчаса мы с дядей Сандро подъезжали к дому бывшего лесничего. Спешиваясь у ворот его дома, я заметил в маленьком загончике великолепного рыжего коня с хвостом, почему-то подрезанным наподобие львиной метелки.

На лай собаки хозяин вышел из дому и приближался к нам, глядя на нас из-под руки.

— Это ты, Сандро? — сказал он резким голосом шагов за десять от нас.

— Я, я, — отвечал дядя Сандро.

— А кто с тобой? — все тем же резким голосом спросил он, уже совсем близко подойдя к нам.

— Мой племянник, — отвечал дядя Сандро.

— Не тот ли, что в Москве обосновался? — спросил он, вглядываясь в меня своими острыми глазами и отбирая у нас поводья лошадей.

— Тот самый, — отвечал дядя Сандро.

Омар привязал наших лошадей к боковой стене дома. За домом виднелся целый городок ульев. Их было много, не меньше ста колодок.

Я смотрел на Омара. Точно так же, как и Кунта, он не только не постарел за последние тридцать лет, но даже стал выглядеть благообразней. У него даже лицо слегка округлилось, хотя он все еще выглядел человеком суховатого телосложения.

В далеком, самом раннем детстве я гостил у них в доме, тогда еще была жива его первая жена, которую он, участник мировой войны, шестнадцатилетней девушкой привез из Польши. Она говорила по-абхазски с немыслимым акцентом и белила свою кухню наподобие украинских хат. Над ее акцентом и над ее белой кухней чегемцы добродушно посмеивались.

Со времени смерти своей первой жены он долгое время не женился и, только став глубоким стариком, женился во второй раз. Но недавно, не выдержав его вздорного характера, жена ушла от него в свою деревню. Об этом рассказал нам Кунта.

— Проходите наверх, — предложил нам хозяин и пропустил нас вперед. Взгляд мой упал на каменные ступеньки ле-

стницы, и сердце у меня сжалось. Это были ступеньки лестницы дедушкиного дома, и каждая выемка и трещина на этих белых камнях была знакомой, как морщины родного лица. Видно, человек, купивший дом, все забрал, кроме этих ступенек, а потом их прибрал и приспособил к своему дому этот неугомонный Омар.

— Глупость подымается по нашим ступеням, — тихо сказал мне дядя Сандро, кивая на лестницу.

— Дельце у меня к тебе есть, Сандро, — сказал хозяин, когда мы уселись на веранде.

— Что за дельце? — спросил дядя Сандро.

— Дай время, расскажу, — ответил хозяин и ушел на кухню, чтобы приготовить нам чего-нибудь поесть.

Пригнав к воротам дома своих коз, явился Кунта со своим воспитанником. Хозяин приспособил своего брата крутить над огнем вяленое мясо, а сам приготовил мамалыгу.

Мамалыгу, дымящуюся в тарелках, вместе с шипящим мясом принесли на веранду и поставили на стол. После этого хозяин принес из кладовки большую тарелку с медом в сотах, чурчхелы и графин с чачей адской крепости.

Кунта прислуживал за столом, подливая нам чачу и подкладывая куски мяса, очень соленого и очень вкусного. Мальчик, мерцая своими темными глазищами, тянул ко рту то кусок меда в сотах, то кусок жареного мяса. Дядя Сандро несколько раз призывал Кунту сесть за стол, но Кунта скромничал и продолжал обслуживать нас.

— Оставь его, — прикрикнул хозяин дома, — налопается еще, не бойся!

Дельце, о котором просил хозяин, касалось его сбежавшей жены. Начал он издалека, говоря, что он уже не мальчик, чтобы есть что попало и как попало, а человек в летах, и ему нужен человек, который мог бы приготовить и подать ему пищу. Была у него хозяйка, да вот он, видно, не сумел прибрать ее к рукам, и она отправилась к себе домой в село Атары. И несмотря на то, что он подсылал к ее родственникам стоящих людей, чтобы родственники пристыдили и отправили ее назад, она не возвращается, и он от этого всего терпит неприятности и имеет неисчислимы убытки. Дядя Сандро обещал найти дипломатический путь к сердцу его сбежавшей жены и ее родственников.

Поуспокоившись относительно будущего своей семейной жизни, старик развеселился и стал рассказывать о своих военных подвигах во время Первой Мировой войны. Он тогда служил в «дикой дивизии», и она, по его словам, дралась во многих странах, нагоняя ужас на своих врагов. По его словам получалось, что во всех странах они отлично дрались, и только в Венгрии, по его словам, они сильно осерчали и отказались драться, потому что там обещали выдать корм лошадям, но не выдали его. Для большей убедительности он притащил шашку, вытащил ее из ножен и довольно бесцеремонно размахивал ею над нашими головами, показывая, как бойцы «дикой дивизии» и он сам напололам рубали врагов.

Я спросил у него, как ему удалось так влюбить в себя юную полячку, что она, навсегда покинув родину, приехала в Абхазию. Он почему-то рассердился на меня и отвечал, как это она могла влюбиться в него, когда ему было сорок лет, а ей шестнадцать: силой он взял ее!

Через некоторое время в графине кончилась водка, и старик послал меня в заднюю комнату, объяснив, что там бочонок и шланг. Естественно было ожидать, что он за водкой pošлет Кунту, но он послал меня. Я понял, что к ключевым позициям своего хозяйства он Кунту не подпускает.

Бочонок с водкой стоял на приземистой скамье. Я присел на корточки, вытащил втулку из бочки, сунул туда шланг и несколько раз пытался вытянуть оттуда струю, но струя не вытягивалась. Я понимал, что надо несколькими большими глотками отсосать водку, а потом подставить графин. Но водка была слишком крепкой, и, прежде чем жидкость вливалась в меня, я успевал задохнуться от паров спирта, и струйка, которую я вытягивал, оказывалась слишком хилой и быстро иссякала.

Наконец хозяин пришел сам и, сказав: «Ах ты, бедолага!» — присел к бочонку, взял в рот шланг, несколькими сильными глотками втянул в себя водку, и ровная струя полилась в графин. Я почувствовал себя пристыженным.

Часа через два мы сели на своих клячонок, хозяин распахнул ворота и выпустил нас, покрикивая дяде Сандро:

— Про дельце мое не забудь, про дельце!

Когда мы выезжали из Чегема и уже вступили на лесную тропу, дядя Сандро обернулся назад и, имея в виду

всех умерших и покинувших Чегем, а также всех оставшихся в нем, сказал:

— Худшей корове коровник достался...

Ну, что же, подумал я, когда уходит от нас все, что мы любили, все, что сияло нам светом надежды, мужества, нежности, благородства, когда от нас уходит все это, я и глупость готов прижать к груди, потому что глупость тоже часть человека, и, если от человека больше ничего не осталось, я тем более готов припасть к ней с сыновней грустью. Ведь она видела своими глазами, слышала своими ушами всех, кого мы потеряли, и мне ли не ценить последнюю свидетельницу нашей жизни.

Так закончилось наше последнее путешествие в Чегем. И теперь мы о нем не скоро вспомним, а если и вспомним, навряд ли заговорим.

Содержание

Глава 22. Бармен Адгур	8
Глава 23. О, Марат!	46
Глава 24. Дороги	114
Глава 25. Дудка старого Хасана	158
Глава 26. Табу	216
Глава 27. Широколобый	250
Глава 28. Утраты	309
Глава 29. Большой день большого дома	342
Глава 30. Кутеж трех князей в зеленом дворике	395
Глава 31. Дзамхух — Сын Оленя, или евангелие по-чегемски	476
Глава 32. Дерево детства	600

Литературно-художественное
издание

искандер
фазиль абдулович

собрание

сандро из чегема 3

Редактирование и корректура

Мария Богданович,

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныныш

Верстка

Роман Терешин

Изд. лиц. № 0985 от 17.02.2000.

Подписано в печать 10.06.03.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага для ВХИ.
Гарнитура Петербург. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 29,4. Тираж 3000 экз.
Заказ № 395.

Издательский Дом «Время».
113326, Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (095) 231 1877.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Качество печати соответствует качеству
предоставленных диапозитивов.
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru

ISBN 5-94117-072-6



9 795941 170721 1